

«...Родина есть священная тайна каждого человека. Так же, как и его рождение, теми же таинственными и неисследованными связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землёй и со всем Божиим творением...»

о. Сергей Булгаков






Тинарова



Татьяна ГРИБАНОВА

КОЛЫБЕЛЬ МОЯ
ПОСРЕДИ ЗЕМЛИ

Песнь роду – племени моему



Издательство «Картуш»
Орёл – 2015

УДК 82-1
ББК 84(2p)6
Г 44

Автор выражает благодарность Фонду «Милосвет» и его Президенту Карпикову Олегу Владимировичу за финансовую помощь в издании книги.

Татьяна Грибанова

Г 44 Колыбель моя посреди земли / Песнь роду–племени моему / –
Орёл: ПФ «Картуш», 2015. – 404 с.

ISBN 978-5-9708-0482-7

Продолжая повествование об Орловской деревне, в новую книгу «Колыбель моя посреди земли» Татьяна Грибанова поместила лирические очерки и эссе о своей малой родине. С пристальным вниманием, не скрывая сердечной привязанности к земле, писатель вглядывается в судьбы сельских жителей, своих земляков с времён древних вятичей и до наших дней, прослеживает историю русского крестьянства на примере своих родичей.

Татьяна Ивановна, оставаясь и в прозе поэтом, тепло и лирично ведёт повествование ярким, самобытным и сочным языком.

Главы этой книги публиковались во многих литературных журналах России.

УДК 82-1
ББК 84(2p)6

Иллюстрация на обложке: Фрагмент картины Юрия Клапауха «Пастушка».

ISBN 978-5-9708-0482-7

© Грибанова Т.И., 2015
© Оформление – ПФ «Картуш», 2015

Сыну Дмитрию
и дочери Анне

«Сын мой и чадо, приклони ухо твое... собери разум сердца своего и внимай словам породившего тебя, ибо не во вред душе твоей, но во укрепление разума – и к царству небесному они поведут тебя.

Отвори сосуд сердца – пусть стекают туда речи слаще мёда, которые смогут и оживить, и в бессмертье ввести тебя...

Чадо, избери жите тех, и тех в образец возьми, и тех последуй делам, и вникни, каким путем они шли и какую стезею пустились по жизни.

Голову долу держи, ум же – высоко, очи – потупя к земле, духовное зрение – к небу; уста замкнув, устами сердца всегда устремляйся к Богу...

Ладони сожми на стяжанье греховных богатств сего света, но простири их на милость убогим.

Не стыдись преклонить свою голову перед любым, кто создан по образу Божью; старшего годами почтить не ленись и упокоить старость его старайся. Равных тебе с миром встречай, меньших тебя с любовью прими, тому, кто честью выше тебя, не старайся прекословить...

Поэтому в краткой сей жизни взыщи жизни вечной... голодного накорми, как Господь тебе сам повелел, жаждущего напои, путника привечай, посети больного...

Всё сможешь, коли захочешь...»

Из древнего поучения «Слова душевнополезные»



ПОСРЕДИНЕ СЛОВА



на не поднимала в своей книге исторические пласты, не выстраивала по ранжиру километры исследований.

Она просто прошла босой, по легкой росе, рядом с надречным туманом, с первым солнышком по своей памяти. В которой вдруг оказался отчетливо слышен топот лошадей кочевников, стук топоров на засечной черте наших пра-предков. Тихие бабушкины песни- присказки над спящим дитяти. Скрип перьев над первыми революционными декретами. Шкворчание поджариваемого на сковородке сала к нехитрому крестьянскому обеду. Звон июньского сенокоса: коси, коса, пока роса. Роса долой – коса домой! Свист вражеских пуль и партизанское «Ура» в орловско-брянских лесах...

А еще память сохранила запахи. Цветущих лугов. Свежевспаханного Мишкиного бугра. Испеченного каравая хлеба с пузырьками на корочке – там Боженька ночевал. Парного молока из кринки и тела собственного ребенка...

Удивительная книга вышла у автора. Глубинная, корневая. Однажды мне посчастливилось побывать в родовой школе Михаила Щетинина. Великий кубанский педагог как раз наставлял малыша:

– Тебе не девять лет, Ваня. Твой возраст измеряется глубиной твоего рода. До какого колена знаешь своих предков – этим расстоянием ты и насыщен. Этой памятью, этим опытом обогащен. Пробуждай ее...

Татьяна Грибанова пробудила. И потому не зря ее колыбель – посреди Земли. Она – как припев в песне, что пропела, пересказала, молитовкой нашептала Татьяна Ивановна всем нам. С любовью, глубочайшим уважением к истории страны, к своему роду, к своей деревушке Игино. Автор блистательно показала, что история Отечества состоит из судеб своих граждан, а по сути – из имен наших отцов и матерей, их дел и поступков. И собственного скромного труда. При этом может создаться впечатление, что перышком автора водил сам ангел-хранитель – настолько все легко, в рушниковых кружевах

читается представленная песнь. Но за этим чисточтением, как за чистописанием в школе – конечно же, огромный труд исследователя, собирателя. Просто Бог дал Татьяне Грибановой талант Слова, а уже своим трудом она составляет фразы и тексты, а затем наполняет воздухом и смыслом, отрывает от бумаги, чтобы задышали, заискрились, проникли в сознание и сердце читателей.

Нельзя ни в коем случае пересказывать страницы этой книги - наши глаза должны коснуться оригинала сами. Сердце читателя должно войти в ритм сердца мастера русского янтарного, не залапанного временем, слова. В атмосферу созданного им мира. И тогда сами не увидим, как проснется вдруг в душе и гордость за наших предков, и сожаление, как много мы утратили из своего прошлого. И желание поместить колыбель своих детей-внуков тоже в центр земли, потому что книга Татьяны Грибановой дает величайшую светлую надежду, потому что каждая ее страничка – как новое окошко в солнечный мир. Распахнутое на обе створки, как распахнута на добро душа младенца.

Читаем, наслаждаемся русским чистым слогом, проникаем в прошлое и устремляемся в будущее.

Николай ИВАНОВ,
сопредседатель правления
Союза писателей России

ИВАНОВ РОДНИК





тою у Игинского родника, ясного, словно личико ребёнка. От ярких солнечных бликов на водной чистинке рябит в глазах. Вкус этого родника ни за что не спутать ни с каким иным – вкус моего детства, вкус прародины...

Спелой красной ягодкой-смородиной новорожденное светило – его сиятельство багрянородное – выкатывается из-за Мишкина бугра. Лазоревый свет его лампадки просачивается – кап-кап – на ещё не загрубевшую под летним солнцем росную листву красноталов... кропит и свежесметанный на долу стог, и – чуть поодаль – воз со связанными, поднятыми вровень с маковками раakit, оглоблями... расплывается, пеленает меня в деревенское утро.

Свежая горечь пышно цветущей полыни, мёд кашики. Ку-ку, ку-ку – в сизых, полудрёмных Хильмечках. И где-то совсем рядом, на дне оврага, по росной луговине – хрум-хрум.

Местность наша – до истома духовитая, нежная, словно мамина душа. Щербатый Мишкин бугор, из-под которого неумолчной свирелкой – тирлинь-тирлинь – вызванивается на Божий свет, кажется, из самого сердца земли проворный родник, с прилётом первых жаворонков и до того времени, как с низинных осокорей заструится ржавая, пожухлая листва, зарастает не ведающей песен литовок роскошью трав да пёстрыми, неустанно сменяющими друг дружку среднерусскими цветиками: иван-да-марьей, душицей, простушками-ромашками, лютиками, кошачьей мятой.

А на самом верхотурье, на угоре – торжественно взмывающий, полный первобытной поэзии сосновый бор, хранящий в тяжёлых лапах и разбежавшихся меж ягодника могучих корнейев какую-то ускользящую малахитовой ящеркой непостижимую тайну, которую ни мыслью не охватить, ни словом не выразить... Сквозь продрогшую тишь мечутся белобоки, перескакивают с сука на сук, дри-ти-ти-ти, дра-та-та-та!

Я помню, как сажали крохотный, от горшка два вершка, сосённый. Шишки из возросшей посадки по соседним полям, буеракам да косограм растаскали клесты. И вот уже который десяток лет здесь ниже жемчуга на сосновые лапы разгулявшийся во все стороны, насколько может видеть человеческое око, высоченный, заполонённый малинником да бересклетом, перепутанный цепкими муравами зеленокудрый бор.

Снеговые и жидкие воды, просачиваясь сквозь палую хвою, напиваются сосновыми смолами. Собираясь где-то в недрах Мишкиной горы, смешиваются они с водами, настоянными на чабрецах, анисах да иван-чаях. Терпкую эту, душистую, хмельней

вина, заварку разбавляют грунтовые воды. А потом в поросшем красноталом и ракитником овражке выплёскиваются они бурлящим, не замерзающим даже в лютую стужу, целебным Ивановым родничком.

Воде на Руси испокон веку отводилось особое место, в русской мифологии Земля и Вода – зачарованный мир, женские дүхи, прародительницы всего сущего. В стародавнейшее время-то, как рассказывает Михаил Васильевич Ломоносов в своей «Древней истории», «многие воды, ключи и озера столь высоко почитались, что воду из них черпали с глубоким и благоговейным молчанием. Кто противно поступал, казнён был смертию...». И действительно, здесь не зашелхнет травинка, даже высоченные побеги стрелолиста стоят неподвижно, не нарушая общей дрёмы. Здесь малейший шорох кажется святотатством.

Бывало, пойдёшь в детстве с бабушкой Натальей на родник и дивишься: как только спустимся в низину, на подходе, речи старушки стихают... только мимо – свись-свись – утята ручейком на омуток. Поставит она беззвучно в росные «анютины глазки» ведёрки, уложит на них коромысло. Наперёд всего, перекрестившись, зачерпнёт пригоршней студёной – аж зубы сводит – воды, напьётся досыта. Второй пригоршней омоет лицо, руки. И всё молчком, молчком. И на долу – ни звука. Только радуется, хорохорится в низине птаха-куличок: «Жив ещё! Жив!»

– И-их, милая-а, водица-то, она – живая: всё видит, всё слышит... всё помнит, – скажет бабушка, «вставши в пень», уже взобравшись на половину Мишкиной горы, оглядывая пойму, передыхая с ведёрками, полными драгоценной влаги.

– И меня запомнит? – возрадуется моё детское сердчишко.

– А-то как же, голубка, стану я оманывать! И тебя, дажить внучатков твоих признает, – божилась бабушка, – как отойду я, ты ключика-то нашенского не чурайся, нет-нет да заходи послушать, об чём он пережуркивает... а то – водицы его сахарной испить, глядишь, приставит голову к плечам – перепадёт тебе узнать что-нибудь заветное из его несметных, вековых тайн.

...Почти полвека, как нет родимой, да и самого Игино уже нет. Но, следуя ли заветам бабули, по воле ли своей, всклень наполненной воспоминаниями и думами о деревне, души, приду на Иванов родник, стою... стою (разве считают время у алтаря?) молчу, соберусь с духом и одним махом зачерпну из родника полное ведёрко белоснежных облаков.

Воды самого желанного для меня родника, затканые июньской травой, заплетённые в сизые тростники и глазастые купавы, спящие в

зарослях ивняка, – соки моей родины веками утоляли жажду предков моих, навсегда впитались и в мою плоть и кровь, а через меня, верю, словно драгоценный дар, объявятся в плоти и крови детей моих, и дай Бог, священный зов их проникнет, сохранится в плоти и крови потомков моих!

В детстве гора наша Мишкина в своём полусиянии казалась мне высоченной шапкой Мономаха. Днями напролёт, когда приходила пора цветения, ползали мы по ней с подружкой Галкой в поисках «колубнички» и едкого дикого лука. А в зимнюю пору на самодельных санках, на лыжах, на обмазанных глиняной наледью плетушках и корытах, а порою и на пузе съезжали меж поднебесных стогов снега до Иванова ключа с его серебристыми пузырями и многоцветными пригоршнями гальки, до самого ручья Жёлтого с валунами, обросшими длинными зелёными бородами.

Теперь же Мишкина гора, будто старушка дряхлая, что-то шепчет в бреду, сторбилась, присела, опершись на разломанную годами ракитину. Обрывистая левая сторона её, та, что прозывалась Цигельня (после вызволения из немецкой оккупации хваткий местный мужичонка наострил было здесь из глины кирпич работать), обвалилась, почти сгладилась, поросла золочёным зелёным плетнём – диким тёрном, приютом ненасытных дроздов, – да вездесущим сорным клёном, запутавшимся своими лапчатыми сучьями в облаках. Деревья и животные раньше нашего чувуют умирание... В шелесте этих могучих исполинов слышится чуть уловимый шёпот далёких времён: «Ру-усь кондо-о-ва-ая...»

Малая родина... Для каждого из нас остаётся она до скончания дней центром мира, серединой, Пупом Земли. А как иначе-то? Её ведь не сменишь, нет у нас выбора: даётся она нам при рождении и впитывается в нас, влюбляет в себя за детство и отрочество так неистово, что о другой иной и мыслить не помыслишь. Будь это крупный город или совсем крошечный хуторок, всё равно – это для нас самое важное, самое что ни на есть заглавное место Земли Русской да и всей Вселенной. Это наша точка опоры. Мы взрослеем, становимся на крыло, и Малая Родина прирастает освоенными нами краями и странами, людьми и свершениями, выводя нас на простор Великой Родины, а там уж – и за её пределы.

Но чужедалные края, пусть и богатые своим историческим прошлым, красотой экзотических пейзажей, увлекают ненадолго. Проходит короткое время, и вот уже серебристые тополя у родимой игинской околицы кажутся мне в сто раз милее пышно цветущих олеандровых рощ Италии, и запах свежего хлеба, дохнувший в

Польше из раскрытых окон Краковской пекарни, поманит меня скорее возвратиться к отчему порогу, потянет, словно магнит, к середине Земли, к её центру – Мишкиной горе.

По правде сказать, стоя у её подножия, хочется забрать эти краткие минуты встречи в город, на память. Повидав множество заграничных красот, перевалив за полдень жизни, каждый раз, вглядываясь в простенькие игинские пригорки, в милую сладкую глушь, по-прежнему ощущаю непередаваемый сердечный трепет. Каждый раз что-то невыразимое тревожит и будоражит меня здесь до перехвата дыхания. Как же льнёт душа к этому родному замшелому захолустью (может, улавливает его сакральность?!). До скончания жизни его звуки останутся для меня заутренним благовестом, ангельской песнью. Можно ли на свете быть счастливей в другом месте, чем на берегу детства, в местах отроческих лет?

Гребень солнышка расчесал полуспелые травы. Розовым жеребёнком рассвет ускакал за Гороня. Шныркие стрижи у крутояра – чирк-чирк – уже мечутся в своей суетной жизни, гоняются за вездесущей мошкаррой. Бурёнки крошечными божьими коровками, рыжими бугорками пестреют на дальнем, покато́м берегу. Слышится щёлканье пастушьего кнута. Тепло и сладко становится на сердце, лишь представлю, как медленно и степенно, словно боясь расплескать молоко, бродят они вдоль поймы Жёлтого, поросшей валерьянником да «раковой шейкой».

Небеса перевернулись, опрокинулись голубым незабудковым озером. Широко разгорается утро. Восход – расписное полотно в полнеба! Миг, оперённый светом. Переливчатая, живая, стрекочущая тишина, душистая красотища. Какой-то необычайно звонкий, искрящийся воздух. Чуешь, как с каждым глотком его, словно пьёшь «живую воду», прибавляется жизненных сил.

На память, чуть приметной, натопанной грибниками стёжкой пробираюсь сквозь аромат несмятых цветов, через заросли таволги, осыпающей золотистым пшеницом едва приметную стёжку. Таволги у нас – море, оглядишься – и покажется: со всего света собралась она сюда.

Выхожу на простор, в игинское поле. Потрясённо замираю... До небес – как до рая! А неба ведь много никогда не бывает. И дали – тоже безбре-е-ежные! Видать, только русскому сердцу дано объять, вместить эту безудержность простора. И на всё про всё – среднерусская бесхитрость земли. И царственная вечность!

И никакой суеты. Эх! Жить бы и жить вечно! Стоять – не настояться, пить досыта, из пригоршней, этот нескончаемый белый свет, вдыхать ни с чем не сравнимый запах зыбкой утренней тверди,

приникать трепетным слухом к только что очнувшемуся миру, ощущать тончайшие ароматы прокалённых солнцем травяных просторов!

В дремотной выси лёгкий июньский ветерок перешептывается с золотыми херувимами-облаками. «Дрон-тон!» – негаданно удивлённо вскрикивает и тут же промелькивает в осиновой поросли перламутровым опереньем какая-то чудная Сирин-птица.

По высокой коленчатой былинке тимофеевки семенит на самую макушку усеянная малюсенькими чёрными точечками ярко-рыжая божья коровка, тоже о чём-то своём мудрует. Работяга-кузнечик куёт и куёт прозрачное крестьянское счастье. Или где-то далеко-далеко, за полянами нескошенной травы, окаймлёнными густым ольховником, цокает копытцами по набитой полевой дороге невидимая хуторская лошадка?

Устремляющийся к большаку просёлок, словно большущими овечьими ножницами, кроит, расстригает поле на две половины: правую, что примыкает к овражистому леску, и левую, упирающуюся в Ярочкин лог. В логу этом щавелевом низко по земле стелется молочный туман, отчего Ярочкина лощина кажется заснеженной. Господи, Боже мой! Какая благодать! Иду на её зов...

И нет хода обратно. И да не износится любовь моя (за дарованную судьбу) к этому полю до скончания дней моих!

В лучшие времена было моё поле домотканой скатертью, самобранкой-пригожайкой. С волнами сизой, дымящейся ржи, с кружевным прошивом просёлка посередине, с уймой подсиненных васильковых волн по краям, в drobных мерезках нашенских неброских цветов.

И хлебосольности полюшку было не занимать: только порадей поселянин, и будет с журавлиным отлётом – чутунок крупнющей, в кулак, картошки; по первым заморозкам – добрая ржаная краяха из нового помола; греча-рассыпуха, гороховая похлёбочка, щи, конечно, из знатного вилка капусты (как же без них!); пшеничные блины на Маслену.

А где поле, там у русского и песня. Чу! Прислушайся: то ли прирученный ветер налаживает струны, былинками-гусельками перебирает, то ли баба наша игинская, сверкая подтыкнутой с двух боков (для прохладцы) исподней рубахой, по нестерпимой жарени и дрёме крепко утоптаннами просёлочными извивами торопится меж розовых султанчиков подорожника на дойку в распластавшийся до самых Желепёков анисовый Савин лог.

– Что добренького, Миколаи-ич? Здоров ли будешь? – задрав голову, прикроет она ладонью от солнца глаза, поздоровкается с

ненаароком повстречавшимся ей мужичком, восседающим на под завяз грузёной знатным, хмельным сеном телеге.

– Твоими молитвами, Степановна-а! – услышит в ответ.

– Дожду-то не бывать? Вишь ты, в Горонях с утра серчает?

– А пуцай себе! Сенцо, почитай, в амбаре. Дац летний дош-то – нашему брату крестьянину – что курам – на смех! Знать, грибы пойдуть, опять жа – прибыток! – подытожит довольный возница.

И потопаёт Степановна дальше... Идёт себе баба укложей дорожкой, бойко шлёпая босыми загорелыми ногами в уже дозревающей ржи, медово-жёлтой, с синими набрызгами васильков, думу свою крепкую нараспев ведёт (бабы-то у нас издревле песню в себе, словно дитё, носили). И поднимается та песня к облакам – чистым, как стая гусей-лебедей, вечным, как улыбка матушки над колыбелью.

*И говорило аржаное жито,
В чистом поле стоя, в чистом поле стоя:
Не хочу я, аржаное жито,
Да во поле стояти, да во поле стояти.
Не хочу я, аржаное жито,
Да во поле стояти – колосом махати,
А хочу я, аржаное жито,
Во пучок завязаться, в засенку ложиться.
А чтоб меня, аржаное жито,
Во пучок взвязали, с меня рожь выбрали.*

То ли явь, то ли сон. Вспорхнула тень – и видение исчезло, точно и не бывало.

Лишь чернеют на Мишкиной горе игинские крыши, да колосятся, волнами ходят на подступах к Гороням хлеба. И носятся, носятся над Жёлтым, чиркая крылами, белогрудые ласточки, оставляя на воде, расходящиеся в вечность круги.

В лихие години затягивал поясок мужик потуже, впадало в уныние родное поле, рыскали по нему голодные волки, вскаркивали стаи злобных воронов.

Сколько оно хранит в своей седой, накопленной за века, памяти? Если бы только оно умело говорить! Время не могло не оставить на нём свой след. Неуёмные осенние дожди, летние ильинские ливни, очумелые вешние потоки вымывают из пластов земли такие находки, что только диву даёшься!

Вернуть невозвратное невозможно. Глубь веков – словно путаница просек в наших осиновых Горонях, потёмки тёмные. Но всё же кое-что можно разглядеть и сквозь дожди столетий. То тут, то там

и поныне ещё нет-нет да объявятся в промоинах кремневые ножи, топоры, черепки глиняной посуды, вылепленной в стародавние времена. Вражеские стрелы так глубоко вонзились в нашу изувеченную землю, что и по сей день лечит она свои раны – выходят, выболев, на её поверхность наконечники стрел, встречаются ещё и мечи древних ратников, штыки времён Гражданской войны, а уж о «подарках», оставленных последней войной, и говорить не приходится!

За семь километров от моей деревушки Игино, в Рыжковской школе, где я когда-то училась, есть уникальный музей. Экспонаты для него собирались со всей нашей округи. Некоторым из них – многие века. У моего народа, сильного и воинственного от самой колыбели, богатая, особая по своим нравам и обычаям судьба. В раздумьях о настоящем и будущем моей родины вольно или невольно обращаешь к минувшим столетиям, мысленно окидываешь взором путь, проторенный моими предками... И радуется душа, что пусть небольшой краеведческий музей приютился под школьным крылом, рядом с детишками.

Им жить.

Им помнить.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ЛИЦОМ К ВОДЕ





сли спуститься чуть ниже деревушки Игино по течению непетливой нашей Кромы, к самым Русальим омуткам, где (каждый соплюган у нас знает) невиданный клёв, а на зорях зачастую ударяет и тяжёлая рыбина, то попадётся на место большого древнего селища Степь, у которого, как заметили бы краеведы, аж три (!) культурных слоя: IV–VII, VIII–X, XI–XIII вв. Вот где во всём дышит, отовсюду смотрит память веков!

Нижний слой относится к IV–VII вв. нашей эры. Невольно окунаешься мыслями в те, рассветные времена. Подумать только: пятнадцать веков назад здесь уже строили – пусть нехитрые, но всё же жилища, – мои пращуры! Матери, как велось с начала Божьего света, вскармливали детей, радовались их первому слову, первому шагу, расчёсывали кленовыми гребнями их золотистые локоны.

Собравшись вместе, родичи смиренно оплакивали отошедших к их языческим Богам стариков. Сеяли на знакомом мне с детства поле хлеб. На заре, под шёпот муравы и речной переплеск, совсем, как, бывало, бабушка или мама, оглаживая: «Стой, кормилица, стой, Красавушка!», доили в обнесённых загородью загонах в грубо сработанные кринки коров. Детвора, так же, как и мы в детстве, прожигала у костров, когда пекла яблоки-лесковки, мамкой сшитые рубашонки. Девки ввечеру играли свои протяжные песни...

*На гряно-ой неделе русалки сидее-ееели. Гу! Рано-раа-ой!
Сидели русалки на кривой берё-ооозе. Гу! Рано-раа-ой!
На кривой берё-озе, на прямой доро-ооозе. Гу! Рано-раа-ой!
Просили руса-алки и хлеба, и со-оли. Гу! Рано-раа-ой!
И хлеба и со-оли, щей, горького луу-ку. Гу! Рано-раа-ой!..*

Так же: «Дон! Дили-ли-ли-дон!» – стучали, отбивая косы, за селищем молотки; грохотала, прокатывая, по глинистому, набитому, просёлку телега-костотряска, в которой, свесивши ноги в грядки, посиживал какой-нибудь мужичонка-доброхот, понукая лошадку: «Н-но! Ходи шибче, залётная-а!», – посвистывал над её ушами хлётским кнутовищем.

Охотились, наверно, так же азартно, как сейчас сосед мой Лёха, на всяческую, пушную и не очень, дичь. Конечно, ловили в речушке меж длинных бород тины на ореховое удилище ленивую сонную плотицу. В той самой Кроме, в дремлющей, тягучей, словно гречишный мёд, заводи которой мы до посинения – бр-р! –

барахтались ребятишками, кормили комаров, гоняли гревшихся на мелководе головастиков и жуков-плавунцов. На берегах этой речушки и по сей день нет-нет да встретишь притаившегося в красноталах кировского рыбака, научившегося ловить рыбёшку, таскать её вёдрами, наверно, раньше, чем говорить.

Кроме наша несёт свои заилённые воды в аukaющую на долгие вёрсты Оку, нежную и голубоокую, которая, может быть, значит даже больше, чем Волга или Дон, для среднерусской глубинной сути; Оку (Уку), впадающую, по верованиям пращуров, в небеса.

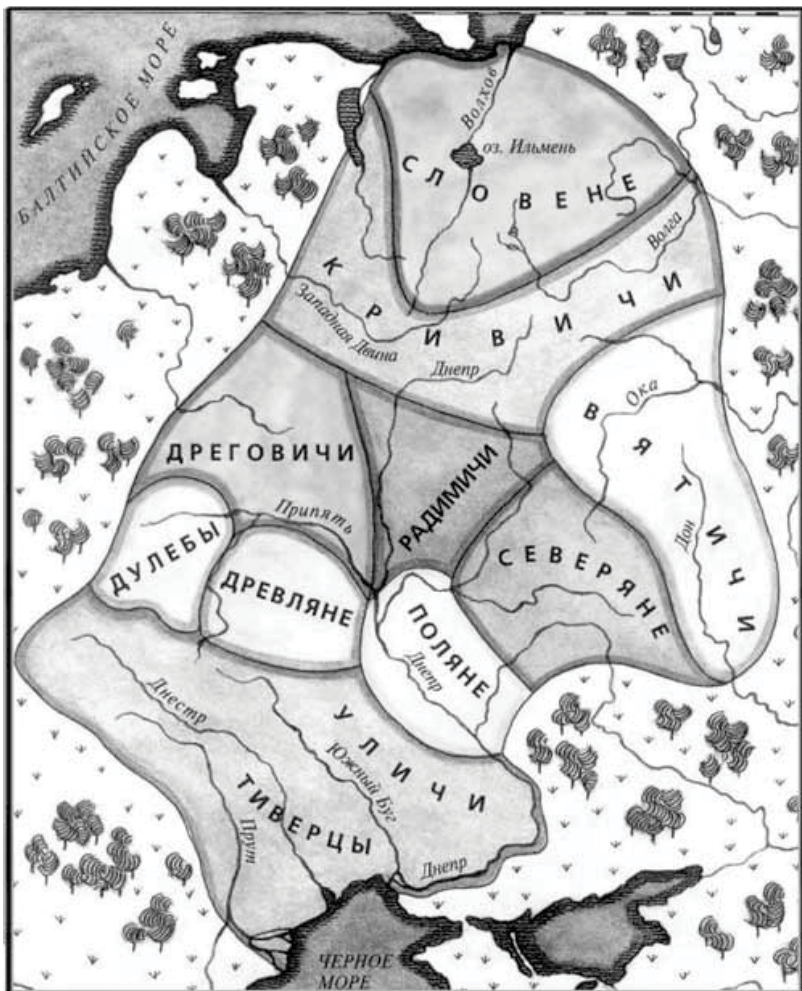
Предки наши всегда селились по берегам рек, «лицом к воде», в углубленных в почву на два метра полуземлянках. И здесь, на нашей Кроме, выявлены стоянки первобытных людей. Изрезанные оврагами непроходимые лесные чащобины и мириады непролазных трав, что запросто могли скрыть коня вместе со всадником, мешали развитию наземных путей. Дорогами в те стародавние лета были реки.

Как утверждают историки и краеведы, в далёкие времена (III–IV века) в моей родимой стороне обитали мощинские («праславянские») племена. Домостроительство, обрядность, керамический материал и украшения позволяют отнести их к балтоязычному населению. И название нашей неказистой, застенчивой речушки открывает, вероятно, ту же страничку древней истории. Оказывается, реки с окончанием на «ма» – балтийского происхождения. Значит, можно предположить, что в окрестностях моей деревушки Игино на Кроме в давние-предавние века жили племена балтов – голядь.

Из тех времён, из стародавней мги, изредка, но проступают, встречаются кое-где заплесневелые черепки толстостенной ручной керамики.

Если помнить, что древних руссов весьма произвольно относили то к скандинавам, то к славянам, то легко понять: балты – это русы, наши предки. Они вернулись в Западную Балтию и сгинули в пучине времён. «...В год 859. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с кривичей... В год 862. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть...» – вещает нам «Повесть временных лет». Правда, среди учёных бытует и такое мнение: на самом деле балты не покинули прежних мест расселения, а вступили в культурное взаимодействие с пришедшими славянами.

Последними же прибыли на наши земли русы и покорили славян, взяли их – где миром, а где и силой. С тех пор славяне стали называться русскими (чьими?).



А вот верхний культурный слой поселения принадлежит периоду Древнерусского государства. Жаль, что место этого древнейшего селища Степь было когда-то распаханно. А теперь (видно, снова подступили для Руси тяжкие годы!) и вовсе запущено, лишь татарник, да полынь, да щёлк сухих, лопающихся стручков акаций. Ни скрипа колодезного ворота, ни заполошного кудахтанья, ни

«Акулька! Я – на кулигу, за хозяйку остаёшься. За Мотькой да Минькой доглядывай. Молоко – в кринке, краюха – под рушником. Да глядите у меня: сразу-то всё не слошайте, на день растяните!»

Правда, название селища оказалось удивительно живучим! Сейчас совсем недалеко от его места коротает свои дни крохотный посёлок Степь.

О переселении в VI–VIII веках в наши края славянского племени вятичей в древней жемчужине, «Повести временных лет», ведётся такой сказ: «... радимичи же и вятичи – от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов – Радим, а другой – Вятко; и пришли, и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили название вятичи...». Правда, есть и другое мнение о том, откуда произошло название «вятичи». Vetitji связывают с корнем «vet», что в переводе с праславянского обозначает «большой», и такими именами, как «венеты», «вандалы» и «венеды» (Большие люди или Великий народ). Как упоминает о вятичах летописец Нестор, они: «...обычай имяху: живяху в лесе, якоже всякий зверь, ядуще всё нечисто».

В середине IX века, ведя замкнутую, полуохотничью, полужемледельческую жизнь, предки наши подчинились хазарам, так и не создав собственного государства (несмотря на то, что появились зачатки государственности, укрупнялись города, образовывались племенные объединения).

Вероятно, потому, что вслед за героиней И.А. Бунина и «...я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу...». Помнится со школьной скамьи опять же из «Повести временных лет»: «...в год 859... хазары... брали с вятичей по серебряной монете и по белке с дыма...» («по щелягу на рало и по велице с дымом»).

Погружаюсь в строки летописи, и грезится мне сквозь пелену времён давнее-давнее прошлое: перегыркиваются на возвышении, может, даже на моём Мишкином бутре, ранним утром конные хазары. Запах очага коснулся их широких ноздрей – топятся печи, пахнет крестьянской стряпнёй в деревушке, разбросанной по обеим сторонам реки. Затаившиеся вороги считают «дымы».

Над заутренней округой текут, как вода, струи молодого солнца. Не ведая напасти, на грани добра и зла, пробуждается селение вятичей.

Мало-помалу из размывчатых теней, линий и движений всё ясней является... вот уже роится народ. Мужики, вскинув на плечи косы, гуртом спровадились в сизовато-прозрачное марево лугов. Бабы спозаранку хлопают вальками на курящейся Кроне. Перекидываются шуточками, перемалывают извечную «полюбовную» муку.

– Девки, слышали? Стыдоба-а! Аринка-то, Макея Хромого дочка, с Феклушиным Стёпкой стакалась? Уж как парня осетила огнеглазая! – распускает язык – хоть тресни, чёрт её не перековеркает, рябая нравная Палашка.

– Не скаль зубы-то, не мели пустого, Пелагея! – кинув суровый взгляд, осекает её Маланья, – не оттель ветер дует! Вчера корову у росстаней ввечеру пасла, дак слышу: вроде кто в березняке пересмеивается. Догляделася: Аринка с Миколой, с Феклушиным старшеньким обыклись, папороть мнут. Парень девку с рук ягодкой кормит... А брательнику Стёпке, чтоб на зазнобу его не паялился, не тарачился, он ещё в прошлом годе надавал тумачков. Отбузовал, поговаривают, власть. Чего уж теперя попусту языком-то трепать?

Хлоп! Хлоп! – пральником. Шлёп! Плюх! – по камушкам.

По правде сказать, вятичи особо не сокрушались: дань хазарская была им не в большую тягость, благо кругом леса, и уж кого-кого, а белок водилось несчётно. «Откупались кунами», вероятно, отсюда возникло и слово «выкупить». Да и жестокостью хазары великой (по сравнению с иными кочевниками, «бичом Божьим» для Руси: гуннами, печенегами, половцами) не отличались.

Когда осенские, с ядрёными утренниками, воздуха пропитываются берёзовыми, сосновыми смолами и свежекочелотые светящиеся колодцы поленниц подваливают под бока отцовских сеней, когда озимыми яблоками дышит забитый сеном чердак, когда в полях польхают стога соломы, а ветер по сухобылью разносит их лоскуты и клочья пожарища на игинские холмы и пригорки, мне снится один и тот же беспокойный сон, уносящий меня в задымлённое прошлое.

Будто кочевники-завоеватели – первейшее для русичей зло и напасть – мчат на своих лихих конях по моей земле, предавая огню всё, что встретится им на пути. Уводят в полон из разорённых русских городищ по нашему Репейному просёлку, устремившемуся на юг, полонянок, убивают нещадно, на месте, гордых мужчин, никогда бы

не смирившихся с пленом. А вослед им ревмя ревит обезлюдевшая, разбуженная злодейским набегом, тишина.

Сны мои – может, память крови?.. Не витаю с ними между небом и землёю в облаках, а приближают они меня к канувшим в былое, напрочь проржавевшим векам. И солью набухают мои ресницы... И длится, длится кромешный рассвет.

Кто только не зарился на земли наши!? И ведь ни ради того, чтобы осесть, с потом добывать на полях-лядинах свой хлеб. Куда там! Одно желание у дикой кочевой степи – налететь, наgrabить, разорить, обложить данью, мол, повернём Русь по-своему, будет наша! Ещё бы! Ведь по землям, населённым вятичами, проходил ко всему прочему путь из варягов в арабы (одно из разветвлений Великого шёлкового пути). Это хлебное место, в прямом и переносном смысле, было лакомой добычей, желанной для многих.

Судя по найденнымкладам, археологи заверяют, что племя вятичей, прямо скажем, не бедствовало. А в арабских источниках даже утверждается, что вятичские купцы считались в Древнем мире самыми богатыми из славян.

В нескольких верстах от игинского поля – деревни Гончаровка и Волчьи ямы. На их месте в те, скрытые веками времена, судя по находкам, было небольшое хазарское становище. Но если с этим кочевым племенем ещё как-то можно было сжиться, на худой конец, от его набегов откупиться, то с печенегами сладу вовсе не было. Ведь они не умели жить в мире даже друг с другом, а уж для того, чтобы сговориться пограбить Русь, их и приглашать не нужно, хлебом не корми. Сколько вреда и убытков причинили они нашим землям – и не счесть!

Обычаи и кулинарные предпочтения этого степного народа были странны и удивительны для вятича. Питались, к примеру, они почти сырым мясом. А кобылье молоко было их любимым напитком. Не брезгали и тёплой кровью убитого животного. Подвернётся случай – пожирали и мясо нечистого зверя (такowymi считались волки и лисицы). А в качестве лакомства – на взгляд нашего пращура, ещё гаже! – мясо хомяков, сусликов и других землеройных обитателей степи.

В 972 году, «придоша печенези на Русскую землю», коварно убили князя Святослава Игоревича, а из его черепа сделали (по скифскому обычаю) чашу. Речь идёт о том самом князе, Святославе

Великом, родной плоти и крови первого киевского князя Игоря Старого и Ольги Мудрой (как называет их Начальная летопись), который незадолго до своей гибели, в 966 году, «вятичи победи, и дань на них възложи», и они, деваться некуда, прекратив платить дань Хазарскому каганату, вошли в состав Древнерусского государства. (Двумя годами ранее вятичи вступили в войско Святослава и помогли ему справиться с хазарами). Следует заметить, что пращурьы наши и не мыслили подчиняться Святославу, да и Владимиру Красно Солнышко тоже (хоть и утверждает летописец, что в 981 году Князь Владимир «...возложи на ня дань от плуга, якоже и отець ею имане...»). В письменном наследии Владимира Мономаха упомянуты предводители вятичей – Ходота с сыном: «...А въ вятичи ходихом по две зиме на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну, ходихъ первую зиму...».

Давно исчезли кочевые племена. И кровь их в какой-то доле смешалась с кровью русского народа. Шла миграция племён. Соединялись воедино наследники балтов, остатки хазар и «пришедшие из шляхты вятичи».

В роду моём все светло-русы. А бабушка Наталья, отцова мать, из тех краёв, где когда-то обосновалось небольшое хазарское становище. И удивительно – коса у неё была чёрная как смоль! Откуда?.. Может, капелька древней кочевой крови окрасила волосы русской (во стольких поколениях!) бабы в «жуковой» цвет? Может, бесстрашный пращур мой умыкнул из хазарского становища под покровом ночи приглянувшуюся степнячку? Всё может быть... «Повесть временных лет» свидетельствует, что такое у вятичей водилось – красть для себя жён в иных племенах: «умыкаху жёны собе, с нею же кто съвещашеся, имяху же по две и по три жены».

Калики переходные – странствующие певцы, проходя Русь от края и до края, разносили сказания о том, как хороши красные девки половецкие. Прежде-то что было? Если русские брали в жёны степнячек, то и степняки уводили русских жён не только на продажу, но и оставляли для себя. Нередко среди кочевников можно было видеть рослых, как на подбор, светловолосых и голубоглазых мужчин – потомков русских невольниц.

Доказательством того, что среди вятичей, добровольно участвовавших в походе «Вещего» Олега на Царьград в 907 году,

были и мои храбрые предки, являются строки из «Повести о взятии Олегом Царьграда»: «...Идее Олег на грекы, ...поя же множество варяг, и словен, и чюдь, и кривичи, и мерю, и деревляны, родимичи и поляны, и северо, и *вятичи*, си вси звахуться от грекъ Великая Скуфь...».

Населяя одну из отдалённых местностей Древнерусского государства, они жили достаточно обособленно, сохраняли языческую веру, свои древние обычаи, и вплоть до конца XII века, в отличие от полян и северян, кипела их непокорная кровь – воинственно сопротивлялись они крещению, неоднократно восставали и отказывали в выплате дани Киевским князьям. Об одном из таких восстаний, против Владимира, о подавлении князем мятежа и возобновлении выплаты дани Начальная летопись сообщает: «...заратишася вятичи, и идее на ня Володимерь и победие второе...»

В то время, когда вокруг торжествовало победу Христианство, земли, принадлежавшие свободолюбивым вятичам, были своеобразным заповедником, в котором роды с завидным упорством продолжали держаться старой веры своих праотцев, где всё ещё теплились угли погребальных костров седой языческой старины.

Спустя триста лет после крещения Руси князем Владимиром вятичи ещё держали характер – оставались верными своим обычаям. Патерик Киево-Печерского монастыря сохранил рассказ о печальной судьбе монаха этого монастыря блаженного Кукши и его ученика-сподвижника, прибывших на Окские берега, чтобы «донести слово Божие» язычникам-вятичам: «его же вси сведаютъ, како бесы прогна и вятичи крести и дождь с небес съведе и озеро исьсуши и много чудеса сътворив и по многих муках усечен бысть с учеником своим» двадцать седьмого августа 1113 года.

И сейчас ещё нет-нет да втайне помолятся потомки тех вятичей деревьям, повязывая на них ленты, чтоб исполнились заветные желания, чтоб излечиться или предостеречься от хворей.

Кому не известна былина «Об Илье Муромце и Соловье-разбойнике»? Но не все знают, что один из своих подвигов богатырь совершил в землях вятичей, правда, князь Владимир на слово-то ему о том не поверил, мол, «завирается детина», похвалается. А было всё так. Ехал как-то молодец на коне из Муром в стольный Киев-град.

Торопился, потому и махнул от развилка напрямки. А проходила та «прямая дорога ко граду Киеву на леса на Брынские». Мало того –

*...Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела да замуравела...*

«Заколодела» ж прямая дороженька не оттого, что ведьмы-колдуны на её росстанях ворожили, а по одной простой причине: пролегалла она по землям вятичей, проезд по которым в IX–XII веках слыл самым настоящим подвигом.

И Владимир Мономах в своём «Поучении» (конец XI века) повествует о походе через земли вятичей как о подвиге, при этом и намёка не делает на их покорение или обложение данью.

Видимо, так же, как ранее, в 860–870 годах, киевские князья медлили с принятием уже известного у русов христианства, понимая, что при тогдашних богословско-юридических воззрениях Византии принятие крещения означало переход новообращённого народа в вассальную зависимость от неё, так и пращурь мои, свободолюбивые вятичи, переполненные жаждой жизни, опасаясь любой зависимости, защищали свою религию (а заодно и – волю, свободу) с оружием в руках. Ведь народ, который не готов умереть за свою свободу, утрачивает её. Природное стремление человека к свободе неистребимо.

Но чему быть, как говорится, того не миновать...

ОЙ, ЛЬНЯНАЯ РУСЬ





Вигинского поля хорошо видны окрестные холмы и пригорки. Где-то здесь, на одном из них (попробуй теперь сыщи под спудом стольких веков!), должно было находиться языческое капище – место, куда приходили древние мои родичи совершать свои ритуалы, обряды и моления. Они-то и легли потом, как золотые драгоценные нити, в основу нашей русской народной культуры и, пережив века, сохранились в глубинных пластах фольклора, и самым благим образом повлияли на развитие народного мышления.

Скорее всего, в седые времена было такое капище и на горе Поповке, где недавно, на месте исчезнувшей в 1926 году, поставлена новая церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского. Обычно именно такая возвышенность служила местом для языческих капищ, позднее – для церквей и монастырей. Над горой этой всё кажется всегда: рассвет занимается.

Площадка капища могла быть вымощена камнем с берегов Кромы или ручья Жёлтого, а могла быть и куда проще – затёрта несколькими слоями глины.

Я представляю, как всем миром устраивали обитатели деревушки жилище для своего божества (а быть может, и своих божеств). Иногда им был огромный валун-камень, а иногда – идолом являлся округлый или четырёхгранный столб высотой до двух с половиной метров.

Древний умелец, наверно, с великим благоговением (оттого, что именно ему доверили соплеменники такое важное дело) усердствовал над деревянным божком. Правда, изготавливали богов и из других материалов. Из «Слова об идолах», летописи XI века, узнаём: «начаша кумиры творити, ови деревянные, инеи медяны, друзеи мраморяне и золотеи и серебряны».

Внутри капища обязательно располагался жертвенник, вокруг же священного места выкапывались неглубокие, но достаточно широкие рвы или ямины, в которых разжигались очистительные огни. Именно в таком месте гадали пращуров о будущем своего рода.

Откуда впечаталась в память очень древняя ворожба при помощи священного коня, уж и не припомню. Может, в далёком деревенском детстве, в ожидании бабушкина зачина: «Начинается сказка, начинается побаска – сказка добрая, повесть долгая, не от Сивки, не от Бурки, не от вещего каурки, не от молодецкого посвисту, не от бабьего покрику...» – вьюжным вечером нацвенькал мне ненароком сверчок запечный?

Суть гадания сводилась к тому, чтобы узнать, с какой ноги начнёт движение введённый в круг капища священный конь. Если с правой, то всё будет хорошо, можно чин чином приступать к задуманному (к полевым работам, к военному походу). Ну а как ступит коняга с левой ноги, так и род постигнет беда: живота кто лишится, мор навалится, или ещё что страшное, неведомое постигнет. Лучше уж отложить дела до добрых времён – или хотя бы до следующего гадания. Не отсюда ли пошло «встал с левой ноги», что значит – день или дело не заладилось?

Со временем, на таких, из года в год выжигаемых местах, мог произрастать только кипрейник. В народе этот огненный, роскошный цветок кличут иван-чаем. Стоит на каком-либо пригорке объявиться хоть малой его куртинке – крошечной искорке, как уже через год безудержно разрастается она во все стороны, и, не успеешь оглянуться – буйным полымем занимают соседние косогоры.

Взять хотя бы маковку Царь-горы, что когда-то высоченным холмищем грудилась посреди Ярочкина лога. Всё, бывало, бабуля талдычит нам, ребятишкам: «Не шляйтесь туда-тко понапрасну, не ровён час и шею свернуть – запросто!» (А для острастки, за слушание посулит берёзовой лапши с ремённым маслицем).

В теперешние времена «Царёк» неказистой копёшкой прячется в мареве лени – в густошем молодом березняке (от древних лесов-то и гнилых колодин не осталось). Лето напролёт пылает эта горушка охватившим её с самой Пятидесятницы незатухающим пожарищем. Местечко укромное, потаённое. Красотища-то какая – сиренево-лилово! Даже ручей на дне лога пропитался кипрейным ароматом, вода в нём, как есть, – чай.

Может, именно здесь и воскуряли свои ритуальные костровища древние жители моей деревушки? Кто теперь о том поведает? Мне же хочется верить, что неугасимый кипрейник священным огнём пылает в память о моих свободолюбивых, непокорных пращурах – вятичах.

Богов у наших предков было видимо-невидимо. Всего в древних письменных источниках упоминается более четырёхсот сверхъестественных существ. Перун ведь – заглавный бог в Киевской Руси, а наиглавнейший у вятичей был бог ветров – Стрибог. В нём вятичи видели Единое, верховное божество, отца Вселенной. И Сварог (небесный творец), и Стрибог (бог-отец), и Род (рождающий) – все эти определения могли обозначать одно патриархальное мужское божество. Пращур наш чуял себя всецело в его руках.

Легенда гласит, что Стрибог явился на свет в начале времён из дыхания бога Рода. Ярясь ветрами, вместе с Перуном он повелевал громами и молниями. Ему приписывается немало подвигов: вместе

со Сварогом Стрибог победил Чёрного Змея, на пару с Перуном сражался со Скипером-зверем, с Хорсом бился против Месяца. Куда ни загляни, в каждом краю у великого этого бога имеется потомство: ветры – Посвист (старший (не приведи Господь!) – бог бури, живёт в горах, на севере), Подага (живёт в южных пустынях, иссушающий ветер), Погода (тёплый, лёгкий ветерок). В полдень и полночь время от времени резвятся внучата Стрибога – ветры Полуденник и Полуденчик.

Идол Стрибога, в числе иных языческих богов, был установлен в 980 году князем Владимиром и в Древнем Киеве. Упомянут дед ветров и в «Слове о полку Игореве»: «...се ветри, Стрибожи внуци, веют с моря стрелами на храбрыя полкы Игоревы...».

Богом любви у вятичей слыл Лель, богиней брака и семьи – Лада. Кроме них – и Дажьдбог, и Велес, и Макошь, и многие, многие другие. Среди них – и такие как Домовой, Банник, Овинник, Водяной, Леший.

Пращуры одушевляли природу, сакрализовали её стихии (анимизм). Наиболее ранними у них являлись культы огня, воды и земли. Воде и огню приписывались очищающие и охранные функции, земле – животворящие и охранные. Ещё в XII веке церковный деятель Кирилл Туровский, порицал наших древних родичей, восклицая в одной из своих проповедей: «Уже бо не нарекутся богом стихия: ни солнце, ни огонь, ни источници, ни древеса!»

Вятичи веровали в родственную связь между племенем, с одной стороны, и определённым животным, растением или явлением природы, с другой (тотемизм). Были у пращуров и священные птицы, и священные травы, и священные животные, и даже священные деревья. Одно из них, например, ракета. Даже представить себе невозможно, из какой дальней дали пришло к нам выражение «венчаться у ракитового куста». Это теперь такой (гражданский) брак считается неофициальным. А вот предки-язычники вступали в брак у священных ракит, и вода (тоже священная стихия) являлась свидетелем нерушимой клятвы молодых.

Каждый год двадцать третьего июня отмечался праздник Купала – бога земных плодов – когда солнце даёт наибольшую силу растениям, когда собирались целебные травы. Считалось, что в ночь на Купалу деревья, разговаривая меж собой шумом ветвей, переходят с места на место. Тот, кто добудет в глухую полночь цветок папоротника, обретёт способность понимать язык растений и животных.

В том же, что предки поклонялись животным, можно убедиться, рассмотрев орнаменты на предметах быта, в изображениях на стенах древнерусских соборов, а особенно в устном фольклоре – волшебных сказках и сказках о животных. И поныне живы ещё в народе Святочные гулянья, когда колядующие надевают на себя звериные шкуры и маски.

Бытует поверье: мол, в стародавние времена все животные были людьми. Но совершив дурные поступки, обратились они в животных, рыб и птиц. Правда, взамен того, что утратили дар речи, теперь они всё слышат и не только всё видят, но и предвидят.

И моё Игинское поле имело своего божка – Полевика, который строго следил за правильностью исполнения земельных работ. К примеру, чтоб хлеб-жито сеяли только мужики, упаси Бог допустить к этому делу бабу! Держи, мужик, ухо остро! И нечего голову морочить – она даже присутствовать, глядеть во время сева на поле не смела. При этом мужичок раздевался почти донага. А посевное зерно нёс в особом мешке, что пошила ему хозяйка из его же портов. Так заключался «священный брак» между мужиком и полем.

А вот репу вятичанки мужьям сеять не доверяли. Разоблачались опять же донага и, отдаваясь работе, верили, что передают матери-земле часть своей детородной силы.

Без ясна Солнышка, без Ярилы, без его всевидящего ока, которое за всем земным устройством, за соблюдением законов присматривает, предки наши и жизни не представляли. Не удивительно, что христианский крест сразу же прижился с принятием православия в землях русских – священным знаком Солнца в стародавние времена был тоже крест. Помню, скажет, бывало, бабуля в яркий солнечный день (диву даюсь, вспоминая, чего только она не ведала!): «Прищурься, голубка, посмотри на солнышко, вишь ты, родимое, Божий крестик нам кажет!»

В те, сокрытые веками, времена, когда на землях наших стояли кондовые – дерево не охватишь – леса, пращурь представляли солнце в виде золотого коня, бегущего по небесным луговинам, а позднее – бога солнца, едущего в золотой колеснице. До сих пор, для острастки, оберегая солярными знаками своё жилище от нечистой силы, водружают у нас на крышу дома металлического или деревянного конька и на счастье дарят подкову.

А время неустанно движется, «аки вихорь», вперёд, только вперёд... и нет ему поворота назад, туда, где всё любило, всё пело хвалебные песни: отцу – Яриле и матери – Сырой Земле. Вздохнёшь порою, сожалея о безвозвратно канувшей старине, пытаясь на авось поймать уходящие тени... Попробуй-ка нынче у кого спросить про

Ярилу, про Стрибога, про царь-огонь, про купальские костры – никто и слухом не слыхивал. Помнят об этом лишь седые звёзды...

Да, как бы ни была нам дорога русская старина, канула в вечность Русь языческая, сожалеёй, не сожалеёй, но пути-дороги истории не проторишь на свой манер. И не разобрать уже: на холме, где прошлогодним осенним ветрищем поваляло деревья комлем вверх, напрочь повыворотило корни, а нынче в новолетье, под Троицу, высypало уймаице поплавушек, – божок ли стоит, просто ли камень-глыба...

Оглядишься вокрут: поля да перелески, сиреневые склоны – осыпанные шалфеём да земляничником бутурки... даль плывёт за далью. Быть может, вон под тем, почти сгладившимся от дождей и ветров курганом, лежат останки моих предков. В самой древней древности, в Голубиной Руси, вятичи для сожжённого праха умерших родичей обусптраивали деревянную «домовину» – «столп». Позднее над могилами стали насыпать земляные курганы.

Возникшие из глубины тысячелетий языческие верования, развиваясь из века в век, достигли к той поре высокого уровня, многопланового понимания мироздания.

Гордые, непреклонные пращурь-вятичи, не пожелавшие подчиняться даже верховной княжеской власти, спервоначалу и аж до XIII века продолжали погребать своих соплеменников под насыпями величественных курганов (головой к западу), обряжая родичей в последний путь в богатые свадебные одежды, со множеством украшений, которые щедро испещряли языческой заклинательной символикой.

«Аще кто умряше, творяху тризну над ним, и по сем творяху кладу велику и възлажахуть и на кладу мертвеца, сожьжаху, а посеём собравши кости, вложуху в судину малу и поставяху на столпе на путех», – продолжает свой сказ «Повесть временных лет».

Нередко встречается описание вятичского погребального обряда и в арабских источниках, например, удивителен рассказ о воротах-виселице у «кладь великой» Ахмед ибн-Фадлана из «Сказаний мусульманских писателей о славянах и русских». Через эти ворота жена покойника заглядывала в потусторонний мир и видела там своих умерших родичей: «И если у покойника было три жены и одна из них утверждает, что она особенно любила его, то она приносит к его трупу два столба; их вбивают стоймя в землю, потом кладут третий столб попереёк, привязывают посреди этой переюладины верёвку. Она становится на скамейку и конец завязывает вокрут своей шеи. После того, как она так сделает, скамью убирают из-под нее, и она остаётся повисшей, пока не задохнётся и не умрёт, после чего её

бросают в огонь, где она и сгорает». Через эти же ворота и все участники погребального обряда заглядывали в царство мёртвых.

Арабскому путешественнику запомнилось не только сожжение, но и поминки: «На другой день после сожжения покойника они идут на место, где это происходило, собирают пепел с того места и кладут его на холм. И по прошествии года после смерти покойника, берут они бочонков двадцать мёда, отправляются на тот холм, где собирается вся семья покойного, едят там и пьют, а затем расходятся».

Весной и осенью, соблюдая свои обычаи, устремлялись вятичи поклониться своим умершим ближним, отошедшим из Яви в Навь (потусторонний мир), принося им угощения. Совсем как и мы на Пасху или на Радоницу, в один из главных родительских дней – во вторник второй недели после Пасхи (Фоминой недели), – как бы ни поясняли нам священники о языческих корнях тризны, не удерживаемся: «мёртвым и Божьим пташкам на еду» крошим яичко, кусочек куличика, а на Спас кладём на погосте к подножию голбца душистые дули и медовки. Ещё в «Кормчей книге» запрещены были всякие пиrowания, попойки и возлияния вина и напитков, но обычаем пиrowать (творить тризну) на могилах усопших родственников существует и поныне.

Современные русские поминальные обряды представляют собой смешение чудным образом переживших столетия языческих представлений, унаследованных от предков, с христианскими понятиями и церковными уставами.

Рано утром в родительский день варим поминальную кутью – рассыпчатую рисовую кашу на воде или молоке, с изюмом и сахаром. Укладываем её на блюдо горкой и несём в церковь вместе с хлебом, мёдом и записочкой с именами почивших родных. Мёд, хлеб, фрукты-овощи оставляем причту, а кутьёй, возвратившись домой, угощаем близких на помин усопшей души. Трапеза эта и есть отголосок древней тризны. Всеобщие народные поминки совершаются у нас в день Радоницы, в Троицкую, Дмитровскую и Покровскую субботы.

А разве не языческими обрядами являются причитания и вой по покойнику? Не раз во время посещения кировского погоста приходилось мне видеть, как падала-пласталась на гроб, на могилку, какая-нибудь нашенская баба, обливаясь горячими слезами по родичам, кричала, пела, словно старинные народные песни, свою полынную кручину, свою незатухающую боль.

*Ещё как-то мне, горюшечке,
Без тебя-то жить будет?*

*Все ветры повинут,
Все люди помолвят
Да меня огрелянут!
Снесможнёхонько мне, горяшечке,
Ходить по сырой земле
С такого горя великого,
С печали, со кручины!
Куда мне броситься?
Али в тёмные леса –
В тёмных лесах – заблужуся,
В лесу зашатаюся!
А неможнёхонько молодёшеньке
По сырой земле ходити,
На красное солнце глядети!
Ознобила ты, кормилица,
Без морозу без лютото,
Ознобила, родитель матушка,
Без вьюги, без мятелицы!*

К концу первого тысячелетия нашей эры бог Перун уже возвысился над другими богами политеистического пантеона и подчинил их себе. Но насильственная христианизация, происходившая с VII по XII век, не позволила славянскому язычеству пройти до конца естественный путь развития, судьба богов была связана или с полным забвением, и дребезгов не собрать, или с переименованием (Илья-пророк, св. Никола), или ещё хуже – языческие боги становились бесами (Волос, Макошь).

Правда, они всё ещё живы и в фольклоре, и в изобразительном, и в прикладном искусстве. До сей поры нет-нет да вспомним мы обряды пращуров язычников, поддадимся древним суевериям, а то и вовсе – при хворях-недугах вместо того чтобы прибегнуть к традиционной медицине, постучим в двери бабки-целительницы.

**ДОМ ВОЗВЕСТИ –
НЕ ЛАПТИ СПЛЕСТИ**





рай наш в бывалошное время-то, при вятичах, не в пример нынешнему, – буреломил: лесистый, непролазный, строй хоть жилища, хоть сарай-амбары, налаживай подворье с погребями-подвалами. Тут же – загоны для скота. Разводить его благо было где – поймы рек заросли сочной травой, почему ж не держать скотинку: и рогатый скот, и лошадей, и овец, и свиней, и всякую-разную птицу.

В каждом крупном селе была и своя кузница (а моё Кирово Городище – селение немалое!). Работы в кузне – немерено! В каком хозяйстве не нужны ножи-топоры, ножницы, сохи, серпы, подковы... да мало ли ещё какой мелкий-крупный железный инструмент?

Используя тягловую силу (лошадей) и железные орудия труда, вятичи занимались подсечным, а затем и пашенным земледелием, собирали неплохие урожаи ржи, ячменя, проса и других зерновых. Не только кормили себя, но умудрялись и вести торговые дела и с соседями, и с отдалёнными краями. Торговали и хлебом, и пшениной, и мёдом, и грибами, и ягодами.

Проживая в просторном дому, со всякими-разными нужными и не очень дворовыми постройками, диву даюсь, ума не приложу, как немалочисленное семейство пращура-вятича могло проводить в землянке (четыре метра на четыре!) всю свою жизнь. Где ютились они, особенно в лютую зимнюю стужу?

Обживались вятичи друг от дружки на довольно просторном расстоянии, но не вразброд. Это в неукреплённых деревушках и селищах. А укреплённые поселения-городища обычно обносили глубокими рвами, землю из которых укладывали, поддерживая брёвнами и сваями, в оборонительный вал. В стене этой, в валу, устраивали вход с прочными дубовыми воротами. Через ров к воротам перекидывали подвесной мост. Чем не крепость?

Не раз, проходя по окрестностям Кирово Городища, представлялось мне, как заботливо, всем миром, копали ров, вбивали на валу заострённый частокол мои предки. Жадно всматривалась сквозь время в их лица. Вон парень, крепкий, кряжистый, лицом и повадками – дед мой Михаил в молодости, ворочает сам-один немалые брёвна, скидывая их с подводы... А вон и молодлица – коса в зёмь – вылитая бабушка Нюра в девичестве – развязывает узелок с полдником. Расстилает она в тенёчке под рябинкою скатёрку, раскладывает хлеб, яйца, лук, а сама нет-нет да на парня из-под лебяжьих – вразлёт – бровей посматривает, ушки наострила, прислушивается, о чём её желанный с мужиками толкует.

– Ну, что? Сыскал себе место-то под пожню? – присев передохнуть на скинутые брёвна, любопытствует парень у соседа своего Демьяна.

– А и не говори! Намааялся я с ей, и мочи нету – с прошлого году расчищал кулигу: корчевал да выжигал на верхах у Жёлтого лес, – ответственвал Демьян, продолжая тюкать наобум, заострять для частичка колы, – а в нонешний цветень уж тамотка и отсеялись.

– Небось, просо или репу? – поддержал разговор Михаил.

– А-то как жа? Репу, её, родимую. Самое то, для первого разу. Порыхлит репонька огневище, как надоть, а там, глядишь, в серпень и ржицу засею.

– Ишь, ты какой! Во всё вникает, об земле толкует! – прикидывала Нюрочка, – с таким сойтися – со счастьем спознаться: и истбу сладит, и сусеки наполнит.

А как ей было не приглядываться, коли с прадедов велось: муж – дому строитель, нищете отгонитель.

Возведение жилища – важнейшее дело для всякого человека. Ведь без крыши над головой – беда, а жильё, обустроенное по всем правилам, может принести семейное благополучие и достаток. И поныне у нас говорят: «Дома и стены помогают».

Изба – и помощник, и хранитель, и родовое гнездо. Поэтому предки-вятичи ладили «истбы» с особым смыслом – с почитанием и уважением, со множеством ритуалов. Землянки свои изнутри обкладывали деревом, над землёй выводили бревенчатые стены – срубы – стык в стык с двускатной крышей.

Предки-язычники, обожеествлявшие природу, в первую очередь серьёзнейшим образом подходили к выбору породы дерева. Плотника испокон веков у нас уподобляли творцу, полагая, что уж кто-кто, а он-то точно причастен к сакральной сфере, наделён сверхъестественной силой и особым знанием об окружающем мире, оттого и возведение жилища всегда у нас сопровождалось таинствами и обрядами.

Хоть и критерии священности различны в разных местах, тем не менее, множество деревьев для суеверных пращуров наших являлись священными, а значит, – неприкосновенными. У кого ж на дерево-божество поднимется топор? Липу, например, до сих пор в наших краях под корень не сведут, не срубят. Могли в былые времена взять с неё лыко для лаптей – это да. По сей день собирают липовый цвет, лакомятся её вкуснющим мёдом. Но чтоб изничтожить – ни за какие коврижки! Боже упаси!

«Гребовали» мои предки и «проклятыми» деревьями. Как жить потом в «истбе с лешинкой»? Всегда у нас с теплом относились к дубу, сосне, берёзе. А вот осину – недолюбливали. Считалось, что слаженное из неё жильё отнимает жизненную силу у его обитателей. И ступа-то у Бабы Яги – осиновая (кто ту ступу разглядывал?); и коли вздумает несчастный руки на себя наложить, то (поди ж ты!) обязательно накинёт верёвку на осиновый сук; и кол в домовину бабки-лиходейки надобно вбить непременно осиновый, никакой иной.

Ещё со времён вятичей знают у нас плотники о так называемых «буйных» деревьях. Из века в век следят они, чтобы даже щепка от них не попала в сруб. Беда прямо с этими «буйными»: и крыши-то из-за них набекрень, а то и вовсе рушатся, и стены-то разваливаются, и хозяева, как ни берегись, – гибнут. Деревья эти буйность свою скрывают, не выказывают. Но не было ещё издревле в наших землях маломальского поселения, чтоб не проживало в какой-нибудь крайней с крайнего боку, вросшей в землю по самые оконцы хате, колдучихи или ведуна, чтоб не помог он соседям распознать и выявить то дерево, которое надобно обходить стороной на годы вперёд.

Обычно «буйными» слыvät у нас деревья, растущие на перекрёстках дорог. Может, оттого, что житьё-бытьё у них нескладное, одинокое, бурями ломанное, искорёженное? Ведь здесь и «нечистая» частенько являлась, и погадать, что не говори, именно сюда прибегали. И богатырь наш Илюша Муромец тоже прикидывал, куда б ему податься, выбор делал на перекрёстке, у камня, на котором замшились, но всё ещё проглядывали напутствия: «Направо пойдёшь – богатым будешь, налево пойдёшь – женатым, а прямо пойдёшь – ждёт тебя смерть неминучая».

Вероятно, от пращуров-строителей пошло поверье, мол, не годятся для постройки и деревья «упавшие на полночь». Всяк разумеет: ориентировочно – на север. Кто из плотников не читит совета предков: обходи стороной и дерево, зацепившееся при падении за своих собратьев? Горе поджидает того хозяина, кто махнёт на предусмотрительность пращуров рукой – перемрут его домочадцы один за другим, и ничем этого бедствия не остановить, кроме как раскатить тот злосчастный сруб по брёвнышку (будь он неладен!).

Оказывая уважение к старшим, на большие, старые деревья тоже не покушались. А молоденькие, вроде бы, жалко. Что там рубить-то? Пусть подрастут, наберутся силы. Отпугивали наших предков и скрипучие деревья. Поверья сказывают, мол, и не они это вовсе плачут, а стонут людские души.

Всякое дело требует сноровки, выучки, а плотницкое – особо. Ни что-нибудь, сама жизнь человечья от этого уменья-знанья зависит. Древние вятичи верили: мало, оказывается, выбрать не «буйное», не проклятое, не священное, не на север упавшее, не зависшее, не больное, не мёртвое и, конечно, не плодовое дерево», так надобно, чтобы не произрастали из него сучья-«пасынки». А коли уложил то бревно в сруб – опять жди смерти. Так и это ещё не всё! Запрещались: «деревья с наростом» (гуз), ибо у жильцов будут «кылдуны» (колтуны), деревья «с пристоем» (хозяйская дочь-девушка родит дитя).

К заготовке брёвен подходили тоже не абы как. Предки наши знали наверняка, что валить лес на строительство лучше всего, как отуляют

Семик. Но и на начало работ были свои приметы. Как послушаться того, что не приступали ни отец, ни дед, ни прадед? «Если три лесины не понравились с прихода в лес, не руби и вовсе в тот день».

Но мало заготовить брёвна для постройки, немало важно сыскать «счастливое» место, на котором и жизнь бы заладилась счастливая. На этот случай были предусмотрены, вычислены все «проклятые» места, где ни жилище не поставить, ни семейной радости не познать.

Видать, ещё от пращуров слывет у нас «дурным» место, на котором были обнаружены человеческие кости или пролита кровь. Кто же там уживётся? Мёртвое живому мешать станет. Или ещё – страхи, которые обуревают нас и по сей день во время грозы, пугали суеверных пращуров наших до полусмерти. Потому и жилище своё вятич не поставил бы ни за какие коврижки на месте, куда «саданула» молния. А она, знамо дело, – Божье проклятье. Зачем гневить небеса и испытывать судьбу?

Вот и ещё – исстари повелось: баня – самое «нечистое» место, всяк помнит: там-то и проживает чертовщинка – банники да домовики. Как поставить истбу на месте бани, кто ж осмелится? Так и на бывшей дороге жильё устраивать тоже не след – счастье в новой постройке не задержится, «уйдёт» по ней и богатство.

Любые места, с которыми были связаны какие-то дурные воспоминания, считались неподходящими: ограбили кого-нибудь, случилась ли драка, да просто перевернулся воз с сеном... Остерегающиеся даже не ко времени слышанного петушиного крика предки всё настолько близко принимали к сердцу, что верили, будто беды, случившиеся однажды, могут вернуться вновь на это несчастное место.

Куда пригодней для такого важного начинания места обжитые. А то – не мешало б за скотинкой приглядеться, она, видать, много чего чует да знает, только сказать разве что не может, но где отдохнуть приляжет – верно укажет: строй, хозяин, жильё без опаски, не промахнёшься. Правда, суровая жизнь вынуждала мужика десять раз перепроверить и советы, данные богами, и свои собственные приметы, на этот крайний случай припасены были у пращура-вятича различные гадания.

Одним из самых известных способов выбора хорошего места под постройку было такое: в ночь на пятницу на облюбованном месте насыпают по четырём сторонам – на восток, на запад, на север и юг – небольшие горочки зерна. А поутру, как взойдёт солнышко, смотри: коли зерно нетронуто – место верное, можно приступать к постройке. Ну, а коли зерно растащили мыши или развеяло ветром, не будет в том дому ни ладу, ни покоя. Иногда с той же целью по углам выбранного участка расставляли колышки с прикреплёнными

кусками мяса. Если мясо долго не портилось, место признавалось пригодным для жилья.

А чтобы земля жилище это держала, ему дарили подарки – «жило». Подобно миру, который в мифологическом представлении был «развёрнут» из тела жертвы, жилище также «выводилось» из жертвы. Внимательно ознакомившись с Христианским Номоканонем, нельзя не прийти к выводу, что предки наши не исключали и человеческие жертвоприношения, о чём, порицая языческий обряд, говорится в следующем его отрывке: «...при постройке домов имеют обыкновение класть человеческое тело в качестве фундамента. Кто положит человека в фундамент – тому наказание – двенадцать лет церковного покаяния и триста поклонов. Клади в фундамент кабана, или бычка, или козла». В старь-то люди лишний раз не мельтешили перед строящейся истбой. (А вдруг какое заклятье наложат на тень или на след путём замеров или ударов топора?)

Прислушались ли к этому христианскому наставлению, дошли ли вятичи своим умом, как бы там ни было, только со временем строительная жертва их стала бескровной. И потому как шерсть, зерно и деньги уже в те, древние, времена соотносились с богатством, плодородием и достатком (олицетворение трёх миров: животного, растительного и человеческого), в фундамент стали прятать клочок шерсти, пшеничный колос и медные или серебряные монеты.

«Жило» клали (следуя обычаям пращуров, и сейчас стараются не забыть) не только под фундамент, прилаживают и под пол, и в потолок, кидают и на чердак. Ещё исстари ведали вятичи, что дом подобен Вселенной: есть в нём мир подземный, есть земной, имеется и небесный. И, коли освящены будут эти миры, вдохнута в них жизнь, значит, и хозяева этого жилища будут здоровы, и всё у них будет ладиться.

Живы, живы ещё и крепки многовековые традиции нашего народа, выросшие из обычаев пращуров, если и в моём детстве строил отец родовое наше жилище (может, и не ведая вовсе о том) во многом схожее с «истбой» вятичей.

Предки наши полагали, что не каждое время пригодно для начала строительных работ. Обычно к этому делу приступали они ранней весной, обязательно – в новолуние. Живя в неразрывной связи с окружающим миром, вятичи чутко прислушивались, присматривались к малейшему изменению в природе.

Справив Масленицу, они замечали, как день ото дня деревья и травы пробуждаются от зимнего сна. Согревая своим теплом леса и пашни, набирает силу и солнце их любимый бог – Ярило. Одним словом, весной всё идёт к прибавлению, и новый дом напитывается этой благодатной, живородящей энергией.

Так и отец мой, помнится, подготовившись заранее, с нетерпением ждал, когда обтаёт Мишкин бугор, когда шумнут с него в Жёлтый и в Крому последние снега, чтобы на самой маковке, на просторе, с краешку игинского поля, возвести свой дом, вырастить детей, посадить немалый плодовый сад. (Для сада этого привёз он из райцентра шестьдесят сортовых саженцев, правда, двадцать выпросили соседи. Раздал: свои, как отказать? Помнится, ни одной косточки, сливовой ли, вишнёвой, семена яблок, груш отец куда зря за жизнь не кинул. Дички по подгорью – его рук дело).

До этого не один год искал он по свету такое наилучшее для его души и сердца место, но, удерживаемый корнями своих предков, так и не смог от них оторваться, так и обосновался на всю жизнь в пятистенке в деревушке Игино, на Мишкиной горе: два окошка – в игинское поле, четыре – на Закамни, Гороня, на ручей Жёлтый.

А начал он рубить избу, как и положено, Великим Постом. К Пасхе залили фундамент и с нетерпением стали дожидаться, когда он подсохнет, ведь, чтобы захватить Троицу, с Преполовения надо начинать ставить сруб. Самое доброе времечко – не зря же говорят у нас: «Без Троицы дом не строится». Ну, а в Петров пост уж и крышу начали крыть. На Покров справили новоселье. Помню, как первой пустили пройтись по свежеструганным половицам кошку, следом – кочетка, и только после этого взошла в дом бабушка. Обходя дышащие свежим деревом хоромы, она раскидывала по всем углам мелочь, приговаривала: «Дух Святой, Спасова рука, Богородицын замок, храните нашу храмину!»

Помогал отцу в строительстве дома старый дед, поставивший не один сруб на своём веку. Говорят, мол, и отец его, и дед, и прадед были зодчие, занимались плотницким делом. Крепко-накрепко, не вырубить топором, врезались их научения в его память. Не только научения, но всевозможные, понятные теперь уже одному старому плотнику, ритуальные действия и присказки-наговоры.

В первый день, как положили один-единственный венец, работу оставили назавтра и уселись за «окладное». Угощался плотник, похваливал мамино старание, приговаривал: «Хозяевам доброе здоровье, а дому доле стоять, пока не сгниёт». Судачат, мол, дед этот – себе на уме. В случае чего, коли что ему не по сабе, оплатит втрое: несдобровать ни хозяевам, ни их жилью. Сказывают, мол, стоит произнести мастеру после укладки первого венца, ударяя крестообразно топором по бревну и держа в уме задуманную порчу: «Гук! Нехай будиць так!» – беды не избежать. Слава Богу, плотницкой обидой нас Господь не наказал!

А на тот случай, чтобы в новом доме было тепло и достаток, дед, взобравшись на самую верхотуру, на «черепной венец» (и чёрт ему не брат!), рассеял по сторонам хлебные зёрна и хмель (шишки которого

загодя приказал мне надрать с зарослей огородного плетня). Потом приступили к установке матицы. Бабуля, подвязав к ней, опять же по указке старого плотника, испечённый с вечера каравай, принялась, до самого её водружения на место, молиться. А по укладке матицы работы на тот день прекратили, уселись за стол, «матицу обмыть». Дед, соблюдая древние каноны, продолжил distraивать дом лишь через день.

Ещё предки наши уделяли пристальное, особое внимание прорубанию в новом срубе окон и дверей, стараясь наладить и обезопасить связь внутреннего мира (нового дома) с внешним. Старый плотник, видать, знал и об этом. Когда вставляли дверные рамы, притолоки и подоконники, он, перекрестив топором проёмы, молвил: «Двери, двери! Окна! Окна! Будьте вы на заперти злomu духови и ворови!»


Однако дом становится «своим», обжитым и безопасным, только после покрытия. Небо – крыша земли. Всё, что имеет верхний предел, закончено. Крышу украсили изображением конской головы. Место, где её приколотили, называют у нас «князьком» или «коньком» (в стародавние времена водружали на это место лошадиные черепа), а желоба для отвода воды украсили изображениями курицы, их так и кличут «курицы». Бывало, сказывают, без них не обходилась ни одна крыша, потому как они являлись ни простой безделицей, а оберегами. И по сию пору бытует ещё поговорка: «Курица и конь на крыше – в избе тише».

Бабушка и мама, как и полагалось, готовили «замочку» – семейный обед вместе с плотниками. Мастер, не смея отступить от прадедовского обряда, намекнул: мол, не худо бы по такому случаю состряпать и саламату. Блюдо это почему-то несправедливо позабыли в наше разносольное время. А тогда, в моём детстве, его ещё можно было отведать на праздничном крестьянском столе. И всего-то – густая затируха из гречневой, ячменной или овсяной муки, замешанная на сметане, заправленная топлёным маслом.

Стройка, вроде бы, была закончена. Уж и новоселье справили. Но целый год ещё (упёрся – не свернуть!) мастер не подымал крышу над сенями, чтобы «всякие беды-напасти вылетали в эту дыру». (Иногда по той же причине оставляют не побеленным кусок стены над иконами). Быть может, старый плотник и не разбирался во всех тонкостях древних обрядов, но у него хватало мудрости их неукоснительно блюсти. А ведь незавершённость, незаконченность прашуры наши вятичи связывали с идеями поддержания существующего вселенского порядка, вечности, продолжения жизни, бессмертия.

**ТЫ ПОШЕЙ МНЕ,
МАТЕНКА,
КРАСЕН САРАФАН**



рхеология – любопытнейшая наука. Она хоть как-то позволяет сегодня представить одежду вятичей (так называли одежду в Древней Руси). Правда, достоверно описать, во что облачались предки, затруднительно. Ещё сложнее, если речь вести о VI-IX веках, когда наши пращуры своих покойников сжигали. Даже металлические украшения той эпохи дошли до нас порой в оплавленном виде. Как правило, что-то конкретное об одежде древних вятичей можно сказать, начиная с X века и позднее.

Угомонив «поганых», справив тризну по погибшим сородичам, пращуры продолжали обрабатывать землю, ловить рыбу, заниматься бортничеством и скотоводством – боровая жизнь, древнемужицкая. Были среди вятичей, проживавших в наших местах (судя по находкам), и гончары, и кузнецы. Женщины знали прядение и ткачество.

Может, это из тех сумрачных веков, переходя из рода в род, дошла и до меня печальная бабья песня с её необычайно душевными звуками, песня, которую певала моя бабушка Нюра, мамина мама, сидя за ткацким станом:

*Туманно красное солнышко, туманно,
Что во тумане красного солнышка не видно.
Кручинна красная девица, печальна,
Никто её кручинушки не знает,
Ни батюшка, ни матушка родные,
Ни белая голубушка-сестрица.
Печальна душа красна девица, печальна!
Не можешь ты злу горю пособити,
Не можешь ты мила друга забытьи,
Ни денною порою, ни ночьюю,
Ни утренней зарёю, ни вечерней!..*

Вспоминаю эту песню, и чудится мне, будто не баба Нюра это вовсе, а пра-прапрабабка моя древняя ткёт холсты, задумчиво ведёт ею же и слаженную песнь о несчастной любви.

Летописные источники свидетельствуют, что вятичи носили одежду из шерсти, конопли и льна. В зимний период климат в наших краях достаточно суров. Вятичи спасались от холодов, изготавливая

одежду из меха домашних и диких животных: медведя, волка, куницы, горноста, зайца, лисы, из овчины. В ход шла и кожа коров, лошадей, коз и свиней, из неё мастерилась обувь, рукавицы, пояса.

Из глубины столетий дошла до нас поговорка: «По одежке встречают». Одевание позволяло древним определять, из какого роду-племени человек, из какой он местности, состоит ли в браке, к какому сословию принадлежит.

Основной цвет одежды был белый или серый (неотбеленный). Правда, вятчи любили и красный. Эти цвета чередовались и в тканях, и в вышивках. Остатки окрашенных тканей, вышивки орнаментов из вятчских погребений или белые, или красные.

Общий образ костюма на основании археологических данных восстановить достаточно сложно в связи с плохой сохранностью тканей – слишком небольшие кусочки. Но это можно попытаться сделать по другим источникам, например, по изображениям на браслетах.

Наиважнейшей и любимейшей одеждой как для мужчин, так и для женщин была, конечно, нательная рубаха. «Рубом» в старые времена называли отрез ткани, обрывок, отсюда и название. Изготавливалась она – проще не придумать: кусок ткани перегибали пополам, прорезали отверстие для головы, подпоясывались. Позже стали сшивать бока, придумали рукава. А сначала – обычная туника, которую носили многие народы мира. Мастерилась она из грубой ткани. А вот более короткая «сорочка», «сорочица», шилась из тонкой да мягкой ткани.

Мужская рубаха, как правило, доставала до колен, но могла быть и длиннее. (Порой юноши ходили в ней одной, без портов, до самой свадьбы.) Для себя же прашурки наши кроили рубахи до полу (отсюда, вероятно, и слово «подол»).

Особый сказ – о рукавах. Были они длинные и широкие, а у запястья схватывались тесьмой. В нарядных, праздничных рубахах рукава шились намного длиннее – в распушенном виде достигали земли, и тесьмки на них заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами. Называли их «обручьями». Не водилось в Древней Руси праздника, который не имел бы религиозного характера, поэтому и одежды надевались в такие дни не только ради красоты, одновременно они являлись и ритуальным облачением.

Кто не помнит из русских народных сказок о девушках-птицах, о Царевне-лебеди? На одном из браслетов XII века, созданного для священнодействия, изображена девушка, исполняющая магический танец. Длинные, размётанные волосы, руки в спущенных рукавах взлетают, словно лебединые крылья, – танец дев-птиц, «вил», приносящих земле плодородие.

Обязательно и женщины, и мужчины подпоясывались. «Распоясанных душой» хулили. Вятчанки носили вязаные и тканые пояса («опояски», «поясницы»). Мужчины кроме таких же, могли подвязать рубаху ещё и ремненным поясом. Славилась пояса из кожи дикого тура. Каждый мужчина племени был потенциальным воином, а пояс у многих народов мира слывёт одним из главных знаков воинского достоинства.

Кожаные пояса имели металлические пряжки, бляшки и наконечники различной формы (круглые, овальные, восьмёркообразные и др.) из различных материалов: из бронзы, серебра или железа. К поясам привешивали мелкие подручные вещицы, например, ключи, гребни из кости или дерева, мешочек – «карман» или вязаные иглой кошельки из самопрядной нити, крашенной, как правило, крапивой.

Помнится: родилась у меня дочка. Пришли родичи с подарками. Удивила своим подношением бабуля – повязала на девчоночку крохотный расшитый разными символами поясок. И меня в детстве всё, бывало, подпоясывала. Не редко слышала я от неё: «Не след девице «распоясанной» жить, душу студить». Да и в народе ведь о наглых, о позабывших правила приличия, тоже говорят: «Ишь как распоясался!»

Ведётся это истари. Ведь раньше-то сорвать с кого-то прилюдно пояс было тяжким оскорблением (всё равно что залепить пощёчину). Обычай этот настолько укоренился, что и сейчас, помещая военнослужащего на гауптвахту (наказывая), с него снимают пояс.

А то вот ещё всплыл один необычный по нашей жизни случай. Старшая отцова сестра, моя тётушка Нинила, будучи молодой девицей, отправилась как-то по вербовке на торфоразработки в Шатуру.

Вернулась домой, подхватив на болотах малярию. Трясло, лихорадило её жутко! Медицины в Игино – никакой, и вынуждена была девчонка постучаться к местной лекарке Колдучихе: «Помоги, баушка, за-ради Христа!»

Как потом рассказала мне тётушка, бабка ей на то: «Принести-тко мне, детонька, от своего штапельного платья пояс. Без него – никак нельзя!» Что уж ворожея над ним пошептала, разве кому эту тайну узнать? Только отослала бабка Нинилу с наговоренным поясом в Гороня: «Сыщи-ка ты в лесе, золотко, осинку, трижды поклонися ей да слёзно умоли: «Осинка, осинка, возьми мою трясицу, дай мне здоровья!» Да не позабудь опосля перевязать то древо своим пояском. Там, ласточка моя, твои болести и останутся. Ей, осинке-то, всё равно вить трястись до скончания веку, а с тебя – все хвори долой!»

Бабкин ли наговор помог, поясок ли, или само по себе отлегло – кто ж теперь до истины допытается? Только тётушка на всю остатнюю жизнь избавилась от лихорадки.

По вороту, подолу, рукавам, чтобы обезопасить отверстия одёжи, – обязательно вятчанками вышивались обереги, священные магические символы. Ворот же застёгивался на бронзовые, медные, костяные или деревянные пуговицы. Не раз археологами были найдены маленькие пуговицы, литые, грушевидной или биконической формы, украшенные всевозможными узорами. Застёжками вятчанам служили и фибулы – булавки-украшения. Изготавливались они из бронзы или серебра.

Узкие, доходящие до щиколоток штаны, назывались у пращуров ноговицами. У пояса они подвязывались бечёвкой. Шились ноговицы не слишком широкими, кроились из прямых полотнищ, а между штанинами («в шаг») вставляли ластовицу – для удобства ходьбы.

На случай похолодания поверх надевались корзно, жупан, сукня и кожух. Сферические шапки с околышем носила знать, а простой народ зачастую обходился без головного убора.

Обувь вятчи, как правило, носили не на голую ногу, «плели копытца», носки. Такое вязание (беспяточное, на одной спице) помнят в нашей местности и по сей день. Впрочем, чаще всего носили, конечно, онучи.

На ногах могла быть разная «обувка» («обувенье», «обутель», «обуца), ведь на Руси с древнейших времён наряду с плетёной – лаптями, чунями – носили и кожаную обувь – поршни, сапоги. В древнерусском фольклоре, в былине «Вольга и Микула Селянинович», сохранилось обрядовое описание сапог на высоких каблуках:

*...У оратая сапожки – зелён сафьян:
Вот шилом пяты, носы востры,
Вот под пятау-пятау воробей пролетит,
Около носа хоть яйцо прокати...*

А ещё – предки наши любили мягкие, без каблуков, черевики, которые, как правило, шились из целого куска кожи или из двух частей – цельнокроеного верха и подошвы. Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шивали эти части различными швами, кто каким владел: и прямым, и через край, и тачным. От выдумки мастера зависел и покрой. Но самыми распространёнными были три: верх со швом сбоку или со швом вдоль большого пальца; носок обычного контура или укороченный срезом; симметричный или асимметричный воротничок. Однако, несмотря на некоторые различия, форма башмаков была одна и та же – узкая обувь с невысоким подъёмом, плотно облегающая ногу. Крепилась она при помощи ремешка, который завязывали, обвив вокруг щиколотки. По коже на обуви выполнялась вышивка шерстяной ниткой.

На зиму к лаптям вязались сотканые из «белой» волны суконки, «валялись» валенки. А в тёплую пору и мужчины, и женщины по поляни, лопушнику да чернобыли ходили босиком. На тяжёлые работы (на пахоту, жатву) – конечно, лапти («лыченицы», «лычаки»). Ноги обматывали портянками из «ряднушки» – суровой, плотнее холста, ткани, сработанной рядочками. Лапти, истоптав за века много вёрст нашенских просёлков, от пращуров-вятичей добрали и до XX века. Правда, археологи лаптей не нашли, зато инструмент для их плетения встречался не раз.

Помнится, в деревне нашей в моём детстве мужики (и не один!) держали инструменты для плетения лаптей – кочедыки и из костей (рёбер животных), и из металла, умели ещё плести лапти «в косую», как древние вятичи (поляне, древляне и радимичи плели «в прямую» клетку). И не только из лыка, ещё – из берёсты, из кожаных ремешков. Иногда лапти подшивались кожей – «подковыривались». Учёными найдены кочедыки, изготовленные ещё в каменном веке!

Правда, в наше время об этой обувке уже никто не сокрушался – плетение лаптей считалось, скорее, баловством, чем жизненной необходимостью. Хотя... и пращуров занимались плетением лаптей между делом, принимая это за отдых, за лёгкую работу. Отсюда и

выражение «лыка не вяжет», значит, не способен к простейшим действиям.

Немудрёная обувка эта, конечно, – недолговечная. Обычно зимою лапти пронашивались за пару недель, по весне, в распутицу, – не отхаживали и недели, в страду – и того меньше, три денёчка. Поэтому, отправляясь в путь-дороженьку, пращур брал не одну пару запасных лапотков. «Эх, лапти, мои, лапти липовые! Вы не бойтесь, ходите, тятка новые сплетёт!»

Загодя, зимними ночами, готовились к жатве: чтобы не пораниться о стерню, вязали на одной спице накидной петлёй из льняной «верчи» чулки. Были они настолько плотные, что сами по себе являлись обувкой.

Лён в наших краях давно не выращивают. А вот громадные клубки (более ¼ аршина в диаметре) из конопляной «верчи» повидать мне посчастливилось. В раннем детстве моём служили они мне обычными мячиками. Помню, как бабушка сучила руками конопляные верёвки, а я помогала ей их сматывать в шары-клубки. И первая моя детская обувь, в ней и ходить пошла (сейчас бы сказали, наверно: тапочки, пинетки, детские туфельки), из этой самой «верчи», и звалась она – «чуньки». Бабуля и для своих, «убитых годиками», ног вязала чуни из той же «верчи». И для хозяйственных работ, в зиму, из неё же, только куда тоньше, на иголках готовила «вязёнки».

Как случится, бывало, минутка, – она и за вязанье. Но даже при всём её усердии варежек нам, детворе, вечно не хватало: то, катаясь на санках, по подгорью растеряем, то дашь какой подружке руки погреть, да так и позабудешь. «Не напасёшься на вас, ей Богу!» – только что и скажет бабуля и примется снова за спицы. Правда, со временем выдумщица стала пришивать внучатам варежки к рукавам на верёвочку.

Женщины племени вятичей были настоящие наряжохи. На шею – всегда какое-нибудь украшение-невидаль: медная или бронзовая (реже дорогая – биллоновая – сплав меди и серебра) гривна, ожерелье из арабских дирхемов (серебряных монет).

Одним из самых изящных шейных украшений была драгоценная цепь. Удовольствие это стоило немалых денег, и носили его, конечно, знатные вятичанки.

И каких-никаких бус (а до XVII века их называли «ожерелья») вятичанки только не носили: и стеклянных (Древняя Русь вообще считается царством стеклянных бус), и серебряных, и хрустальных, и сердоликовых, и аметистовых. Были и чёрно-белые мозаичные, и аметистово-мозаичные, и даже чёрно-сине-зелёно-жёлтостеклянные.

Любили белобрысые Марфушки и чернявенькие Прасковьи и нагрудные подвески, указывающие на их представления об устройстве мира. Одни из них – «лунницы» – в форме полумесяца – символизировали луну, другие – в виде диска с лучами – солнце. А ещё – пращурки мои обожали «позолоченный» бисер и бусы из розоватых, а порою – белых шарообразных хрустальных или стеклянных бусин диаметром от десяти-пятнадцати миллиметров до двух сантиметров. Наиболее любимым цветом бус считался зелёный.

Родоопределяющими признаками племени вятичей являлись сердоликово-хрустальные бусы с привесками. Привески были очень разнообразны. Особенно часто встречались археологам биллоновые кружочки с ушками для прикрепления, так называемые «манетообразные». Обычно они – совершенно гладки, лишь иногда покрыты орнаментом. Подвесками могли быть и бронзовые или серебряные крестики.

Вплоть до XIII века существовали подвески и поясные (около двухсот типов), и играли они роль амулетов. Исполнялись они в форме языческих символов. Спросом пользовались подвески, символизирующие предметы быта (ключи, гребни с двумя звериными головами, ложки) или богатства (топорики, ножики). А вот привески в форме животных являлись символами счастья. От такой красоты и современная женщина вряд ли бы отказалась! Носились они на длинных шнурах или цепочках и крепились к платью на груди или на поясе. В ходу были серебряные, медные, бронзовые и биллоновые подвески. До XV века просуществовали подвески-бубенцы, которые, по мнению наших пращуров, отгоняли своим перезвоном злых духов.

Украшения эти в древнем мире имели магический смысл, служили оберегами. Предки наши верили, что именно женщина хранит «золотой фонд» генов своего племени, поэтому она была существом более священным, чем мужчина. И наряд её, конечно, отличался обилием украшений-оберегов. Носили их на самых незащищённых участках тела – запястьях, горле, висках и т. д. Даже в

наш просвещенный век мы нет-нет да вспоминаем о таких амулетах-талисманах.

Пальцы прапращуров были «рясно» усеяны множеством перстней, носили их по несколько на одном пальце. Причём как женщины, так и мужчины. Простейшие из них – проволочные. А щитковые, украшенные драгоценными камнями, именовались перстнями, по форме кольца уподоблялись браслетам. Особая статья – перстни печатные. На их пластинке обычно изображалась символика владельца. И использовался такой перстень, к примеру, для оттиска на воске (при скреплении торговой сделки или заключении военного союза).

И, конечно же, наиболее распространённые, характерные украшения славянских женщин – височные кольца или усерязи. Первоначально они являлись важным этническим признаком: по форме и виду колец можно было сразу определить племя, к которому относилась носившая их женщина. У вятичей, славившихся искусными кузнецами, они были особенные: зубцы их увенчивались одной или несколькими серебряными «капельками». В течении XI века «капельки» меняли размеры и форму, постепенно превращаясь в плоские расширяющиеся семилопасти, напоминающие нисходящие лучи солнца. Но с развитием городов височные кольца стали приобретать общие черты, и их племенные различия после XII века почти стёрлись.

Изначально усерязи носили не только в ушах, но и вплетали в волосы, одевали на уши, крепили к головному убору лентами и ремешками. Обычно височные кольца изготавливались из сплавов меди и железа, но были усерязи и дорогие – из серебра и даже золота. И способы изготовления их тоже разные. Самыми распространёнными были проволочные кольца, встречались также бусичные, щитковые и лучевые. С их исчезновением в XIV – XV веках самыми распространёнными височными украшениями стали колты.

Обычные серьги, в отличие от височных колец, с XVI по XIX век носили и мужчины и женщины. Правда, мужчины носили серёжку в одном ухе, а женщины – в обоих.

Материал, из которого изготавливались украшения, – самый разнообразный. А уж форма!

Руки наши пращурки любили украшать браслетами с многозначимой сакральной символикой. Особенно модными с середины XII века до начала XIV века были стеклянные браслеты

всевозможной расцветки. Как правило, были они круглыми, но различными по сечению: и витые, и крученые, и рубчатые, и гладкие. Вятичанки носили браслеты и завязанные, и ложнозавязанные, и ложновитые, и тройные, и четверные, и тупоконечные, и зубчатоконечные, и клиноконечные, и ушастоконечные, и овалноконечные. Пластинчатые и плосковыпуклые, квадратнопроволочные и точёноконечные, толстоконечные и загнутоконечные, сплошные и разомкнутые.

Помнится, наряжаться любили у нас в семье все: ни бабуля, ни матушка моя не обходились ни без бус, ни без серёг. А какие красивущие завески мастерила для себя бабушка, какие рубашки с кружевами-мережками шила для нас матушка! На них и «переснятая» со старых узоров вышивка, и радугой – разноцветные ленты-рюши! Бывало, накануне Пасхи или Троицы, подмигнёт мне бабуля: «Айда, Татьяна, пойдём баечки, ситчику прикупим, настрочим тебе к новолетью платьев, сарафанов!»

А уж о шалих-подшалках и говорить не приходилось. Все сундуки ими стояли под крышку забиты, на все случаи жизни: и лёгонькие, ситцевые косынки-платочки – на летний сенокос, когда округа скрывалась в сочной густой зелени; и шерстяные полушалки, белокрайки, – на прохладцу, сбегать за маслятами-рыжиками в растянувшийся версты на три по венцу Мишкиной горы загустевший, не пропускающий света Божьего, борок Хильмечки; и огромные букетистые шали – на случай, когда вдоль игинских и Кировских улочек всю разгуляют Рождественские и Крещенские морозы.

Как же хотелось, наверно, и моим древним прабабкам похвастаться незамысловатыми украшениями, а ещё – вышитыми-вытканными собственноручно узорочьями на своих одеждах, что подсмотрели они нечаянно у полевых цветов, у лесных деревьев, у речных излучин. Я-то как женщина, ой, как их понимаю!

А где красоту такую показать? В будни одевались вятичанки, не смея нарушать установленные прабабками законы, без особых мудрствований: рубаха – в землю (опять же, расшитая по запястью, горловине и подолу обережными знаками) да пара снизок нехитрых бус. А вот на гулянку, в праздники, которых, надо сказать, было, несмотря на полную лишений жизнь, на Руси немало, не поленятся они, разоденутся на славу.

**А МЫ МАСЛЕНУ
УСТРЕЧАЛИ**





удрые предки наши во времена Руси Голубиной были очень близки к природе, жили по солнечному календарю. И череда их праздников тоже ориентировалась на Солнце. А веселиться пращуров ещё как могли!

Иегумен Елизарова монастыря Памфил в своём «Послании Псковскому наместнику» сообщает, например, о гуляниях на Купалу: «...и тогда ... мало не весь град взматется и возбесится. Стучать бубны и глас сопелий и гудуть струны, жёнам же и девам плескание и плясание, и главам их наживание, ушам их неприязнен клич и вопль, всескверненныя песни, бесовская угодия свершахуся, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; туже есть мужем же и отроком великое прельщение и падение, ко яко на женское и девическое шатание блудно им воззрение; такоже и женам мужатым беззаконное осквернение и девам растление...».

В начале зимы, например, двадцать первого декабря, в день зимнего солнцестояния отмечали вятичи Коляду, праздновали Рождение Солнца. А ровно через две недели после зимнего солнцестояния наступали, по их мнению, дни великой тьмы (самое время для ворожбы и гаданий! Вот когда распояской можно было увидеть не одну бабу на деревне, ведь снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, нечистой силе). Эти две недели, с двадцать первого декабря по пятое января, весело «щедровали», отмечали Зимние Святки, которые заканчивались Водосвятием. С четырнадцатого же по двадцатое марта, за неделю до дня весеннего равноденствия, широко праздновались проводы зимы, Масленица.

День весеннего равноденствия, двадцать первого марта, назывался Велик день или Красная горка. В июне, с четырнадцатого по двадцатое, «гуляли» проводы весны, ещё одни Святки – Зелёные. Эту неделю до дня летнего солнцестояния называют ещё и Русальей. Так как Зелёные Святки посвящены богине водоёмов, то в это время не купались. К купанию приступали двадцать первого июня. На Купалу, в день летнего солнцестояния, отмечали начало лета. «А! была – не была! Снова распоясывались девки да бабы. А иначе (кто ж об том не знает?) в эту ночь ни клада, ни цветка папороти не сыскать. А с Ильина дня «камень холодит воду», потому и купанье прекращалось. Проводы лета – Бабье лето – устраивались на неделе с четырнадцатого по двадцатое сентября, за неделю до осеннего

равноденствия. И, наконец, в день осеннего равноденствия двадцать первого сентября, наступал щедрый праздник урожая, Встреча осени.

Четыре ипостаси славянского бога Солнца – Коляда, Ярило, Купайла и Световит – соответствовали четырём астрономическим временам года: зиме, весне, лету и осени.

В марте, с началом года, праздновали предки День Марены (первого марта), День памяти князя Игоря (третьего), Сороки или Жаворонки (девятого), Овсень малый (четырнадцатого), День Герасима-грачевника (семнадцатого), Комоедицы (двадцать четвёртого), Открытие Сварги – Закличка Весны (двадцать пятого), Ладодение (тридцатого). На апрель приходились Пробуждение Домового (первого апреля), Водопол (третьего), День Карны-плакальщицы (седьмого), День Семаргла (четырнадцатого), Лельник (двадцать второго), Ярило Вешний (двадцать третьего), Навий день (двадцать девятого), Родоница (тридцатого). Богат на веселье и май: Живин день (первого мая), Пролетье (седьмого), Вешнее Макошье (десятого), Ярило Мокрый или Троян (двадцать второго), Праздник кукушки или Кумление (двадцать пятого).

С приходом лета наступали свои, богатые традициями и обычаями предков, праздники. В июне отмечались Семик (пятого числа), Духов день (девятого), Рождение Вышня-Перуна (двадцать первого), День Скипера Змея (двадцать второго), Аграфена Купальница (двадцать третьего), Купайла (двадцать четвёртого). На самую середину лета, на июль, выпадали День памяти князя Святослава (третьего числа), День Снопа Велеса (двенадцатого), Перунов день (двадцатого). А в августе попевали Спожинки (пятнадцатого) да День Стрибога (двадцать первого).

Вступая в осень, в сентябре, пращуров наши почитали День памяти князя Олега (второго сентября), Род и Роженицу (восьмого), Новолетие (четырнадцатого), День Сварога (двадцать первого), Праздник Лады (двадцать второго), Родогощь или Таусень (двадцать седьмого). В октябре отмечали Встречу Осени с Зимой или Покров (четырнадцатого числа) и День богини Макоши (тридцать первого). А в ноябре на Сарену (двадцать пятого числа) устанавливалась слякотная погода.

Зима открывалась Днём памяти богатыря Святогора (третьего декабря). Особо почитался нашими предками Наумов день (четырнадцатого), самым коротким и самым холодным днём в году

считали Карачун (двадцать первого). На Солнечное Рождество (двадцать пятого) отправлялись колядовать, а один из самых любимых праздников – Щедрый вечер – справляли, щедровали тридцать первого числа, им начинались Большие зимние Святки, а былинного богатыря – Илью Муромца почитали в самый первый январский день. Следом праздновали Турицы (шестого), Бабы каши (восьмого), День похищений (двенадцатого), Интру (восемнадцатого), Просинец (двадцать первого), Велесичи или Кудесы (двадцать восьмого), День Деда Мороза и Снегурки (тридцатого). Наконец, на исходе зимы, в феврале, встречали Громницу (второго числа), Великий Велесов день (одинадцатого), Сретение (пятнадцатого), Починки (шестнадцатого). Череду годовых праздников заканчивал Троян Зимний (восемнадцатого февраля).

Много у нас было в старину удивительных праздников. Вот, к примеру, лишь проклюнется по весне на взгорочьях цветень (апрель), нарядаются девушки и «схожахуся на игрища, на плясанье» на одном из ближних игинских холмов, да хоть бы опять же на Мишкином бугре со своими «дьявольскими лестьми», «с сопелями сотанинскими», праздник богине девической любви – Леле, праздновать. «Их свирели длиной в два локтя. Лютня же их восьмиструнная». И поплывут-заворкуют, разнебесятся их нежные молодые голоса сквозь росные туманы, сквозь голубиный покой за Ярочкин лог, к Закамням, до самых дальних Гороней:

*О, Лелю молодая, о Лелю,
Ты вьюная, о Лелю,
Ты по горочке пройди, о Лелю,
Покажи своё лицо, о Лелю,
На головушке венки, о Лелю.
Своево-то вьюнца, о Лелю,
Да пожалуй-ка яичком, о Лелю.
Ещё красненьким, о Лелю.
Что на красном блюде, о Лелю.
И при добрых людях, о Лелю.*

По древним поверьям, только этот день мог помочь соединиться влюблённым, родители которых противились их браку. Влюблённые избегали по зорному следу на холм, усыпанный цветами, и с этой

минуты никто не имел права их разлучить. И поныне считается, что свадьбы, сыгранные в эти дни, – самые развесёлые, а семьи – самые крепкие. Лельник обычно устраивался накануне Егория вешнего (двадцать второго апреля). И сами девицы – одна другой краше, и дни эти «Красной горкой» прозываются. (Помня о благодати этого времени, и я дочь свою Анну выдала замуж на Красную горку).

Первую раскрасавицу вятичи кликали Лялей (Лелей). Заплетут ей из первоцветов, из медуниц-пролесок, венков, сладят дерновую скамью, усадят на неё свою богиню, примутся вокруг корогоды водить, величальные песни спевать, славить её как кормилицу и подательницу будущего урожая. Богине, конечно, полагались приношения. Рядом с девушкой размещали и каравай, и кувшин с молоком, и сыр, и сметану, и яйца. Были они и простые, белые, но в основном – чудные «крашенки», «писанки». Раскраска яиц продолжалась на протяжении всей «Красной горки».

До наших дней сохранилась та стародавняя традиция. Церковный пасхальный календарь сокрыл архаичную суть обрядов, связанных с яйцами, а ведь содержание росписи «писанок» уходит в глубокую древность!

В детстве любила я наблюдать, как бабушка готовилась к этой праздничной неделе. А как же радовалась, когда и мне доверяли священнодействие – переснять с расписного яичка замудрёнистый узор: «Накось, ягодка, расстарайся, – улыбнётся, бывало, бабушка, – у тебя глазки востраи, скоро лучше мово изукрашивать станешь!»

В замысловатом значении символов этой росписи, наверно, запуталась и сама бабуля, но из года в год в доме нашем сберегали диковинные орнаменты, среди которых были и картины мира, и различные животные (особенно запомнились великолепные небесные олени), а ещё – множество древних символов жизни и плодородия.

Яйца вообще, как крашенные, так и белые, играли особую роль в славянской обрядности. Вот и дедушка, бывало, ни за что по весне не выедет на пахоту, коли не разобьёт о голову Воронка яичко. Бабы же в деревне нашей, уж и сами не ведая зачем, по неписанному закону – «не нами заведено, не нам и отрекаться» – до сих пор кладут яйца под ноги скоту при первом выгоне из хлева (опять же – в Лельник!). В детстве ребяташки, и я в их числе (как много веков

назад делала это детвора вятичей!), катали на «Красную горку» с бугров «крашенки».

В старину-то строго следили, чтобы молодёжь играла на праздники. Какое ж счастье без веселья, без игры? Парень, если и женится, то обязательно промахнётся – достанется ему жена или рябая, или вовсе – бесплодная. А коли девка не станет играть – вовсе может замуж не выйти. Предки наши верили, что без игры нет жизни для души.

К игрищам на Красную горку готовились особенно тщательно. На «удачливость» крашенок старались повлиять какими только никакими ухищрениями! Помнится: брат мой с дедушкой уединялись и, отколупнув махонький кусочек скорлупы, высосав свежее яйцо через соломинку, наливали его свинцом. Глаза и у деда, и у внука при этом заговорщицки горели, и старый подбадривал мало: «Ну, теперь ты игрок – хочь куда! Все коны – твои!»

А мне, чтобы яичко моё катилось с горы дальше всех, бабуля (надо же додуматься!) натирала крашенку крылышками сушёной бабочки. Может, она чего перемудрствовала? Частенько возвращалась я домой – глаза на мокром месте. Тогда, принимаясь меня утешать, бабуля переходила на шёпот и сообщала совершенно таинственный способ придания скорости очередной крашенке: «А мы, Солныш ты мой яснай, возьмём и яичко твоё на ночь в печурку к тараканам подложим. Они, погляди-ка, какие швыдкие. И завтра, – обнадёживала меня рódная, – яйцо твоё за Крому улетит! Не печалься, ягодка!»

...Сколько корогадов, гуляний с тех пор схлынуло, сколько песен сыграно!

Пращуры наши любили веселье, потому и праздников у них насчитывалось великое множество. Вот и ещё один: двадцать восьмого января, почитая заповеди дедов, они устраивали Кудесы, принимались угощать Домового. Прозывали своего божка ласково: то Запечник, то Прибаутник, а то, видать, уважая его слабости, ещё хитрее – Сверчковый заступник. Могли обозвать и Господарем, Кутным богом, и просто Дедом, Некошным, Дрёмой, Баюнком, Ночным сказочником, Колыбельным песенником, Плутым, Неслухом, Проказником, Братком, Домоведом, Доможилом. Ну, у нас говорят: «Как бы не назвали, да хоть горшком, лишь бы в печь не ставили». А вообще-то Домовик печку, тепло, обожает –

хранитель домашнего очага. То в её устье, то в печурке, а то и рядышком с трубой проживает. И банькой не брезгает.

Чуть ли не близкий родич (иногда даже думали, что домовым стал один из предков семьи), имеет же он право на собственный праздник? А сам-то он, сказывают, наидобре-ейший! Пращуры наши верили, мол, коли Хозяина на Кудесы (на Бубны) оставить без гостинцев, превратится он в духа лютого, неуживчивого. Так прикинуть: кто ж стерпит, коли обнесут?

Ужинать пригадывал Домовик в самую что ни на есть глухую полночь. Как повечерит семья, уберёт хозяйка со стола, и про Дедушку не забудет – оставит за печуркой ли, на загнетке ли, гостинчик – обложенный горячими угольями (чтоб не остыл) горшочек каши, пришепчет: «Дедушко-суседушко! Кушай кашу, да храни избу нашу!» Он и посиживает с той поры весь год присмирнёхонько, блюдёт порядок. Когда и люльку с младенчиком подкачнёт, и мышей, глядишь, ночью в чулане от крупы разгоняет.

Кто этого не делал, того осуждали, мол, предков не чтит, не уважает. Поленился или забыл подкормить Домовика – потом расхлёбывай: с того дня у недоглядевших хозяев всё пойдёт шиворот-навыворот, беды одна за другой, а то и скопом повалят на разнесчастный двор. Считали, что на самом деле это Домовик сердится, шалит, вредничает и не даёт покоя жильцам. Попробуй его умиловить! Как что не по нём, бьёт и колотит, словно баба вздорная, посуду, кричит, воет на весь двор, топает; дверьми, воротинами, калитками хлопает – со свету сживает.

А по ночам щиплется, отчего остаются синяки. (Обычно, кто завидит синяк, спрашивает: «Любя или не любя?». А Домовой в ответ плачет или смеётся). На этот случай мужик знает верную защиту: закопай он перед порогом в землю череп или голову козла – и к бабке ходить не нужно.

А то – повадится Дед домочадцев во сне душить. В это время, сказывают, надобно собраться с духом да напрямки у него и спросить-огорошить, мол, к худу или к добру?

Или вот ещё – возьмёт, бесов сын, и в отместку вселит в избу «чужого» Домового. Тут и вовсе берегись. От этого только вилами да плетью и избавиться! Поговаривают, есть у Дедки и такие причуды: терпеть не может он зеркал, козлов и того, кто спит возле или под порогом. Не любит Домовик ленивых и (почему-то!?) ветряные мельницы.

Без Хозяина, считается издавна, и дом не стоит. Чтя это правило, как соберётся семья в новое жильё переезжать, из старого не забудут и Домового с хлебом-солью перезавать: и угощение-то поставят, и монетками-то одарят, и лоскутков-фантиков во все застрехи-щелочки шалуну на забаву наподсовывают. Для того чтобы на новом месте было счастье и хозяевам, и скотине, до трёх раз кланяются старому дому, при поклоне приговаривают: «Батюшко Домовой, пойдём со мной, я в новый дом, и ты со мной. Залезай на веник, отведай угощение (кусочек пирога, смоченный в козьем молоке), отнесу тебя ко мне жить».

Кто-то, правда, всё как-то не могут припомнить, кто именно его видел, даже с ним разговаривал. А рассказы эти о проделках Деда ведутся у нас со времён вятичей до нынешней поры.

Вот помню, как-то случился у соседей наших в Игино страшный пожар – выгорела вся усадьба: и изба, и подворье с подсобными постройками. Но что любопытно! За день до того несчастного случая, шептали друг дружке на деревне бабы, явился престарелой бабке Ольге Хозяин, что бывает чрезвычайно редко, сказывают, лишь в особых случаях.

Захотелось бабке посреди ночи кваску испить. Сползла она с печи, света не вздувая (а на кой? хату-то, как свои пять пальцев знает), прошаркала она к лавке с кадкой. Щуп корец, зачерпнуть кваску (он у бабки ласковый, мятный, всё Игино упивалось), протянула она, значит, руку-то и хватить вместо ковша за что-то мягкое, лохматое, небольшое, примерно с четверти две или с поларшина. Бабка с испугу руку и отдёрни. А тот махонький, косматенький (считалось, чем шерсть у Хозяина гуще, тем семья богаче), шапка не по росту, присвистнул и плёп-плёп босиком, шасть с лавки под печь, загремел там рогаками-ямками, мимоходом, зная, рассерчал, раскидал сложенные горочкой для утренней растопки поленья да хворостины.

Бабку взяла такая оторопь, такиххватила дроздов, что и молвить ничего не смела, ноги её, само собой, подкосились. Обмякнув прямо у кадушки на скамью, она заперебирала беззвучно губами, припоминая защитительную молитву, мелко-мелко закрестилась на образа.

Наконец, очухавшись, старушка устроила такой тарарам, что подняла на ноги всех домочадцев. В ту ночь не могли они и предположить, что Хозяин-то не зря бабке Ольге явился.

Предупредить, видать, приходил, предсказать-повещевать о надвигающемся на их семейство бедствии. Да-а... кто ж разберётся в Дедовых повадках? «Может, заголодал али худо кормили, он и запсиховал», – раскинула тогда руками старуха. А оно-то вон что оказалось – к пожарищу!

Видно, переживал о сгнувшем на другой день в огне любимом его коньке Серке. Обожал его Дедушко, видать, пуше всего на свете. Бывало-то, выйдет замотанный делами хозяин дома овсеца жеребцу задать, а тот стоит – картинка картинкой (самому мужику так-то образить коня ни времени, может быть, ни старанья, не хватило бы), а тут!.. Жеребец – выхолненный, хвост и грива в косичку заплетены.

Правда, старался мужик, скотинку ко двору подбирал не как-нибудь – чтобы Дедушке нравилась, а не то – замучает ведь её до смерти. Как приведёт, бывало, какой нашенский мужичонка на двор вновь купленную животину, помня родительские наставления, отвесит поклоны во все четыре угла двора и при каждом поклоне скажет: «Батюшко Домовой, прими мою скотинку (лошадушку или коровушку), пой, корми, люби и жалуй».

А вот было: на дворе, что с дальнего игинского краю, прижилось «ускотье» – не водится и не водится скотинка – то приплод сгинет, то корова бураком подавится, то лошадь на кол напорется, околеет. Мужики тогда и порешили: «Уж точно Домовик лютует!»

Иногда Домовой, обожая хозяйку или её дочь, оказывает медвежью услугу, заплетает и им, как любимой лошади, косы. Распознать ухаживания Хозяина просто – косы эти особого, очень красивого, неведомого людям плетения. Правда, отделаться от его забавы непросто: коли острижёт баба или девка косу – тут же заболит голова, а когда волосы отрастут – неуёмный придумает для них плетение ещё замысловатей.

И прашуры знали, и любой мужик в наших краях помнит: с Домовым лучше в мире и согласии жить.

Как распускались и осыпались листья на деревьях, так рождались, умирали и снова воскресали роды славян-вятичей. В последний раз они упоминаются летописью под своим племенным именем в 1197 году.

Но слава вятичей не померкла. Уже всего через столетие именно этот народ станет сердцем сначала Московского государства, а впоследствии – и всей России. Славяне-вятичи остались в истории

одним из могущественнейших корней, давших жизнь древу русского народа.

...Пройдёт немного времени, и раскинут перекладины, словно руки, готовые к объятьям, на путях древних вятичей придорожные каменные и деревянные кресты – указатели на близстоящую церкву. Вятичи были самым многочисленным племенем верховьев Оки. На месте их расселения возникли два княжества – Черниговское и Новгород Северское. Граница между ними проходила по нашим землям. Многим историческим событиям суждено было свершиться здесь, на берегах невеликой среднерусской речушки Кромы, на холмах и долинах села Кирово Городище и деревушки Игино.

У ГОРЯ КРАЯ НЕТ



История Руси – летопись бесконечных сражений. В былинные, покрытые сединой X-XI века, когда на Руси ещё не существовало централизованной власти, единого государства и традиции передавать престол старшему из сыновей, мир был очень хрупок, на него приходится и основной период междоусобиц.

В X веке разгорелась вражда между сыновьями Святослава, в начале XI века вспыхнуло кровопролитье уже меж наследниками Владимира, а в конце того же века разодрались в пух и прах потомки Ярослава. Всё решала грубая сила.

Но, как говорится: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». Предки наши, не зная покоя от иноплеменников, не менее страдали и от распрей славянских князей, маявшихся завистью, постоянно воевавших меж собой. Великие князья, оставляя по традиции множество наследников, обрекали их на бесконечную вражду. На что только не толкает жадность да корысть! Ведь имели же от батюшки во владении какой-нибудь крупный город. Ан нет! Каждый стремился стать Киевским князем, сесть на «золотой» Киевский престол и подчинить себе своих братьев.

Как сообщает нам летописец, главной добычей княжеских ратей, которую захватывали они во время братоубийственных походов, помимо «...ссыуды серебряныя, платы служебныя, кадельниче, евангелие ковано, и книги, и колокола...», была челядь (рабы). Даже когда в нападениях не участвовали прославившиеся на весь белый свет степные наемники – половцы, русские князья и сами по себе были не прочь пожечь, пограбить, увести в полон. Как тут усомниться, коли сама Лаврентьевская хроника повествует: «...И не бе в них правды, и вьста род на род, и была в них усобице, и воевати ночаша сами на ся...»

Самым же древним из запечатлённых летописью событий нашего края, который в те времена прозывался «Лесной землёй», являлась вражда черниговского и новгород-северского князей времён феодальной раздробленности, когда ко внутренним распрям и связанным с ними всенародным бедствием добавилось нашествие кочевников.

Событиям этих междоусобных войн (середины XII века) в истории Руси принадлежит особое место. Именно в землях вятичей развернулись первостепенной важности военные действия и в 1146-1147 годах, и в поздние времена. Да и первые упоминания народа «вятичи» в летописях связано как раз с этими событиями. Может, именно тогда и выплеснулась из переполненной чаши горечи мудрая народная пословица: «Усобица царства не устроит».

Всего лишь за половину столетия, прошедшего со времён Мономаха, в Земле Вятичской произошли немалые перемены. Наиважнейшей из них явилось «открытие» через Чернигов и «через Вятичи» сквозного пути из Суздальской земли в Поднепровье.

Киевское государство в XII веке распалось, и мои родные земли вошли в состав Новгород-Северского княжества, но борьба за их обладание между князьями не прекращалась. Однажды объединённая рать противников Святослава – братьев Владимира и Изяслава Давыдовичей и Мстислава Изяславовича – подступила к Новгород-Северскому. Взять город сходу, несмотря на приступ, осаждающим не посчастливилось. И тогда – рвёт душу читателя «Повесть временных лет» – после беспощадного, кровопролитного сражения, в котором polegло немало киевских бояр, они обрушили свою месть на окрестности города, безжалостно разоряя всё на своём пути: «...заграбиша Игорева и Святославля стада в лесе... кобыл стадных 3000, а конь 1000... пославшее же по селам, пожгоша жита и дворы...». И летописи вторит «Славянская былина»: «...была сеча злая... с обеих сторон было побито множество, так что канавы кровью наполнены были».

Срам-то какой – через край проливается! Князья перевели честь и славу на позор, без стыда делили власть, сводили счёты друг с другом, бились, как заклятые враги: никого не щадя, рубили всех подряд: что простых людей, что именитых. До того озверели, Бога не убоявшись, что кровь людская дешевле водицы стала. Ну так давно известно: «Захочет кого Господь наказать – разум отымет, слепоту на душу наслёт».

Один князь, зная мужество и храбрость вятичей, натравливал их против другого. Но вот как мудро ответили вятичи, например, на науськивание их народа на князя Святослава Ольговича: «Вы наши все государи и нам равны. Кто нами владеет, тому мы верны и покорны, невзирая на милость и немилость, рассуждая, что Бог вас над нами определяет. И не без ума, по апостолу, меч в наказание винным, а отменение злым носите... А руку на господина своего поднять не можем, и никогда того в нас и в праотцах наших не бывало».

На радость захватчикам-чужеземцам, не различая праведного с грешным, «восста род на род». И рвали они Русь на части, «яко псы голодные», и, как записал в своей хронике один из летописцев под 1132 годом: «и разъдрася вся Русская земля».

*...И поспорили братья промеж собой,
И вымали мечи булатные,
И рубили друг друга до смерти,*

*И, рубяся, корились, ругались,
И брат брата звал обманщиком..*

И поле моё родное обуялось тоскою – не раз окроплённое кровью русичей, переходило оно, как добротный куш, во владение то одного, то другого княжества. Сколько же горя хлебнули пращурь-земляки мои, доколь рыскали вдоль да поперёк Руси лютые ветры-зимачи, доколь длились междоусобные распри? Каждый раз новая метла мела в их селищах и городищах по-своему. Ну-ка, приноровись, мужичок, к своей хромой судьбине, выдюжи испитая печалью душа!

В 1146 году, после смерти Великого князя Киевского Всеволода Ольговича, развязалась междоусобная война между Мономаховичами и Святославовичами. Разразилась страшная усобица и между владельцем наших земель новгород-северским князем Святославом Ольговичем и объединением, в которое входили киевский князь Изяслав Мстиславович и черниговские князья Владимир и Изяслав Давыдовичи.

Это в наших местах младший из князей Давыдовичей – Изяслав, подталкиваемый жадностью, рубился со Святославом Ольговичем, который кинулся скрываться от него в лесных вятичских землях. Порываясь в поход на Святослава (ведёт свой сказ Русская летопись по Ипатьевскому списку), отпрашивался Изяслав у Мстислава и брата Владимира: «Пустите мя по нём. Аче сам утечеть мене, а жену и дети от него отниму и имение его всъхыщу». Обсуждая раздел будущей добычи, Изяслав дал слово княжеское: «...что Святославле волости, а то вама... Что же будеть Игорева в волости, челядь ли, товар ли, то мое, а что будеть Святославле челяди и товара, то разделим на части...».

Со слов «языков» Святослав узнал, что Изяслав «в трёх тысячах идёт наскоро». Битва была неизбежна, потому как Святославу ничего не оставалось, «либо выдать жену и дети, и дружину на полон, либо голову свою сложити». Шестнадцатого января 1146 года Святослав Ольгович был ранен копьём в руку в жаркой сече, длившейся в «чистом поле» долгое время. Раненый князь – упаси Бог, дрогнет войско! – не покинул поле брани, и Изяслав был разбит на голову. Некоторые краеведы (например, мой земляк Н.П. Макаров) предполагают, что битва эта произошла в пяти верстах от моей деревушки Игино, у села Рыжково.

В 1147 году в нашей округе хозяйничал Черниговский князь Святослав, через пять лет – Юрий Долгорукий, который целовал крест своему троюродному брату Святославу в готовности помочь, правда, если тот признает его «старейшенство» – то есть поцелует в ответ Юрию Долгорукому крест не как «брату», но как «отцу».

Вчерашние враги сегодня могли сговориться против их общего врага или переметнуться на другую сторону. В том же Ипатьевском списке рассказывает нам древний летописец о встрече в 1147 году посланников Давыдовичей и Святослава Всеволодовича со Святославом Ольговичем между Спашем и Кромами с предложением мира и союза против Изяслава Мстиславича Киевского: «Не жалуйся на нас, будем все заодно, позабудь нашу злобу; целуй к нам крест и возьми свою отчину, а что мы взяли твоего, то всё отдадим назад».

И не было конца и края этим усобицам... Зимой 1159 года на наших полях Черниговский князь Святослав Ольгович снова отбивался от врага – вероломно вторгшегося в вятичские земли Изяслава Давыдовича. И в 1194 году объединяются князья под предводительством Святослава Всеволодовича на братоубийственный поход, теперь уже против Рязанских князей.

Не раз на помощь в сражениях с соседями призывали они и степняков. Так, осенью 1196 года Всеволод Большое Гнездо в союзе с половцами, с князем Давыдом Смоленским, с Рязанскими и Муромскими князьями пришёл аж из Владимиро-Суздальского княжества, чтобы воевать наши земли, принадлежавшие Черниговским Ольговичам.

Потом снова «кошница яблок и сирени» отошла Черниговскому князю Мстиславу Святославовичу. (Позднее, к середине XII века край наш вошёл в состав Карачево-Козельского удельного княжества).

А тогда, в 1223 году, в составе черниговской дружины пращуря наши приняли участие в общерусском походе на монголов (и в первом столкновении на Калке, в катастрофическом разгроме наших войск, вятичей полегло не мало).

Всем же бедам беда объявилась в землях славянских, когда в декабре 1237 года всепожирающим потоком, словно изголодавшаяся саранча, хлынули на Русь несчётные монгольские орды.

Окаянный Батый, разорив Рязанское княжество, захватил северо-восточную Русь. Близко подступив к Новгороду, он уже не смог завоевывать новые земли. Да и весеннее половодье заставило его двинуться в половецкие степи. Продвигаясь Пахнутцевой и Свитной дорогами, монголы уничтожали всё живое на своём пути.

Их чёрные тучи накрыли и наши селения. Но люди спаслись – ушли, сберегая себя, сохранили и названия древнерусских селений.

Вчитываешься в строки «Повести о разорении Рязани Батыем», ведущей сказ об этом кровавом нашествии, и земля уходит из-под ног, становится жутко. «Было тогда много тоски, и скорби, и слёз, и вздохов, и страха, и трепета от всех тех напастей, нашедших на нас», – плачет вместе с разграбленной, растерзанной землёю русской древний летописец.

Наши княжеские дружины являлись по тому времени не самым худшим войском, да и вооружение их славилось далеко за пределами Руси. Но вот досадушка – были они невероятно малочисленны, всего несколько сот человек! Такое количество воинов ничтожно мало для организации серьёзной обороны против мощной армады кочевников. К примеру, в 1239 году Батый привёл на Русь (всего!) 30–40 тысяч всадников. Но даже такому, прямо скажем, вовсе не многочисленному войску русским нечего было противопоставить!

Нашествие злонравного хана Батыя на Русь воспринималось как наказание за грехи, известные и неизвестные, как стихия, как тёмная безликая масса, поглотившая русские земли.

Да и междоусобные распри славянских князей послужили явным подспорьем для вторжения монголов. Можно с уверенностью сказать, что не без помощи рук своих же князей Русь надолго вошла в Золотую Орду. Брат просил у монголов помощи идти на брата. Русские князья измучили народ многолетней чередой войн «за столы» и насильственным «душеспасением» язычников. Поэтому немудрено, что древний город Болхов врага встречал хлебом-солью. Зачастую сами русичи давали проводников по «заколоделым», «замуравелым» дорогам вятичей.

Только сердце мучить – теперь гадать: было ли монгольское иго следствием добровольного подчинения завоевателям части русских князей, использовавших кочевников во внутрикняжеских разборках, или это – военная стратегия ордынцев (а скорее – и то, и другое). Что было – кануло... Нам же – за павших ратников русских денно и нощно класть молитвы.

Жуткие несчастья свалились на опрокинутую наземь Русь: погибло около половины населения, разрушены крупные города, уничтожена древняя культура. На двести пятьдесят лет прекратилось каменное строительство. Исчезли сложные ремёсла, такие как производство стеклянных украшений, черни, зерни, перегородчатой эмали, полихромной поливной керамики.

Фактически Русь была повёрнута монгольским нашествием вспять на несколько столетий. И обречена была шаг за шагом вторично проходить, навёрстывать часть того исторического пути, который был проделан до Батыя. Монголы оказались силой неодолимой, зловещей и нечеловеческой. Вместе с ними двинулось на Русь и немногочисленное (по сравнению с монгольской армадой) племя, которое прозывали «выходцами из ада», подземного Тартара, – татарами.

Огненным смерчем, сверкая яблоками диких глаз, промчались кочевники по нашим холмам и долинам. Смешались дни и года... И высеялась, прижилась во полюшке русском безысходность горячая, боль всесветная.

Земли моих предков потеряли в ту злосчастную пору почти всё оседлое население. Уцелевший люд со всех окрестных селищ и городищ, спасаясь бегством, оставлял своё жильё и пашни, укрывался от ворогов в густых лесах Дебрянских, пробирался на лесной северо-восток, устремляясь в междуречье Северной Волги и Оки (несмотря на то, что почвы там куда беднее и климат намного холоднее, да и торговые пути находились под зорким оком монголов). Кров же беглецов, подвергшись нещадному разорению, обращался в полымя.

Смотрю на запад, где догорает светило, в невидимые – даже с макушки Мишкина бугра – Брянские леса, о которых сами брянчане говорят: «Ежели удачно войти в наш лес, то можно выйти под Тверью». И чудится мне сквозь тончайшее свечение изумрудной листвы и льняной бересты: в бездонной тиши простонала выпь – птица зловещая, расхохотался что есть мочи филин, прохоркал над вальерьянником вальдшнеп, закричали на лядях заливно зайцы, и тут же ахнул, упал и разбился в Закамнях красный, как рваная рана, огненный цветок луны. Клубится мрак, бесится бес, места – гиблые.

Видно, басурмане побивали стрелами своими погаными все лампадки Божии – зреет тёмная-претёмная ночь. Под покровом её чёрного, жукового плата крадутся, точно череда призраков, – глаза блестят неукротимым гневом – заметая лапником позади себя на пыльной дороге следы, побросав свои пожитки, с младенцами на руках, мужики и бабы «мужние, незамужние, вдовицы и просто, которые в девках», ребятишки постарше, словно воробьи пугливые, быстро мелькая пятками, часто оглядываясь, бегут, ухватившись за мамкин подол, из древнего (первая половина первого тысячелетия) Кирово Городища (в котором веками позже всю жизнь прожили мамыны родители, где и я провела многие дни своего детства).

На всё про всё – одна ночь. Вот перебрались они по кладям через Крому, омыли запылённые добела, избитые ноги, покидали, перейдя, жердины в стремнину. Вот бредут со слагами через хвощи и провонявшую тинной, заманивающую в трясину глушь Ломинского болота. Устремляются глинистыми оврагами да буераками в сторону Дебрянских лесов и растворяются в непроглядной темени времён... Врагу не пожелаешь такого часа!

Душа рвётся на клочки у любого, видящего такие лихие бедствия. Вот и кручинится, умывается слезами древний автор, повествуя нам в «Стоянии на Угре»: «...да не узрят очи ваши разпленения и разграбления домов ваших, и убьяния чад ваших, и поругания над женами и детьми вашими...».

А вослед несчастным горит полнеба, полыхает за спиною обрызганное кровью зарево над их родимыми хатами, доносится разливный лай обезумевших собак. Летит, осыпается пепел на

игинское поле, чтобы, смешавшись с чернозёмом, на веки вечные чертополохом высеять память о двухсотпятидесятилетнем монгольском иге. Чтобы, поднимая из запустения (после всех последующих войн) хлебные поля, каждый раз, словно Божья кара, закипала праведной ненавистью кровь у славянского мужика против любого супостата и захватчика.

Даже укреплённые городища, и те, как по мановению руки, исчезли на долгие годы из летописей (Кромы – самое крупное из близлежащих – не упоминалось в них вплоть до 1594 года, в разор разорилось, а ведь было когда-то городом справным). В двенадцати верстах от Кирова Городища был уничтожен и городок Щир (ныне райцентр Сосково), а мелких родовых поселений, в которых наступило полное запустение, которые просто напросто были стёрты с лица земли, и подавно след простыл... За что их покарал Господь? Кто ж ведаёт?..

У горя, как известно, края нет. Обнищали, «ни иголки с ёлки, ни иконы – помолиться, ни ножа, чем зарезаться». С сиротских полей, прикрытых ковылями, словно худой рогожкой, веяло такой непроходимой тоской и дурманом, что ветер волей поневоле, сам собой заводил, а потом тянул, тянул дни и ночи напролёт какую-нибудь грустную, вроде «Лучинушки», песню.

Ни души... ни пешего, ни конного... На всём – печать смерти. Только пара воронов, высматривая нечаянную добычу, всё кружит и кружит над степью.

Одно лишь чувство, как покаяние и очищение, согревает душу, бросает светлый луч на тот мрачный период: на нашей древней, первоначальной истории не лежит пятно иноземных завоеваний. Ненависть и вражда никогда не служили основой Русского государства. Наши пращуры не завещали нам крови мщения и ненависти.

1356 год. Усиливается Великое Княжество Литовское. Многие русские княжичи и бояре находились в родстве с литовской знатью, и потому земли наши вплоть до 1500 года вошли в Великое Княжество Русское и Жемайтское.

Объединению способствовали и культурные связи, но самым важным явилось стремление к единению для борьбы с внешними врагами: литовцы помогали в борьбе с монголами, а мы литовцам – с рыцарями.

Полтора-два века наш край оставался пограничной зоной, где была вольница – с одной стороны, а с другой – насилие и разбой.

КОГДА РЕКИ ТЕКЛИ
МОЛОЧНЫЕ





Каным-рано, как причастятся травы росой, как зарозовеют у калитки верхушки могучего клёна, выйду за отцовскую хату, за игинскую околицу. Прислушаюсь: через поле, где-то на опушке Ярочкина леска, изредка вскаркивает ворон, кличет свою престарелую подружку.

Кажется, эта неразлучная пара коротает не один век в могучих деревьях у края пашни. Чего только не помнит их чёрная кровь, каких-никаких пиров с великих побоищ, когда трупами славян, а ещё больше – ворогов устилались наши просторы.

Наверно, из-за того, что весной и летом, среди общей суматохи, угрюмые, невзрачные птицы почти неприметны, тревожный разговор древних воронов становится слышнее и разборчивее с исчезновением их перелётной братии, отправившейся, вероятно, в Ирий – заповедную, потустороннюю страну, куда улетают осенью птицы и уползают змеи. (Отсюда, наверно, произошло и слово «рай»). Из живой твари, кажется, только они в эту пору в лесу и слышны.

Где быль, где небыль, вороны уже и сами не догадываются... Беседа этих премудрых старцев каждый раз беретит во мне что-то далёкое-далёкое, из почти растушёванных временем глубин.

Скорее всего, именно в те, дремучие, времена долгими зимними вечерами, когда метель за окнами плясала несгораемым костром, в часы девичьих посиделок, гадали о будущем, слагались легенды, предания и поверья, сохранившиеся в селениях по берегам Кромы-реки и до наших дней.

Но то, что сейчас мы принимаем за суровые и дикие сказания или просто выдумки, в былые годы сплеталось в вязь каждодневной реальности. Многие русские сусальные сказки идут из глубины языческой древности, когда они вовсе не были сказками, а сердечными народными верованиями.

Наверно, из тех, покрытых мхом и забвением, глубин дошло до меня и предание о возникновении моей деревушки Игино. Мол, было это в стародавишные времена, в те самые, когда ещё реки текли молочные, берега были кисельные, а над полями летали жареные куропатки.

Если верить этой легенде, в былинные века, во времена Руси Голубиной, деревеньки на самом-то деле никакой и не было. А жила

на ручье Жёлтом, меж Закамней и сельцом с ядрёным названием Кирово Городище, одна-разъедина семья – мужик Архип с молодой женой Любушкой.

Год живут, углы острые стачивают... три... пять живут, а деток нет как не бывало. Всё без толку, всё ни к чему... И вроде, не кошкособачились, а всё же заварилась промеж них жизнь – не сироп кленовый. Всё молчком да молчком, лишь изредка перебраниваясь.

Раз, за какой-токой надобностью, уж за давностью годиков затерялося, только, сказывают, забрела Любушка на Кировскую мельницу (об одном камушке), что прилепилась на Кроме, аккурат у Ломенского омутка.

А ведь раньше-то бабонька ту-то меленку всё окольными путями обходила. Как не обойти, когда про Игната-мельника страсти, одна лишей другой, обсказывают, малых деток им, раскудлатым, стращают? Поговаривали, мол, Игнат-то с некошным знается! А и правда! Не раз подмечали: только взглянет мужик этот, припорошенный с ног до головы, словно инеем, мучной пылью, на чьих поросят: «Ох, хороши! Что лебеди!» И на другой день поросята – хрючками в навоз, передохли до единого.

Игнат не обращал ни малейшего внимания на эти росказы, порой и сам привирал с три короба, стращал баб да ребятишек, чтоб лишний раз к нему кто не надо не лез, не доглядывал.

С другой же стороны, как посмотреть, коли не «ведал» бы мельник, так его в округе и за мельника не почитали бы. Разве ж то дело, если на его водяную мельницу не заглядывает Водяной, а на ветряную – Леший? Даже малая детвора знает: поломались крылья у ветряка – и гадать не надо – Леший ветром в гости к мельнику наведывался да малость силёнку не подрассчитал, нашкодничал. Ну, сейчас-то не о ветряках сказ.

У нашей же мельницы кто не шарахался, завидя в пруду преогромнейшую рыбину? То ли сома, то ли налима, какая разница, ведь всяк в нём тут же распознавал самого Водяного. На двадцать вёрст в округе знали, как выглядит тот Водяной с кировской мельницы: с лапами вместо рук, с длинными пальцами на ногах, рожища длиннющие, что у племенного бугая, с хвостом, а глазища-то, глазища – так и пересверкивают, так и пылают, словно раскалённые уголья.

А то вот ещё однажды приключилоя: припозднился Фока Рыжий, ехал на кобыле из Гавриловки, от брата, мимо плотины. Дело

было в самую что ни на есть крошечную полночь, первые певуны на Облоге только-только откурекали. Потрухивает, значит, Фока неспешно, вперевалочку, а к кому спешить-то? – боббль бобблём. Едет, под нос себе в полудрёме что-то сердешное кунькает, вдруг смотрит: мать честная! Откуда ни возьмись, мужик прямо посередь Игнатово омота вынырнул. Вроде, простой мужик-охреян, только в жаркой, аж глаза слепит, кумачовой рубахе (луница яркая, как не разглядеть?), и, что сначала заставило Фоку от удивления сдвинуть шапку на затылок, а потом кинуло в такую дрожь, даже зубы застучали, – одна за другой повыныривали прямочки следом за тем-то мужиком из омота чёрные, как есть, коровёнки. Присвистнул на них Водяной, подхлестнул их к бережку плёткой, свитой из кореньев кувшинки, и погнал своё стадо в Бóльший лог, на почуй да галган-граве пастись. Фока – сон будто телушка языком слизала, перекрестился, крутой волей – кобылу по бокам, – и только его видели, мухой до игинской околицы долетел.

Одним словом, возле Игнатовой мельницы всегда что-нибудь да чудилось: то кашлянёт кто невидимый, то зашепчет какую тарабарщину, манит и водит, пугает и страху напускает нечистая сила.

Хоть и до мурашек боялась Любушка всех этих слухов, а, видать, приспичило – невтерпёж, смоталась-таки на Игнатову меленку. О чём уж толковала она с дедкой, никому не ведомо. Может, от тоски по детушкам решила она на крайнюю меру: бухнулась в ноги колдуну, мол, не дай, дедушко, пустоцветом иссохнуть, сготовь какое-никакое зелье. А может, ещё что промеж них приключилось... Никто об том теперь не расскажет. Да и тогда, видать, не догадались ни вездесущее бабье пустозвонство, ни суровая мужицкая хула.

Только, говорят, не стерпела Любушка, раскрылась как-то ближней товарке Алёне о своих тайных делишках, как третьего месяца спозналась, дружбу с мельником свела. (Шила-то в мешке не утаишь!). Заприметили деревенские всё ж таки грешок, и, шепотком, полущёпотом правда-неправда эта полустёртая, прокравшись через века, дошла и до моих ушей.

А было всё так.

Потолковав, вышли Любушка с колдуном на вольный дух и – к прудку-карасевнику, к самому омотку, а тот, сотканный из шороха и шелеста ветров, задымился разом, закурился. Запахло лягушачьей

икрой, морёными дубовыми корягами, распустившимися кубышками, зелёными бородатыми космами водорослей, свисавшими с подрубленных бобрами деревьев.

Стукнул мельник оземь своим терновым посохом, свистнул молодежово, прислушался – пошевелил, словно лось, ушами. Крякнул селезнем, отозвалась ему из тростников утица-криволапка. Подплыла, звучно зашлёпала по мелководью перепоночками, выскочила на бережок, пронырнула у колдуна промеж лапотов и стёжкой, стёжкой, переваливаясь с боку на бок, кувырк-кувырк, Большим логом в Гороня ударилась.

Надел мельник на Любушкин пальчик серебряный напёрсток, повёл тирлич-травой по её очам – в голове у бабоньки от духа ли травного, от ворожбы ли замудрёной заплелась путаница. Уж так ей заморочил головушку колдун!

И, зачарованная, ни о чём не спросивши, перекинув через плечо связанные в пару лапоточки, поспешила она следом за утицей.

...Потеряет бабонька пташку на долах меж зарослей овсяницы да конского щавеля из виду, а та ей – кря да кря, мол, туточки я, никуда не делася, знай, живей поторапливайся. У неотступной бабоньки, как продиралась через пропасть гнилого валежника, аж в подмышках и у груди расплылись на рубахе мокрые круговины.

А к полуночи, когда уютно задёргали коростельки и тёмное небо (благодатица!) захлестнули золотистые россыпи, водянисто-зелёными луговищами, по росному ягоднику, с кочки на кочку, забрались они к чёрту на рога, в глухую глушь, дикую дичь, в самую что ни на есть трясику Кобыльего болота, усеянного стрелолистом и белоусом, где нога, как ни ступи, ходнем ходит, грузнет в моховом зыбуне. Не то что проезжих просёлков, не сыскать даже маломальских торных стёжек. О таких местах шёпотом бают: мол, пропадёшь тамotka ни за денежку, коли не хочешь верной гибели, улепётывай оттудова скорей да без огляду.

Смотрит Любушка: избёнка меж папоротников в осиннике. То ли оконце огоньком приманывает, то ли глаза чьи с крыльца подмаргивают. Но молодка – хоть бы хны – не забоялась: видать, мельник крепко наворожил, расстарался. А как перешагнула через порог, тут и совсем её оторопь покинула. Выступил ей навстречу, обнимает, ласки ласковые на ушко шепчет парень дюжий... муж её Антип... а может, и не он это вовсе? Пока то да сё... Где бедной

бабоньке в эдаком жару разобраться! Зачеловеческая сила! Чуть умом не тронулась!

...Лишь хлынул с поднебесья потоком свет да курекнули третьи петухи (а может, не они, а птица Сирий что бабоньке повешевала?), встрепенулось сердце радостью, очнулась Любушка... у себя на дворе, с подойником в руке. У крыльца за ночь калиновый куст алым забрызжел. Любушка – ягодница ещё та! Сразу заметила: гроздьи обещаются быть сочными-и!

И вокруг стелилась необычайно лёгкая тишь... Лишь доносились бабья перебранка на другом конце Игино (опять, видно, Мирониха с Капотихой за Антипку разодрались), да изредка взвизгивал на чьём-то дворе несмазанный колодезный ворот. Движение воздуха лёгкое! Комариный погуд. Коровёнка замымыкала, к себе покликала, и уж потянулось по подгорью стадо, и вдоль плотины, версты за четыре, протарарахтала подвода.

И так каждую Божью ноченьку.

...Отлитовел по долинам травень, отцвёл червень, а к жнивню – чудеса в решете! – Любушка уж и не сомневалась – понесла!

И в самый сечень, в самую разметель, привёз Архип (не попенял ведь, знать, любил очень) на салазках из Кирова Городища бабу-повивалку (старую, сама б и не дотащилась). Натопил баньку, отвёл в неё Любушку: «Бог в помочь!» И та под Зимние Турицы разродилась сыночком.

А как мало-малость окрепла Любушка, по первой травке, стал ей не давать покоя сон какой-то бесстыжий. Глаза закроет, и чудятся ей жаркие ласки в глухой сторожке, удержу нет! Горит-сгораёт бабонька. Как вспомнит избушку в осиннике, так сердчишко и лягнёт.

Кинулась к мельнику Игнату иссушенная страстью душа – дошло до неё наконец-таки: его это рук дело. А может, и не только рук?

Только не застала Любушка колдуна, не шумела с колёс вода, безотзывно молчала меленка. Сказывают: сгинул, в омутке утонул. Правда, найти его не нашли, а потому – ни могилочки, ни самого малого холмика. И мельница заветшала. Пробовали мужики сами зерно молотить, только мука – всё с песком, всё с илом. Чертыхались, поматюганились они, заколотили ворота крест-накрест горбылём и отступились.

С той поры затомилась Любушкина душечка, занявгала. И повадилась она со взглядом, запавшим вовнутрь, на омуток.

Напёрсток-подарочек на пальчик наденет, крюк с версту от лишних глаз обогнёт, придёт, усядется на бережку, над канавкой, что сплошь травую да цветами болотными поросла, венок из плакун-травы плетёт, оводов – заели кровопивцы – веткой ивовой отгоняет. На меленку, ожидаючи, посматривает, сучки, что по брёвнам узорами-бутонами цветут, разглядывает...

Филин где-то рядом обустроился, только и делает, что хворо ухает-плачет. Да на уснувшем мельничном колесе старушонка махонькая поет, табачку, водочки, ну хоть хлебных крошечек у Любушки клянчит, прямо с ума свела. Сама мохнатоющая, горбатая, с длинной всклокоченной шевелюрой, ходит, бесстыжая, в чём её мама-лиходейка родила.

Поначалу-то побаивалась её бабонька, а потом вспомнила, что на меленке, поговаривали, проживали при Игнате-то и всякие-разные мелкие бесы-ичетики. Чаше нежить эта является невидимо, давая о себе знать шумом, голосами, а то ещё – с колесом балует: то остановит, то снова пустит в ход. Да, видать, как сгинул мельник, разбежались его приятели по другим омуткам. А вот эта хрычовка-шишига всё забыть Игнатовы угощения не может, до смерти о нём тоскует.

Набедоку-урит, бывало! Как пойдут жернова неладно, каждый раз, видели приехавшие молоть мужички, спускался Игнат вниз и подолгу с кем-то громко спорил, чертыхался, уговаривал. Вылезал наверх, собирал тормосок-подачку: хлебушка, табачку, прихватывал бутылёк со свойской и – опять вниз. После этого жернова опять крутились своим ходом... Днём-то шишига безобидная, в камышах у запруды отсыпалась, а до сумерек Любушка не задерживалась: Архип, чай, хватится и Милашку доить. Да и зазеваешься ненароком – шишига набросится, на дно, не приведи Господи, утащит.

Сидела, сидела бабонька и высидела. Как-то раз, в самый полдень, когда выплыли на солнце и недвижно стали краснопёрые головли, подбегает к ней уточка криволапая, нырь меж лапотков. Что, мол, не признала, подружка? И за собою манит-окрякивает.

Хоть и побаивалась, но возрадовалась шалая бабья душечка, помчалась опрометью за утицей Любушка по траве галган, сквозь траву прикрыш, через сон-траву, в самый папороть. А чтоб не

облудиться, подобула лапотки: левый – на правую ногу, правый – на левую.

Спустилось солнышко, аккурат за Марьиным логом, в море хлебоб, зашептались сумерки, хмельные, заманные, заперебирала летá-годочки кукушка в Крушинной рощице.

А как пала полночь, как кракнул трижды в курящемся осиннике седой-преседой, и сроку ему нет, ворон, как выпорхнул он взмашисто из сизого полумрака да растрёпанно взмыл вверхи, тут, откуда ни возьмись, – знакомая избушка.

И вроде ребящёнок где заплакал. Вздрогнула Любушка, вспомнила: ходили слухи, с нежитью, как с Водяным и Лешим, мельник имел тайный сговор. А скреплялся он не как-нибудь – жертвоприношениями! Бывало, и человечьими!

Но двери – настезь...

К утру, заласканная, счастливая (пропахшая почему-то замашками), снова воротилась она до хаты.

И мир с той поры уж так ей стал улыбаться! И пошли у бабы погодки! Не успеет отрожаться, глядишь, снова на сносях! Чёртову дюжину выходила Любушка. Семь парней и шесть девок. Ребята – чёрненькие – в Игната, видать. А девчушки – белобрысенькие – в Любушку. И на радость мамке – не хворали они ничем никогда. А коли случалось засопливеть – не беда, Любушка, сказывают, ко всему прочему, то ли Божьим даром, то ли чёртовым проклятьем «знать» стала, сама деток от хвороб избавляла. И не только своих. И всё у неё к месту: и дело, и слово.

Девки замуж повыскочили. Недалече, в Кирово Городище. А парни осели на корню. Так мало-помалу и разросся хуторок в деревушку Игино, взбежал ровным гоном вдоль Мишкиной горы, почти до самых Хильмечков.

С тех пор минуло столько лет! Верить ли той легенде, нет ли?

Было! Как не быть-то, коли наверняка знаю: места наши непростые – и почуй-травы в логах хоть косою коси, и папороти в любом урочище – не пробраться. И бабы наши, видать, что-то «ведают», коли детей своих по великой надобности таблетками пичкают, а то всё больше прабабкиными взварами да кореньями.

**ЧЕРТА ЗАСЕЧНАЯ –
ЗАПОВЕДЬ ГОСУДАРЕВА**





ак бы ни терзали Русь иноземные враги, сколько бы ни умывалась она слезами, земли её постепенно объединялись вокруг Москвы. И к началу XV века, когда хлынули новые вражеские лавины (теперь уже с южных степей): крымские и ногайские татары, мой край вошёл (хоть и «украиной», но всё же) в территорию Московского государства, а значит, затеплился хоть какой-то свет надежды – теперь он мог рассчитывать на серьёзную помощь и защиту.

На протяжении всего XVI века наша округа подвергаясь нещадному разрушению и опустошению, первая (и чем только прогневала Бога?) встречала набеги крымских разбойников. Население этих земель называлось украинными людьми, украинцами, украинниками, украинянами. О наших местах как о пограничье – «вкраинъные места», «украиные места», «вкраинны места» – упоминалось впервые ещё в русско-литовских договорах XV века.

Со степи дохнуло пожарищем – сердце пробирает до озноба – снова через наши поля по просёлкам потянулись вереницы полонённых русичей, только теперь на юг, к улусам крымских басурманов, в Бахчисарай.

Некоторые наши краеведы склоняются к тому, а не являлась ли река Крома «кромкой», границей?.. Границей между Крымским царством и Москвой?.. И древнее Кирово Городище, обосновавшееся недалеко от игинского поля? Может, название-то оно получило (или сменило?) именно во времена набегов крымчан? Очень уж соблазнительно предположение: Гирей – Кирей – Кир.

Правда, есть и другое мнение: село Кирово – это древнерусский город-укрепление – Кир. А село Городище – древнерусский город Кромеч. Всё может быть. Что теперь толковать? Старого не воротишь. Всё это – лишь домыслы, пока не на чём серьёзном не основанные.

Один из путей движения татар на Москву (по значимости такой же, как Муравский, Калмиюский и Изюмский), Свиной шлях, проходил по нашим землям и вёл от Болхова до Карачева.

*...А не сильная туча затучилася,
А не сильные громы грянули –
Куда едет собака крымский царь?
А ко сильному царству Московскому...*

Чтобы обеспечить прикрытие государства от вражеских набегов с юга, во второй половине XVI века в срочном порядке развернулось восстановление старых и возведение новых крепостей и городов.

Передовая линия, по мере постройки впереди новых городищ, постепенно катилась вперёд и вперёд – закреплялась степь, расширялись земли Московии.

В двадцати пяти километрах к югу от Кирова Городища в 1592 году (с целью охраны Свиной дороги) царь Фёдор Иоаннович, как ведаёт нам Новый летописец, «видя от крымских людей войны многие», помыслил поставить на месте большого домонгольского городища крепость Кромы.

Вообще-то, создание укреплений на границах Русского государства началось ещё в IX веке. С возведения укрепённых пунктов и валов на речных рубежах. Тогда, по сообщениям древних рукописей, прозорливый князь Владимир Святославич, обороняясь от кочевников, повелел закладывать «грады» вдоль границ своего государства.

Известная с XIII века так называемая Засечная черта (линия, засека, украинная линия) получила особое развитие в XVI–XVII веках на наших южных границах Русского царства. Этот мощнейший рубеж, протянувшийся на шестьсот километров, возведённый по указу Ивана Грозного перед началом Ливонских войн в 1521-1566 годах, назвали «Большой засечной чертой» или «Государевой заповедью». Сооружен он был по великой нужде – ради защиты от нашествия крымских врагов, для отражения многочисленных попыток завоевания Московского государства. А случится вдруг русичам наступать, тут Засечная черта им – и подмога, и надёжная опора. Ведь за более чем два столетия на землях вятичей произошли сотни военных событий, и непосредственный отпор противнику призваны были дать приграничные войска – украинная рать. (Войска, располагавшиеся на берегах Оки, называли «береговыми», а занимавшие черту – «украинными»).

Конечно, при устройстве оборонительного рубежа грех не использовать в первую очередь естественные препятствия – леса (а их по той поре у нас была тьма тьмуцая!); Оку и все малые, впадающие в неё реки (и нашу Крому в их числе); болота, которых у нас и по сей день немерено (радивый хозяин и сейчас заготавливает на них торф); многочисленные озёра (переродившиеся ныне в ожерелье прудов и прудочков).

Заграждения эти ещё и дополнительно усиливались. Ох и мудр был, как ни посмотри, наш пращур! Вот взять, к примеру, лес. Так в нём устраивали засеку, а попросту – полосу или несколько полос кряду лесных завалов, непроходимых не только человеком, но даже зверем. Ширина их поражает – от пятидесяти до сотни метров! В полосах этих деревья не валили, а лишь подпиливали, или подрубали приблизительно на высоте пояса (один метр). Падали они ветвями в

сторону предполагаемого противника, но, находясь в наклонном состоянии, продолжали себе, как ни в чём не бывало, расти и в завале. Нечего и сомневаться: такие дебри представляли могучий заслон хоть для конного, хоть для пешего, легче верблюду татарскому сквозь игольное ушко пройти, нежели нехристям сквозь эти заросли продрасться.

Приграничные леса зорко охранялись. Такого отродясь не выдвляли: даже своим не позволялось делать вблизи не только дороги, но и малые тропинки. В приграничных лесах не разрешалось «шастать»: ни охотиться, ни косить траву, ни собирать грибы-ягоды! А уж покуситься на вырубку леса или кустарника – и мыслить не моги! Одним словом, граница – на замке!

На открытых же местах засечная линия состояла из земляных валов с острожками или городами-крепостцами, кроме того, на безлесых участках устанавливались частики (частоколы), надолбы, выкапывались и заливались водою глубочайшие рвы. В определённых местах обустраивались засечные ворота.

В эти времена на охрану южной границы переселяли жителей из центра России. В основном – людей, сопротивлявшихся закреплению, бродяг, татей – воров, «пивных» баб, у которых не было ни своего угла, ни близких-родных, а также людей иных племён или из отдалённых чужеродных земель.

За верную службу государю Фёдору Иоанновичу они получали жалованье и пользовались некоторыми привилегиями. И сейчас ещё потомки тех служилых людей отличаются от исконного населения нашего края поведением и говором.

Так появились в Игино Чеченёвы, Рязанцевы, Молдачёвы, а в Кирово Городище – Хохловы, Шведовы, Грековы, Поляковы, Шикановы, Газукины (от татарского имени Газзай), Гасилины (от Гасан), Юдины (от Юда – Иуда). Одну из кировских династий прозывают Бордючки. По всей вероятности, предки их прибыли на службу в село из восточных районов Сумской области.

Сохранились «Рассуждения о делах Московии» венецианца Франческо Тьеполо, посетившего Россию в середине XVI века: «...На охрану крепостей этот государь тратит очень мало, потому что некоторые охраняются колонистами, другие – своими жителями и лишь немногие, за исключением военного времени, его солдатами...».

В наше пограничье долгое время наезжали ногайцы, крымчаки, татары. Иногда по каким-либо причинам они здесь оседали. С тех стародавних пор в Кирово Городище ведут свою родословную Каширины.

Засеки оборонялись земским ополчением. С XIV века оно упоминается под названием «засечной стражи». Набиралась она, как

правило, из мелких сошек – жителей окрестных селений и деревушек, с двадцати дворов по одному человеку. Стражники по тому времени были неплохо вооружены: имелись у них и топоры, и пищали. Не менее двух фунтов пороха и столько же свинца приходилось от казны на каждого.

Их потомки получали в личное пользование участок земли. Со временем этих людей стали именовать однодворцами, или казёнными людьми. Кроме службы по охране границ, они занимались земледелием и ремеслом.

Таких крестьян (из-за их привилегий) часто называли дворянами, ведь они имели в частном пользовании просторный участок земли, фамилию – что немаловажно, а самое главное – помещики не имели право их закрепощать.

Несказанно трудна была судьба приграничного воина-пахаря. Но шаг за шагом отвоёвывал он степь у вольготно чувствовавших себя в ней разбойников. Сколько населения для государства пропало в наших землях в продолжение тревожного XVI века! Но из года в год десятки тысяч приходили им на смену, выступая на защиту южных границ, прикрывая от плена и разорения жителей центральных областей.

Подумать только: сколько времени и сил, материальных и духовных, расточалось день ото дня, из года в год, в этой мучительной, не всегда успешной, порой трагической погоне за лукавым степным хищником! А Западная Европа, избежавшая такой участи, продвигаясь вперёд, достигла значительных успехов в развитии промышленности, в торговле, в общечитии, в науках и искусствах.

При крепости Кромы обустроили семь опорных пунктов. Один из них, причём, не последняя спица в колеснице – «...на Кировом Городище». Мало того, окрест повсюду заложили сторожевые посты.

Кто знает, может быть, здесь, на взорлившей вершине Мишкина бугра, была одна из таких сторожек? (Ставились они обычно на самых высоких местах). В наблюдательных пунктах, днём и ночью, сменяя друг дружку, по пять человек понедельно, отбывали службу, как боярские дети, так и вольные мужики. Они должны были смотреть во все глаза, следить «осторожливо, чтобы воинские люди не прошли безвестно и уездов не повоевали». Здесь же неподалёку закладывались схроны, где сторожевые могли передохнуть.

Местность наша хоть и привольная, но холмистая, буераков сколь угодно. Схорониться в наших игинских оврагах ничегохонько не стоит – что иголке в стогу сена кануть. К тому же, на родной земле – каждый камень, каждый пень, каждый куст – товарищ.

Стою на поле. Цвигикают ласточки, поодаль, за глиняным амбаром, заросшим лебедой да подсекольником, хрипловато-надтреснуто кричат молодые хуторские петушки. Закат ясным полымем полыхает, славит день над Горонями, над дальним игинским урочищем. Золотые ленты шелкуются, играют над округлыми приречными ракушками. А перед моими глазами одна за другой сменяются картины былых времён... В них слышится какая-то глубокая-преглубокая грусть... И пусть жутко, но как же нестерпимо тянет заглянуть в прошлое!

Смотрю, как издали по просёлку, по залихватскому разгону, в сторону деревушки потрухивает охлопкой, заломив шапку, какой-то всадник. Точно в лад с ним скачут и мои мысли... Ктой-то? Поравнялся – наш местный мужик. Видать, с утра мотался по хозяйским делам в соседнее село. А мне подумалось: вот так, наверно, накинув на плечи вольный ветер, ранней слякотной весной 1571 года по последнему, цветами нанизывающемуся на былинки снегу, привстав на стременах, во весь опор, опрометью, мчался в туманной полумгле вестовщик, наш, «хрещёный» человек, в построенный в 1565 году по велению Ивана Грозного и благословению московского митрополита Макария Богослова, совсем ещё юный город-крепость Орёл упредить, чтобы срочно принимали меры, готовились ко встрече с ворогом.

Одной из главных задач порубежных отрядов было не пропустить в наши леса незамеченными татарских лазутчиков,двигающихся в пяти-семи переходах раньше основного войска. Чего бы они только ни отдали, чтобы уничтожить наблюдателей сторожевых постов, обустроенных возле основных дорог, пролежавших по водоразделам.

С замаскированных удобных помостов сторожевики следили: не клубится ли над дорогой пыль, не объявится ли татарская конница. Разъезды наблюдали за обширным районом перед Засечной чертой.

И, может быть, здесь, на одном из самых высоких деревьев, вспыхнул зажжённый в бочке смоляной факел, чтобы в близстоящих сторожках русичи заметили условный знак, кричащий об опасности, о просьбе подмоги, и воспалили свои факелы, передавая по эстафете об очередной напасти. (Если замечали врага на дальних подступах, отрезав пути, поджигали степь. Это лишало вражеское конное войско корма). «Факельный телеграф» в течение суток мог донести страшную весть до самой Москвы, до государя.

Крымчаки-лазутчики тщательно выслеживали и уничтожали наблюдателей – охоть да в затылке чесать некогда. Так, ранней весной 1571 года они перебили одним махом сразу несколько сторожевых постов и неожиданно появились под стенами Москвы.

Тогда не раз досаждавшие татарские полчища Дивлет-Гирей («Не имя, а собачья кличка какая-то», – дивились мужики), несмотря на распутицу, широко, нахрапом, очумело устремились на Свиной шлях. И в десятке километров от Игино, у села Мыцкое, внезапно заворотили чёрт-те куда, рванули на Старый большак (на водораздел Ицки и Кромы), обходя укреплённые селения и города, лавиной двинулись через Быстрый брод на Москву и пожгли её.

Можно лишь предположить, какая печаль полынная пала на моё опустошённое поле, какие муки претерпело оно, какие ужасы повидало во времена татарских набегов. Хлебное поле, раскинувшееся к югу от Кирово Городища, подкатывающее под наливные сады и гарбузные бахчи родимой деревушки Игино, лежащее на древнем пути из Брянска и Карачева в сторону Дикого-Дивного Поля...

Правда, нередко случалось и обратное. Разно говорят о том предания... Так, весной 1572 года наши разъезды маху не дали – нырь – озорно и отчаянно проникли в степь раньше вражеских. Так Бог дал. Да и иного выхода и не оставалось. Хан Дивлет-Гирей – несть числа – шёл по проторенному пути, но Москву успели предупредить. Поднятые по тревоге русские войска, распустив христианскую хорутвь – знамя с образом Всемиловитового Спаса, – встретили ворога подле Калуги, и, не поторопись хан повернуть, мышеловка бы захлопнулась. Напоровшийся на русичей Гирей вынужден был уйти к своим улусам.

Каждый раз, когда я вижу горлающую, падающую с небес, чёрную птичью стаю, чудится мне (видать, смутно, но неизгладимо запомнилось памятью крови): вот так же вороги, словно духи тьмы, обрушивались на мою многострадальную землю, гыркали, свистели-улюлюкали, дрались меж собой за добычу.

Сколько воды с тех пор утекло в Кроме? Сколько полчищ промчалось по заглохшей, широкой под изволок, большой Глиняной дороге, по громадному голому выгону, по каменистому ложу пересохшего ручья, по игинскому полю? Сколько стрел в него упало, сколько преломилось на нём копий, сколько легло на нём, как скошенная трава, воинов? Бог ведаёт...

Никакими ветрами не развеять его плач и стоны, его чёрную кручинушку. Никаким дождям не смыть басурманский кровавый след. Печаль и уныние поселились в моих краях с того дня на долгие, долгие лета. И дни обратились в сумерки. И поле смотрело строже и печальнее схимницы.

Кто теперь разгадает поросшие быльём ли, небылью ли тайны моей родины? Приподнять же завесу над ними помогают редкие, но

бесценные находки, подтверждающие, например, что в наших землях, являвшихся в XVI–XVII вв. порубежьем Русского государства, на которых возвышались многие укрепления Большой Засечной черты, постоянно происходили стычки и сражения с неприятелем.

Названия сёл и местечек в округе говорят сами за себя: лог Бахмач, Острог, Засадьё, Боёвка, Рубчье (от «рубиться»), Дерюгино, Становец, Лындин лог («лындить» – драться), Перешибец, Кочевая, Костеевка (стоящая на костях), Сеченов лог.

Но рядом с этими «воинственными» в здешних местах можно встретить, как улыбку Серафима, как мечту народа о мире и покое, красивые славянские названия деревень и урочищ, логов, балок и оврагов: Папоротный, Ярочкин, Савин, Калинов лог, Ястребинка, Студенец, Лебяжье, Дубрава, Лешенка, Порточки, Гороня, Даль, Закамни.

Не в поддержку ли православных именно в эти страшные годы под горой Поповкой был освящён источник?

ГДЕ ИСКАТЬ ТЕБЯ,
КУДЕЯРКИН КЛАД?





стоки поверий о кладах коренятся в далёком прошлом, когда в любую минуту и жилища, и всё нажитое подвергалось у русича опасности разорения и разграбления, когда и жизнь самого человека висела на волоске. После опустошительных набегов ворогов различных мастей по счастливой случайности оставшемуся в живых мужику нет-нет да и приснится удивительное избавление от нищеты, чудесное, негаданное обретение достатка, связанное с нахождением клада.

Всевозможные красочные, а порой и жуткие рассказы, в которых запечатлена извечная мечта об удаче, живут в нашем народе и поныне. Вооружившись дошедшим из стародавних глубин истории невероятным поверьем, бродят ещё по свету и в наш век мечтатели, искатели канувших в вечность кладов. Прежде всего, азарт свой они устремляют к древним курганам и остаткам старых городищ, связывая появление нечаянных богатств и потаённых мест – вместилиц кладов – со временами завоеваний, разбоев и смут.

Так, например, в легендарные годы, во времена Ивана Грозного, жил да был себе один из самых известных персонажей русского фольклора – разбойник Кудеяр. Косвенно, но его существование всё же подтверждается документами. (Например, в 1640 году тульский воевода на запрос из столицы о Кудеяре сообщает, что о разбойнике этом «...сказывали давно старые люди, лет сорок назад»).

Кто же такой этот Кудеяр, что слухи о нём не смолкают и поныне?

Всяк, кто толкует об этом лиходее, выбирает свою побаску: одни считают, что Кудеяр – сын Василия III и сосланной в монастырь за бесплодие жены его Соломонии (а значит, ни мало ни много – сводный брат Ивана Грозного); другие спорят, мол, Кудеяр – сын Жигмонда Батори, и в его венах текла опять же сиятельная, но только польская, кровь, а при дворе русского царя был он не последним опричником.

Лично я нахожу более вероятной третью версию и присоединяюсь к тем, кто считает, что героем легенды XVI-XVII веков мог быть Кудеяр Тишенков – боярин из недалёкого от Орловщины города Белёва. Во время похода крымского хана Девлета I Гирея в мае 1571 года на Москву оказал он услугу (видать, забыл, какой рукой лоб крестят!) – открыл тайные броды через Оку и наилучшие подходы к Москве. При отступлении татар – куда ж ему оставалось деться? – «дёрнул» христопродавец с ханом в Крым. О встрече с ним в Бахчисарае в своих

письмах к царю упоминает пленённый басурманами боярин Василий Грязный.

Правда, по просьбе Кудеяра Тишенкова, Иван Грозный позволил изменнику вернуться на Родину. И вот тут-то, думаю, убоявшись царской мести, предатель-боярин и мог податься в разбойники.

На подлинность легенд об отчаянном злодее Кудеяре, а их существует великое множество, надежды нет. Скорее всего, имя это могло стать нарицательным и им прикрывались несколько атаманов-разбойников, грабивших купцов да бояр.

*...Спородила нас ночка тёмная,
Сосватала нас сабля вострая;
У нас сватушка – кистень-батюшка,
А свахонька наша – сабля вострая...*

Нет числа легендам о лихих делах Кудеяра во всех южных и центральных российских губерниях. Везде, где он побывал, разбивал свои станы. А уходя в иные места, скопив казну богатую, часть награбленного раздавал бедным, другую – зарывал в землю. Причём, как гласит легенда, каждый раз по три сундука: в первом – золото, во втором – серебро, в третьем – перстни, кольца, браслеты, ожерелья жемчужные, посуда золотая да серебряная.

Клады эти кудеяровские не простые, сказывают, мол, разбойник владел неслыханной колдовскою силой. А значит, и схроны его – заворожённые. Имя Кудеяр, достаточно распространённое в средневековой Западной и Центральной Руси, означало «сильнейший чародей».

Местечек этих, потаённых, насчитывают около сотни. У нас страсти-мордасти, рассказы об этих кладах гуляют и поныне: «Под камнями, прикрывающими награбленные сокровища, вспыхивают огоньки, а два раза в неделю в глухую полночь слышен жалобный плач ребёнка».

Хоть и разные легенды ходят по свету о Кудеяре, однако судьбу его, пусть мистическую, проследить можно. Жил-гулял разбойник в своё удовольствие, и не было ему горя-печали, как вдруг ни с того ни с сего расхворалась его любимая жена Настя, сама краса ненаглядная, сама нежность, да и померла. Похоронил он её, разодев в лучшие одежды, нарядив в золото-жемчуга. (Не могила, а ещё один клад!)

Не стало у Кудеяра родной подруги, остался он один-одинёшенек, как перст, и опостылел, наскучил ему белый свет. Поначалу-то ещё крепился, а потом и вовсе затосковал, закручинился атаман, да так горько, что дал обет грехи свои тяжкие перед Господом замаливать. А всё из-за страстной любви, видать, оказалась она сильнее его души распропащей. Сказывают, до сих пор жив разбойник-чародей, помереть ему никак нельзя – всё грехи свои не может отмолить.

Что же случилось с богатствами Кудеяра? А никто их по сей день не видывал! Зарок, ходят слухи, на клады те Кудеяр на пятьсот лет положил.

В моём селе Кирово Городище ещё при царе Косаре бытовала легенда об одном из тайников этого разбойника. Да и нынче всё ещё рассказывают старики внучатам на печи страшные сказки про Кудеярку. Даже в книгах о кировском кладе стали упоминать! Так как зачатую мотивы и сюжеты сказаний о кладах повторяемы, то и эта легенда не нова – речь в ней идёт об очередной попытке, на этот раз неудачной, добыть клад, который упрятан «на бедных и гонимых», о противоборстве с его охранителем, о великом грешнике, искупающем свои злодеяния.

Будто бы уже в середине XIX века у крестьянина Василия Сампсонова в подземелье обнаружили огромный «проклятый» клад – множество бочонков, доверху наполненных золотыми и серебряными монетами. Об этой находке доложили Министру внутренних дел Льву Алексеичу Перовскому. Мол, получено донесение отставного унтер-офицера лейб-гвардии Московского полка Афанасия Петрова о кладе в селе Кирово Городище Орловской губернии Кромского уезда. А в качестве доказательства Петров представил монету – серебряный голландский талер 1620 года. Местным властям по приказу министра поступило предписание: «...исследовать этот случай со всей строгостью, разъяснить все обстоятельства дела и о последующем немедленно уведомить».

...Однажды Афанасий Петров со своим спутником Никитой Лукьяновым, находясь по какой-то надобности на далёкой Смоленщине, заночевал у крестьянина Семёна Аверьянова. И тот возьми да поведай путникам о кировском кладе. Сам-то он об этом богатстве узнал случайно, от земляка своего.

В тот же вечер сговорились они втроём во что бы то ни стало тот клад добыть. Так, знамо дело, только ленивый не загорелся бы желанием хоть одним глазком взглянуть на несметные разбойничьи богатства. Но разве ж знали они тогда, что добыть заклятые сокровища, да если они ещё и

под надзором приставника, – работёнка, ох, какая трудная! Да и не менее опасливая. Кроме того, не помешает и знание особых правил, молитв и заговоров. А ведь клады зачастую зарывали ещё и с зарокотом: «Дайся наша золотая казна тому-то в час такой-то», или «Кто найдёт мой клад, то чтобы его жить – не прожить, грести – не изгрести, и чтобы хватило и детям, и внукам!» Как тут всё рассчитать-предугадать!?

...Прошло немало времени, пока кладоискатели добрались, наконец-таки, до села Кирово Городище. Определившись на постой к священнику Сергиевской церкви, отправили Семёна Аверьянова к Василию Сампсонову.

К удивлению посетителя, хозяин не стал долго отпираться, сообщил, что в подземелье у него, и правда, хранится клад Кудеяра – тридцать два бочонка с золотыми и серебряными монетами. Но клад тот – зачарованный и без разрыв-травы никому не даётся.

Однажды, по великой нужде, в голодный год, рискнул было Василий Сампсонов запустить руку в кудеяровские богатства, да горько поплатился – разом умерло у него в семье три человека!

Обрадованный тем, что клад существует на самом деле, Семён Аверьянов уговорил Василия Сампсонова показать ему заветное место и, накинув (по требованию хозяина) на голову рогожный мешок, взявшись за руку Сампсонова, отправился в самую глухую полночь в подземелье.

Шли недолго. По каким-то кладям, мимо сараюшки, от которого густо тянуло новолетним сеном, откуда-то доносился осторожный треск пересохшего гороха. Потом опять – воздух свеж и жидок. В небесах – ни луны, ни просяного зёрнышка. Самое время в бездонной пустоте в жмурки играть. И по округе – ни собачьего лая, ни кошачьего мява. Лишь неясный шёпот ночи. Ступали, не проронив ни слова, будто по преисподней.

Наконец-таки, скрипнули двери, дохнуло погребной сыростью, затхлостью и гнилью. Шаги слышались гулкими и тяжёлыми. Когда в нетерпении Семён Аверьянов сдёрнул мешок и огляделся, то обнаружил себя в довольно просторном, забытом всеми на свете погребе. Потрясённый, не мог выговорить ни единого слова: перед ним предстали величиной с ведро, иные – с два ведра, десятки бочонков с золотом и серебром! Расположенные вдоль стен от входа, они стояли в два ряда. Аверьянов продолжал удивляться – пригляделся, в глубине подвала – ещё и куча позеленевших медных монет. Из прогнивших от сырости бочонков просыпались наземь серебряные денежки величиной с талер. В

одной из бочек поблёскивали золотые русские империялы. «Ну, – подумалось счастливцу, – теперь вся жисть предо мной распахнётся!»

Конечно, Семёну захотелось в доказательство существования клада прихватить несколько денежек. Но только он протянул руку, почувствовал, как она перестала его слушаться, занемела. Мало того – померк белый свет, ничегошеньки не видать! Аверьянов вспомнил, что случилось с домочадцами Сампсонова, да и сам хозяин, посмотришь, прям-таки не жилец на белом свете. Струхнул кладоискатель, перекинул монетку из ладони в ладонь, будто горячую печёную картошку, поёжился и, бросив поскорее назад, быстро отдёрнул руку, тут разом и прозрел.

Ухмыльнувшись, замудрёнистый Василий Сампсонов подвёл его к столу, к которому была пригвождена медная доска-железяка с выбитыми на ней словами: «Кто разрыв-траву принесёт и этот гвоздь разорвёт, тот и мою казну получит».

«Вот те крест – сам Кудеяр писал, – растолковал хозяин подземелья, – когда разрыв-травы достанешь, допущу и клад взять. Так-то!». И кинулся Семён Аверьянов, как наскипидаренный, на поиски злосчастной разрыв-травы...

Долго ли, коротко ли искал, только всё же посчастливилось ему однажды – привела его дорожка в Москву, к купцу Михаилу Бардину, проживавшему на улице Моховой, как раз напротив Манежа. А уж с этим купцом разыскали они обладателя таинственной травы – Леонтия Ануфриева, крепостного крестьянина графа Сергея Дмитриевича Шереметева. (Сказывают, имелась у него и «вызывная книга», да мужичонка он – себе на уме, смолчал о ней до поры до времени, видать, не каждому до конца шёл навстречу).

Прежде чем отправиться в обратный путь, за кладом разбойника Кудеяра, решили испробовать разрыв-траву в кузнице. А силищи она оказалась неимоверной! От одного прикосновения травки этой полоска железа, почти в четверть аршина длиной и в ширину толщиной, положенная на наковальню, с треском разлетелась на четыре части.

Семён Аверьянов, святая простота, томясь от предчувствий и безвестья, управившись, прихватив Леонтия Ануфриева с его колдовской травой, возвратился в Кирово Городище. Но хозяин подземелья Василий Сампсонов, к великому их огорчению, вдруг заартачился, сославшись на зимние холода, на промёрзлость земли, Бог знает на что ещё, только велел приходить не ранее лета. Худо дело! Не солоно хлебавши кладоискатели разъехались по домам.

...В это самое время и привели ноги унтер-офицера Афанасия Петрова к Семёну Аверьянову, который поделился тайной о кудеярском кладе в Кирово Городище. При этом, узнав, что Петров направляется в столицу, попросил довести до сведения начальства его рассказ.

Следователи допросили всех героев этой истории, допросили и самого Сампсонова. Тот упёрся и стоял на своём: мол, нет и не было никогда ни подземелья, ни клада. Возмущению Аверьянова не было предела, аж с лица спал: ведь он собственными глазами видел десятки бочонков с золотом, мало того, помнил, что среди них были серебряные голландские талеры и золотые русские имперIALы.

Хорошо ещё, что умом мужик не тронулся. И что только с ним могло не приключиться, ведь даются-то клады в руки не всякому: кто и вовсе помирал, кто заболел страшной болезнью. А всё страсть эта колдовская! Правда, при всей опасности, кладоискатели ни в какие века не теряли надежды на удачу. Такой уж это народ, неугомонный!

...Обыскали, прощупали всё подворье Сампсонова, всю близлежащую округу – чудеса в решете – клада как не бывало! Только метались, путались под ногами штук шесть презлющих кошек, все как на подбор – красной масти, и всё кругом, кругом корогодились, шельмы, видать, глаза отводили. Ну, ясное дело, попадали дознатники наземь. У кого ж «не поплывёт» от такой напасти голова, вусмерть закружили, нечисти!

Сказывают, мол, иногда сами клады оборачиваются, какими им вздумается, животными. Так пробовали, словив тех-то кошек, кидать через плечо. Даже предварительно зааминив, зачурав, приговаривали: «Рассыпья, клад, на серебро-золото!»

Чёрт то дело только и разберёт!.. Может, время ещё не пришло? Хотя... поговаривают, мол, кладу, ему что вздумается, возьмёт и явится счастливчику «за просто так», сам. Чаще всего такие «похоронки» объявляются тому, кому предназначены, в награду за добро и благодетель. А сами они, клады те, бывают и добрые, и злые. Добрый и даёт по-доброму. Только место знай. Прочтёшь, сказывают, Воскресную молитву, он и сам к тебе в руки скакнёт, а злые, те, что положены с заклятьем «Не доставайся никому!», – с этими держи ухо востро! Так и выются, так и шныряют вокруг них оборотни да приведения, просто жуть!

Несколько раз пытались следователи до правды докопаться, даже на Святую и на Купалу, даже двадцать третьего мая, в день Симона Зилога, – в верные дни, клад им не открылся. Исчез, точно его и не бывало.

Призывали и священника из церкви Преподобного Сергия. И у него дело не выгорело, хоть батюшка сготовился изрядно – вооружился от бесовского наваждения Крестом и Псалтирью. Его охватил такой страх, что он, позабыв с перепугу обо всём на свете, бежал на Поповку и два дня не решался выходить из-за алтаря.

Кошки, а может, ещё какая чертовщина, знай своё: всё мельтешили и мельтешили перед глазами, и никакими силами, даже крест на них накладывали, ни в какую не помогло! Да и двор Василия Сампсонова не раз на глазах у всех сторал подчистую, правда, на другой день снова возникал на своём месте, словно ничего с ним и не приключалось.

Страшно стало – дознаватели и на попятную, вон с Сампсоновского двора, и после того случая – к нему ни ногой! Уж не сам ли бес, старый скряга, приставлен был кладовиком к средневековым сокровищам, «пока не исполнится завет»?

Небывальщина-то небывальщиной, однако все ведь знают: дыма-то без огня не бывает! Откуда же, к примеру, талеры в нашем среднерусском селении? Может, где-то здесь, у нас на виду, и впрямь сокрыт клад легендарного Кудеяра? Клад, потонувший в веках... Всё может быть. А может, и искать его вовсе не стоит, ведь «Бог даст, так и в окно подаст».

И к тому же – занять сотанинские сокровища грешно. Счастливым от дьявольской подачки, прописано ещё эвон когда, ещё в «Сказании о Борисе и Глебе», никак не стать: «Аще бо или серебро, или золото сокровенно будет под землею, то мнози видят огонь горящ натом месте, то дьяволу показующу сребролюбивых ради».

**ЗА ЗЕМЛЮ РУССКУЮ,
ЗА ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ**





трастей-напастей перевидали места наши с лихвой, что ни век – то ворох, а коли «повезёт» – и того боле. Как в таких случаях говорят: «Беда бедой беду затыкает». Если оглянуться назад, то можно подсчитать, что Россия из 1150 лет своего существования как государства отражала всяческие нападки извне, а потом поднималась из разрухи, нанесённой войнами, 950 лет! Только с 1240 по 1462 год – двести войн и нашествий. И это за 222 года-то!? С четырнадцатого века по двадцатый (за 525 лет) – 329 лет войны! Воистину тяжёлый русский крест! Кажется, из одних лишь страданий сотканы холсты нашей истории. Но разве мы вольны в выборе жребия, данного свыше?..

Кто ж не помнит поговорку: «Нет большей беды, чем плохие соседи»? И наша собственная судьба, и судьба нашего племени зависит, да и зависела во все века во многом от того, с кем мы соседствуем: с дружелюбными, мирными жителями или с воинственными захватчиками, какого вероисповедания и уровня развития находятся соседи. А их у нашего, с протяжёнными украинцами, государства во все века было видимо-невидимо. Оттого и сложилась у нас ещё одна поговорка: «С соседом дружись, а за саблю держись».

Ведь кто только не посягал на наши земли! Здесь, в краях древних вятичей, сталкивались (несчётно раз!) интересы печенегов, хазар, монгольских орд, крымских басурманов... Места эти, благословенные, словно сдобный пшеничный каравай, испокон веков не давали покоя иноземцам. Слово у псов голодных, текла на протяжении многих столетий у них слюна при виде богатых наших лесов и пашен. Лезли со всех сторон: с юга – татары, с востока – монголы, с запада – литовцы.

Нелёгкая доля выпала землям вятичей, раскинувшимся на стыке трёх враждующих государств – Московского, Золотой орды и Польского-Литовского. Постоянно подвергаясь опустошительным набегам, принуждаемые выживать в тяжелейших условиях, они сыграли немалую роль в обороне рубежей Российского царства.

Не зря же прижилась в русском языке ещё одна поговорка: «Беда не приходит одна». Мало того, что на неокрепшую после татаро-монгольского нашествия Русь постоянно налетали хищники-вороги всех мастей, так ещё и в самом начале XVII века (1601–1602 годах) на русский народ обрушился Божий гнев в виде небывалых до той поры неурожая и голода, последовавшего за ними морового поветрия.

Спасаясь от голода, ожесточившийся люд валом повалил на дороги, кинулся в разбой, порою доходило до людоедства. «По

мале же Божию гневу Русскую землю постигну за грехи наши, гладу велику зело бывшу, и мнози от глада того помираху», – скорбит о горькой судьбине народа русского «Повесть временных лет».

Все попытки Бориса Годунова обеспечить хлебом оголодавших и навести в государстве хоть какой-то порядок не возымели успеха. Вымирали целые волости. Народ готовился к концу света. В поисках пропитания земляки наши устремились в южные края. Но там, у южных границ, снова осложнилась обстановка – крымский хан Казы-Гирей коварно разорвал мирный договор, объявив, что собрался «идти на государевы украины». А тем временем в России разразился династический кризис, спровоцированный Смутным временем.

И опять внутригосударственными неурядицами воспользовались иноземные захватчики. Теперь уже соседская Польша, затаив злобу, лезла на рожон, спала и видела на российском престоле своего ставленника. К этому времени Польша, сдружившись с Литвой, создала с нею единое государство – Речь Посполитую, целью которой было создание католической сверхдержавы.

А православная Русь готовилась к пришествию Христа, к последним дням мира, к Страшному суду. Не одно столетие велась жесточайшая борьба русского народа с польско-литовским соседом. Пращурь наши стояли насмерть не только за землю Русскую, но и бились за веру Православную. Сложить голову во имя Господа Иисуса Христа в борьбе против еретиков-католиков – славное дело, которое не могло устрашить ни одного православного.

Но были и люди с нечистыми помыслами, стремившиеся воспользоваться тяжёлой ситуацией в государстве. Так, прикинувшись, выдав себя за сына Ивана Грозного, претендуя на престол, монашек Чудова монастыря, «провор» Григорий Отрепьев (а в народе – Гришка-Расстрижка), в середине октября 1604 года с отрядом из 3600 человек перешёл западную границу.

*Из-за шведскии, из литовскии из землюшки
Выезжает вор-собачушка на добром коне,
На добром коне во чисто поле,
Становилса вор-собачушка под столицею,
Под столицею в славном рубеже...*

В «Истории города Орла», написанной в 1837 году орловским мещанином Дмитрием Ивановичем Басовым, об этом времени упоминается с великим прискорбием, мол, эх, жить бы да

поживать, как надобно, но «...грех ради наших, по наущению божию, был глад в России три лета; в то время появился в польском королевстве самозванец, по имени Гришка Отрепьев, назвался царевичем Дмитрием и оболстил короля и вельмож, которые ему, Отрепьеву, и поверили, и дал ему король войска...»

Всё это довершило общую картину хаоса и смерти. Предел, за который нельзя перейти... Казалось, погибала сама Русь Православная. Русский народ, претерпевая адовы муки, стоял у края судьбы.

Побывал Самозванец и в наших краях, которыми до 1500 года владели Литовские и Польские короли, повернул жизнь на иной лад. А в самом начале XVII века в двадцати пяти верстах (совсем рядом!) кромчане, с ними и мои земляки, сначала дав жесточайший отпор самозванцу, потеснили, сломали его ряды. Но потом (диковинное дело!), как и многие другие, в последних числах ноября мужики Комарицкой волости Севского уезда, в которую входили наши земли, «поддались» Самозванцу, перешли на противоположную сторону и с такой же стойкостью, целовав крест, защищали Отрепьева, не щадя за него ни тела, ни души.

Для того чтобы земля Комарицкая, подвергавшаяся постоянным вторжениям Крымских татар, Литовцев и Белгородских (Аккерманских) татар, в XV–XVI веках держала границу, Московские правители способствовали заселению здесь всех желающих, даже преступивших закон, тех, кого ожидала кара. Сюда же, на плодородные земли, в относительную вольницу в 1601–1602 годах ринулся голодный люд из соседних волостей. Особое, разнузданно-удалое поведение, своеволие и полная опасностей жизнь – качества, которыми характеризовался комарицкий мужик XVI–XVII веков. И по сей день гуляет о нём известная на всю Россию залихватская песня: «Ах, ты сукин сын, комарицкий мужик! Ты зачем не стал у барина служить?..»

Вольный нрав жителей Комарицкой волости особенно сказался в Смутное время. После разгрома Лжедмитрия I места эти, упоминаемые в рукописях той поры, чрезвычайно часто в связи с событиями Крестьянской войны и интервенции 1604 года как центр крестьянского восстания были жесточайше потоплены в крови. Царские ратники убивали «не токмо мужей, но и жён и беззлобливых младенцев сущих млека, и поби от человек до скота», – рисует нам ужасные картины в «Казанском сказании» Конрад Бусов. Многие исследователи прошлого сходятся на том, что наши земли являлись в те времена сердцевиной Комаринской волости.

Голландец Исаак Маас, путешествовавший по Московии, прямо скажем, не в самое подходящее время, писал о Комарицком крае, к которому в ту пору относились и леса-поля моего Кирово Городища, как о земле «весьма плодородной, богатой хлебом, мёдом и воском, также льном, коноплём и населённой богатыми крестьянами». Сквозь пелену столетий дошли до нас и его воспоминания, повествовавшие о жестоком разгроме этой волости войсками Бориса Годунова за поддержку Лжедмитрия I, когда убито было несколько тысяч крестьян: «Царские воеводы разорили Комарицкую волость, от неё не осталось ни кола, ни двора, и они вешали мужчин за ноги на деревья, а потом жгли; женщин сажали на раскалённые сковородки, насаживали на деревянные колья, детей бросали в огонь и воду, а молодых девушек продавали». Нельзя не заметить, что автор «Казанского сказания» писал, что Самозванец взял с Комарицкой волости «дань в 120 тысяч». Тогда, в декабре 1604 года, крестьяне присягнули Лжедмитрию I и привели к нему на расправу, сдали с рук на руки, двух связанных воевод.

Ища спасения от государевых полков, мои земляки укрылись за стенами Рубленого города Кромской крепости. А в живых к концу осады осталась всего ничего – лишь четверть от всех спрятавшихся за крепостными стенами.

Крестьяне, потерявшие надежду на нормальную оседлую жизнь, скоропалительно собирали торбы и айда в разбой. Ведь на Руси издревле велось: увеличение числа разбойников связано с войнами, эпидемиями, неурожаем, разорением. А множественные разбои, как правило, перерастали в крупные народные восстания.

Как тут не вспомнить захватывающую повесть Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский»? «...Появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые противу них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовало одно за другим». Главный герой – лицо вымышленное, но сколько его прототипов насчитывает русская средневековая история!

Надо полагать, именно в такие времена и складывались под жунденье балалайки песни, в которых разбойники – удалые добрые молодцы, люди вольные. И в «разбойных» песнях они грабят только богатых, заступаются за нищих и бедных.

*Как светил да светил месяц во полуночи,
Светил в половину;
Как скакал да скакал добрый молодец
Без верной дружины.*

*А гнались да гнались за тем добрым молодцом
Ветры полевые;
Уж свистят да свистят в уши разудалому
Про его разбои.
А горят да горят по всем по дороженькам
Костры стражевые;
Уж следят да следят молодца-разбойника
Царские разезды;
А сулят да сулят ему, разудалому,
В Москве белокаменной камены палаты.*

По Комаринской волости Севского уезда в 1603 году прокатились восстание, которое возглавил разбойник Хлопко по прозвищу Косолапый.

И в участии моих земляков в Крестьянской войне 1606–1607 годов под предводительством Ивана Болотникова тоже нет сомнения. (О том, что вконец обнищавшие крестьяне Комаринской волости жгли барские и помещичьи усадьбы, говорится во многих донесениях государю). И снова из Москвы в волость был направлен специальный карательный отряд (состоявший из татар!).

Свои зловещие краски привнёс в Смутное время, а фактически в гражданскую войну, и «орловский царик», «тушинский вор», Лжедмитрий II, завершив разор нашего, измученного голодом и непрекращающимися военными столкновениями, края. Жители волости, следует отметить, и очередному Самозванцу тоже служили.

Не прошло и года после восстания Ивана Болотникова, как подоспели новые злые перемены – снова завязывай, мужик, свои надежды в узелок! С одной стороны – усилились набеги крымчаков на южные границы, татары настолько обнаглели и осмелели в своей безнаказанности, что стали совершать налёты на не держащие оборону украины даже зимой. С другой же стороны – поляки, пригласив в сотоварищи шведов, снова вторглись в русские пределы. И опять погуляли они на славу и в наших местах. Не спасло их и то, что Орёл, в числе прочих городов, в это время уже присягнул на верность королевичу Владиславу, сыну короля Сигизмунда III.

Убравшись восвояси только через пять лет, шляхтичи оставили до нитки ограбленные, сгоревшие дотла русские поселения. Но даже и после этого долго ещё не унимались. Свиные отряды панов «лисовчиков» (шестьсот всадников), выходцев из Польши, да столько же русских, так называемых вольных казаков, во главе с полковником Александром Лисовским на протяжении двух лет с

лета 1615 года с особой жестокостью продолжали безнаказанно хозяйничать на просторах России, куда с отрядом шляхтичей сбежал он, не пойманный на родине, ещё в 1607 году.

Разоряли, жгли и селеня нашей округи. Непосредственный свидетель, активный участник Смуты, немецкий наёмник Конрад Бусов в своих воспоминаниях сообщает, что «лисовчики» ещё злей измывались над русским народом, безжалостно убивали (страшно представить!) «всё, что попадалось по пути: мужчин, женщин, детей, дворян, горожан, крестьян» или забирали в плен, чтобы продать на невольничьем рынке.

Вот как описывает разбой банды пана Лисовского, приговорённого как участника рокоша – войны против короля Сигизмунда III – к смертной казни в Польше, в своём «Воззвании» ещё один свидетель тогдашних ужасов Авраамий Палицын: «Сердце трепещет от воспоминаний злодейства... Уже не сражались за Отечество, уже многие умирали за семейства: муж за жену, отец за дочь, брат за сестру вонзал нож в грудь ляха. Не было милосердия, всех твёрдых в добродетели предавали жестокой смерти... Могилы, как горы, везде возвышались. Граждане и земледельцы бежали в дебри. В леса и пещеры неведомые, или в болота, только ночью выходя из них, чтобы осушиться. И леса не спасали. Не светом луны, а пожарами озарялись ночи, ибо грабители жгли всё, что не могли взять с собой... пусть будет Россия пустынею необитаемою».

И в декабре 1616 года (от Рождества Христова, а от Сотворения Мира – 7124 года) литовцы снова «воевали» наши места. Справиться с захватчиками, вопрекор судьбине своей, змеюке подколодной, почти обезлюдевший край, конечно же, самостоятельно не мог. Лишь благодаря вмешательству регулярных войск под предводительством Дмитрия Пожарского, разбившего воскресным сентябрьским утром 1615 года в трёх километрах от Орла, в местечке Царёв Брод, при пятикратном численном превосходстве врага, трёхтысячный отряд шляхтича Лисовского, земли наши освободилась от панского гнёта.

Восхищаясь воинами Дмитрия Пожарского, автор Бельской летописи отмечает: «...Такою убо в тот день храбрость московские люди показаша: с такими с великими людьми малыми людьми бьющись... В лета 7124 года в осень царя и великого князя Михаила Фёдоровича всеа Руссии был бой под Орлом воеводам князю Дмитрею Михайловичу Пожарскому да Степану Исленьевичу и его государевым ратным людям с паном Лисовским и польскими, и литовскими людьми, и с русскими воры, с ызменники, с казаками,

которые воровали и кровь христианскую лили заодно с литовскими людьми и забыв Бога и веру христианскую...».

Если в Орле и в окрестных городах к завершению Смутного времени не осталось ни населения, ни маломальского жилья, то что уж говорить о мелких селениях? Запустение в деревушках было невероятное, настолько, что снова поля поросли ковылём да чертополохом, снова по округе зарыскали дикие звери, а в самые лютые зимние месяцы люди ели сосновую кору, мох, всё, что возможно хоть как-то счесть за пищу. Даже в крупном по тому времени крепостном городе Кромы в 1619 году насчитывалось всего 97 семей.

Разорённые и без того войной с самозванцем земли наши не раз порывались пограбить и многочисленные орды крымских татар. Объявлялись они на нашу погибель и в середине лета 1634 года, но, как уж повелось, и «на том бои многих татар побили». Налетал в сентябре 1637 года татарский царевич Сафат-Гирей. Через десять лет – в самом начале сентября 1644 года – очередной набег татар и нагайцев. Весь XVII век представлял печальную картину разора и погрома бунтарской волости: то татарами и черкасами – в 1645, 1662, 1668 годах, то поляками – в 1616, 1664 годах.

**ОРЁМ ЗЕМЛЮ ДО ГЛИНЫ,
А ЕДИМ МЯКИНУ**





азалось бы, на всём лежала печать непоправимого... Но Русь – неугасимая лампада – не погибла! Не хорони её, ворог лютей, раньше колокольного звона.

Подобно птице Фениксу, томилась она желанием возрождения и, как только границы откатились на юго-восток и земли наши перестали называться «Диким полем», подвергаться бесконечным грабительским набегам всевозможных захватчиков, сразу же принялась крепнуть, навёрстывать судьбу. Жизнь в Орловской провинции, вошедшей по указу Петра I от восемнадцатого декабря 1708 года в Киевскую губернию, начала налаживаться, появляется множество «дворянских гнёзд».

Как тут не вспомнить слова Михаила Васильевича Ломоносова о том, что «народ российский от времён, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку столь многия видел в счастии своём перемены, что ежели кто междуусобныя и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по столь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул».

Обустроивался Орёл, малые его города и селения. Возрождались ремёсла, торговля, развивалось сельское хозяйство, особенно зерноводство (предпочтение отдавалось ржи, гречихе, просу, овсу и конопле). Пашни древнего поселения Кирово Городище, а значит, и прилежавшему к нему Игино, вошедшие в Кромской уезд Орловского наместничества, снова дождались своего оратая. Тут-то бы и возрадоваться мужику: скинул чужеземное иго – рожай детей, расти хлебущко.

В давние времена почётное право проложить первую, «священную», борозду предоставлялось правителям. К сожалению, труд землепашца утратил былое сакральное значение. С веками этот удел остался лишь крестьянам. Всё ниже склонял мой предок голову, всё грустней и печальней, словно таинственный лепет юродивого, становилась его песня:

*Золодей ты наша барыня,
Сжила всю свою вотчину.
Она молодых-то ребят
Во солдаты отдаёт,
А середовых мужиков*

*Всё в винокурички,
Удалых молодцов
На фабрички,
Красных девушек
Всё в батрачушки,
Оставляет она сиротинками
Дробных детушек, малолетушек.
Хворым-то она
Не даёт отдохнуть,
Старикам не даёт за двором приглянуть.
Она гонит их на работушку,
На работушку, ну, всё тяжёлую,
На тяжёлую, подневольную,
Подневольную да пригонную.*

Снова всё возвратилось на круги своя. Иго! Опять ходить под непосильным ярмом! Теперь уже богатых соплеменников, русских помещиков. Мало того, что они захватывали всеми правдами и неправдами лучшие пахотные земли, так ещё и увеличили повинности. Только два дня в неделю мужик работал на себя. Большую же долю своей жизни он проводил на барском поле. Рабочий день его продолжался по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки. А, как известно, нищета вдвое гнёт.

Повсеместно вспыхивавшие бунты переросли в Крестьянскую войну 1606-1607 годов, во главе которой стал беглый холоп боярина Телятовского Иван Исаевич Болотников, разгромивший под Кромами в августе 1606 года царские войска воеводы Трубецкого. На стороне бунтовщиков сражались и жители Комаринской волости Севского уезда Орловской губернии, включая и моих земляков. Но восстание было подавлено, и помещичья кабала ничуть не ослабла.

Ничего хорошего не сулил крестьянину и нововведенный денежный оброк. В начале XVIII века он составлял один рубль с души, а через несколько десятков лет возрос до четырёх рублей (что приравнивалось в те времена к стоимости коровы). Помещик мог поступить со своим крепостным, как ему заблагорассудится. Он волен был мужика, как угодно, наказать, сослать на каторгу, даже распродать его семью, словно скот. Всего за пятьдесят-шестьдесят рублей можно было купить взрослого мужчину, женщина стоила и

того меньше – пятнадцать-сорок рублей. Дети же и старики уходили и вовсе за бесценок – от одного рубля до десяти!

Крестьяне вывозились по средам и четвергам на продажу вместе с хлебом, скотом, пенькой, мёдом, овощами в Орёл, где на базаре собиралось до пятнадцати тысяч подвод. Торговали кировскими мужиками наряду с огородней снедью и в Кромах, и на Казанской ярмарке в соседнем селе Рыжково.

Да это бы ещё не беда, но два неурожайных года, 1748 и 1749, обострили уже накалившуюся обстановку. В те жуткие времена всенародного разора смерть выкашивала семьями. Доведённые до отчаяния, закабалённые крестьяне, потомки вольнолюбивых вятичей, бившиеся день и ночь за ломоть ситного, готовы были в любую минуту бросить плуги и бороны средь полей и в жажде свободы обрушиться на своего хозяина, вооружившись рогатиной и камнем (благо леса ещё к тому времени густо покрывали наши земли, да и камня по берегам ручья Жёлтого и реки Кромы рассыпано вдосталь).

Хотя с особой жестокостью были подавлены крестьянские бунты Емельяна Пугачёва и Степана Разина, сама императрица Екатерина II вынуждена была признать в письме к Генерал-прокурору Александру Алексеевичу Вяземскому, что «положение помещичьих крестьян таково критическое, что окромя тишиной и человеколюбивыми учреждениями ничем избежать бунта невозможно».

Права крепостных крестьян с каждым годом ограничивались, и во второй половине XVIII века крепостные превратились в полную «крещёную собственность» помещика. С 1760 года он получил право ссылать своих крепостных в Сибирь, а с 1765 года – даже отправлять на каторгу. Самодурство, жестокость и произвол помещиков не знали предела. После указа 1767 года, согласно которому любая жалоба крестьянина на помещика рассматривалась как ложный донос и каралась пожизненной ссылкой в Нерчинск, искать справедливости крепостному стало совершенно не у кого.

Последняя точка в крестьянской войне была поставлена в 1797 году. А за год до того, в ноябре 1796 года, подняли вверх копылом в Дмитровском уезде село Брасово Фёдор Савенков и Емельян Чернодыров. Взбунтовалось около тринадцати тысяч человек. И снова не обошлось без крестьян Кирово Городища.

Как и по всей России, это восстание было подавлено со страшной жестокостью. Прописать ижицу «проживавшим в воровстве шайкамлейкам бунтовщиков» в Дмитровск по приказу Павла I под командованием фельдмаршала Никиты Ивановича Репина были направлена артиллерия и гусары. Чтобы навеки вечные забыли «воры» своё «Сарынь на кичку!»

До сих пор ещё в народе, как память о событиях тех бунтарских дней, жива родившаяся в Камаринской волости поговорка:

*Орёл да Кромы – первые воры,
А Елец – всем вора́м отец,
А Карачев – на придачу,
А Ливны – всем вора́м дивны,
А Дмитровцы́ – не выдавцы.*

(Ворами тогда называли всех, выступавших против царской власти).

Сменялись века, в прах рассыпались года, но увы! Из-за закрепощённости и бесправия – та же канитель, ничегошеньки не изменилось в жизни крестьянина, как вообще на Руси, так и в Кирово Городище, вошедшем в ту пору сначала в состав второго Благочиннического округа Кромского уезда, а после в Кировскую волость того же, Кромского, уезда.

В 1856 году произошло знаменательное событие для жителей деревушки Игино. Правда, оно не улучшило их жизни, но тем не менее: до этого времени приходская церковь для игинских крестьян находилась в селе Городище, туда, в Молеевскую церкву, ходили игинские на службу, там, на погосте у храма, хоронили своих покойников. Это самая старинная церковь во всей нашей округе, служба в ней велась ещё в Смутное время. Теперь игинские крестьяне были приписаны к кировскому храму во имя Сергия Радонежского.

И после отмены Крепостного права (по Манифесту от девятнадцатого февраля 1861 года) жизнь простого крестьянства мало чем улучшилась. Лямка, которую оно тянуло, лишь чуть поослабла – мужик получил лишь личную свободу и право распоряжаться своим имуществом.

Но что значит мужик без земли? Вопрос о ней всегда был, есть и останется самым важным для крестьянина. Реформами 1861 года

вопрос этот не был решён в пользу мужика, в результате – крестьянство оказалось ограбленным.

Закон вновь оказался на стороне ненасытного помещика, крестьянину (с согласия помещика) позволялось лишь выкупать наделные земли в свою собственность, уплатив огромный выкуп.

*Уж мы сядемте, ребята, посидимте, господа,
Споём песню про себя,
Не сами про себя, про своё житьё-бытьё,
Про крестьянских мужиков...*

Середина XIX века, а Кирово Городище продолжает сохранять черты натурального хозяйства: крестьяне кормятся со своего надела, простейшие орудия труда изготавливают сами, одеваются в домотканую одежду и лапти, летуют и зимуют, как и много веков назад, в курных, с земляными полами, отапливаемыми «почёрному», похинувшихся «истбах», в которых, как когда-то говаривал Даниил Заточник, «горести дымные не терпев, тепла не видати».

Крестьянская подслеповатая избушка на ту пору, со всем её деревянным естеством, с облепленным мухами потолком, сквозная, словно мышеловка, мало чем отличалась от жилища ранних веков. Русский мужик вообще слывет непритязательным. Какое там особое убранство?! Кот наплакал!

Большую часть избы занимала печь. Берегли её, как невесту. И была она крепостью посреди хаты. Служила мужику русскому за бедностью его сразу кучу служб: и обогривала, и отапливала, и банились в ней. И спали на ней зимой (летом – на полатах). На кирпичи стелили солому. Иван Саввич Никитин, певец мужицкой доли, повествует:

*...Невестка за свежей соломой сходила,
На нарах в сторонке её постлала, –
К стене в изголовье зипун положила...*

Обычно на солому – веретьё, дерюжку, а уж сверху – домотканую подстилку, сотканную из нарванных от поношенной одежды полос (к ткани всегда относились в деревне бережно, приспособливали каждый лоскуток).

Подстилки эти до сих пор ещё стелятся в наших краях на печи. Запрыгнут на верхи ребятишки и полёживают себе. На них и я проспала всё своё детство.

Ткали такое «добро» про запас. Бабушка наработала подстилок невероятное количество. Несколько до сих пор у меня хранятся, как бережётся и старенькое, побитое временем, но очень дорогое мне лоскутное одеяло, которым укрывалась я когда-то на печи.

А ещё из убранства хаты русской – длиннющий стол – на многочисленное семейство – да лавки вдоль стен, с ларями для хранения всего, чего угодно: и обувки, и одёжи, и всяческой утвари, и кое-каких припасов про большие праздники.

Пол, конечно, в ту далёкую пору был в кировских и игинских избах земляной. Даже в моём раннем детстве некоторые хаты в нашей округе ещё не имели дощатых полов.

Бабушка Наталья, отца мать, уже в середине семидесятых годов XX века (!), подновляя его к большим праздникам, затирала глиной. Спустя несколько суток он залубеневал, и с него было легко сметать бурьянным венником сор. Распрямит бабуля спину, приосанится, залюбуется заглаженным полом, порадует: «Любодорого! Теперь и Пасху не грех встречать!»

Мать моего прапрадеда стелила, как у нас велось, солому не только на печь, но и на пол. Как только она загрязнится, отколупнут её да сменят на новую.

Так уж принято, видать, с бывалошного времени, бани в наших краях строили редко. А значит, мылись либо в корытах посередь хаты, на той же соломе, либо – в печах.

Бабушка, вспоминая, как «бедолажили» наши невыразимо терпеливые предки, рассказывала: «Это теперь, чего ни захоти, как по шучьему велению, перед тобой, а бывало-то, как жили... выметет матушка протопленную печку, настелет туда свежей соломки, тут же чугуи с горячей водой, и мы в очерёдку, друг за дружкой, лезем в печку мыться. А позже всех бабушка – заберётся косточки погреть, да на ночь в печи-то и останется».

Наводить в избе порядок крестьянке особо и некогда («чай, не царские палати»). Выметет сор – вот и вся уборка. Правда, под Святую, под Престол все дела откладывались. Развязывались белокрайки, и благообразные хозяйки принимались за наведение чистоты. Эта традиция осталась и до сегодняшних дней.

Помню, как мама и бабушка, на Страстной неделе белили в черёмуховый цвет стены хаты и пыжающую, охающую до поддыва, уставшую за зиму, просящую летнего роздыха печку.

Вычищались полы, вынимались из сундука украшенные вышивками скатерти, занавески да подзоры. А перед этим всё ненужное – в мешки, и выбрасывалось со двора (ну, совсем как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»).

В XVIII–XIX веках посуда в крестьянском обиходе всё ещё оставалась деревянной или глиняной. Кировские мужики для своего хозяйства сами ладили ушаты и корыта, вёдра и ложки. И ножи, ухваты, тяпки, лопаты да скобы мастерили в своей же кузне. А вот гончаров в нашей деревне не водилось.

За глиняной утварью – мисками, кринками да чугунами-кубанами – снаряжались на свою престольную ярмарку или в ближние Кромы, где устраивались две годовые ярмарки на десятой и одиннадцатой неделях по Пасхе. Сюда съезжались купцы, иной торговый люд, привозили парчи, сукна разного, шёлковых материй, железные вещи и другие мелкие товары, пригонялось из разных мест довольно и лошадей.


Электричество в Кирово Городище и Игино появилось только в 1964 году. Раннее детство моё прошло при керосиновой лампе. А деды наши коротали вечера при поллитровке керосина с фитилём в горлышке, прадеды – и вовсе при лучине.

Хоть и не нуждался крестьянин особо в часах (из-за близости к природе время ему всегда подсказывало внутреннее чутьё, да и по солнцу худо-бедно тоже можно держать ориентир), но всё же в эти годы нет-нет да появятся в избах ходики с гирькой – еловой шишкой.

Помнится, в бабушкиной хате волховали-ковыляли себе старыестарые настенные часики с кукушкой. Сколько им веку, и сама бабуля не знала. Когда они «обмерли», старушка причитала по ним, как по покойнику, очень уж любила «ходики» и гордилась ими: «Ещё прабабкины, – кивала она на часы и добавляла, – а может, ещё и прабабкиной бабки... ведь думала: что им поделается-то... иди да иди, и снесу им не будет». Время на коне не догнать...

...И ГОДОМ ДЕНЬ
НЕ НАВЕРСТАТЬ



 избе моего деда (маминого отца) на выбеленной с молоком (чтоб не пачкалась) кухонной стене, аккурат меж образом Пантелеймона Целителя и двустворчатым окошком с розовыми бальзаминами, сколько себя помню, из года в год, изо дня в день, ронял листву численник-календарь. Вещица немудрёная, но по крестьянскому разумению – в хозяйстве немаловажная. Точно такие же календари, перевязанные обычными бельевыми резинками, можно было встретить у нас в любой деревенской хате.

Каждое утро, водрузив на нос «окуляры», оторвав «истаявший день», дедушка Михаил Александрович складывал листок в картонную коробку, не позволяя внучатам с нею «баловать», а новый, чуть слышно нашёптывая, перебирая по складам, прочитывал до буковки.

Лишь по истечении года пускал он «вчерашний» календарь на самокрутки: лизнув краешек листка, заворачивал в него щепоть табачку со своей бакши да щепоть донничку с Ярочкиной лощины.

Прожив долгу, работную жизнь на земле, он мог бы давным-давно обойтись уже и без календаря, но каждый раз, на исходе года, дедушка убирал «для порядку» «истратившийся» численник и на его место прилаживал новый, пахнущий типографскими красками и надеждами.

Послунявив пальцы, пролистывая его «навскидку», ради любопытства, он останавливался на каком-нибудь понравившемся месте и многозначительно зачитывал бабуле, оставлявшей по такому случаю свои хлопоты у загнетки: «Двенадцатое июля. По старому – двадцать девятое июня. День Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла». Потом сообщал, мол, восход разродится в 5.02, а закатится солнышко в 22.07. При этом всплёскивал руками, кричал, мол, а ещё вчёрась – в 22.08. Прикидывал: и восход припозднился. Вздыхал, обращаясь к бабушке: мол, вот, мать, и день на убыль пошёл, недаром говорится: «Пётр и Павел час убавил». Обнаруживал в календаре молодик, будто сам его не видел, когда выходил ночью покурить, радовался – дожди, стало быть, пройдут, лисички да свинухи в Ярочкином леске снова объявятся.

Переворачивал листок (это место он особенно любил) и принимался за чтение народных примет да советов. Порою поддакивал, похваливал составителя. Порою принимался с ним спорить, а иногда возмущался до сердитости и объявлял: мол, кто только доверил этому писাকে, не нюхавшему землицы, рассуждать о наших крестьянских делах, заботах и привычках.

Вычитав: «Ясно на Петров день – год будет хорошим, если дождь – сорок дней будет ненастье, – дедушка с пониманием дела объявлял, – проходил давеча Глиняной дорогой, ржица – выше картуза, хлеба

уродились – что надо, ни Пётр, ни Павел уже не отымут... Кукушка с неделю как умолкла, дак и пора бы уж – ячмень выколосился, что без толку-то кукать. В прошлом годе кукала-кукала – недород накукала, ячменёк-то весь, как есть, уродил пустозёрнай. А без него как в хозяйстве-то? И сам заместо кукушки закукуешь».

Нам же, внукам, как были маленькие, дед загадывал, бывало, загадку: «Лежит колода, по ней дорога: пятьдесят сучков да триста – листьев». Конечно, бабуля знала: куда нам с ней справиться! И каждый раз, как дедушка отвёрнётся, подшёптывала: «Да это ж – год, милаи вы мои, год!»

Уже несколько веков кряду существуют на Руси печатные календари. Устным же и счёту нет. А всего их было три – гражданский, церковный и крестьянский. Правда, они не всегда совпадали. Например, в древности гражданский новый год начинался с первого марта, а церковный – с первого сентября. Пётр I перенёс начало года на первое января (ввёл юлианский календарь, установленный ещё в сорок пятом году до нашей эры Юлием Цезарем). В 1918 году перешли на более точный григорианский календарь. Но православная церковь продолжает вести летоисчисление по старому стилю – юлианскому календарю.

Народный календарь или месяцеслов – явление удивительное! Ведь создавался он в течение тысячелетий, отражая в себе два мира: мир-природу, сотворённую Богом, и мир-общину, созданную человеком. Веками присматривался народ, наблюдал за тем, что может помочь устоять миру, не дать ему прервать жизнь. Наш крестьянский календарь похож на расшитое узорочьем полотно, на котором отражено течение народной жизни. В прошлом он в значительной мере определял все сферы жизни русского крестьянства – производственную, общественную и, конечно, семейную. В нём с веками укоренился, закрепился по датам и числам годовой круг событий, крестьянского труда, обычаев и обрядов, явлений природы, семейного быта, суеверий, пословиц и поговорок, загадок.

Жизненный уклад землепашца изначально определяется в первую очередь сменой времён года, поворотными сроками солнечного календаря. Ими на Руси исстари были зимние Святки (конец декабря – начало января), Иван Купала – двадцать четвёртого июня (седьмого июля), март и сентябрь. Четыре раза в год – на Святки, Масленицу, Зелёные Святки и Купалу, а так же – на Осенины – устраивались многодневные празднования перехода – обновление мира. Правда, кроме основных четырёх, в народе отмечались ещё около ста сорока больших и малых праздников. Ими отмечались все трудовые циклы: и пахота, и сев, и жатва. Конечно же, и уборка урожая, и сенокос, и

молотьба, и охота. И много-много всего иного, без чего и жизнь крестьянину – не жизнь. Поэтому накопленные народным календарём знания бережно хранились и преумножались. Народ им доверял, словно Священной книге.

Землепашество всецело зависело от солнечного тепла, поэтому и обрядность в основном посвящалась солнечному культу. По крестьянскому календарю год делился на две половины: одна – от зимнего солнцеворота до летнего, другая – от летнего до зимнего.

Присмотришься хорошенько и обнаружишь, что цикличность-то календаря напоминает самую человеческую жизнь! Ведь весна – это молодость, лето – расцвет, осень – время сбора плодов (не проморгай весну и лето, а то и собирать будет нечего!), ну, а зима, известно, – время покоя, степенства, мудрости.

Чтобы не пришлось кормиться Христовым именем, не оказаться в убытке, занимаясь земледелием и скотоводством, крестьянин стремился как можно точнее определить, какова, например, будет продолжительность зимы (чтобы рассчитать запасы сена для скота), время наступления весны (чтобы не упустить начало полевых работ).

Печатный календарь редко какой год обходился без «Сказания на всю седмицу», которое размещали, как правило в самом начале:

«Аще рождество Христово в неделю, зима люта, а весна ведрена, а плода мало, овцам мор, пожары часты, а старым мор.

Аще Рождество Христово в понедельник, зима добра, весна дождлива, а жатва суха, а тяжь многим людям будет, а мёду много.

Аще Рождество Христово во вторник, зима добра, а жатва ведренна, а весна дождлива, а обилия много, людям от прицей смерть будет.

Аще Рождество Христово в среду, зима и весна дождлива, а обилия много, жатва добра, овощей мало, а скоту погуба.

Аще Рождество Христово в четверг, зима люта, весна зла, потравлива, а лето добро, обилия и пшеницы много, скоту пагуба.

Аще Рождество христово в пятницу, зима легка и ведрена, весна добра, овощей много, мёду мало, а жатва ведренна, а слабым смерть.

Аще Рождество Христово в субботу, зима тепла, очень велика, ведренна, плоду мало, очам болезни, овцам мор».

Для крестьянина осень – период уборки урожая. В зависимости от погодных условий начинался он от Ильина дня (второго августа) и заканчивался Покровом (четырнадцатого октября). Лето – короткое время созревания хлебов: с Ивана Купалы (седьмого июля) до Ильина дня или Успения (седьмого августа), иногда до первого Спаса

(четырнадцатого августа). Весна начиналась с Егорьева дня (шестого мая).

Приметливый крестьянский ум не мог не выделить помимо основных годовых сезонов, переходные: пролетье (поздняя весна – раннее лето), молодое Бабье лето (конец лета – начало осени), осенины (середина сентября), позимье (обычно октябрь).

За многие столетия, благодаря народной смётке и наблюдательности, сложился передаваемый из уст в уста крестьянский календарь и, что немаловажно, – ежедневник. Накопленный из века в век земледельческий опыт, бесчисленное множество примет по традиции передавались следующим поколениям. Время отсчитывалось от одного природного события до другого, от одного праздника до другого. В итоге это создавало единый уклад жизни, соблюдавшийся на протяжении многих столетий. Прав, ой как прав Глеб Иванович Успенский, велика над мужиком власть земли! «У землепашца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле».

Само слово «календарь» в наших землях вестимо с конца семнадцатого века. В молодой Руси его называли «месяцесловом», а месяцы имели точнейшие, и вместе с тем красивейшие, чуждые имена:

Январь – просинец, сочень, перелом зимы, перезимье;

Февраль – сечень, бокогрей, лютый, снежень, широкие (кривые дороги);

Март – протальник, березозол, зимобор, сухой, пролетный;

*Апрель – снегогон, зажги снега, заиграй овражки, брезень, цветень,
кветень.*

Май – травень, травник;

Июнь – червень, кресник, изок, разноцвет, скопидом, хлеборост;

Июль – липец, макушка лета, страдник, сенозарник, грозник;

Август – зарев, зорничник, жнивень, серпень, разносол, густоед;

Сентябрь – рюинь, хмурень, вересень, ревун, зоревник;

Октябрь – позимник, листопад, паздерник, грязник, свадебник;

Ноябрь – грудно, грудный, грудень, листогной, полузимник;

Декабрь – студень, студный, стужайло.

Испокон веков сведения о том, когда произойдёт очередное природное событие, когда наступит тот или иной праздник, передавалось устно от родителей детям, но существовали и различные календари. У многих народов мира были они деревянными, и славяне на дереве специальными нарезками отмечали месяцы, недели, дни, время совершения обрядов, праздники и будни, начало важнейших сельскохозяйственных работ.

Увлекаясь коллекционированием предметов старины, приобрела я однажды полотенце, на котором узор вышивки представлял собой незамкнутое кольцо. Вокруг него – множество, на первый взгляд, непонятных значков: и кружочки, и петельки, и крестики, и спиральки, и сердечки, и палочки. На самом деле это – зашифрованный календарь! Рисунки повторяются на двух концах полотенца. И дважды над незамкнутым кругом мелким крестиком витиевато вышито «месяцеслов». Со временем выяснилось, что в этом замудрённом календаре зашифрована информация о времени проведения праздников. Помня о круговороте природных событий, предки наши называли год «круглый», потому и на полотенце календарь вышит в виде круга, размеченного значками и значочками событий различной степени важности.

В крестьянском календаре подробно расписывался каждый день. На помощь призывался (по святцам) православный святой, ему этот день посвящали, ему перед честными трудами и молились, просили помощи в своих тяжких заботах. Святцы послужили канвой, в которую легко укладывался хозяйственный опыт мужика, которая вобрала в себя традиционные обряды и праздники.

Правда, святым и чудотворцам мужичок прилаживал обычные крестьянские имена. Так, к примеру, святитель Амвросий переименован в Абросима, мученик Прокопий – в Прокопа Вехостава.

Святой апостол Тимофей, епископ Эфесский (сподвижник святого апостола Петра), мощи которого в IV веке были перенесены в Царьград и положены в храме Святых Апостолов (имя его Церковь чтит в числе семидесяти апостолов), переименован в Тимофея Полузимника, потому как к этому дню, четвёртому февраля, прошла уже половина зимы, и крестьяне подсчитали на Тимофея запасы, прикинули, сколько осталось и как «поджаться», растянуть их до новолетья, съездили к дальним копёшкам, вывезли «остатнее» сенцо.

Мученица Агафья, одеяние с гробницы которой, согласно церковному преданию (когда на её родине, на острове Сицилия, началось извержение вулкана Этна), защитило верующих от потоков лавы, именуется попросту Агафья Коровница. А ещё – Скотница, Агаша-коровница, Голундуха (голодуха), Коровятница. Восемнадцатого февраля, в день её памяти, веря, что Агаша оберегает скотину от болезней и защищает хозяйство от пожаров, освящённый в её день каравай бросают в горящую избу или поле, чтобы отвести огонь. «Агашин хлеб», чтобы избежать мора, надевают коровам на рога. Считается, что в этот день по деревням бродит коровья смерть. Сговорившись, миром, мужики спозаранку с четырёх сторон троекратно

опахивают от неё деревню, прокладывая «межеводную» борозду, отделяющую их избы и дворы от нечисти.

Упаси Бог попадётся мужикам навстречу в тот момент какая скотинка, – веруя, что это сама коровья смерть, заколют – и руки не дрогнут. А в хлев на Агашу-скотницу клали обмоченные в дёгте лапти (лучше оберега для скотинки и не сыскать!).

Арина – Шиповница, Семён – Летопроведец, Ефимья – Стожарница, Фалалей – Огуречник, Мавра – Молочница...

От цепкого крестьянского глаза ничто не укроется: ни буйное цветение кипряка, ни хмарь предзакатных небес, ни толща покровского ледка. Всё он досмотрит, всё сбережёт в памяти, а в нужный момент выудит из её глубин, покумекает, прикинет, и (удивительно!) свяжет в единую цепочку. Весна подкатила не ждавши – не гадавши, раным-рано, – так и правильно! – гуси-то на Семён день (четырнадцатого сентября) пролетали; осень выдалась сухая – знамо дело! – Бабье лето напрочь прогнило; летушко повелось теплынь теплыню – так всякий малец на деревне знает, видать, на Здвиженье сиверко на славу потешился.

Горожанину до такого во век не додумать, а может быть, просто ни к чему. Чтобы соотнести, связать одной ниточкой послеобеденный дождик на Троицу и срок порубки на засолку капусты, нужно крестьянское видение, чутьё и мышление.

Лишь неустанные думки о земле и хлебе насущном помогают так концентрировать внимание на всём, что хоть мало-мальски с ними связано: подмечается не только какое-то явление, но даже время суток, цвет, сила звука, глубина, толщина, голосистость и многое-многое другое.

Сколько же наблюдательности, а самое главное – любви к своему делу надо иметь, чтобы скопить такой кладезь мудрости не только на триста шестьдесят пять дней в году, но зачастую – на каждый час суток.

К примеру, собираются назавтра сеять овёс, а уж сегодня на вечерней заре приглядываются: ядрёна ли роса да в каком часу пала. Картошку вчера только посадили, а уж наперёд дожидаются урожая. Как ему не быть-то, коли хрущи на берёзках после заката гранками раскачиваются?

Крестьянин – человек бывалый! Кроме «Псалтири» да «Четьми-минеи» сроду ни о каких книжках слыхом не слыхивал, природный светлый ум без «ниверситетов» брал своё. Правда, без сноровки будь каждый день с барышом, а проходишь век нагишом, потому приглядывайся, запоминай, мужичок, ничего не упусти. А коли случится чего не доглядеть, так загодя и отговорку успели сочинить, мол, и на Машку бывает промашка.

На Иова Огуречника (девятнадцатого мая) большая роса и ясный день – в июле на бакше дожидайся вороха огурцов. А коли роса большая да до полудня не высохла, знал мужик наверняка: дождя нынче не будет. На Наума (четырнадцатого декабря) играют звёзды – к выюге. Если в сентябре много рябины – зима будет продолжительной и суровой. На Варвару (семнадцатого декабря) ясный день – жди мороза. Михей (двадцать седьмого августа) с бурей – уж доверься на слово, к ненастной осени. На Макриду (первого августа) сеет дождь – на будущий год уродят озимые. Коли на Аввакума (четырнадцатого апреля) много снега – радуйся, богатый урожай трав летом. На Стратилата (двадцать первого июня) большие росы – хочешь верь, хочешь нет, – лето будет сухим, даст урожай хороший.

Коли на Благовещение снег на крышах лежит, наверняка на Егория (шестого мая) будет и на полях ещё лежать. На Евдокию (четырнадцатого марта) холодно – поднатужься, скот кормить лишние две недели. На Рождество высоко набило сугробы – как ни крути, к хорошему году. Если в Василёв вечер (тридцать первого декабря) ветер дует с юга – верь, год будет жарким и благополучным, с запада – к изобилию молока и рыбы, с востока – ожидай по садам пропасть яблок.

Кому не известно: на Екатерину (двадцать четвёртого ноября) оттепель, туман да слякоть – не жди морозов раньше Варварина дня (семнадцатого декабря). А на Клима (двадцать пятого ноября) зима клин клином вышибает. Если до Егория (шестого мая) бывает иней – помни, сев овсов в будущем году окончится тоже шестого мая. Гусь стоит на одной ноге на Фёдора (восьмого июня) – к вёдру. На Парамона (двенадцатого декабря) земля каменеет, речка стонет. Пойдёт снег на Андрея Первозванного (тринадцатого декабря) – знай, пролежит он ещё сто десять дней. И так далее, и много ещё чего подобного можно обнаружить в крестьянском календаре.

Одним словом, все триста шестьдесят дней имеют каждый невероятное множество примет, подробно и ярко характеризующих земледельческую народную мысль.

**КРАШЕНКИ – НА ПАСХУ,
НА СЕМИК – ЯИШНЯ**





никальный крестьянский календарь можно назвать энциклопедией крестьянской жизни. Зависимость от погодных условий вынуждала земледельца скрупулёзно изучать окружающий его мир, примечать не только закономерности, но и любые случайности природных явлений, улавливать связи одних явлений с другими.

В нём накоплены не одним поколением наших пращуров приметы, поговорки, загадки. Кроме того, не мог он не вобрать в себя и описание народных праздников, песен (и венчальных, и хороводных, и плачей), крестьянских обрядовых блюд.

Празднование в крестьянской жизни было такой же естественной необходимостью, как и работа. Чтобы облегчить народу переход от языческой религии к христианской, православная церковь попыталась сохранить древние праздники, правда, придала им новое значение. Если окунуться в истоки, легко обнаружить, что христианские праздники имеют глубокие языческие корни. Ведя разговор о народном календаре, как не вспомнить о праздничных календарных песнях?

Например, традиция украшать Рождественскую ёлку и колядовать пришла из дохристианского времени. Помню, как и сама ходила с друзьями «щедровать» по деревне, пела рождественские песни (разученные с бабушкой ещё в раннем детстве), получая за них денежки, угощения и подарки:

*Коляда, Коляда!
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Или сена клок,
Или вилы в бок!*

Масленица – один из немногих языческих праздников. Дошедших до нас в почти неизменном виде. Но кто задумывается, догадывается, увлечшись играми, катанием с ледяных гор, что по сути воспроизводит ряд языческих ритуалов, призванных изгнать зиму и помочь весне вступить в свои права?

Правда, с принятием Христианства Масленицу подсократили до одной недели и, придав ей название – Сырная, мясопустная, привязали её к началу Великого поста, чтобы традиции праздника не противоречили подготовке верующих к посту. И поныне вечером, у

полыхающего до звёзд кострица, пляшет русский народ, горланит-распевает на всю Ивановскую:

*Дорогая наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, трёхаршинная,
Лента алая, двуполтинная,
Платок беленький, разбукетистый.
Брови чёрные, наведенные,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые, головастые,
Онучи белые, набелённые.*

Говоря о календарных хлопотах, повседневных и праздничных, как не вспомнить о приятном, радостном обычае красить яйца? Каждый знает, что он является неотъемлемой частью пасхальных торжеств, самого Великого Христианского праздника.

И по представлению наших некрещёных пращуров, яйцо – символ рождения, весны, обновления природы. Согласно распространённым поверьям, яичный желток символизирует весеннее солнышко, а само яйцо – освобождение от снежных оков и переход из небытия в бытие.

Какой русский не слышал хоть раз в жизни Пасхальную песенку:

*Далалынь-далалынь по яичку!
Христос воскрес, Сын Божий!
Хозяюшка, наша матушка!
Христос воскрес, Сын Божий!
Дари ты нас, не держи ты нас!
Христос воскрес, Сын Божий!
А наши дары невеликие,
Христос воскрес, Сын Божий!
Кусок сала да и пара яиц,
Христос воскрес, Сын Божий!
Во дверь не лезут, в окошко дают.
Христос воскрес, Сын Божий!*

А, к примеру, двадцать второго марта, на Сороки, в какой русской избе не доходили на загнетке, разрумьяные птички – глазки-конопелинки, малые птушатки-фикушки на спинках?

Наберу, бывало, полны карманы горяченьких птенчиков и ну с подружками в поле жаворят закликать:

*Жавороночки,
Прилетайте к нам!*

*Принесите нам
Тёплу летушку!
Нам зима-то надоела,
Весь хлебушек поела,
И солому подобрала,
И мякину подмела...*

А на Благовещенье – своя песенка-закличка:

*Синички – сестрички, тётки – чечётки,
Краснозобые снегирюшки,
Щеглята – молодцы, воры – воробы!
Вы во поле полетайте,
Вы на вольной поживите,
К нам весну скорей ведите!*

Любимейший для русской души праздник Пятидесятницы (Троицы) давным-давно слился с широко распространённым весенне-летним праздником Семиком (праздновался в четверг седьмой недели после Пасхи). До сих пор по нашим деревням (а в моём Кирово Городище на широком лугу при Кроме, где в былые времена проходили престольные ярмарки) «заламываются» берёзы, водятся корогоды, разливаются по округам троицкие песни:

*На поляне, на лугу,
Гнулася берёзонька.
Завивали девушки,
Лентой украшали,
Берёзоньку прославляли:
– Белая берёзонька,
Ходи с нами гулять,
Пойдём песни играть!*

Чтобы внести в обожаемый народом праздник Купало новый, христианский, смысл, церковь наложила на его дату рождество святого Иоанна Крестителя. Так и появилось ныне всем известное название этого праздника – Иоанн Креститель. А традиции древнего веселья живы и поныне.

В ночь на Купалу и по сей день устраивают игрища, жгут костры, ищут цвет папоротня, заплетают и пускают по воде венки, водят хороводы, и, конечно же, поют купальи песни:

*Девки, бабы –
На Купальню!
Ладу-ладу,*

*На Купальню!
Ой, кто не выйdet на Купальню,
Ладу-ладу,
На Купальню!
Ой, тот будет
Пень-колода,
Ладу-ладу,
Пень-колода!
А кто пойдёт на Купальню,
Ладу-ладу,
На Купальню!
А тот будет
Бел берёза!
Ладу-ладу,
Бел берёза.*

А какой красочный, незабываемый древнерусский Перунов день! Правда, сейчас мы называем его праздником Ильи пророка. А ещё в народе слывет он как Илья-Громовик.

Нрав у него суровый – сотрясает небеса, раскатывая по ним на колеснице, хлещет огненным кнутом-плёткой, подгоняя норовистые ветра, запряжённые в лихую тройку. Об этой небесной прогулке Ильи Пророка сложено в народе немало песен:

*Выходила туча,
Выходила туча
С-под тёмного лесу.*

*Не бей, не бей, Илюша,
Не бей, не бей, Илюша,
Ни ржи, ни пшеницы.*

*Ни ржи, ни пшеницы,
Ни ржи, ни пшеницы,
Ни всякого хлеба!*

На Успенье, на Сложинки, на венец сбора урожая были заготовлены у крестьянина свои песни, завершающие страдную пору, а с нею и трудовой крестьянский год:

*Жнеи молодые, серпы золотые!
Уж вы жните, жните,
Жните, не ленитесь,
А обжавши нивку,
Пейте, веселитесь!*

Помнится: на Успение вынимает бабуля с жару пироги из новолетней мучицы, топчется у печи, а сама тихонечко прищёптывает:

*Ох, и слава Богу,
Что жито пожали!
Что жито пожали
И в копы поклали:
На гумне стогами,
В клетки закромами,
А с печи пирогами!*

Всякая баба у нас не забудет, что на Алексея Тёплого (тридцатого марта) ей придётся стряпать уху. Так уж повелось: и бабка-прабабка её, и матушка, а теперь и сама она с вечера молились о хорошем улове, а мужички готовили удила, сети да кубари. Ведь на Алексея – Божьего человека, по преданию, переплывшего море в решете, рыба трётся по берегам. Плотица, к примеру, наголодавшись за зиму, заглатывает любую наживку, «хоть пуговку закинь».

А уж как хорош борщечок из карасей! От одной мысли о нём слюнки текут. Вроде и борщ как борщ, и готовят его, как обычно, но наступает наиважнейшая минута, когда обвалянных в хрустящих сухарях, обжаренных с обеих сторон до золотистой корочки рыбёшек опускает стряпуха в чугунок с варевом – и задвигает обратно в печь: ещё разок прокипеть, чуток протомиться. А если не подъелись, сыщутся в чулане два-три сушёных боровика, то наготовленный, будто на Маланьину свадьбу, ведерный чугунок, – радуется хозяйюшка-заботница – сметут домашние за один присест.

Молодым летом, на Троицын день, никак не обойтись без яичницы. В каждой избе она жарится на хозяйский вкус, а потому и везде разная. И с чем только ни с чем! И с салом, и со шкварками, и с зеленью, и с кусочками хлебushка – выбирай! Но всё же одной из любимейших слыла, да и теперь ещё в почёте, на крестьянском столе яичня – «толстуха».

Когда мяса – с гулькин носик (лето в деревне постнее постного), а работы много, откуда взять мужичку силушку, чем подкормиться? Вот и колдуют хозяйки у печи, кумекают, чем бы без приварку, но всё-таки посытнее накормить деток малых да мужа-работника.

Шмыгнет баба под сарай, пошарит в куриных гнёздах, пошуршит соломкой, глядишь: сыщется с десятков яичек. Накокает она их в плошку, добавит мучицы, молочка (на два яйца – полстакана молока, немножко муки) да и взобьёт в крутую пену. Заглянет в миску – тесто

тестом, точь-в-точь как на оладьи. Присолит, конечно, не без этого. А уж сковорода с ведерного чугуна в печи-то раскалилась. Брусочки сала толщиной со спичечный коробок на ней так и шкворчат, так и «постреливают». Не пожалееет хозяйка – и щедрую пригоршню лука-репки на самую серёдку всыплет.

Заискрится лучок – тут самое время в поджарку яичную смесь и добавить. Да сковородку – в печку, на самый что ни есть жар! А как зарумянятся края, зазолотится середина – тут кличь, баба, семейство вечерять.

Подаст хозяйка «толстуху» прямо на сковороде. Присыплет загодя нарубленным укропом. Красотища! Яичница пухлая, сдобная, края куда как выше серёдки! А чтобы, не дай Бог, «не осела», знает баба маленькую заковыку – в тесто надобно непременно щепоть соды добавить, да перед тем пригасить её, рьяную.

Сыты дети, улыбается муж – усы поглаживает, жену похваливает. А уж как она довольна! До самого утра бродит по избе дух лада, покоя да достатка. А всё яичня-«толстуха». Ну как поверить, что блюдо-то простецкое?

А вот традиционный русский напиток – сбитень, который называют ещё взвар или перевар, готовили у нас непременно к Загвенам, к Покрову. «Заводили» его на гречишном меду да борových травах, собранных аккуратно на Пантелеймона (девятого августа). Как уж сохранился до наших дней, не затерялся в бабьей памяти его рецептик – ума не приложу! Ведь упоминание об этом славном напитке встречается в славянских летописях аж с 1128 года!

В Кирово Городище сбитень варили испокон веку безалкогольный. Но на Руси известен и слабоалкогольный напиток до четырёх-семи градусов (если в него добавить бражки или винца). Пили его и холодным (в жаркое время года), и, как у нас на Покров, горячим. Рецепт его изготовления настолько прост и быстр, что любой хозяйке под силу. Отдавая предпочтение различным травам, бабы наши стряпали сбитни совершенно отличные в каждом дворе.

На нашей кухне, помнится, излюбленным был сбитень на ромашке, душице да мяте. Кипятили воду (обязательно с Иванова родника), литра четыре, немного давали ей остыть. И в этой тёплой водиче растворяли килограмм мёда, уже успевшего засахариться к Загвенам. Туда же, в чугунок, добавляли горсточку хмеля (без него – никак!) и по горсточке пряных трав. Надобно проследить: как только взвар закипал, чугунок отодвигали с жару, поближе к загнетке, и оставляли его потомиться на два-три часа. Готовый сбитень процеживали через холщовый мешочек и пили, кому как нравится:

дедушка любил его холодным, из сенец, а нас, детвору, бабуля отпаивала («от семи болей») с пылу-жару.

На Андрея же Первозванного (тринадцатого декабря) сбегает мужичок наш на широких самоделках в соседний лесок, расплетает заячьи заморочки, глядишь, запахнет в избе сладким, нагулянным на вольных воздухах мяском.

Разрубит хозяйка зайца на куски, подержит в уксусе часа два, три.

К тому времени затрещат в печи дровишки, задышит изба берёзовыми смолками. Выложит баба промаринованную зайчатину на сковородку – да и задвинет её в печь – жарить, пока не зарумянится. На самотёк не пускает. Нет-нет да вынет сковородку чашельником. А зайчатина разопрет, сок пустит. Польёт хозяйка кусочки тем соком и опять – в печь.

Потыкает мяско острой палочкой – готово! Разделает зайчатину на мелкие порции, сложит в чугунок, зальёт травяным взваром, рецепт которого сама же и придумала (держит его в тайне, соседкам ни за какие коврижки не рассказывает), добавит (если имеется бурёнка) сметанки, луку-моркови, прикроет чугунок крышкой-сковородкой, и – снова в печь, на полчаса, не боле. Девушки в этот день на женихов гадают, за ужином знай зайчатину уплетают. Мамаша расстаралась, видать, помнит: «Если девушка кусочек заячьего мяса съест – красавицей станет».

И каких-никаких только «нужностей» для крестьянской жизни не сыщется в календаре! Всё продумал за века, всё учел в нём мужичок! А как же? На кого надеяться-то? Сам себе заботник, сам себе помощник...

**ТРУДЫ БАБЬИ,
ТРУДЫ ИЗВЕЧНЫЕ**



*От чего у нас мир-народ?
От чего у нас кости крепкие?
От чего телеса наши?
От чего у нас кровь-руда наша?
От чего у нас в земле цари пошли?
От чего зачались князья-бояры?
От чего крестьяны православные?*



бо всё этом любопытствовало ещё в Голубиной книге. Но перво-наперво, кому ж не хочется разгадать тайну собственной фамилии, кем были пращуры, чем жили, как выглядели? Если в нас говорит кровь и мы обращаемся к своим корням, если, пытаясь вспомнить предков, рисуем древо своего рода, то осознанно или нет, но приближаемся к уходящим за пелену времени векам, возвращаемся в древность.

Род, родичи, урождённый – самые дорогие для человека слова. Произнесёшь, и услышишь сквозь берёзовые вьюги матушкину колыбельную, повеет теплом слаженной отцом печи, ощутишь ласковое прикосновение шершавых бабушкиных ладоней, дохнет выколосившимися хлебами с родимых полей.

Прапрадед мой, основатель фамилии, появился на свет в сороковые-пятидесятые годы XIX века. Вероятнее всего, был он из крепостных крестьян помещика генерал-майора Александра Николаевича Зиновьева, владевшего в то время землями села Кирова Городище и примыкавшей к нему через поле небольшой, «с рукавицу», деревушкой Игино. С 1827 года в составе Орловщины земли эти входили в Белгородскую губернию Севской провинции Кромского уезда.

К сожалению, сейчас почти позабыты красивые старинные обряды, связанные с рождением ребёнка. Если не врут предания, пращуры наши в самой далёкой древности держались правила: каждый мужчина обязан был родить девять здоровых детей: двух – по родительской линии, двух – по материнской, двух – за счёт долга отца своей жены, двух – за счёт матери жены, одного, первенца, – в честь своих родовых богов, или последнего – в честь других светлых богов.

В старину с благоговением относились к «тяжёлой», к роженице. Ведь считалось: чем больше семья, тем она крепче. И вообще – целью жизни наших прародительниц являлось материнство. Знания о родах передавались из поколения в поколение, от матери к дочери. Матушка моего прапрадеда, появившись на свет и возрастая в крестьянской семье, видела, конечно, как рожала её мать, знала, что «бабье дело» по самому её назначению другое, чем мужицкое.

Ещё и сама – от горшка два вершка, а уж нянчилась она с малыми своими братьями и сёстрами, и поэтому для неё роды были обычным «бабьим делом», которого она не только не страшилась, а скорее, радовалась, помня, что ещё её бабка говаривала: «У кого деток много, тот не забыт у Бога». Умение быть матерью (не редкость – и для двенадцати детей!) преподавалось самой жизнью.

Помнила моя пращурка и о том, как во время венчания молодым желали столько деток, сколько месяцев в году. Ведь рождение ребятишек было всегда первоосновой молодой крестьянской семьи. Коли приметят, что бабонька пьёт настойку травы «неродихи», осу-удят! – на улицу носа не высунет. Прадеды наши считали род и семью наиважнейшими ступеньками к упорядочению мироздания и самосовершенствованию.

Как ни сурова крестьянская доля-недоля, бабу на сносях у нас всё-таки прижелявали, старались оберегать от тяжких работ и дурных вестей, чтобы её, не приведи Господь, какая дума не поранила. По поверьям, в это время в ней присутствуют две души, а сама она близка к границе между жизнью и смертью. Даже поговорка по этому случаю имеется: «С пuzом ходить – смерть на ворота носить».

Мужики, завидев «тяжёлую», конфузились, прекращали сквернословить. Домашние о ней заботились, да и кто бы то ни был, не смел отказать ей в любой, самой малой, просьбе.

Будучи уверенной в том, что все её поступки, чувства и мысли передаются дитятку, душу и тело которого Господь творит в её чреве, пращурка моя жила тихо и благочестиво, готовясь «почтено выполнить женскую работу»: в труде и молитве о рождении здорового дитяти, пред иконою Пресвятой Богородицы, именуемой Целительница.

О том, что «ходит на сносях», бабонька, конечно, помалкивала. Ведь у нас как бывает? Лишь доглядятся длинноязыкие соседки, так сразу же и разнесут по всем урынкам, перешёптывая друг дружке, мол, молодка-то «забрюхатела» («понесла» или «стала тяжёлой»)! А довериться беременная могла только двум людям: родной матушке, да повитухе, на худой конец, свекровке.

До сей поры бытует ещё в наших краях поверье: мол, за пороки и дурные поступки матери у младенца могут быть родимые пятна. Накопленные в памяти приметы и запреты (а их было несметное количество, например, нельзя было «носящей во чреве» заниматься рукоделием, стричь волосы, быть сонливой, ленивой, работать в праздники, гневаться, жевать на ходу, общаться со старыми девами и ещё много, много чего) всё же позволяли роженице, вынашивая ребёнка, справляться с посильной работой на подворье, в избе и даже в поле. Ох, как же хотелось ей, к примеру, побывать на свадьбе

сестрицы! Но прозорливая свекровушка не пустила, мол, не гоже тебе, голубка, на последнем сроке по гулянкам шастать. Не могла моя «тяжёлая» пращурка, пока носила под сердцем дитя, ни участвовать в крестинах, ни быть свахой, ни дружкой, ни ходить на похороны.

Акушерки-то появились в России в 1797 году, когда императрица Мария Фёдоровна основала Повивальный институт. Но откуда в глубинном селении возьмётся профессионал?

Наши пращурки рожали своих многочисленных детей, как правило, в избе, в хлеву или в бане, там и от глаз подальше, и тепла больше. По такому случаю призывалась бабка-повивалка, в навыках которой никто не сомневался. Меж тем, не было и редкостью, коли приспичит бабе, так и в поле на хлебных снопах, и на лугу в стогу сена, а то на речке во время полоскания белья могли застать её роды. Говорили, мол, баба, где стоит, там и родит. Тогда, помолившись, коли успеет, Иоанну Богослову и святому Власию, измученная, но счастливая, перерезав серпом ли, ножом ли сама пуповину, возвращалась она домой, завернув младенца в подол своей нижней юбки.

Конечно, «тяжёлая» пращурка моя, хоть и стоило ей непосильного труда, но по воскресеньям спозаранку, прислушиваясь к тому, кто жил у неё внутри, плелась-таки вперевалку на высоченную Поповку. А как же? В её положении лишний раз не помешает и исповедаться, и причаститься Святых Таинств, и взять благословение у батюшки перед родами, и заказать молебен с акафистами в честь икон Божьей Матери «Феодоровская» и «Помощница в родах». Усердными вспомогательницами для неё в предстоящих трудах слыла и «бабушка Соломонида», принимавшая роды у Богоматери, и Анна-Пророчица, святые Варвара и Екатерина-Великомученица.

Уже за сутки-трое до родов беременная и её ближние приступали к исполнению религиозно-мистического ритуала: роженицу раздевали, пока она не оставалась в одной рубашке, расплетали косы. В избе размыкались все замки и запоры. Муж и родичи, конечно, молили Господа о благополучном её «разрешении», но чаще всех становилась на молитву сама «тяжёлая». Засыпая, слышал муж её шёпот у Божнички: «О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй рабу Твою и приди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рожают чад все бедные дочери Евы...».

Проснувшись, видел: опять стоит она в Красном углу, будто и вовсе не ложилась, и всё шепчет, шепчет, бубнит не раскрывая рта: «Всемогущий, чудотворящий, милостивый Боже! Сохрани меня от страха и испуга, и от злых духов, которые желали бы повредить и сокрушить дело рук твоих. Даруй ему разумную душу, и соделай, чтоб

возросло тело его здорово и неоскверненно, с целыми, здоровыми членами, и когда наступит время и час, разреши меня по милости твоей...».

Понимая, что в родах может произойти и непредвиденное, на всякий случай, по православному обычаю, пращурка моя, конечно, не преминула попросить у всех, кого чтילה, знала и помнила, прощения: «Господи Иисусе Христе, Николай Угодник, Пятница Параскева, Варвара Великомученица, простите меня! Все православные христиане, Мать сыра-земля, Небо синее, Солнце ясное».. (А потом роженица перечисляла родных, друзей и даже домашних животных, которых могла обидеть).

Молись не молись, а как настал крайний час, муж опрометью, задворками, чтоб никто не увидел, помчался за повитухой. Прозываться «сповивальницей» на Руси считалось очень почётно. Репутация этой женщины должна была быть безупречной. А сама она – быть доброй, трудолюбивой, к тому же – уметь держать язык за зубами. Предки наши верили, что со сварливой, непокладистой и чернявой повитухой роды пройдут тяжелее. Не годилась на такое дело и бездетная, мол, какая она бабка, как бабить станет, коли сама трудов не пытала?

Сповивальница тайком, подальше от людских глаз, с лубочным сундучком пробиралась дворами-огородами к роженице (вещая древность!). Выйдя за калитку своего подворья, обращаясь к востоку, принималась она читать молитвы на протяжении всего пути до избы, где ждали её с великим нетерпением, словно мать-благотельницу.

А уж в благочестивой крестьянской семье к родам сготовились: в бане-«мыльне» выскребли ножами полаты, пол и стены, вымыли, протопили, не забыли – Боже упаси! – венчальную, Сретенскую и Пасхальные свечи перед семейной иконой воспалить.

По древним преданиям солома и шкура животных являются оберегами для матери и младенца, а потому заранее приготовили в бане охалку соломы, не пожалел мужик и своего овчинного тулуша, расстелили его мехом наверх.

Роженица у нас наперёд заучивала и, как подступал заветный час, просила: «Бабушка гордая, рука твоя лёгкая, сведи меня, рожонушку, во теплу парну баенку, в белу умываленку! Вызволи меня, бабушка, от мук и болестей!».

Бабка под локоток повела бедняжку «справлять бабье дело», а родные, провожая её, затынули:

*Про тебя баенка топлена,
Для тебя изготовлена!
Ещё наша парна баенка
Во сыром бору рублена-строена,*

*На добрых-то конях вожена,
По реке байна приправлена,
По край бережку поставлена.
Миона баенка лисицами,
Крыта баенка кунницами;
В нашей парной баенке
Ободверенки дубовые,
А двери-то щитовые.
В нашей парной баенке
Есть три лавочки брусковые,
Есть три полочки точёные,
Камеленочка хрустальная,
Черлушечка серебряная.
Истопили мы парну баенку,
Что без дыму, без чаду-то,
Без кудельной-то копоти.
Наносили воды колодезные,
Нарубили дрова самосушные,
Самосушные, самовольные.
Изукрашена парна баенка
Всё цветочками аленькими,
Аленькими да лазуревыми.
Огорожена путь-дороженька
Она белой берёзонькой.
Растопись, наша баенка!
Разгорись, сыра каменка!*

Издревле материнская утроба воспринималась некими воротами, через которые младенец входит в наш мир. Для того чтобы ребёнку было легче появиться на свет Божий, существовало множество обрядов, связанных именно с символическим открытием этих ворот. Во время родов каждая минута имеет своё сакральное значение. К примеру, считается, в то время, когда появляется головка младенца, предрешается его вся дальнейшая судьба.

Хоть и принашёптывала, просила моя пращурка по подсказке повитухи для своего чада: «Дай счастье сыну моему, Господи!», доли ему, сыну крепостной крестьянки, досталось куда меньше, чем недоли. Но какая мать не надеется на лучшую судьбу для своего дитяти?..

Для омовения, питья и сбрызгивания роженицы повитуха загодя, раным-рано поутру, набрала воду новым ведром, зачёрпывая по течению, из протоки – из Кромы ли, из ручья ли Жёлтого. И всё лишь для того, чтобы дитя «скатилось» так же легко, как течёт ручеёк, или

стекает вода с тела роженицы. Воду бабка, конечно, заговорила. Усадив роженицу на банный порог лицом на восток, брызнула ей три раза в лицо той «наговорной» водой. И на этот случай припасена была у неё особая присказка:

*Вода-водица!
Вода-царица!
Вода-благодарица!
Как течёшь, омываешь
Красны березочки,
Жёлтые песочки,
Пенья и коренья,
Белы каменья,
Тако мой рабу Божью!
Сухватки, призоры,
Лихие оговоры –
Из лиц и косиц,
Из ясных очей,
Из чёрных бровей,
Из белого тела,
Из ретивого сердца,
Из горячей крови.
Тем словам моим – ключ и замок,
Крепкий заговор!*

Говорят, есть края, где мужья не отходят во время родов от своих жён. У нас же всегда считалось, что дело это сугубо бабье. Повитуха отрезала все попытки разом, заявляя: «Не место мужикам там, где бабы свои дела делают».

Правда, не находящий себе покоя муж, хоть и был на седьмом небе от счастья, «корчился в муках», изображал страдания роженицы, стараясь, чем можно, помочь «родихе». Рассыпался повсякому, становился ручным, словно сизый голубь: и одежду женину через пень-колоду на себя-то он натягивал, и подшалком-то её, горемычный, повязывался, и хрен-горчицу ложками ел, и под куриным насестом кудкудахтал, даже лягухой курлыкал. Порою некоторые мужья так входили в роль, что «...бледнели, аки полотно, или чернели, аки чугун...».

Уж и затянулись было роды (уж и дула, дула бедняжка в бутылку!), да тут сповивалка возьми и окати ледяной водой роженицу. Мало того – двери внезапно распахнулись, и мужик в козлиной шкуре – шась через порог! Вскрикнула бабонька с перепугу, да и родила в ту же минуту.

Наконец-то из бани донёсся голос новорожденного! А разметающейся в родовом бреду погрезилось (видно, правду на сенокосе бабы толковали!): с неба спустился ангел, вложил в сыночка душу и снова воспарил на небеса.

Опытная повивалка знала, что от пересечения и перевязывания пуповины зависела привязанность ребёнка к матери и, что немало важно, – его смышлённость, способность к различной деятельности. Поэтому пуповину моего прапрадеда пресекла она, скорее всего, на топорнице (чтобы был хорошим хозяином). А коли народилась бы девчонка, то сгодилась бы гребёнка (чтоб домовитой хозяйкой была, чтоб умелой пряхой слыла). Перевязывали же пуповину волосами матери, взятыми из правой косы.

Бабка, конечно, помнила, что не менее бережно надобно обходиться и с последом, так как считалось, что он является двойником новорожденного. «Выкликнув» его: «Кыс, кыс, кыс!» – повитуха выполнила ряд магических действий, тщательно обмыла и со словами: «Месту гнить, а ребёнку жить да Бога любить, отца, мать почитать и бабу не забывать!» – приказала схоронить его без лишних глаз в каком-нибудь сокровенном месте (чаще всего – под полом избы около печки). А коли разродилась бы баба (не дай Господи!) недоношенным, повелела бы повитуха ребяточка спеленать, увернуть да на целый месяц в навоз закопать, чтоб «дозрел». (Одни губы наружи – молоком подкармливать).

Среди крестьян бытовало мнение, мол, коли роды трудные, так оба ли родителя, один ли кто – греховодники. Сповивалка знала, как помочь «родихе» и на тот случай: срочно призывала посторонних, чтобы виноватый мог покаяться и облегчить роды.

После родов свивалку одаривали полотенцем или «духовитым» мылом, хлебом или курицей. Деньги же приподносили уже к крестинам младенчика.

...Хоть и окатывала повитуха мою пращурку водой с шести веретён, трижды проваживала через потный хомут, хоть и мыла-парила после родов в жаркой баньке с венниками купальскими, травными, а всё же по древнему нашему обряду считалась она существом нечистым, «поганым». Мало того, нечистыми являлась и сама повитуха, и молодой отец, и всё семейство. И так продолжалось до тех пор, пока на сороковой день не приглашали священника. Читалась молитва на благословение дома, на очищение всех, кто присутствовал при родах.

МАЛУШИН ДАР





обасок, легенд и небылиц, связанных с родами, бабками-повитухами, с появлением на свет необычных младенцев, у нас несчётно. Сколь веков передают, к примеру, из уст в уста вот такое удивительное предание, даже малой детворе в наших краях известное.

Мол, жила-была в рассветные лета в Игино осанистая девка, Малушей кликали. Размякла душечка её, слюбилась она с парнем нашенским. И вызрела про меж них, как ягодка лесная, любовь взаправдашная. Обженились они, как водится. Но тут налетел хищным ястребом, как назло, ворог лютый, то ли половец-степняк, то ли крымчак-растатарин, то ль ещё какой нехристь, а только не стало у Малуши мил-дружка, сложил буйну голову в бою неравном, рухнул, словно дуб подкошенный, постоял за землю прадедов, за свою любушку... На всё воля Божия!

Хотел было ворог и Малушу в края свои чужедальные во полон свести, да только не знал он, что за-ради свободы баба русская костями ляжет. И кинулась Малуша к Кроме! Возьми – да и утопись! Не хухры-мухры решиться (Матерь Божья!) с разбегу спасть живой звездой в омут, в самую стынь, глубокою глуть, чтоб только не датьсь в руки людей лихих. А уж, сказывают, бабонька по той-то поре «чижёлоу» была.

Легенда эта, скорее всего, думаю я, возникла в XIII веке, когда был создан о русских девушках-полонянках ранний цикл баллад, таких как «Разбойничий дуван», «Красна девушка из полону бежала», которые повествуют о героической, непокорной женщине, попавшей в безвыходное, трагическое положение, но активно борющейся (даже смертью!) с «лютым ворогом» за свою свободу, потому и московские полонянки за своё умение бегать из плена ценились на крымских рынках значительно дешевле.

...Гуртами, табунами вольными пробегали над Игином облака. Зимы да вёсны, словно бурёнки с пастьбы, шли чередой, а вслед за ними, по бездорожью, по краюшку, и года-века.

Раз пошла как-то игинская баба Катерина в Бóльший лог, в самые что ни на есть замарашкины просторы, сено стребать. Дело было в самую высоченную траву, в самый изок (июнь), на Русалью неделю. А кто не знает: неделя эта, что празднуется перед Купалой, самая что ни на есть ворожейная. Колдовска-а-я, аж дух захватывает!

А прозывают её, кому как вздумается: и Грязной неделей, и Зелёными Святками, и Русалиями.

С каких пор праздник тот ведётся? А кто ж про то ведаёт? И бабки наши по молодости в неделю Грязную корогодились, и прапрабабки. Первое упоминание о Русальной неделе относится к Лаврентьевской летописи, а это аж 1068 год! Конечно, христианское писание не могло не осуждать «бесовские игрища» да «потехи с плясанием»: «...Дьявол льстить, превабляя ни от Бога трубами и скоморохы, гусльми и русальи...».

Хоть на этой неделе бабе и работа не в работу, одни гулянки до утренней зари на уме, даже муж не заперечит (а куда ему деваться-то, чай, соседи занасмежаются, мол, вишь, какой хмырище, не отпустил с другими на пляски-корогоды), но недавно прикупили они с мужем коровёнку (сколько годиков об ней мечтали!), сенца вот прикосили-нашибали. А коли дожди забусят, залындят? И то правда!

И погулять ведь молодой бабе тоже страсть как хочется! Не сомкнувши глазонек во всю ночушку, день на покосе, на жаре промаялась, а к вечеру Катерина уж и в полуболото, к лозиннику подобралась, что на выходе из лога, у самой Кромы раскустился, мягкими волнами расструился.

Чибисы вьются над болотиной, обдаёт запахом валерьянника. Грабает граблями Катерина, значит, себе, не об чём особо не задумывается – в гроб убилась, ухайдокалась, а дойти делянку кровь из носу надобно. Смотрит: что за невидаль такая?! Вся усталь дневная с бабоньки долой. Хоть стой, хоть падай! Виданное ли дело – откуда в цветастой болотной купели ребящёнок взялся? Катерина от удивления даже рот раскрыла!

Голенький совсем, таращит ясные глазёнки, – ни тебе рубашоночки, ни хоть бы подстилочки под ним какой. А дело уж – на закат, заря спустилась на синь. Солнышко чуть приметной зыбкой в диком тёрне повисло. Луговина вот-вот оросится, да и посвежело к вечеру. А он себе, золотой ребёнок, лежит, хоть бы хны – ножонками сучит, розовыми губками весёлые пузырьки пускает. Катерина пощекотала малому пуп, и ну кликать, ну мамку звать. Окинула взором туда-сюда – ни души на весь Божий свет.

Всем известно: баба наша русская по укладу своему жалостливая, и потому нежные, ласковые ключи, дремавшие в её душе, тут же прорвались наружу – не оставлять же дитё малое одно-одинёшенько

на ночь в лугах?! Зундявые тучи кровососов вились столбами, комарьё зверело, готово заесть насмерть.

По велению ли совести, из жалости ли обыкновенной бабьей, сняла покосница с себя исподнюю юбку, привычно, по-матерински, закутала огольца. Нащипала из пучка ягодок, что своим ребятишкам по ходу насбирала, накормила малыша. Святая Троица! Лопотливый-то какой! Было, захныкал, а тут и перестал, загулил, закуняркал!

Уж и домой с миром засобиралася, уж и огромный разжаренный шар, поостудившись, за Гороня закатился, откуда ни возьмись – продирается кустами, выступает тут из-под берега – осоку раздвинула – баба. В чём мать родила! Лишь греховно-алые ожерелки вкрут шеи играют, по титечкам – репкам белым – перекатываются. Ноги легки и крылаты.

Баба как баба, только тощая, как селёдка, да волосья мерцают длиннющие, зелёные. А заместо гребня в них цветок папороти воткнут. Бледная-а – капли живинки нет! И глазища чередой синим пламенем переблёскивают, так и жжёт! Приближается, а сама пофыркивает, порюхивает, воздух ноздрями вбирает, скалится. И конопелью почему-то резко потянуло, замашками. И тени какие-то неясные над скирдами заметались, заперелётывали. И голоса неведомые заперешётывались.

Катерина – сконфузилась, чуть ежа со страху не родила: затеребила бахрому передника, обмякла ногами. Зашлась духом, словно пьяная в стельку, – вот-вот кондрашка хватит. Остановилась как вкопанная, аж мурашки по спине заползали: «Боже упаси! Русалка-Малуша! Самое время ей объявиться! И знала ж – не след нынче грабли в руки брать! Не зря ж говорят: кто будет пахать в эту неделю, у того скот будет падать; кто будет сеять, у того градом побьёт хлеб; кто будет прясть шерсть, у того овцы будут кружиться; кто будет городить изгородь, вить верёвки, вязать бороны, тот зачахнет и согнётся в дугу. Дети нарушивших Русалью неделю родятся уродами; приплод скота у этих хозяев будет ненормальным. Чур меня! Чур! Эх, и зачем я только из дому нынче вышла!? Попала, как кур во щи», – возроптала в сердцах, мелко закрестилась вусмерть перепуганная баба. Залепетала защитительную молитовку: «Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением» (Купальские дни, кроме всего прочего – это ещё и дни поминовения «заложных» покойников – умерших не своей смертью).

А лоскотуха-то всё приближалась и по имени бабу покликивала. Катерина ей: «Приходи вчера!» – думала нечистую с толку сбить. Ан не тут-то было! Закричать бы во весь околоток, чтобы шишки во бору за Горонями посыпались, да не стало у бабы мочушки, словно у мураша какого.

Метнула Малуша-навка на Катерину жаркий взгляд – видать, отвела ей глаза, слегка хохотнула (при жизни-то кроткая бабонька была, комара не обидит), мол, не кипятись, не пужайся, милая, что ж поделать – сама виновата, что со мной повстречалась, и разговоры разговаривать затеяла: «Экая несуразная! И нечего тарарам поднимать (ай режут?), никакого лихого лиха тебе не сделаю, не змеюка подколодная. И с собой в Крому не позову, и щекотать тебя до смерти нету у меня никакой охоты. Вовсе даже и наоборот – спасибочки за то, что прошлой ночью у Жёлтого с другими бабами вязала ленты-узелки на берёзках, пушала венки со свечами. Видела я, как ты с «относом» за Воронка вашего в Ярочкин лесок прибегала. Это я сняла потом оставленные тобой лапти да хлеб-соль. К душе пришлось мне и онучи, что ты из своей рубахи свостожила. А голос-то у тебя какой, и сейчас песня твоя в ушах стоит, как не сжалиться: «Прошу вас, русалки, мой дар примите, а скотинку возвратите!». Догляделась я, как ты развешивала по деревьям рушники да одёжу для русалочьих деток. Но боле всего полюбила ты мне за то, что русалёночка моего пожалела.

И вот что пришло мне на мысль: а проси-ка теперь, Катерина, у меня чего хошь, – здоровья, денег или чтоб тебя народ знал. Какую правду для себя ищешь? В какой хомут хочешь влезть? Коли здоровья пожелаешь – никакая хвороба тебя до скончания веку твоего не возьмёт и доживёшь до старой старости. Богатства возжелаешь – укажу тебе местечко во папоротях заветное. Придёшь нынче же ночью в Хильмечки, как вторые певуны прокричат, ларчик с червонцами золотыми сыщешь, и не будет дна у того ларчика – бери, сколь примет душа. Ну, а коли захочешь, чтоб люди тебя чтили да знали – станешь самой сильной в округе бабкой-повивалкой. Сама выберешь – чур потом не жалься, не попрекай Малушу!»

Уж не знаю, на чём сошлись-стакались Катерина с русалкой Малушей, во что лоскотуха бабу втравила (с ними-то, с русалками, лукавить бесполезно, хлебом не корми – на своём настоять!). Правда ли, нет ли? Разве ж выведешь теперь на чистую воду? Кто ж теперь тот сыр-бор разберёт? Только, сказывают, жила в наших краях

повитуха с «лешинкой», такая древняя, что и сама счёт годам своим потеряла. И всем жителям Игино, Кирово Городища, близлежащих деревень (и не в одном поколении!) именно она пуповины завязывала. Ко всему прочему, пожалуй, не только «сповивала», но и, случись что с ребяточком, бабы бегали к ней, потом к её старшей дочери, судя по всему – и к старшей внучке. Да и сами у повивалки, поди, «ведать» научились, если до нынешних дней пользуются в наших краях молодые мамочки её советами.

А их, советов тех, на каждый случай – прорва! К примеру, чтобы малыш по ночам не колобродил, сладко спал, в любой избе сыщется пучок-другой сон-травы. Возьмёт мамочка ту-то травку, перевяжет шерстяной ниткой (да обязательно красного цвета!) и на пятничной вечерней заре, перекрестив трижды капризника сон-травой, склонится над ушком, зашепчет: «Крестом крещу раба Божьего (и назовёт имя своей кровиночки), спать ложу. Спи крепко, не бойся, а проснёшься, веселись от души. Аминь».

Да это что! Коли уговор-заговор этот не помогал, призывалась более действенная сила. Бралась икона святого, в честь которого крещён малыш, перекрестив ею три раза ребёнка, матушка читала: «На море-океяне, на острове буяне стоит высокий терем, золотой, а в теремочке том Соня-засоня живёт. Она глазки свои трёт, она зевает, всех деток усыпляет. Соня-засоня, помоги усыпить мою деточку, пошли ему крепкий сон и радость в нём. Ключ, замок, язык. Аминь».

Сама-то бабка Катерина, рассказывают, коли призывали её на помощь по такому случаю, знала куда более верный заговор. Подкачивая люлечку, бывало, напевала: «Ангел, Архангел, Серафим и Херувим, приходите совет давать, как раба Божьего (имя) укладывать спать. Кроватку качните, ребёнка перекрестите своими крылами, своими перстами. Чтобы крепко спал и горя не знал. Ключ и замок словам моим. Аминь».

Катерина твёрдо верила, что сразу же после рождения над ребёнком надобно прочесть несколько самых важных заговоров, позволяющих избежать пожизненных болезней. Два из них, передаваемые из уст в уста игинскими бабами, дошли и до меня. На что только не способно материнское сердце ради дитя! А уж ради его здоровья не выучить присказки ли, пожелания ли, завета ли – за это всякая соседка осудит!

Покажут мамочке новорожденного, а она тихонечко так: «Встану благословясь, выйду из дома перекрестясь, пойду из первых дверей

во вторые, из одних ворот – в другие, выйду в чистое поле и уйду далеко-далеко к морю-Кияну. В Кияне-море белый литой камень, а на нём нет ни ольхи, ни крови, ни опухоли. Так бы и у моего дитятка не тянуло, не болело, ни в суставах, ни в жилах, ни в костях, ни в голове, ни в мозгах, ни в горячей крови. Аминь». А то ещё и вот как: «Летели, летели тридцать три вороны, несли, несли тридцать три камня. Сиделись вороны на горочку, на горку, под ёлку, под лиственку, под жаркую каменку, под парную баенку. Они брали и снимали лютую болезнь с раба Божьего (имя ребёночка). Летите вороны в чистое поле, спуститесь в синее море, как ключ ко дну».

Занеможется ребёночку, тут матушка места себе не находит, рядит-гадает: что такое с дитём приключилось? Уж не порчу ли какую кто навёл, или соседка, та ещё «змеюка», взглянула косо? Припоминая древние советы (кажется, во все времена у нас то водилось), сольёт она по зорьке через скобку ключевой водицы, умоет ею малыша: намочит грудь и темя, даст глоточек испить. Потом выйдет на улицу, выплеснет оставшуюся водицу в землю и при этом скажет: «Из леса пришло, туда и уйди, а ветром прилетело, на ветер и уйди, с народом прикатилось, на народ и уйди». Глядишь: и полегчает малышу, глядишь: и весело загулит.

Каждый раз, купая моего младшего брата (припоминаю из детства), наша бабуля, наверно, как когда-то её бабушка, приговаривала: «Бабушка Соломонида парила, мыла и заговоры говорила: из одной жилы в другую, в единую жилу. Чтоб не приставали ни уроки, ни присмотры и никакие оговоры. Ни собственная дума не брала, и ни чужие не брали – ни язычная и ни ушная, ни пятная и ни подпятная, ни подошвенная и ни подподошвенная. Аминь».

Какая мамка не знала бессонных ночей, когда у её дитятка резались зубки? И тут не в одном веке пригодился всем, кто знал, заговор повитухи Катерины. Прежде чем его прочитать, в правую руку младенца вкладывали три раза перекрещённую головку проклюнувшегося лука, а затем говорили: «На море-Кеяне, на дальнем острове Буяне вскопан огород. Там лук прорастает круглый год. Лучок-резунец режется без слёз и без боли, раз – и быстро вышел! Так же бы и у раба Божьего (имя младенчика) зубки резались без боли и быстро. Во веки веков. Аминь».

Детишки, всяк видел, народец пугливый. Чуть что не то – испугался. Раскричался малец, не унять. Так в народной кладовочке заготовлен, бабкой ли Катериной придуманный, дочкой ли её, праправнучкой ли, теперь уж и неведомо, заговор и про тот случай:

*По широким полям да по широким долам,
По зелёным лугам да по золотистым пескам,
По быстрым рекам ходил раб Божий (имя малыша).*

*Как быстрые реки переливаются,
Как золотистые пески пересыпаются,
Как с зелёной травы
Водица скатывается,*

*Так с раба Божьего (имя) и исполох скатится
С ретивого сердца, с буйной головы,
С кровяных печеней, с ясных очей
Да со всего белого тела.*

Пока рассказывала про всевозможные заговоры, знание которых не повредило ещё ни одной матушке, вспомнился и ещё один, говорят, очень древний, от боли в животе. А коли так, уж кто-кто, а бабка Катерина, наверняка, им пользовалась. Трижды перекрестив животик малыша, склоняются к больному месту и, покусывая губами, произносят: «К животику больному раба Божьего (имя) склоняюсь, к боли его прикасаюсь, крепкими зубами вгрызаюсь и через левое плечо отплёвываю. Была сплошная боль – и нет её вовсе. Ключ, замок, язык. Аминь».

Под приглядом бабки-повивалки, под матушкиным присмотром, в рубашонке, расшитой оберегами... так и возростало-поднималось дитяtko.

Кто ж Катерину за эти заговоры теперь осудит? Сама-то она, говорят всё, бывало, упреждала, мол, каким судом судите, таким и судимы будете.

И ВОЗЬМЁТ КРЕСТ СВОЙ,
И ПО МНЕ ГРЯДЁТ...





мя нам выбирают родители, а вот фамилию мы получаем в наследство от наших прадедов и отцов.

Судя по всему, при рождении крестили моего пращура, от которого и пошла моя фамилия, церковным именем Андриан, что с древнегреческого означает «мужественный» (имя, достойное потомка храбрых вятичей).

С принятием христианства на Руси пришла пора возвращения души, и имена давались из строго определённого списка имён святых, помещённого в Святцах – церковном календаре восточнохристианской (византийской) церкви. Календарные имена считались греческими, хотя многие из них имеют древнееврейское происхождение.

В народе полагали: назвать ребёнка именем праведника – к добру, а именем мученика – к худу, очужеет. Думаю, мало что ведал пращур мой о своём покровителе Преподобном Андриане Пошехонском, день памяти которого отмечается второго декабря оттого, что деяния его происходили достаточно далеко от наших мест, в землях Пошехонских.

Так же, как и Святитель Кукша, подвижник Андриан, сеявший среди народа семена православия, любви и мира, был убит безбожниками предположительно в XVI веке. Мощи его были обнаружены лишь через столетие после смерти, под полом старой церкви и тогда же перенесены в Андрианову пустынь. Как зачастую бывало и при обретении мощей иных праведников, по преданию, во время торжественного шествия свершилось множество чудес исцеления от всевозможных хвороб. Икона Преподобного мученика и чудотворца Андриана с частицей его мощей и по сей день хранится на Пошехонье в Свято-Успенском женском монастыре.

Так как греческие имена долго ещё приживались на Руси, одновременно с крестильным именем в обиходе было и «мирское» (из боязни чар и волхований, при которых нужно было знать крестное имя того, на которого они направлялись).

Может, именно от этого в Кирово Леоновы – это и Лысиковы, и Герасимовы, Полетаевы – и Жуковы, и Пеньковы, Макеевы – ещё и Храмовы, Ходёнковы – Кузины? Думаю, и у моего пращура, «в крещении Андриан» «мирским» было какое-нибудь прозвище. Но с уверенностью можно сказать лишь одно: в тех случаях, когда в

документе записывались оба имени, первым писалось крестильное. А ведь существовало ещё и уличное имя, а порою – и не одно!

Ох, и прав был Николай Васильевич Гоголь, рассуждая в своё время о меткости русских кличек и прозвищ: «...И если наградит кого словом, то пойдёт оно ему в род и потомство»!

Если окунуться в те, всё дальше отступающие времена, то можно обнаружить, что на Руси в ту пору фамилии и среди знати-то были редки. А уж что говорить о простолюдине?

Специальный указ Сената об обязанности именоваться определённой фамилией был оглашён лишь в 1888 году: «... Как обнаруживает практика, и между лицами, рождёнными в законном браке, встречается много лиц, не имеющих фамилий, то есть носящих называемые фамилии по отчеству, что вызывает существенные недоразумения, и даже иногда злоупотребления... Именоваться определённой фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого полноправного лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется самим законом».

Даже не верится, но в первой переписи, на 1897 год фамилий не имело ещё семьдесят пять процентов населения России! На протяжении нескольких веков «родовая память» на Руси вполне обходилась двумя поколениями родственников: отцами и детьми. В царских указах о проведении переписи обычно требовалось записывать всех «по именам с отцы и с прозвищи», а потому крестьянская фамилия жила лишь в продолжение одной жизни, её владельца. Например: Андриан, сын Ивана.

Русские фамилии при возникновении в большинстве своём имели формы притяжательных. Давались они, как правило, по предкам (иногда – владельцам) и отвечали на вопрос «чей?». Если прислушаться, то обнаруживается, что основная масса русских фамилий оканчивается на «-ов», «-ев» и «-ин».

Фамилия Андрияхин, которую первым носил мой прапрадед, сын Андриана, вероятнее всего и образована во времена падения крепостного права от мужского крестильного имени Андриан, а в просторечии – Андрияшка, Андрияха. Фамилии, образованные от полной формы имени, имела, в основном, знать, в отличие от других сословий, звавшихся, как правило, уменьшительными, обиходными именами.

Крещение прапрадеда моего, скорее всего, происходило на первом этаже нового обетного двухэтажного каменного храма, без колокольни, с деревянной крышей, холодного, с двумя престолами (нижний этаж – во имя Преподобного Сергия Радонежского, верхний – во имя Александра Невского) в селе Кирово Городище.

Храм этот был возведён и освящён в 1803 году в неделю Всех Святых на месте обветшавшей шатровой деревянной церкви (упоминаемой в Епархиальных ведомостях ещё в 1734 году) на средства помещика генерал-майора Александра Николаевича Зиновьева и пожертвования в пятьсот рублей московского надворного советника Александра Николаевича Бычкова.

Семья Зиновьевых ведёт многовековую историю. Кировский помещик Зиновьев являлся потомком одного из древнейших княжеских родов на Руси, который берёт своё начало с конца XIV века (1392 год). Фамилия Зиновьев имеет литовские корни, основоположником её был литовский дворянин Александр Зенович. Зиновьевы в наших краях объявились в те далёкие времена, когда земли Кирово Городища были территорией объединённого Великого Княжества Русского и Жемайтского. Во все века семья эта отличалась безукоризненной честностью и неуклонным почитанием древних традиций.

Крёстными моего прапрадеда могли быть простые кировские или игинские крестьяне, а коли молодой родитель (ладно жить с таким заботником!) поусердствовал, угодил чем барыне или самому барину, Александру Николаевичу Зиновьеву, то могло статься, что они, причесавшись на модный в ту пору французский или польский манер, принарядившись в диковинные для нашей глубинки европейские платья, снизошли, прибыли на крестины крестьянского сына, а то и оказали честь стать «крёстными» младенца.

Обычно приглашали «в крёстные» такими словами: «Пойди, введи младенца в Православную веру!» Оказанной честью пренебрегать у нас не принято. К выбору крёстных на Руси всегда подходили серьёзно, ведь в случае болезни или смерти родителей, ясное дело, на них возлагалась ответственность за воспитание ребёнка.

Крёстные (кум и кума) отправлялись в храм на такое богоугодное дело не с пустыми руками, подготовившись. Кум загодя покупал для младенчика крестик, приносил хлеб (а то и каравай), готовил денежки (не уйму какую даже по крестьянским меркам –

расплатиться с духовенством). Кума представляла «на ризки» аршина три-четыре ситчику (а может, чего и подороже), готовила для священника ручник (руки после купели утереть), а для малыша – крестильную рубашоночку. (Считалось: если рубашку первенца надевать на всех последующих деток, братья и сёстры в этой семье никогда не станут ссориться и будут горячо друг дружку любить).

Судя по Святцам, имена Андриан, Андрей приходятся на осенние месяцы.

...И чудится мне сквозь века (наваждение какое-то!) погожий сентябрьский день. За околицей в полыхнувшем березняке, в разноцветной, ласковой глади, печётся щедрый ломоть осеннего солнца. Вёдро. Бабье лето. Такое ласковое, что деревенские растелешились. Прихожане толпятся, балякают, чирикают воробьиной кутерьмой у ворот Сергиевской церкви. Осень вскипела сусальностью клёнов и берёз – весь двор осыпан золотом опавшего листа. Ржа в оградке, и та золотится. По стёжкам, перебирая красными лапками, надуваясь и напирая бочком-бочком, похаживают, кутукают сизари.

Батюшка в белых одеждах приглашает крёстных в «крещальню». Осенив младенца крестным знаменем, он крестообразно поднимает ребёнка перед иконами. А потом, следуя обряду, совершает оглашение: повернув младенца лицом к востоку, дует ему в лицо три раза, трижды крестит лоб и грудь, положив руку на его головку, читает молитву. Перед Крещением обязательно совершается ещё запрещение и изгнание нечистых духов, отречение от сатаны и, конечно же, – исповедание верности Христу, как Царю и Богу, исповедание Символа веры.

Приготовления к торжеству закончены. Наступают самые важные минуты. Воскуривая благовония, диакон, степенно и важно, обходит с кадиллом крещальню. Сентябрьские лучи пробиваются сквозь её ажурные оконные решётки, искрятся в купели, по краям которой горят три свечи. Священник читает молитву над купелью, освящает воду. Трижды её перекрестив и трижды на неё крестообразно подув, батюшка возвышенно произносит: «Да сокрушатся под знаменем образа Креста твоего все сопротивные силы!» После того, как крестообразно помазана освящённым елеем вода, наконец-то, батюшка, молясь о том, чтобы Бог принял крещаемого в своё Царство на Земле, а после смерти – на небе,

подступает к младенцу, которого держит на руках крёстная мать: так же крестообразно помазует елеем лоб, уши, грудь, кисти рук и стопы ног малыша.

Священник ласково берёт новорожденного и, повернув его лицом к востоку, соблюдая православные обряды, сотворяя молитвы, очищает от грехов – трижды погружает голенького, голосащего на все лады младенчика в купель с водой: «Крещается раб Божий Андриан во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». И присутствующим в крещальне кажется вдруг, как на дитя сходит Святой Дух, очищая его от грехов.

Для христианина день крещения, день приобретения церковного имени (именины), не менее важен, чем День рождения. Православная традиция считает, что при крещении вместе с именем младенец получает небесного покровителя – Ангела-Хранителя, святого, по имени которого называли ребёнка. День памяти этого святого и является датой именин.

Священник надевает на ребёнка нательный крестик и поданную крёстной матерью белую рубашечку (белые одежды являются символом того, что теперь крещёный должен вести чистую, безгреховную жизнь).

Батюшка, в знак того, что с этого момента крещёный становится рабом Божиим, крестообразно выстригает у младенца волосики и, закатав их в воск, опускает в купель, в которую минуту назад окунал малыша. Затем передаёт крещённого восприемникам. Радостные крёстные обходят с ребёнком на руках вокруг купели (как круг не имеет конца, являясь символом вечности, так и вера крещёного в Господа нашего отныне бесконечна).

Обряд Крещения завершается целованием восприемниками и крещёным креста (в память о вере в Иисуса Христа, на кресте распятого). Об этом великом дне в жизни каждого православного обязательно вносится запись в церковную книгу.

По возвращении из храма, по заведённому укладу, конечно, устроили крестинный стол. Пусть не очень богатый, но родичей и соседей пригласили «к младенцу на хлеб, на соль, кашу есть» и угостили чем Бог послал. Гости, как водится, поздравили отца и мать – с сыном, наречённым Андрианом, кума и куму – с крестником, а бабу-повивалку – с внуком.

Последнее стозвонное тепло – Бабье Лето. Чтобы не теснится в избе, в тот памятный день сколотили из тесин столы и накрыли их прямо на подворье. Успенский пост прошёл, поэтому на холодное подали студень и квас с яйцами. Потом – щи или ушник (суп из потрохов), лапша с курятиной или свининой, молочная лапша. Обязательна за крестильным столом – пшённая каша. Но наиглавнейшим блюдом, без которого не может обойтись ни один крестильный стол, является гречневая каша. Если бы Крещение пришлось на постный день, то на стол подали бы сельди: квас с кислой капустой, вволю, щи со сметками, приправленные конопляным маслом, картофельный суп с грибами и лапшу.

Конечно, на радостях, за русским застольем разворачивала меха гармонь.

После обеда за угощение принималась бабка-повивалка. Хоть и поизносилась за жизнь, но всё у неё к месту: что дело, что слово. Выставив на стол штоф с водкой, в шапке – горшок да пирог, с поклоном она обращалась к сидящим за столом:

*Гости мои любящие,
Гости мои дорогие!
К вам бабушка идёт,
Вам кашку несёт.
Бабушка молоденька,
Несёт кашку сладеньку,
Нам не барыши получать,
А только народ поучать,
Чтобы бабушку знали,
Чаще в гости звали!*

С этими словами повивалка обходила стол, угощала водкой приглашённых на хлеб-соль. А те с шутками отказывались, мол, испробуй-ка сама. Может, водка-то наговорная! Бабку выручал отец младенца, выпивая первую рюмку и закусывая «родильной ложкой» – круто посоленной и наперчённой кашей. Бабка подсмеивалась, мол, рожать-то жене, ой, как солоно пришлось! А гости меж собой переговаривались: «Солона кашка, и солоно было жене родить, а ещё солоней отцу с матерью деток после выходить». Остатки каши из

ложки отец подкидывал вверх со словами: «Дай только Бог, чтобы деткам нашим весело жилось, чтобы также прыгали бы!»

Бабка, улыбаясь во всё лицо (заговорила – до смерти!), шла по кругу. Налив по стопочке крёстным тятеньке и маменьке, поздравляла их: «С крестником вас! Как вы видели его под крестом, так бы видеть вам его под венцом! Многая лета вам и вашему крестнику!»

И все чакались со звоном гранёными стопками. Гости, уговаривать не приходилось, отдаривали бабку за угощение. Обойдя стол, повивалка набирала поднос подарков (и себе – «за труды», и родильнице – «на пирог»). Последнюю рюмку повитуха выплёскивала в потолок – чтобы внук высоким рос. С такой же целью крёстная мать допиналась до самой высокой полки и оставляла на ней коврижку. Бабка доглядывала, чтобы крестильная каша была доедена до конца (иначе считалось, что ребёнок вырастит рябым). Только после окончания всего обряда гости покидали стол и расходились по домам, чтобы назавтра вернуться «опохмелиться», причём, кум с кумой удалялись последними. Правда, вусмерть пьяный сосед-мухоротик с выступившими на лбу каплями пота уж и не ведал, что делал – на крыльце до жидкого свету жарил и жарил невпопад на нестройной трёхрядке, пока не свалился, бузотёр, под лавку.

Как осветлится, опохмеляясь поутру, кума одаривает кума платочком на память – просто на загляденье! – а тот, утерев подарком рот, растопырив руки, должен обнять-расцеловать куму в губы: «Будь здорова, кума Марья!» «И тебе не хворать, куманёк, касатик разлюбезный!» – отговаривалась новоиспечённая крёстная. И обязательно отдарится.

Получала подарки и родильница. На прощанье, поклонившись в земь, смахнув наверху слёзы, она вручила своим кумовьям гостины, по пирогу: «Христос вам в дорогу, и крестника почаше проведывать!»

А уж всё и переговорено, помянуто, пересказано. Уж и лампа зажмурена, и свечи задули, и щеколда клямкнула. Тут и празднику конец. Эх, и жаль!..

**ПРИБУТЬ, ПРИОДЕТЬ,
ТАК И ЕСТЬ НА ЧТО ГЛЯДЕТЬ**





Удя по тому, что в России до конца XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный, унаследованный от далёких предков, русский костюм, то могу представить, в какой наряд могли облачиться родители моего прапрадеда в такой радостный день, как Крестины первенца.

Как ни старался царь Пётр и его наследники привнести жёсткие реформы в русский быт, однако и одежда, и причёски простонародья почти не изменились. Как не брили благочестивые предки бород, так и продолжали их носить. Как плели на Руси девки да бабы косы, так и продолжали, гладко прилизав волосы квасом, зачёсывать, туго убирать в косы.

«Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и других. Она – совершенно особая, специфическая культура, обладающая не меньшей самоценностью и не меньшим историческим значением, чем европейская и азиатские», – отмечал выдающийся историк, мыслитель и литературовед Сергей Николаевич Трубецкой.

Нельзя не согласиться и с философом Николаем Александровичем Бердяевым, утверждавшим, что «Россия – страна старой культуры. В Киевской Руси зарождалась культура более высокая, чем в то время на Западе».

Радость в крестьянской семье, а потому и родители в лучших своих нарядах. Отец, волосы – «под горшок», усы, окладистая борода, – в длинной, из холста или пестряди туникообразной, до колен, «рубё» – рубахе-голошейке, с разрезом, застёгивающимся на левой стороне (а может быть, – в косоворотке). Узкий поясок или вышитый с благочестивыми молитвами кушак, на нём – гребень. Поверх алой, ради праздника, с подоплёкой рубахи – синий кафтан (зипунишко да чуйка – в буден день, в работу). На голове – серый севский колпак, высокий – вершка в четыре, отороченный бархоткой, или шляпа поярковая. (Севск в ту пору поставлял головные уборы во все уголки Рассеи-матушки. Обшивал он, конечно же, и крестьян из соседних земель). Молодой отец в новых, завязанных на гашник (шнурок) холщовых портах, в лаптях с онучами из сермяжного сукнеца.

Онучи – неотъемлемый традиционный элемент русской крестьянской одежды. Вёрсты холщового или шерстяного полотна шириной от тридцати сантиметров до полуметра ткались крестьянками для обмотки ног от ступни и голени до колена (при

ношении с лаптями). А для того, чтобы онучи не сползали, удерживались на ноге, изворотливый крестьянский ум придумал их подвязывать к ноге поворозами или оборами. Изготавливали их (вязали или плели) из верёвки или податливого липового лыка. Так как поворозами чаще всего пользовались в будни, то скорее всего, отец моего прапрадеда обвил или обвязал крест-накрест свои онучи белыми или даже красными оборотами.

От онуч пошли существующие и поныне портянки. Вспоминается, что дедушка мой, мамин отец, прошагавший во время Второй Мировой через всю Европу, до самого Берлина, в солдатских ботинках с обмотками, долгое время ещё не мог сменить их на туфли... всё сапоги да сапоги с портянками.

Молодая матенка тоже приделалась, вынула из сундука свои любимые наряды, в которых и замуж, и в Престол-день, и на гулянку – именины-крестины, и в гроб... а не то – и дочери передать.

Обряжаясь, вспоминала, как готовила ей матушка, мастеровитая искусница, приданое. Как шила сорочку: рукава с гладкими ткаными полосами; из тонкой, хорошо отбеленной материи лиф-«обнимку»; из домотканой холстины, что поглубже, кроила исподнюю, нижнюю, часть рубашки.

Готовила матушка приданое, дочке – радость: за желанного посчастливилось пойти, а у родимой всё-то глазоньки на мокром месте. Ну, так не зря же толкуют: «Бабы каются, а девки собираются». Вздохнёт маменька, только и скажет: «Э-эх! Милая-а! Замуж-то – не напасть, замужем бы не пропасть!»

Может, не даёт ей покоя день тот злосчастный, а вернее, ночь? Как венчаться-то они с любушкой надумали, кинулись барину в ноги: так, мол, и так. И согласился, вроде, нехристь, даже поплину на юбку прислал. Только как свечи-то загасили... уж и в светлицу молодые собрались, прислал за ней, приказал явиться, мол, постель ему постелить... Э-эх, да что теперь вспоминать, только душу рвать!

Не забыла матушка и про ватную шугайку: «Во чужом-то дому завсегда холодно, стуждено. С отлетевшими радостями станет кофтёнка моя от тебя мороз-то отгонять-«шугать»».

Одевалась молодая маменка, любовалась алыми, продёрнутыми у ворота и на рукавах у запястья ленточками-«вздержками». Старалась матушка, всё чтоб в оборочку, всё чтоб покрасивше.

Скажет, бывало: «Хочешь, сверху на сорочку сарафан надень, хочешь – синюю клетчатую юбку-панёву». Мастерили её из трёх несшитых полотнищ, скреплявшихся на талии пояском, украшенных

по подолу нашивками из цветного «красного тканья» и узорной тесьмой домашней работы. По необходимости, во время ходьбы, работы, углы панёвы – «разнополки» («растополки») подворачивали и засовывали за пояс, носили «кульком», чтобы не мешали. «А сегодня, в праздник, – решила бабонька, – возьму вот да подоткну её!» Видно, вздумалось ей похвастаться богато вышитым подолом рубахи.

Правда, в сундуке есть и «глухая» панёва с «прошвой». «А на Покров, коли покрасоваться полным нарядом вздумается, обряжусь разом и в то, и в другое!» – порадовалась молодка. В сундуке-то ещё и глухой сарафан – шушун припрятан. Матушка, помнится, говаривала: «Детки возрастут, годики отлетят, как молодкой кликать перестанут, как поредет коса, тут и сгодится».

Затянет бабонька на сарафане повыше, под самую грудь, тютелька в тютельку, широкий пояс с защитыми в него куриными косточками («чтобы вставать с петухами»), сверху – душегрейку, «душу прикрыть». Накинет богато украшенный красно-чёрной вышивкой: и «росписью», и «крестом», и «настилом» передник-запону и примется голову убирать. На виски приладит рясна. Косу – под шерстяной платок, который охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке, а то – под сетчатый повойник-«верховку».

А дальше – стёганную из холста, пропитанную для твёрдости конопляным маслом или молочной сывороткой кичу (кичку-«роги»). Обращённый рогами вверх месяц – древнейший символ женского рода, вспомним неолитических «венер», рогатую египетскую богиню Исиду. Кроме того, по мнению предков, рога обладали огромной оберегающей силой. Женщине, особенно молодой матери, это жизненно необходимо. Исстари у нас ведётся обычай: недавно родившая, выходя из дому за ворота, выставляет впереди себя рогач, ухват. Упоминается об этом головном уборе и в свадебной песне-плаче:

*...Больно страшно показалось,
Ужасно да приглянулося:
На мосту-то на калиновом
Сидит старая кика, шитая...
...Отгоните вы кичу белую
Со пути, со дороженьки!*

Можно принарядиться и в крылатую «сороку». (Головной бабий убор, из того же рода, что и кичка: волосы стягиваются сдержихой на затылке, и «сорока» прикрепляется сзади крыльями, лопастями; иногда спереди размещается ещё и жемчужная подвязь). Поверх «сороки» – снизанный из бисера «позатылень». Сказать, что нагромождение это очень красиво, было бы сомнительно, но то, что это самый богатый убор – уж наверняка.

А коли сама себе в этом уборе бабонька не глянется, коли Пасха, Престол день или ещё какой большой праздник на пороге, так про тот случай и кокошник имеется. Каждый раз, бывая в Русском музее Санкт-Петербурга, надолго задерживаюсь у коллекции русского бисера XVIII–XIX веков, в которой особо выделяются несколько чудных головных уборов орловских крестьянок. Среди них – великолепные, шитые бисером кокошники – народный головной убор русских женщин, в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Следует заметить, что сам по себе кокошник не прикрывал волос, он был лишь украшением на основном головном уборе.

Незамужней девушкой, в златокудрые денёчки, позволяла матушка моего прапрадеда лишь частично прикрывать волосы, оставляя непокрытой макушку. Подвяжет, бывало, полотенце – и на работы в поле, по двору.

Имелось у неё что и понарядней – налобень, золотуха. Маленькой девочкой носила она на лбу простые матерчатые тесёмки. Налобень – годков с семи и по самое венчание. Каждый год в подарочек к Роштву мастерил для неё батюшка из твёрдого луба (из липы) новый обруч (по головке). А уж потом старалась она сама: обшивала поверху холстом, крашенным в небесный – под глазки. По полю налобня – переплетение нитей зелёного, жёлтого, красного и голубого бисера. Иногда с боков, над висками, прилаживала висюльки – металлические погремушки, а не окажись они под рукой, так можно и пушистые, крашеной шерсти шарики привесить. В её девичьем ларчике или лубочном сундучке можно сыскать и золотуху, да не одну. На самом деле это – тоже налобник, только мягкий. Спереди расшивался он бисером, а с боков – ленты или шнуры, завязывающиеся сзади головы. Спереди прилаживала бахрому, что каждый раз привозил ей батюшка на Покров с Кромской ярмарки.

*...Да пошёл он по торгам да по лавицам,
Да он купил ей башмачки зелен сафьян,
Да купил ей чулочки одинцового сукна,
Да одинцового сукна да холмогорского шитья,*

*Да он купил ей атласу и бархату,
Да он купил ей серёжки во чудны уши,
Да он купил ей ожерелье на белую шею,
Да он купил ей повязку на буйну голову...*

Полотенце, которым повязывали голову, выбиралось длиннее обычного, для умывания. Это льняная полоса, обматывающая голову наподобие чалмы. Но совсем не так, как делали это на востоке. Полотенце сворачивалось в четыре ряда вдоль и укладывалось на лоб так, что концы шли назад, где переплетались и потом – опять вперёд, здесь концы закладывались так, что затканые части попадали вперёд и по бокам. Так повязывали голову вятчанки с самой древней древности, когда волосы ещё в косы не убирала. А как начали плести косы, то и придумали украшения для них: косник да нанку. Первое украшение – жёсткое, второе же – кусочек грубой ткани, расшитой бисером. Можно, конечно, косу и жемчугом унизать, да где его крестьянской девке взять-то было? И во сне не пригрезится.

Девушкой, как невестилась, в годики невозвратные, когда на сердце распускались одни сирени да черёмухи, слыбла она пригожей. Скольким морочила голову своею любовью, сколько парней из Кирово Городища, из Игино за нею увивалось, на кулаки сходилось! Бывало, на летний Сергов день набелится, нарумянится, выйдет за ворота, разряженная – рубашечка тамбурная, серьги в ушках крупнющие – по полфунта, сядет на лавочку, станет конопельки полуживать, а парни туда-сюда вдоль по улице с гармоней, туда-сюда похаживают, шутками её подзадоривают, сущая казнь!

А вот слюбилась до чистых слёз с Андрияшкой... Как покатились Святки, хоть и в холщовом платье, в шубёнке ношенной-переносной, а плеснула лён-синева глазищами, так и приворожила, так и скосила парня своею золотою косой. Матьерь Пречистая! И где взяла только девка такие ниточки, чтобы крепко-накрепко ими парня привязать. Съезжали на салазках на Маслену с Мишкина бугра, душа у парня к ней так и льнула, во все глаза на её сусальную красоту смотрел, всё подсолнушками да семечками гарбузными угощал, в ладошку подсыпал.

Пойдёт, бывало, девка к проруби на Кромю, бельё полоскать, или под Поповку на родник с ведёрками да коромыслом, а он – тут как тут. Возьмёт ли грабли, кубан с окрошкой да в Плоцкую лощину покосы ворошить, и там – Андрияша. И всё тратится ухажер, всё норовит с каким-никаким, хоть пустяшным, а подарочком. То

пряников печатных, то «конфектов» преподнесет. То с гребнем кленовым, а то и с серёжками, с колечком припожалует.

Ну, долго ли, коротко ли, а всё ж таки вышел срок и сплелась их судеб вязь, и закрутилось жизни колесо... А там подступило и буднее прозрение.

Главное замужней («мужатой») – волосы убрать, спрятать, под косынку ли, подшалок или повойник – без разницы. А чтобы волосы оставались покрытыми существовала даже специальная молитва: «Пресвятая Богородица, покрой головушку красным платочком, златым подзатыльничком». Жених накидывал своей избраннице на голову покрывало и делался таким образом её мужем и господином.

По стародавним поверьям человеческий волос обладает мощнейшей магической силой. Отдадут девку замуж, станет она жить во чужой семье. И чтобы не накликал несчастье на мужниных родичей, не имела она права до самой своей кончины «опростоволоситься» – показаться на людях с простой, непокрытой головой (если не колдунья). Как и не могла не подпоясаться, не смела быть «распоясанной» – распушенной.

Наряжаясь, не забудет бабонька и рябиновую «ожерелку». Покопавшись в резной шкатулке, вынет и пару бус, и доставшийся ещё от бабки гайтан.

Для младенчика наготовила она рубашонок, сработанных из самого тонкого, знатно выбеленного домотканого полотна. Чтобы уберечь дитя «от сглаза», на вороте, защищающем шею, на подоле, касающемся ножек малыша, а главное – на рукавах (руками в будущем ему и пахать, и лес валить, и строить, и косить), вышила молодая мати древние солярные символы, свастики. Оберегам этим испокон веку на Руси приписывалось обладание магическими силами. Красуются они и на её, и на мужниной рубахах.

Приготовила мамушка для дитятка и медные подвески-бубенчики. Такие штучки чаще всего располагались у пояса, иногда – по несколько штук слева и справа. Привешивали их на длинную нитку, ремешок или шнурок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. Бубенчик, знала каждая девчонка с младенческих лет, отпугивает всякую нечисть. К тому же помогает приглядеть за ребёнком.

Не упустила, приготовила бабонька и для крёстных подарочки (сама расстаралась, ночами не спала: «Ну как не по душе придутся?») – полотенца, расшитые новомодным «списом». Шитьё это появилось

в нашей губернии в XVIII веке в среде крепостных крестьян. Схемы рисунков «списа» облачены причудливо стилизованным животнорастительным орнаментом.

Развернёт молодка рушники: на одном – древо жизни, на другом – птица-пава. Цвета сочные – красный да синий, но всё больше красного. Только дорогим людям в подарок. Сегодня – крёстным сына новорожденного. С глубоким духовным смыслом, который и сердцем не объять, видимым только внутренним зрением, рушники-подарёнки: красный – цвет жизни, синий – цвет неба и воды, тех начал, что поддерживают жизнь.

Ненапрасно не спала пращурка моя ни долгими зимними, ни пугливыми (только смерклось и тут же рассвет) летними ночами, – клала поклоны перед божничкою; урывками, в короткие передышки меж тягловыми работами вышивала обереги на рубахах домочадцев, на рушниках, скатертях и наволочках.

Прапрадед мой Андриан – из малых мира сего. Сын крепостного крестьянина, холоп генерал-майора Зиновьева, работал, как вол, премного хлебнул горяшка на своём веку, но не раз выручали его матушкины православные молитвы да старорусские, слаженные родительской любовью, обереги.

Мужчины рода моего невысоки ростом, но сильны и крепки, коренасты, «кряжисты», как говорят в нашей местности. Помилуйте, как не быть прапрадеду Андриану сильным? Крестьянин с малых годков при земле, а она хилых да слабых не любит. Спозаранку впрягайся Андриан в ярмо: на барина паши-коси, свой клочишко (коли посчастливилось иметь) тоже ухода просит. Деток – куча мала, попробуй сдюжить!

Вот опять с чердака притащили старую колыбель – баба довесочек, мальчонку, принесла, Иваном нарекли.

**ТЕБЕ СТЕРПИТСЯ,
ТЕБЕ СЛЮБИТСЯ**





концу XIX века самым обездоленным и наиболее нуждавшимся являлся разряд крестьян собственников, бывших крепостных.

Дед отца моего, мой прадед Иван, родился около 1870 года, вскорости после отмены Крепостного права. Не сложно нарисовать и его портрет. Может, с него писал своего героя Иван Сергеевич Тургенев? Ведь таких, как прадед, на Орловщине в ту пору были тыщи и тыщи: «Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избёнках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти...».

Прадеду Ивану с ранних лет пришлось осваивать нехитрые, но тяжкие премудрости крестьянского быта. Ведь лет с пяти-шести он, как и его друзья, соседские мальчишки, становился «добытчиком». Тятка отдавал его в найм, в подпаски: «Нечего в захребетниках сидеть, пора и на прокорм учиться зарабатывать!»

*...Уж ты милое моё дитяtko!
Золотой казны у нас нет с тобой.
Ты терпи, горя не сказывай:
Тебе стерпится, тебе слюбится...*

Годов с десяти, помогая отцу на пахоте, парнишка всюю уже управлялся с конём, боронил, скородил. С двенадцати же лет крестьянский сын приучался пахать самостоятельно: «Я ли не мужик?» А к пятнадцати – кулачищи, что яровые кочаны, – наравне с батюшкой мог идти за сохой, орудовать топором, плечо к плечу управляться на скирдовке, выполнять все мужицкие работы (деревенские дети и поныне взрослеют рано).

Родись он девчонкой, с шести годов – тяпку в руки – и в огород, а не то – в няньки. Ни одна девочка той поры ещё не минула прялки, с одиннадцати лет познавала она бабкины премудрости. Более тонкому мастерству – шитью и вышивке – обучали на тринадцатом году. А в четырнадцать молодая девушка-подросток ткала, отбеливала и вымачивала холсты, как и взрослая деревенская баба.

Кроме того, перед замужеством должна она успеть выучиться печь хлеба, доить корову, управляться с граблями-вилами на покосе, не отставать от матери с серпом на жатве. Хлопот – невпроворот, если учесть, что вся «малкосня», братья и сёстры – на ней. Так и возрастали крестьянские дети под приглядкой старших, называя их «нянечками». А куда ж деваться-то? Мамке с батяней недосуг – день-деньской бьются за кусок хлеба, напрочь привязаны к земле, не отпускает она их даже во снах.

Как ни прикинь, навряд ли Иван, сын Андрияна (крепостного помещика Зиновьева), смог посещать земскую школу, открывшуюся в 1885 году в селе Кирово Городище. Заглянуть хотя бы в отчёт Кромской уездной управы за 1895-1896 годы. Как раз в те годы в уездных земских школах Орловщины обучалось 3425 мальчиков и 542 девочки. Однако окончили курс и получили свидетельство только 228 человек. (На более чем два миллиона жителей всей губернии приходилось в ту пору лишь 324 учителей и 210 учительниц! К слову сказать, не лучшее положение дел было и в медицине: всего 66 больниц и 23 аптеки).

Большинство населения Кромского уезда занималось исключительно земледелием. В конце XIX века в местах наших насчитывалось восемь тысяч крестьянских хозяйств.

Но что это были за хозяйства?! Достатка – с гулькин носик! Да и откуда достаток, если пожня, как и в стародавние времена (сгореть со стыда!), обрабатывалась первобытными сохами и боронами, восьмирублёвыми конягами? А чтобы в хлеву новорожденными ягнятами, или телком пахло – редкая редкость.

На всю Кировскую волость, созданную не ранее марта 1861 года и не позднее 1890 года, в ту пору насчитывалось всего-ничего – три конные молотилки, так называемые «рязанки», и три веялки. А потому хлеб молотили прадедовским способом – цепями.

Шмыгнет мужик на двор за полночь, будто бы курнуть, а сам всё присматривается: если на рожок месяца можно повесить ведро с водой, значит, – к вёдру: «Слава тебе, Господи! Успеет хлебушко собрать!», а коли нет – к дождю: «Ну, теперя пиши пропало!»

Мужицкий день тяжек, прост и однообразен: летом, к примеру, с самой ранней рани, часов с четырёх и до девяти часов утра крестьянин не выпускает из рук косы. Позавтракав, перекусив, чем Бог пошлёт, продолжает махать то косой, то граблями до обеда, часов до двенадцати. Передохнув, пообедав принесённой в узелке сыном ли, дочкой ли тюрей, окрошкой, снова вынет картуз из кармана, расправит на коленке и принимается ворошить, копнить покос.

Сядет к вечеру на завалинку: «Ухлопался в доску!», да и сморит его – не до ужина. А спать-то разве ж есть когда? Домашние хлопоты: заготовка ли дров, починка-подлатка избёнки, изгороди, сараюшки, а грабли-лопатки наладить? А телеги, сани? А лари, столы-лавки справить? На всё про всё у мужика – ночь.

Жена его тоже спозаранку в поле – жнёт на своей делянке рожь. Всё-то вздыхает, всё-то сердечушко щемит: «Детвора – без присмотра! Скотинка – без пригляду!»

Особую роль в жизни крестьянства играл праздник Преполовения, во время которого крепко-накрепко свивались, словно луговые травы в купальском венке, православные обряды и языческие ритуалы.

Праздник этот – переходящий, отмечается он через двадцать пять дней после Пасхи. Не приступая дедовых обычаев, на Преполовение торопился наш мужичок в церкву – осветить водицу. Считалось, что свойства её ничем не отличались от Крещенской. И себе здоровье поправить сгодится, и скотинку подлечить. А на земле, верили наши предки, без водицы этой, преполовенской, как без рук – урожая можно и вовсе не дожидаться.

Запасётся хозяин водичкой и хранит обязательно в тёмном, прохладном чулане, погребе или подвале, в стеклянном бутульке, на котором наклеена (Боже упаси не соблюсти!) молитва «Отче наш».

А как срок подступит, пороется мужичок в закутке, плеснёт из бутылки, сколь надобно в ведёрко (обычно – стакана три), размешает водичку под шёпот заговора ивовым прутиком и поливает гряды, не поленясь повторять знакомый каждому землеробу с младых годков заговор:

«Водица Божья землю поливает, мои кустики, деревца питает, силой и здоровьем наделяет. Цветы распускаются, плоды соком наливаются, деревья вширь и ввысь растут, беды на мою землю не пройдут. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Крестьянин всегда был подвержен различным суевериям. К примеру, землю как наивысшую свою ценность, старался он оберечь и защитить от колдовства и сглаза. Преполовенская вода использовалась и для таких ритуалов.

Смotaется мужик в ближний соснячок Хильмечки, наломает лапника. Сложит его на огороде крест-накрест, сверху – ведёрко с водой. Добавит в то ведро преполовенской водицы. Снимет с груди свой нательный крестик, окунёт его трижды в ведёрко, приговаривая: «Боже, спаси! Боже, сохрани! От глаз злых скрой! Боже, своим крылом покрой каждый корешок, каждый стебелёк, каждый плод-цветок, каждый сучок, каждый листок. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Но хоть и исхитрялся мужик: и сеял, и жал по дедовским приметам, – одолевали недороды. Бедные кировские и игинские крестьяне, а с ними и прадед мой Иван, хоть и «ставили иконы с образы на два лика в углах... как на крылосе», хоть и погоняли жизнь кнутом, по-прежнему кое-как сводили концы с концами. Зачастую на столе – решётный хлеб – не чистый, из муки с мякиною, от которого день напролёт кишка кишке песни поёт.

Не ведали, как на загнетке яичница шкворчит, а чтоб «хунтик, другой ветчинки» или, к осенскому Престолу, Сергову дню, как склонет гусик первого ледку, холодчику птичьего – о том и во снах не снилось. Эх, завей горе верёвочкой – хоть на паперть подавайся! Да что беды перебирать? У нас про то так толкуют: сколько насчитаешь, столько и накликаешь.

Мало того, что чугунки пусты, так ещё мужики-то наши, за редким исключением, придерживались православной веры, а значит, блюли посты, и разговлялись только по великим праздникам.

Испокон веку крестьянская еда хоть в Кирово, хоть в Игино отличалась простотой – заглавным на столе моих земляков всегда было «варево»: похлёбки. По скоромным дням кушанья заправлялись свиным салом или «затолокой» (внутренним свиным жиром), по постным – конопляным маслом. Обычная пища для поста, к примеру, Петровского – «мура» или тюря из хлеба, воды и масла. Большим подспорьем, приварком, были набранные ребятишками «на гулянках», в лесу грибы, ягоды, щавель. Для «скусу» – хрен, укроп да чеснок.

Молоко, коровье масло, творог, мясо Господь посылал на крестьянский стол в редкостные дни – на свадьбах, при разговении, в престольные праздники.

Особо-то не шиковали, не разносольничали и в праздники. Еду лишь лучше приправляли – «варево» готовили с мясом, а кашу – на молоке. Даже обычная на сегодняшний день жареная картошка была праздничным блюдом, жарили её со свининой. И случалось это тоже по великим праздникам, в мясоед, особенно в холодное время года – на Покров, Зимнего Николу, Рождество, а то и на Святочной неделе. На Крещенье, Сретенье варили холодец из свиных ног, из птичьих потрохов. (Считай, и «Хрищенья» не отгулял, коли косарецкого не заломал!) Вволю же мясо ел бедный мужик лишь на Загвены, на Покров.

Даже в моём детстве скажет, бывало, дедушка: «Крестьянин завсегда кормится от трудов своих». А уж во времена прадеда хозяйство мужицкое, в основном, было натуральное, как говорится: «Что потопаешь, то и полопаешь». И потому под рукой у стряпухи – лишь огородная да полевая снедь. Привозное – в редкую стёжку. Замотанной оравой ребятишек, работой по двору, бабе нашенской не до разносолов, поэтому, как правило, кормились крестьяне изо дня в день всё теми же «щтями» да кашей. Дай Бог, хоть этого в чугунах вдосталь!

Морковь и свёклу-то почти не выращивали, потому и заглавными овощами на крестьянском столе были, и гадать не приходится, – капуста, лук. Огурцы появились лишь после

Гражданской войны, а помидоры – и того позднее – перед Второй Мировой. Правда, не переводились у нас с прадедовских времён чечевица, горох и фасоль.

А как же картошка, без которой сегодня мы и стола не мыслим? Хотя во второй половине XIX века мужик наш к ней и начал привыкать – всё чаще сеял её на своих наделах, но пока она ещё не вошла в число важнейших культур и до 1860 года приживалась «туго». А ведь завезена-то в Россию была ещё при Петре I! Под «картохи» отводилось всего ничего – полтора процента посевной площади. И всё же – благодаря распространению картофеля, урожайного и простого в выращивании, многие крестьяне были спасены от голодной смерти.

Уходили в прошлое традиционные для нашей кухни морсы, взбитни и взвары. Но всё ещё, как в былые века, раз в неделю бабы «налаживали» квас. А и то верно! Без него никуда: ни на сев, ни на косовицу. Правда, с тех пор как объявился в наших краях новомодный напиток – чай, самовар поныне хозяйствует на русском столе. Раньше-то в деревнях чаепитие и вовсе не водилось, и слышать о нём не слыхивали, и знать не знали, а кто и употреблял чай, так только лишь во время болезни, и заваривали его не совсем обычным для этого напитка способом. Помню, рассказывали старики: мол, про чай держали в доме отдельный глиняный горшок. В него насыпали заварку, заливали водой и томили в печи, словно обычные травяные узвары.

В деревне, что всегда кормила Русь, хлебушка на душу приходилось в ту пору три фунта на день. В основном, конечно, выпекали ржаной, ведь испокон веков русский человек почитал чёрный хлеб не как-нибудь – родным братом! Пшеничный хлебушко был редкой редкостью, пшеничная мука никогда не встречалась в обиходе крестьянина, разве лишь в привозимых из города гостинцах, в виде булок. Так и велось: белый хлеб – для белого тела. Печатные пряники и калачи считались лакомством. Дети заказывали батюшке как подарок привезти их с ярмарки.

Блины в деревне нашей, сколько помню, – обыденное, повседневное печево. Так век уж какой? А тогда, при жизни моего прадеда, пироги и блины заводились лишь по великим праздникам. Да и стряпали их из чёрной ржаной непресеянной муки с горохом.

Толпами ходили по селу нищие, стучались в окна и просили хлеба «Христа ради». И не было от них прохода. Теперь и не вспомнить о лютых хворях – тифе и цинге. А в ту пору люто свирепствовали они у нас из-за голода. Поэтому-то даже в самом благополучном 1913 году средняя продолжительность жизни в

России составляла тридцать с половиной годков! А с чего бы она была долгой да счастливой, коли среднее количество хлеба на душу составляло в России четвёртую или пятую часть того, что в других странах признавалось необходимым для обычного существования.

Не прочтя молитвы, за стол в прадедовскую пору не садились. «Ай, нехристи, басурманы какие?» Не настырничали, раньше хозяина к обеду никто не приступал и руки не протягивал. Кто ж захочет от деда ложкой по лбу схватить?

Хозяин кроил хлеб (только название, что «хлеб», испечён-то из лебеды да синовой коры!), подавалась для всех домочадцев одна большая чашка пустого варева, сдобренного конопляным соком, даже маслице постное не шибко водилось. Кому не очень сытно, можно поткать в соль свёрнутым пучком лука. После обеда, испив квасу-сыровцу, также читали молитву. Встал из-за стола, а есть всё одно хочется, словно и за ложку не брался...

Из последних сил держали коровёнку. Чем ещё детушек поднять, как ни молоком? А коли в хозяйстве водилась какая-никакая лошадка, считалось, что мужик более-менее стоит на ногах, и прозывался он тогда «маломощным». Те же, кому посчастливилось владеть двумя лошадыми, – уж и «средняки»; а коли три, четыре и более, что было чрезвычайно редко, – «состоятельные». Ясное дело, кто не имел лошади вовсе, считался бедняком. По данным военно-конской переписи за 1899–1901 годы число безлошадных дворов составляло в Орловской губернии двадцать девять процентов.

Рабочий и рогатый скот в большинстве случаев был очень плох – «худ, изнеможён работой и бескормицей». Отправится мужичок на своё скудное подворье задать корму, обрядить изревевшую скотину, и хоть самому плачь: сено давным-давно подъелось, хоботья на исходе, а чтоб подсыпки какой – об этом и речи нет. И в сусеках – охалка ржаной да охалка яровой соломы. Никак до новолетья не дотянуть! Ну, так «видючи беду неминучую, не заткнёшь дыры онучею». Кручинься, не кручинься, а чтобы избежать падежа, чтобы не кормить во время зимних и весенних месяцев, спешили хозяева крупный скот по окончании полевых работ сбить прасолам (скупщикам). Куда деваться, коли выхода другого не оставалось?

Двери по тому времени, отлучаясь, подпирали палочкой. Что брать-то?

А время, как бы прижимисто оно не относилось к крестьянину, ползло ли на разбитой прадедовской телеге всё по тем же, укатанным веками просёлкам, шло ли с залатанной котомкой, всё же двигалось вперёд и вперёд!

И в эти годы в крестьянской одежде наряду с архаическими традиционными чертами стали отражаться новые веяния, характерные для периода зарождения капитализма. Как подтверждение хозяйственного благополучия, семейный достаток надо было «казать» не только по большим праздникам, но и в повседневном быту. Крестьянин всегда помнил древнюю поговорку «Встречают по одежке».

Деревенское платье по-прежнему всё ещё домотканое, по будням мужики ещё носят посконное бельё, всё ту же длинную рубаху с косым воротом, порты, но зажиточные уже могут себе позволить покупать для праздников фабричные ткани. Постепенно шёлк и сатин начали заменять домотканое сукно, «самотканки вытеснялись ситцем. Зипуны и кафтаны – кофтами и пиджаками».


Женщины (во все времена) более тщательно следят за модой. Девушки и бабы к концу XIX века охотно одеваются наряду с понёвой в сарафаны и «юпки» с приталенными кофточками, в «польты». На дно сундуков постепенно переходят кички и кокошники, заменяясь платками и подшалками, повязанными на всевозможный интересный манер, или просто накинутыми на плечи (деревенские красавицы ходили с непокрытой головой). Возникают новые приёмы (более изысканные) в ткачестве.

По великим дням можно было увидеть кировскую бабу в лёгких полсапожках, а мужика в тяжёлых, собранных в гармошку, широких сапогах, хотя лапти и онучи остаются ещё самой распространённой «обуткой». Бабы наши любили наряжаться не только в праздники. На более чистые работы (например, на сенокос) выходили в одежде, украшенной вышивками, лентами, на головах – яркие цветастые платки.

Обычай этот сохранился и в наши дни. Выйдешь, бывало, в покосы, залобуешься пёстрыми бабьими платками да цветастыми сарафанами, на сердце – светло и радостно, словно не буден день, а самый что ни на есть деревенский праздник.

ПРОМЫСЛОВЫЙ ЛЮД



«♦♦♦  русский народ до тех пор велик, терпелив, могуч, до тех пор держит на своих плечах вся и все, покуда царит над ним власть земли, пока живёт в его сознании невозможность послушания её повелений... Уберите эту власть... и нет уже того великого, терпеливого, могучего народа... наступает страшное «иди, куда хошь...» – понимая, что значит для мужика его просолённый потом надел, писал в своё время великий знаток русского крестьянства Глеб Иванович Успенский. Попробуй придумать иную формулу существования русского народа!

Скорее всего, прадед мой Иван не имел вовсе, а если и имел, то самый малый клочок земли. Несколькими веками раньше его назвали бы смердом, потом – крепостным крестьянином.

При выходе на волю крестьяне Орловской губернии получили значительно меньше земли, чем в среднем по России. Как прокормиться с такого крохотного надела? Конечно, мужик кидался на поиски заработка. С годами занятие крестьян губернии тем или иным промыслом вошло в традицию.

И безземельный прадед мой владел ремеслом, да не одним, ведь именно такие обездоленные, за неимением наделной земли, чтобы вовсе не сгинуть, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, принуждены были волей-неволей прибегать к посторонним занятиям, к ремесленничеству. Причём одна часть ремесленников работала на месте, а другая уходила в отход, за пределы края. Даже Орловская земская управа признавала, что на 1876 год «хозяйство большинства крестьян стоит на такой ступени экономического развития, что без постороннего заработка довольно одного плохого урожая, чтоб разорить крестьянина».

Местными промыслами на 1888 год в Кромском уезде занималось 2160 мужчин и 120 женщин. Но когда в 1891–1892 неурожайных годах случился жесточайший голод (хоть администрация и земство затратило на борьбу с ним 3 990 157 рублей), резко усилилось отходничество.

Из имения барыни Соковниковой, которая в ту пору владела селом Кирово Городище вместе с деревушкой Игино, вывозили в Орёл на Казанскую бочонками огородную засолку, рыжики-маслята с барской грибоварни, и безземельные мужики, кто порукастей (на весь уезд – семьдесят душ), наловчились бондарничать. Дело это не шибко хитрое – услада для рук и сердца. Мало-помалу поднаторел в

нём и прадед Иван. Бочки-пятиведерницы, бочонки поменьше, кадушки, ушаты, колодезные вёдра мог сладить сын Андрияхи любой ёмкости, слыл мастером наипервейшим, мог любой «посуд» сработать с закрытыми глазами. Делом этим и дышал, на него и жизнь извёл.

Был у него, как и у любого мал-малецки хорошего мастера, и свой секретец (ведь как известно: во всяком деле споровка надобна, да не помешала бы ещё и своя живинка). Ведь, как не крути, а дороже всего, чем украшается наша жизнь, есть только природный талант, живущий в простом русском мужике.

Знал, говорят, Иван травку бондарскую. Растёт она, широколистая, и по сей день привольнёхонько по берегам Кромы. Коли где какая трещинка ненароком в кадушке обнаружится, заложит мастер травку в ту-то трещинку, ссохнутя доски, как миленькие, и изъяна – как не бывало. К тому же, сказывают, бочки, кадки с прокладочкой таковской вовек гниению не поддаются.

«Посудом» занимался прадед с первопутка по самый Великопостный звон. Иногда уходил бондарничать в большие города: Севастополь, Одессу, Киев, Екатеринославль, бывал и в соседних городах Орловской губернии. А ещё подвязывался прадед в плотничьем деле, старался в артели, как и многие другие безземельные крестьяне Кировской волости Кромского уезда, как и мужики из других краёв крестьяне тысячами рассыпались по городам и весям России.

«На работы» уходили жаворонковой весной, в первую неделю Великого поста, как залысеют, вытают пригорки. И возвращались домой, к семье, к бондарству, как допылхает за порогом осень, с белыми мухами, за полчаса до зимы. Если подфартит, принесёт Иван жене да малышне своей до пятидесяти-ста рублей, а коли не повезёт – лишь рубликов двадцать пять.

Местность наша украшена великолепными древними валунами, особенно берега игинского ручья Жёлтого, берущего начало в тальниках урочища с красноречивым названием Закамни, что у Поганой Кулиги. В переводе со старорусского кулига – «отдельная пашня, не вошедшая в общий надел». «Поганая» пашня не потому ли, что на ней много камней, не позволяющих её пахать? Не земля, а сплошная каторга.

В бассейне Кромы выступают нижележащие юрские синие глины, с железной рудой – сферосидеритом, здесь же, около Кирово Городища, – ломки жернового песчаника (об этом упоминается даже в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона).

Ещё в крепостную пору крестьяне брали на откуп земли у помещиков и, оснастившись, осенив крестами простор, добывали тот самый жерновой камень. Поладят мужички миром, сколотят артель в два-три человека и за сезон смогут добыть и выделать по десять штук жерновов на душу (что при тогдашнем спросе давало значительный заработок).

Прадеду моему, имевшему немалую семью, отдыхать от трудов праведных не посчастливилось. По указке Бога ли, сам ли по себе упорствовал, – характер невиданный! Суровый труд обнажает человеческую душу до самых её глубин. Приученный к тому, что хлеб слаще нажитый трудом, работал Иван, как чёрт, до кровавых кругов в глазах, до души его изношенной навыворот, ссохся от работы. И коли дела шли не ахти, коли не случалось ему, к примеру, вписаться в плотницкую артель, устраивался и он в жерновой промысел.

Для добывания камня (ранней весной) мужики тоже гуртовались. Работа по копанию делилась на два периода: с Пасхи до Петра и Павла (два месяца), затем с Успения до остывшего листопада, до первого снега (ещё два с половиной месяца).

Камень отыскивали по-простецки, при помощи железных прутьев. Лежал этот лакомый кусочек на три-четыре аршина под землёй, нередко приходилось «покорячиться» – сверху разламывать целый слой негодного камня, кроме того, ямы постоянно наполнялись водой, и её приходилось ежедневно вычёрпывать.

Когда, наконец-таки, докапывались до заветного клада, то делали приспособления, чтобы вытащить его. Хоть и дело нехитрое, но труд – невероятный, не на ложках играть, не мух давить, если принять во внимание вес камня, достигающий иногда до пяти тысяч пудов.

Ну а, не дай Бог, «сорвёт» мужик спину, на тот случай в каждый век на деревне своя колдучиха имеется. В полночь пошепчет она над мужичком, поприговаривает, глядишь – как новенький: «Как-то шёл святой Пантелеймон-целитель, шёл-шёл и до Иванова порога дошёл. Увидал Пантелеймон раба Божьего Ивана в нездравии, загрустил-закручинился и к Господу с просьбой обратился о здравии раба Божьего Ивана. И внял Господь той просьбе и изгнал прочь болезнь-

хворобу – на веки вечные! И возрадовался Пантелеймон! Аминь, аминь, аминь!»

Пока сила в жилах прадеда ещё была – не обсевок какой, – не гнушался он тяжёлого ремесла. Но жизнь вращала свои жернова. Зёрна бытия, как водится, – каляные, но и они перемальваются в пыль времён. Поистерлась Иванова силёнка, дала осечку, и пришлось ему освоить портняжное дело.

Портняжным ремеслом занимались в нескольких общинах Кировской волости. Из села Кирова, например, ходило по уезду почти поголовно всё мужское население. (Видать, с тех времён и велось – мужчины в моём роду по материнской линии строчили на машинке не хуже любой мастеровитой швеи). За зиму зарабатывали по десять-двадцать рублей на каждого, шили на совесть свиты и поддёвки (кафтаны). За свиту брали пятьдесят копеек, шили её за один рабочий день. Поддёвка стоила от восьмидесяти копеек до одного рубля, а трудились над ней два дня. Работали почти всегда на хозяйских харчах. В сухомятку-то сколь напортняжишь?

Кустарным промыслом занимались у нас и бабы: вышивали, пряли, ткали, вязали. Ремёсла эти не требовали длительных отлучек от детей, от дома, и крестьянки рукодельничали в свободное время от хлопот по хозяйству и полевых дел. А когда у крестьянки свободное время? Только ночью. Вот и пряли-вышивали бабы до свету. (Особенным спросом пользовались вышивки «орловским списом»).

В 1890-тые годы средний доход вышивальщицы колебался от двадцати до тридцати рублей. Конечно, рушники, наволочки, скатерти, шторы, салфетки и подзоры кировских и игинских баб стоили куда дороже, но сдавая своё рукоделие перекупщикам, которые в свою очередь призраивали товар в лавки и магазины, землячки мои проигрывали в цене, зато они не отрывались от дома.

Каждая семья – своя история, свой промысел. К примеру, проживал у нас в Игино кожемяка Чичинёв Дмитрий Андриянович. Дело своё знал – с закрытыми глазами любую кожу вырабатывал. Кустарничал не один год. Станок и всё остальное прочее, как полагается, имел, ещё прадедов. Так, если дело своё любить, инструмент беречь, он и внукам сгодится. Вся округа в шубниках, пошитых из Дмитриванычем выделанных шкур, разгуливала, грелась да «спасибочки» мастеру говорила.

Проживало наше село и хлопот не ведало – на «всяку дель» мастер свой имелся, далеко ходить не надо – что ни мужик, что ни сосед, то в каком-никаком своем деле да мастак.

Вот опять же – печное ремесло. Без печки и изба – не изба. Печник без работы, а значит, и без куска хлеба никогда не останется. Лучшими мастерами по печному делу слыл у нас, уж на моём веку, Иконников Александр Васильевич. Бабы с его печками и горя, бывало, не знали: «Не печки работал – игрушки!».

А то был у нас ещё один печник Блинов Григорий Иванович, а запросто, по-уличному – дед Русалим. Ох, и горазд же был на всяческие выдумки! Особенно, коли хозяева, у которых печку клал, не дай Бог, чем обидят. Ходят слухи о его баловской мести одному игинскому прижимистому мужичку.

По закону, печь и гореть не станет, коли её «не обмыть». Хозяйка яишню накокала, поллитру свекольной выставила. Пора поговорить о расчёте. Хозяин возьми деньжата да и зажми, одним словом, не додал, как сговаривались. Русалим и виду не показал.

Как собрался до дому, спохватился, мол, так и так – мастерок наверху позабыл. Забрался на крышу, а на дворе подобрал гусиное перо. Надсек у основания и воткнул его в трубу, в свежий раствор (обычно печники так шалят, чтобы прийти похмелиться).

Ушёл, значит, дед, а ночью поднялся ветер с дождём. Стоит вой в трубе, душу раздирает, глаз не сомкнуть, что ты будешь делать? Баба всю ночушку простояла на коленях перед образами: «Господи! Светом твоего сияния сохрани мя на утро, на день, на вечер, на сон грядущий, и силою благодати Твоя отврати и удали всякия злыя нечестия, действуемые по наущению диавола».

Утром пришёл хозяин за дедом Русалимом, куда ж деваться-то? Дед, душечка безотказная, как ни в чём не бывало, взобрался на крышу, незаметно вынул пёрышко, тут и делу венец. «Так уж и быть!» – расщедрился мужик, вынул из гаманка недостачу, поблагодарил лукавого печника.

А уж бортничеством в Кирово со времён вятичей занимались! И сейчас на слуху у моих земляков байки-побаски о великом знатоке пчелиного дела Каширине Викторе Андреевиче. Вот кто пчеловод – так пчеловод. Каждую свою полосатушку по счёту знал. Но, сказывают, водились в Кирово и до него замечательные бортники.

Жил да был на Кировской Облоге Леонов Афанасий Фёдорович, а по-уличному Лесаулин Афоня. Пасеку держал в сорок колод, прибыль имел, достаток. Завидовали ему, конечно... где такое не бывает? Вот и случилась однажды на его подворье беда. Но Афоня дело своё знает, не в пример каждому, вышел из неё, отделавшись лёгким испугом.

Запряг он как-то двух коней, собрался везти на Покровскую ярмарку в Кромы бочки, под завяз наполненные новолетним мёдом. Открывает подвал... что тут делать!.. бочки разбиты, мёд затопил подвал, растёкся по полу, не собрать (полы-то земляные!)

Недолго думая, сметливый бортник кинулся к колодам. Расставил во все сорок чистые рамки, и – к творилу, распахнул двери подвала. Как только проныры-пчёлы расчухали дармовой добыток, ручьём потекли в подвал. И заносились, и замелькали, кишмя закишели! Бабы пройти на Ломенку на дойку так и не смогли, куры-гуси от эдакой страсти попрятались в сарай, запряжённые кони рванули вдоль улицы, умчались в Крому, опомнились, посередь речки.

К вечеру в подвале не осталось и капельки мёда. За день труженицы перетаскали его в рамки. И через пару дней у Афони в саду снова зундела медогонка. А на двери в погреб объявились два громадных амбарных замка.

Днём с огнём не сыскать было в наших краях избы без прялки. Раньше-то самопряха слыла самым желанным подарком и вечной спутницей русской бабы. У прях и ткачих даже была своя покровительница – Харитина. Поклонялись и чтили её восемнадцатого октября. Так и надо думать – работы в поле схлынули, дни стали заметно короче, а ночи – длиннющие! Рукодельничай вволю!

Хоть и прядут в наш век на пряхах куда реже и стана ткацкого в деревнях уж давненько не сыскать, но по традиции всё ещё вспоминают старушки покровительницу деревенских мастериц. Вот и бабушка моя, помнится, в этот день, бывало, налаживая после летнего перерыва занимавший полгорницы ткацкий стан, приговаривала: «Пришли Харитины – первые холстины! Баба, смекать смекай, да за станок садись, холсты затыкай!»

Именно в этот день сговаривались бабы и собирались в чьей-нибудь попросторней избе на первые рукодельные засидки. А потом

– пошло-поехало! С Харитинино дня до самой Масленицы прядут, вяжут, вышивают, ткут, а чтобы не дремалось, чтоб работа была в радость, обязательно разговоры разговаривают, песни поют, побаски всякие-разные рассказывают... ну, конечно и перетрут-перемелют не одну кучу деревенских новостей, а проще – сплетен, не без этого!

А за Харитинами не за горами и холода. Кустарь-валяльщик тоже усаживался за работу, смекал: «Вот-вот застучат-забарабанят в ворота – притащат шерсть, придут за готовыми катанками». Хлопотная это работёнка – валенки валять. Так и стоят недёшево! Занашивали их – до дыр, хоть и задники кожицей подшивали, хоть и как зря не таскали – в былые времена чуни поверх натягивали, позже – галоши, ну, так всему срок приходит. Где уж бедняку всё семейство обуть? Хоть бы одни на весь двор прикупить. «Кто первый встал – того и валенки!» Так-то!

У нас ведь своими мастерами всегда хвастали: «От Жихарева до Кром (э-во-он какая округа!) испокон веку не было волнушечников лучше кировских мужиков!» А и правда: на Покровских ярмарках и в Дмитровске, и в Кромах только наши катанки и спрашивали.

Так и повелось: промысел этот передавался из рук в руки от деда к внуку, а от него – его внуку. А кустарей-волнушечников было в Кирово немало. Ещё и сейчас на слуху (а может, кто, заказав впрок, не стоптал и их валенки) Шурупкин Иван Николаевич, Лебедев Аркадий Егорович, Дрождин Харлампий Дмитриевич, Кудинов Иван Фёдорович.

Да и жив ещё в Кирово и сегодня этот замечательный, исконно русский, промысел. Несколько семей продолжают дело своих дедов. А и то верно! Для нашей глухой местности (зимой сугробов наметёт – ни проехать ни пройти!) – самая обутка, хоть – по двору, хоть – на охоту-рыбалку, хоть – в соседнее Гнездилово к куму на именины. Галошки подобул – день ходи, не озябнешь. А на ночь в печурку для просушки заткнул, и снова поутру в них прямо с печки прыгай, да хоть на босу ногу! Ни единого шовчика – не жмут, не «режут», не натирают, сидят удобственно-о!

А катанками валенки прозывают оттого, что их попросту катают из овечьей шерсти. Может, где и красят их в какой-нибудь радостный цвет (говорят, такие, к тому ж – мягонькие, катают из козьей шерсти), а у нас валенки как валенки – чёрные, белые или серые, безо всякого узорочья. Есть, конечно, у кировских валяльщиков секрет, есть... как не быть-то? Как и во всяком ином деле. Просты валенки, да

не совсем: сами-то кировские носят только чёрные, с начёсом из тонковолокнистой поярковой шерсти. И кличут их ласково – «чёсанки».

Есть в России традиционные ремёсла, которые приносят народу нашему и стране мировую славу. Изготовление валенок одним из таких промыслов и является. Как правило, ремёсла эти, секреты их, и способы изготовления, не подвержены влиянию времени. А затрат такое дело, всяк кустарь-валяльщик знает, требует не малых.

И всё-то руками, ими, сноровками! Сначала сформируют и обработают кипятком войлок, потом шерсть надобно сгуртовать в единую массу на столе, а там уж – и на колодку. А колодок этих у мастера – на все размеры! И совсем крохотные, «дитячьи», и фасонистые – для деревенских форсуних, и такие, чтоб портянки, носки-вязанки пододуть да в лес на целый день поехать, громадные, мужицкие.

Придёт покупатель, покрутит, повертит. Но не зря же сказывают: всякое дело мастера боится. Валяльщик к его приходу, как следует, сготовился. Знает, что стоящие валенки должны быть не каляными, упругими, и носиться дольше станут, и форму дольше держат. Не должны они быть ни тонкими, ни толстыми. Опытный покупатель «ни в жисть» не возьмёт катанки тютелька в тютельку. Ведь как ни берегись, а от сырости – какой деревенский не испытал? – обязательно в длину подсядут. Вот и прикидывай: выбирать нужно на размер-два побольше. А вот на правый и левый они вовсе не различаются, потопчешься в них с месяцок, глядишь, и разбирать станешь, где какой, «по стопе лягут».

По весне, конечно, обуви эту «таскать не след». От мокрого снега и грязи испортится. Подойдёт опять зима, в чём по сугробам-разметелям лазить? Снова – к волнушечнику? А он работу свою ценит, денежку запросит немалую!

На лето, «от шашала», нашмурыгают бабы полыни, засыплют её в валенки и в чулане, связав попарно, позабудут о них, подвесив на гвоздик. Правда, старики наши, помня, что лучшего средства, чем обувь эта, «от ревматизму-радикулиту» не сыскать, топчутся в них круглый год.

Существовали у нас испокон веку и отхожие промыслы, ведь ни за какие коврижки не сыскать русского мужика-домоседа, который не видел бы свету. Уходили наши мужики на заработки и того пуще – аж

на самый юг России. На сахарные и винокуренные заводы, каменноугольные шахты Харьковской и Киевской губерний, Новороссийского края.

*...Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых...*

Крестьяне Кировской волости конца XIX – начала XX века были прежде всего мужиками деловыми. Владели ремёслами, имели пусть небольшое, но своё дело. Дело это требовало определённых навыков, понимания природы. Судьба мужицкая требовала умения работать и плугом, и «промысловым» инструментом, быть сметливым и расчётливым – малейшая промашка – и пожня не принесла урожая, пала скотина, промысел не принёс дохода. Многовековой опыт подсказывал, что летом, как правило, надо «крестьянствовать на земле», а зимой – «промышлять».

КАК ДУША
ДА С БЕЛЫХ ГРУДЕЙ
ВЫХОДИЛА





самом конце XIX века прабабка моя Акулина, жена Ивана Андрияхина, родила сына Фрола, будущего моего деда. Видимо, как и многие другие крестьянки села Кирово Городище и деревушки Игино, выхаживая многочисленную детвору, работала она в экономии барыни Марии Николаевны Соковниковой в качестве домашней прислуги.

К этому времени у села насчитывалось уже несколько владельцев, кроме упомянутой барыни Соковниковой – и наследники графа Александра Васильевича Бобринского, и Владимир Демьянович Закржевский.

Всё бы ничего, да, успев обласкать мальчишку лишь граммулечкой тепла, не поставив Фролушку на ноги, упокоилась Акулина, покинув юдоль земную, отправившись, видать, бабочкой-лимонницей в сенокосы на Божьих лугах... Так распорядилась слепая судьбина её.

На старинном Кировском погосте, сразу справа от входа, где испокон веку хоронили мою родню, есть и могила моей прабабки. Только сыскать её уж нет никакой возможности.

*...Здесь кость на кости, среди них – мои предки.
Век с веком сплелись, перепутались ветки,
Замшели кресты, и сровнялись могилы
Деревни моей, моей родины милой.*

Погребальный обычай в наших местах за века почти не изменился. Во все времена он способствовал через сплочение в горе, преодоление несчастья, разделение потери усилению чувства близости со своей семьёй, родными. Похоронный обряд нёс идею исторической связи живых и мёртвых, непрерывности жизни и чередования поколений. Нигде в мире, кроме России, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре мировоззрением.

Не раз приходилось мне участвовать в похоронах моих земляков, поэтому могу в подробностях рассказать о трёх скорбных днях в доме прадеда Ивана Андрияновича.

Представляю, в каком отчаянии находился прадед мой, оставшийся с кучкой малолетней детворы на руках. Не зря же говорят: «На что корова? Была бы жена здорова!» Но, как бы ни одолевало его горе горькое, надо было превозмочь, унимая слёзы, по православному обычаю проводить жену в последний путь. Хотя и велико несчастье, а рядом не ляжешь. Скрепись и терпи.

...Рассовали голосящих ребятишек по людям. Подоспели кликнутые тихие безответные старушки, те, что в точности знают, что и как в этот скорбный час надобно исполнять. В хате зажгли лампадку и свечи, которым гореть, не гаснуть до самого выноса гроба. Выставили в сенцы склонившие головки цветики-гераньки. Лепестки их закапали, было, слёзками на замусоленный годовалым Фролкой подоконник.

Попричитали бабки, конечно, как о такой молодой не поголосить? Вскрикнули, взвыли и тут же захлопотали – время поджигает.

Перво-наперво надобно свершить омовение. Настелили они на полу ржаной соломы, поближе к порогу. Хлопотали споро – сколько покойников на своём веку обмыли – наловчились. Обмыли усопшую тёплой водой с мылом, трижды. При омовении читали беспрерывно, с очерёдностью, «Господи, помилуй» и «Трисвятое»: «Святы́й Боже, Святы́й Крепкий, Святы́й Бессмертный, помилуй нас!». А как закончили, принялись читать «Послесловие по исходе души от тела».

Воду бабки наказали вынести вылить подальше, не в сад, куда смотрят оконца, а на задворки, где никто не ходит, в отдалённое место, и посуду – выбросить или снести на перекрёсток дорог. Солому, всю, до сориночки, что под покойницей разостлали, собрали да прямо на подворье и спалили. А как же иначе-то? Ведь каждый знает: и вода, и посуда, и солома в себя силу мёртвую вобрали.

Подкошенный горем Иван всё никак не мог взять себя в руки, ходил туда-сюда по двору, прислушивался к доносящимся из хаты бабьим голосам.

Смерть не спрашивает дозволения, когда придти. Нет того человека, чтобы с горем не спознался. Застало оно врасплох и семью моего прадеда. Спихватились – во что бедняжку на встречу с Господом обрядать? Можно было б в венчалном, да год назад приглянулась дочка старшенькая барскому ключнику Стёпке (и всего годков – ничего, четьыринадцать под Семик только стукнуло), а

нагрянула сватьёй сама барыня Мария Николавна, как откажешь? И пошла девка – нераспушенный цвет, под венец в лучшем матушкином наряде (правда, чуток повозились – где ушили, где присборили).

Стариков у нас, как повелось издревле, одевают на смертном одре в тёмные одежды, девушек – в свадебное, а женщин – в светлое. И по сей день тот похоронный обряд остался у нас неизменным.

Слава Богу, село наше – рукодельное. Портные – в каждую вторую хату укажи пальцем – не ошибёшься. Сошлись бабоньки и миром справили соседке одёжу. На скорую руку, но аккуратную, чтоб не стыдно было в ней перед Господом предстать.

Одели покойницу, а с гробом, видно, дед Филька завозился – сколь раз на дорогу выбегали – не везут и не везут! Кинулись сразу, было, под сарай, а там – доски только осиновые. Разве ж можно для православной домовину-то из осиновых?

Встал убитый горем дед Иван на колени перед лавкой, на которой уложили на время покойницу – лицом к востоку, в руках иконка Божьей Матери, – уронил голову на грудь супружнице, и, обращаясь к ней, как к живой, вытирая рукавом слёзы, възрыдал бедолажный, не желая смириться с её уходом, о том, как дорога она ему была, вспомнил заботу-ласку её сердешную, всю их совместную «жистюшку недолгую».

Всё, о чём мечталось, что снилось и грезилось, разом оборвалось для него и не вернётся ни ныне, ни присно, ни вовеки веков, какие бы горькие откровения не вырывались из его груди, какие бы горячие слёзы не орошали лицо усопшей жены, какими мольбами бы он не молил её.

*Покидает меня, победную головушку,
Со стадушком солнце красное да со детинками,
Оставляет меня горюна горегорького,
На веки-то меня да вековечные!..*

Одурманенный болью и горем, кликал он жену свою разлюбленную проснуться, открыть глазоньки, взглянуть на него. Умолял её заговорить, простить ему все обидушки нечаянные: и знамые и незнамые, вопрошал-пытал рассказать, почему так рано

ушла, распокинула его с малыми детушками, почему не забрала вместе с собой во сыру земелюшку.

Казалось, молча голосили с ним по хозяйке стены, холодом веяло от печи. Кричи не кричи, мужик, воздевай руки к небу, но похороны, как ни крути, требуют печальной сосредоточенности. Подымайся, ступай в поместье, Иван. Смирив гордыню, кидайся в ноги, так, мол, и так, барыня-матушка, не серчай на рабу новопреставленную, прикажи ей гробок сосновый справить, сколь годков, с малых летушек, служила тебе верой и правдою.

...Прохора Тихонова спровадили на Зорюхе за гробом. Пока суд да дело, помаленьку принялись готовить смертную постель. Гроб ведь напоминает обычную постель. В нём есть и подушка, и покрывало. И «домовиной» его называют, потому что считают его домом, последним и вечным, для усопшего. Погребальную подушку у нас набивают разнотравным сеном, а наволочку для неё шьют крупными стежками на живую нитку.

Вернулась из церковной лавки Пелагея, сестрица покойницы, бегала на Поповку к батюшке, а заодно прикупила и чистое, до прозрачности, покрывало, свечи, иконку да венчик на лоб – символ Царствия Небесного. На венчике – Спаситель, Пречистая Богоматерь и Святой Иоанн Предтеча.

Тут и гроб с крестом доставили.

И вскричали хрустально, в один голос, подоспевшие кировские и игинские бабы, приложив правую руку к щеке, а левой поддерживая локоть правой. Заблагодарили деда Фильку, сладившего на веки вечные «знатный дом для суседушки». Позабыли все размолвки свои бабьи, простили все обиды, завспоминали, какая-токая расхорошая была покойница. Посожалели, что не смогут больше видеть свою товарку, ходить с нею вместе на работы, петь-плясать в Велик день на гулянках. Плакали так, как оплакивали на Руси покойников и сто, и двести, и пятьсот лет назад, как горюнились и героини ещё Ипатьевской летописи: *«нынъ же, господине, уже к тому не можем тебъ узрѣти, уже бо солнце наше заидены, и во обидѣ всимъ остахомъ»*.

Или как оплакивал смерть своего отца Святой Борис ещё в 1288 году: *«Увы мнѣ, свѣте очю моею, сияние и заре лица моего, бѣздо уности моей, наказание недоразумѣния моего... Къ кому прибегну, къ кому възърю, кѣде ли насыщюся таковааго благааго учения и наказания разума моего! Увы мни, увы мнѣ, како заиде, свѣте мой,*

не сущу ми ту, да быхъ нонъ самъ чьстьное твое тѣло своима рукама съпряталъ и гробу предалъ, нѣ то ни понесохъ красоты мужьства тѣла твоего, ни съподобленъ быхъ цѣловати добрльпныхъ твоихъ съдинъ. Нѣ, облажениче, помяни мы въ покои твоемъ! Сердце ми горить, душа ми съмысль съмущаетъ, и не вѣмъ, къ кому обратитися и къ кому сию горькую печаль простерети».

Прежде чем положить тело во гроб, и усопшую, и домовину её окропили святой водой, окатили ладаном. Перенесли в пахнущий сосновой смолой гроб покойницу, головою – в Красный угол. Руки, правая – сверху, уложили крест-накрест, тоненькой верёвочкой связали. Вложили в них молитовку, отпускающую грехи. Перевязали и ноги. Развяжут только перед выносом гроба из хаты. Развяжут-расстегнут по древнему обычаю и пояс, чтобы не мешать душе новопреставленной у незримой черты окончательно покинуть бренное тело и отправиться на Небеса. Не сделай этого, считалось у нас исстари, усопшая не обретёт покоя и может, не дай Бог, повадиться приходить по ночам домой.

У головы, ног и по обе стороны гроба зажгли свечи – чтобы получился крест, напоминающий о том, что душа усопшей переходит в Царство Истинного Света, в загробную жизнь. Опять тихо над гробом повыли, попрочитали, мол, как живая, касатка, смотришь, аж дрожью пронизывает!.. И завели почтенные разговоры.

Под табуретки, на которых водрузили гроб, – не забыли по старинке топор-колун положить. Задвинули и таз с водой (барыня приказала порошок в ней развести, «марганцовкой» прозывается). А к среднему персту правой руки, чтобы «дух дурной не пошёл», чтобы тело дольше сохранялось, привязали медную проволоцу, другой её конец опустили в ведро с землёй. Окошки занавесили, двери закрыли, зажгли ещё больше свечей.

На угасшие глаза положили медные монетки. Можно было б и серебряные, да где ж при таком недостатке взять-то... хоть на печи Иван не отлёживался, сучки в потолке не рассматривал. В его бы силах – все парчи-шелка, все драгоценные каменья, жемчуга окатные ссыпал бы в её запону.

Тут и старшенькая дочка подросла, хоть и на сносях – квашня квашнёй, хоть и нельзя такой-то к покойнице, а всё-таки – матушка, разве стерпится? Как упала на гроб сиротинка, так от него и не

оторвать, обгорюнилась – черней головешки. Словно крутым кипятком обдали, словно Христа ради юродивая, всё кричала, надрывалась: «Ой, да на кого ж ты нас да распокинула? На кого ж ты нас пооставила?»

А как очнулась, уже в сумерках, вспомнила вдруг про гребень липовый. Купил его батюшка в подарок покойнице для пшеничной её косы много лет назад в Дмитровске, на Покровской ярмарке. Полюбился гребешок матушке. Берегла. Надо бы в гроб положить.

Сыскали дорогую безделушку. Положили в гроб под покрывало. Не стерпела дочка, снова вскричала, запричитала надтреснутым голосом, словно завивала венки из горюч-полыни:

*Уж черну голову да я тебе зачесаю,
Уж кладу я тебе да в праву́ руку,
Уж во праву руку да я белой платок,
А во леву руку, да я расчёсточку:
Умываться там тебе да причёсываться,
А причёсывать тебе да черны́ косы́,
Уж черны́ косы́ тебе да укладывать,
Уж укладывать да для моей родненькой,
Для родименькой да для милой матушки.*

Спроводили «тяжёлую» молодку под белы рученьки на воздухе, а к гробу подседа «голосить» старческим тоскливым голосом призванная из Игино плачя-вопленица престарелая – по-детски слезились глаза, зубов спереди – ни единого – бабка Феклуша.

Приходили родичи, соседи. Рассаживались у гроба, набились в тесную избу, и всем им без передыху рассказывала навзрыд плакальщица о том, как неожиданно-негаданно преставилась несчастная Акулинка, какие у неё были предчувствия кончины. В былые-то времена погребение считалось тем пышнее, чем больше видели на нём причитающих. (А вот убиваться по самоубийце не полагалось).

Хоть и запретил в 1715 году Пётр Первый «...непристойный и суеверный обычай выть, приговаривать и рваться над умершим...», прочно, донныне сохранился у нас ещё древний языческий ритуал оплакивания покойника, и не извести его, видно, в наших землях до скончания веку. В древнерусской литературе имелось для него и народное название «воплъ», «причитание», «причитати».

Причитания никогда не исполнялись без разбору, разделялись. Во время похорон кричали одни – похоронные (с момента смерти до возвращения с кладбища), а уж другие, поминальные, голосили на третий, девятый, сороковой день после смерти, в годовщины и в поминальные дни на Масленице, на Пасху, Радоницу, в Семик, в Дмитриеву субботу. «Въ Троицкую субботу по селомъ и по погостомъ сходятся мужи и жены на жальникахъ и плачутся по гробамъ съ великимъ кричаньемъ», – свидетельствует «Стоглав».

Чтобы помочь душе в её испытаниях, в храме заказали по новопреставленной Акулине панихиду – «всенощное пение» и сорокоуст, заупокойную службу (обедню) с поминанием усопшей в продолжение шести недель после смерти. Имя умершей записали в годовое поминание – Синодик.

На ночное бдение осталось несколько старушек с мелкими, пожухлыми личиками-картофелинами. Всё-то вздыхали они: «Вот ведь уж и мочушки нет земельку топтать, а Господь не прибирает, а бабу молодую, в самом цвете, – призвал!»

Сходили за дьячком. Ночь напролёт читал он над покойницей при тусклом свете дешёвых свечей рассыпавшийся от времени Псалтирь. Утром его сменил обученный грамоте крестьянин, и чтение Псалтири продолжилось до самого выноса гроба за порог.

ДУМА – ЗА ГОРАМИ,
А СМЕРТЬ – ЗА ПЛЕЧАМИ





Касперив широко вороново крыло, выстояла крошечная (разве звёздочка какая моргнёт) ночь. Долог её срок. Почерневший и осунувшийся, словно подстреленная птица, Иван нашёл в себе силы, хоть на душе и в избе одни сквозняки, распорядиться о поминках, сходить на погост, указать «копальщикам» место для могилки.

*Закатилось красное солнышко
За горы оно да за высокие,
За лесушка оно да за дремучие,
За облачка оно да за ходячие,
За часты звёзды да подвосточные!..*

Хлопоча о похоронах, Иван вдруг припомнил, как, расхворавшись, видно, чуяла, что не выкарабкается, задумала жена его собороваться, попросила привести священника из Сергиевской церкви. Исповедалась страдалица, как положено, батюшка покрыл пылающую её голову епитрахилью, возложил на неё руки и прочитал разрешительную молитву, отпустив несчастной все её грехи земные.

Священник, смачно откашлявшись, снова принялся читать молитвы. В заключении, со словами: «Причащается раба божия Честного и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в Жизнь Вечную», – причастил мою умирающую в цвете лет прабабку Акулину.

Таинство Елеосвящения (Соборования) длилось невероятно долго. Болезная то откидывалась на подушку, впадала в забытё, то снова вслушивалась в слова священника, всматривалась пылающими глазами в надвигающуюся мглу. Сначала батюшка освящал елей (деревянное масло) – кропотливо читал над ним молитвы и благословлял, после этого возжёт семь свечей.

Семь раз намоленным елеем помазывал он смертельно хворую и семь раз молился о её исцелении, задувая после каждого помазанья по одной свече. Обострившимся внезапно слухом больная семь раз к ряду прослушала: «Отче Святый, Врачу душ и телес». Раскрыв Евангелие, священник, почитая этот обряд за возложение самой руки Спасителя, которой Господь не раз исцелял

болезных во время своей земной жизни, возложил его страницами на голову несчастной.

Батюшка продолжал читать молитвы, а умирающая шептала: «Господи, помилуй!» В заключение Соборования угасающая поцеловала Евангелие, священник прочитал заключительную молитву и вышел из хаты.

Муж, метнувшийся было тут же к умирающей, уже опустившей занавески ресниц, только и успел расслышать: «Положи меня ...», и слабеющая, прильнув к его широкой мозолистой ладони, почти впадала в забытие. Так и не узнал бедный Иван последней её воли, не успевшей слететь с её пересохших губ.

Кинулись догонять ещё не скрывшегося из виду священника. И когда душа страдальцы уже разлучалась с телом, совершил он над ней «канон на исход души» – отходную молитву. Ирмосы и тропари читались священником от имени впавшей уже в беспамятство отходящей.

Иван понимал, что сейчас, в эту минуту, душа его жены прощается с телом, на грани тьмы и света, оставляя земное житие, отлетает. До окаменевшей души его доносилось молитва-песнь: «Видя близкий конец своей жизни, вспоминая непотребные мысли, поступки души моей, люто уязвляюсь стрелами совести. Но Ты, Всечистая, милостиво склонившись к душе моей, будь ходотайцей пред Господом». Молись, душа грешная!

Батюшка сжалился и, чтобы облегчить отходящей мучительные страдания, потрудились, прочитал над ней и канон «Чин, бываемый на разлучение души и тела. Внегда человек долго страждет».

Считается, что первые два дня душа преставившегося остаётся на земле, находясь рядом с родными и посещая под сопровождением Ангела памятные ей места, которые притягивают её воспоминаниями. В третий же день Господь повелевает ей вознестись на небо и впервые предстать пред вратами Господними, для поклонения перед Богом.

«Второй день пошёл, как её не стало. Горе мне горькое! Даже не верится, что я вот тут, на погосте, подыскиваю для неё, касатки моей, место. На веки вечные. То ли жизнь, то ли смерть... то ли явь, то ли сон... И ведь на Светлой Седмнице-то подымалась на колокольню, три разочка, как ведётся, трогала колокола. Думала, весь годик никакая хворь не подступится. Спать ложилась – под

подушку вечно травки припрятывала, всё, бывало прищёптывала: «Травушка-хмелинушка, сердце исцели. Излечи, муравушка, силу вороти. Как трава иссохнет, так хвороба отпустит. Больше на меня недуги никто не напустит!» «А оно вишь как всё равно обернулось!» – надрывал Иван своё и так разбитое вдребезги сердце, бродя меж сгладившихся ветрами и временем, поросших ягодником, холмиков, меж покосившихся голбцов, ни умом не принимал смерти жены, ни душою, пока не определился с выбором места. Конечно же, он договорился и об отпевании безвременно преставившейся жены своей.

Прочли ещё раз «Последование по исходе души от тела», и гроб (ногами вперёд, чтоб покойница видела, куда её несут, но не видела – откуда, и не смогла запомнить дорогу назад), с пением «Трисвятого» вынесли, ни к чему им не прикасаясь, из хаты.

И рванулся за ним Иван, у самого глаза завалились, будто с Того света смотрят. И закричал во след севшим голосом, насколько хватило его мужицкого горя:

*Не спешите-тось, спорядные суседушки,
Вы нести мою надёжную семеюшку
Со этого хоромного строеньца!
Ты прощайся-ко, надёжная головушка,
С этим добрым хоромным строеньцом,
Со малыма сердечныма детушками,
Ты со этой-то деревней садовитою,
Ты со волостью этой красовитою,
Ты со этыма спорядныма суседушками!..*

Дожидавший своего часу сосновый крест (будь Иван позажиточней, может, справил бы и дубовый) подхватил кум, Фролкин крёстный, и стал с распятем во главе процессии. Следом за ним пристроились несущие крышку гроба, и только потом – сам гроб.

Как только «носильщики», подложив самолучшие рушники подо дно, попарно подняли гроб на плечи и усопшую вынесли за порог, следящие за верностью обряда дотошные бабки уселись на лавку, мол, чтобы покойница знала, что место её занято и возвращаться ей теперь уже некуда.

Скукоженный Иван, в окружении своей разнесчастной ревущей детворы и ближних родичей, побрел следом... И понесли на руках его любушку за причитающейся ей долей по цветочному раздолью: через благоухавшее ромашковое поле, через одуванчиковые луговины, через всю деревню, в храм Преподобного Сергия Радонежского, что возвышается на самой маковке Поповки.

А Иван терзался: Богом он, что ли, проклят? Или проклял кто «в сердцах» из деревенских? Взял и подумал что худое о его касатке меж полуднем и часом дня или меж полночью и часом ночи? Э-эх, кабы знато было об том лихом деле, только-то и делов, что сказать бы «чур тебе на язык» или «типун тебе на язык»...

Всё никак ещё не верилось мужику, что остался на белом свете один-разъедин с кучкой малолеток на руках. Шёл следом за гробом, словно пронзённый молнией, с обуглившейся душой, и ног под собой не чуял.

Игинская дорога, мягко пружинистая по бокам от прикатанных телегами стеблей ещё незрелого сизого овса и травы, сменилась лентой пуховитой кировской дороги. Пошла на угор, мимо редких, старых, дуплистых осокорей, мимо зарослей цикория, с нанизанными на длинные стебли мелкими, раскroенными на тонкие полосочки, небесными цветками.

Жители Игино и Кирово Городища выходили из калиток, стекались людские ручейки, присоединялись в пути к печальной процессии. Никого не нужно было извещать о времени. В наших краях похоронный обряд совершается исстари в полдень. Раньше полудня и после заката покойного из дому не выносят. Видно, в древнем селении остался на веки вечные незабываем древний культ Солнца, которое должно увести душу покойницы вместе со своим светом на Тот Свет, в безбрежные, строгие, невозвратные дали.

А в засиротевшей Ивановой хате – жалкуй не жалкуй – соседки (сородичи не должны в этом участвовать) принялись под приглядом бабки Феклуши к обязательным делам после выноса покойника. Феклуша прилипла, как банный лист, поторапливала, не позволяла особо зазеваться хлопотавшим бабам: ведь уборку в хате и приготовление к трапезе надо успеть закончить не позже того, как опустят гроб в могилу и закопают.

Перво-наперво вымели земляные полы, начиная с самого дальнего угла и до порога. Накопившийся за три дня мусор собрали

и сожгли на подворье. Феклуша прошлась по хате, заглянула даже в самые дальние углы – окурила избу дымом ладана и можжевельника.

И стряпухи принялись готовить поминальный обед. Это не просто еда, это особый ритуал, цель которого – помянуть человека, отдать ему дань уважения, вспомнить о его добрых делах. Каждое действие во время поминок наполнено сакральным смыслом.

Пекли блины, пороли рыбу (сосед Миколай по заре натаскал в омутке карасей), скоблили картошку, растирали в макитре макогоном мак для кутьи.

Похоронная процессия медленно продвигалась на самый верх горы Поповки. Круглые склоны её какой-то досужий кировский мужичок обкорнал литовкой, и встречу похорон две бабы несли беремем сухое сено. Остановились, скинули вязанки, поклонились.

С колокольни Сергиевской церкви над округой плакал-печалился заунывный звон. Страдальчески-отрешённо, закрыв глубоко запавшие глаза, слушал Иван этот звон, певуче и гулко гудевший над Поповкой.

Гроб с телом покойницы внесли в храм и расположили против Царских ворот, ногами в сторону алтаря, а по четырём сторонам разожгли светильники. Родственники приблизились к гробу, прихожане толпились позади. У всех в руках – свечи. Священник приступил к отпеванию, которое состояло из чтения Святого Писания и разрешительной молитвы.

Сначала, было, опять кровь прилила у Ивана к голове, сердце забило жуткую тревогу, взгляд его заметался в поисках хоть какой-то опоры. И вдруг... а может, Ивану почудилось? Он кинулся сердцем к древней иконе (никто в приходе, даже батюшка, не ведал, сколько ей лет). От неожиданного видения перехватило дух – глаза Божьей матери увлажнились, и по щеке её скатилась лишь Ивану видимая слеза. А следом за ней по храму поплыл благоуханный аромат. Послышались песнопения, и скорбь мужицкая, неодолимая, растворившись в запахах ладана и елея, сжалившись, чуть отпустила. За недолгое время отпевания перед осиротевшим успела промелькнуть вся совместная жизнь с любимой жёнушкой, уходящей от него в Небесные выси, прокрутились до мельчайших подробностей все их горести-радости.

И когда уже прозвучали девяностый и сто восемнадцатый псалмы, новозаветные тропари, канон, погребальные стихиры, когда закончилось чтение Евангелия, и священник вложил в правую руку... ту самую руку дорогой его Акуленьки, которой она ласково касалась его бороды и волос ночами, пекла хлебы и качала в люльке детей... батюшка вложил в эту маленькую, но такую щедрую на добро, руку свиток с разрешительной молитвой, которой она отпускается (отпускается?!) в загробную жизнь, душа Ивана захолынула от неминуемости.

И в это самое времечко, когда слушал он о божественном, почудился ему бесшумный шелест – запорхали двукрылые ангелы, шестикрылые серафимы под самым куполом церкви.

Стоя прямо перед образом Спасителя, словно в полусне наблюдал он за тем, как священник, провозглашая «Вечную память», крестообразно посыпал землёй закрытое простынёй тело жены. Ивану показалось (так он, видно, этого жаждал!): подняло его, закалянелого, оглохшего и ослепшего, невидимой силой до Второго неба, и душа его отлетела следом за душой его несчастной супруги, которую за всю жистюшку грубым словом не обидел, всё лелеял и грел подле сердца. Таскал её, словно женихался, в страдный сенокос цветочные охапки с душистым горошком да «низки» переспелой земляники на тонюсеньких стебельках тимофеевки.

«Аки с небеси» видел он, как гроб понесли наружу. И опять завыли белугами кировские бабы.

А на подходе к погосту попалась навстречу тройка. Барыня Соковникова возвращалась из Кром. Подозвала она Ивана, мол, не тужи шибко, никого не минет сия чаша и ныне, и присно. Все мы в мире и вечны, и тленны. Царствие небесное жене твоей, работная она была. И подала горюну денежку. На помин.

Как прощались у могилы, народ молчал, а как приоткрыли с лица покойницы покрывало, целовали её в чело, снова ахнул. Пискляво заголосили дети, визгляво захлёбываясь, закричали горластые бабы. Иван чуть разумом не сдвинулся, когда всё зарушилось вокруг, когда, казалось, сама земля уходила из-под ног, как опустили гроб в ямину, дышащую сыростью и непроглядной тьмою, как застучали с пригоршнями земли о гробовые доски монетки, чтобы покойница смогла «выкупить себе место» на Том Свете, и чтобы её «не выгнали из могилы».

И слетела в тот миг звезда моей прабабки с небосклона.

*...Призарили тут надёжу с гор желтым песком,
Накатили тут катучи белы камушки!..*

И зашатались до корней кладбищенские дерева. И загомонили, униженные очнувшимся вороньем, полуоблетевшие сирени погостного вала. Резкие и пронзительные птичьи выкрики слились в один непрекращающийся грай. И зажалковали сердобольные бабы теперь уже об Иване, о рассыпавшейся в прах его судьбушке: «Ой, лихо! Нешто лёгко половину себя потерять? Энто вам не с горки на санках съеха-ать!».

Полотенца, на которых опускали домовину, побросали в могилу. А платки, что перевязывали предплечья несших гроб, остались им на память. Прямо у свежего могильного холма потрапезничали на скорую руку, как исстари водится, выпили по стопочке, и вдовец, оставив любимую семейку, неразменную половинушку на погосте, позвал всех к себе в избу, на её поминки. Обвёл унылым, застекляненным взглядом односельчан, поискал глазами, особо пригласил тех, кто помогал с похоронами: обмывал и обряжал покойницу, рыл могилу, нёс гроб, читал молитвы, священника, церковный причт.

...В то время как поминающие после слов хозяина «Просим разделить наше горе! Хлеба-соли откушать!» занимали места за траурным столом, Иванов кум читал перед Святыми Псалтирь при зажжённых свечах и лампадке. (Прежде чем сесть за стол, во дворе вымыли руки, умылись, утёрлись чистыми рушниками).

Иван и дети, дальше родичи по старшинству расположились во главе стола. Место рядом с хозяином пустовало. На столе перед ним стояла рюмка с вином, накрытая куском ржаного хлеба. Стоя, все разом, прочли «Отче наш». И, осенив себя крестным знамением, приступили к трапезе. Перво-наперво, сначала для ближних, потом и для всех подали окропленную Святой водой сотовую кутью (коливо) – кашу из зёрен пшеницы, сдобренную изюмом (зёрна – символ Воскресения, мёд и изюм – сладость, которой наслаждаются праведники в царстве Небесном).

Разлили из кувшинов сыту – воду, подслащённую мёдом, – подали стопы горячих блинов (чтобы паром смогла питаться душа). Первый блин положили на подоконник – для покойницы. Разнесли мёд и кисель, простые крестьянские кушанья, выпили не чокаясь

вина. (Все угощения имели и символический, и ритуальный характер).

При каждом новом блюде слышалось: «Упокой, Господи, душу новопреставленной, прости ей вся согрешения её вольная и невольная, даруй ей Царствие небесное. Во имя Отца, и Сына, и Святого духа. Аминь».

На протяжении всего застолья вставали родные и знакомые, соседи, просто односельчане, и Иван слышал, какими тёплыми словами говорили о его жене. И речи эти благочестивые согревали промёрзшую душу вдовца. Есть он уже которые сутки не ел – кусок в горле застревал. «Эх-ма!» – хват кулаком по столу. Слезы – с горошину – выпил, не чокаясь, залпом стакан. Не опьянел, не взяло. Несуветную, паршивую боль за грудиной невозможно было ни унять, ни заглушить. Даже самогоном.

Благодарить за угощение на поминках у нас не принято, трапеза, как правило, заканчивается молитвой «Благодарим, Тя, Христе Боже наш...» Блины и другие блюда раздаются «на вынос», чтобы, придя домой, участники поминок ещё раз помянули усопшую со своими ближними.

Безмолвную ночь (только кое-где сиплое и жуткое «аув-аув!») провёл вдовец сам с собой наедине, смурясь, умываясь слезами, с тяжёлым сердцем – земь уходила из-под ног, небо наваливалось, нечем дышать. «Царица Небесная! – опалила мысль, – как она там одна? Не возвернётся ведь, зови – не зови. Сказывают, мол, после третьего дня, значит, нынче, душа моей любушки под приглядом ангелов заходит в поднебесные дали, в полноводное сияние звёзд, в райские обители, созерцает их несказанную красоту».

Наутро, проснувшись чуть свет, когда с проступивших холмов потёк лёгкий шелест ветерка, когда уже истончались колкие, прозрачные, как обсосанные леденцы, звёзды и выгорел, оплавившись, молодой, Иван со своими ближними, прихватив узелок с едой, вышел за порог, отправился на погост. Пока добредут – развиднеет, настанет черёд «кормить покойницу».

И казалось ему: не он это вовсе плёлся на Поповку, а вместо него кто-то другой. Хоть моток на шею накидывай, – застыла душа, совсем прозябла, искромсалась, одиноко ей и сиро. Слезы переросла, а до крепости не доросла. Лицо его туманилось горем сердечным, ещё не выношенным, не изжитым.

Тогда он ещё не знал ни сном ни духом, что из трёх сыновей, прижитых по православному обычаю – сколь Бог послал, – сможет уберечь только младшенького, с голубиною кожей отпрыска Фролушку; старший и средний, оба-два, не дав ему опомниться от смерти жены, вскорости упокоятся на кировском погосте под суглинистыми холмиками, поросшими «белой хохлаткой», обочь своей матушки, а душеньки их оприходоваются на Тот Свет, отлетят на златые небеса. Мать, поди, в гробу перевернулась бы, узнай, что случилось с её дитятками...

Правда, к смерти детишек в деревне относились на удивление спокойно, говоря: «Бог дал – Бог взял». В семействе ртов – не считано, а хлебушка – дотянуть до Святков. Тут и поневоле скажешь: «Коли умрёт, то и слава Богу, что прибрал, всё одно бы пришлось мучиться, голодать».

СПОЖИНКИ





е спалось в эту ночь и барыне Соковниковой. Впечатлительной Марье Николавне, столкнувшейся с похоронной процессией у кладбищенских ворот, отчего-то вдруг припомнились последние денёчки прошлогоднего лета.

Тогда, на Успенье, пятнадцатого августа, ещё здоровая, весёлая и нарядная Иванова жена Акулина со своей товаркой Павлиной притащили на руках под пение и пляски на господский двор «именинный сноп», взгромоздили на середину «оспожинского стола», накрытого заранее по велению Марии Николавны.

Любила барыня двух этих баб: из себя видные, радость из них так и прёт. И в работе любому мужику не уступят: хоть литовку в руки дай, хоть вилы, хоть к печи поставь. И скромность у них всегда в подругах ходила.

Деревенские нервную барыньку-то побаивались, лишний раз с глаз увиливали. Потому поздравить с Дожинками спровадили тогда её любимиц – Акулину да Павлинку.

Помнится, только-только возвратилась Мария Николавна с литургии, с праздничной заутрени. Только просвирочкой Успенской разговелася, кофею собралася испить. А они, бабы-то, с гостинцем и припожаловали. Народ затоптался, позагуживал, выглядывал из-за привратных жасминов.

Вышла Мария Николавна на крыльцо, уж, верно, знала, за какой надобностью её потревожили, а посланки-челобитчицы поклонились вземь: мол, всей деревней, барыня-кормилица, с Зажинками «проздравляем». Улыбнулась Мария Николавна, кликнула денежку на всю братию принести, на общую гулянку – отдалилась. Акулине ж с Павлинкою вручила по косынке батистовой впридачу.

Барыня Соковникова, воспитывавшаяся в малолетстве по желанию её матушки при монастыре, нраву была по нашим меркам непростого: взбалмошный её характер не смогли переломить и годы, проведённые под надзором приставленной приглядывать за ней монахини Капитолины. Ну, так не зря же говорят: «Уж коли зародился с лысинкой...»

Как бы там ни было, но кое-какие монастырские науки она всё же усвоила. Праздник Успения, которым «разрешались Спожинки», почитала, к примеру, особо. Может, оттого, что Успение Пресвятой Богородицы – один из древнейших праздников? Отмечать его начали ещё во времена раннего Христианства. (К шестому веку этот Дванадесятый праздник, который в народе называли «Великой Пречистой», уже праздновался повсеместно).

Обычно, если ничто не мешало, не впадала в очередной блуд с соседом помещиком, по которому до самого гроба сохла, сходила с

ума, на худой конец, со своим же приказчиком, или не наваливался, откуда ни возьмись, на неё «африканский жор», Марина Николавна блюла посты.

После самого сурового, второго за Великим, двухнедельного Успенского, позволяла она себе, наконец-таки, расслабиться: напекались горы всяческой всячины из новины, снова часу в шестом вечера съезжались к ней знакомые на чай, перекинуться картишками, послушать под гитару последние романсы (помещица баловалась игрой на гитаре, выучилась как-то на водах). Могла Мария Николавна, развлечения ради, и облагодетельствовать селян, попридти на венце годовых крестьянских забот – Дожинках.

С Успения начиналось Молодое Бабье лето. И заканчивалось оно лишь одиннадцатого сентября, на Ивана Постного. Крестьяне этот праздник посвящали окончанию жатвы и встрече осени. В обедню торопился мужик в церкву – святить новый хлеб. Дождаясь «свячёного куска», в семье никто не завтракал. И только когда возвращался хозяин, садились за стол разговляться освящённым караваем. Остаток его бережно заворачивали в чистое праздничное полотенце и укладывали под образа. Большим грехом считалось обронить хоть крошку от свячёного карава. Преломляя от него по малой частице, хлебом Успенским пользовали болящих, надеясь на великую силу Божьего благословения.

Примечали: коли в этот день – вёдро, то Старое Бабье лето – с тринадцатого по двадцать первое сентября – будет ненастным. Коли на Успенье или на днях выпестрится радуга – к душевной и затяжной осени. Считалось, что на Спожинки солнышко засыпает. И если в Бабье лето вьётся по полям, лугам да перелескам много Богородичной пряжи (паутины), знать, зима наверняка будет лютая. «Большая Пречистая месяц на два полена рубит» (пополам) – говаривали в народе.

Иногда на Успенщину, коли не лень-матушка, Мария Николавна собственноручно выезжала, с ветерком проскакывая изволоки и спуски, на жниву. Натянет вожжи – тпру! – скрипнет рессоркой, сойдёт наземь, поискав местечко, усядется в тенёчке под рябинкой на краю поля в выставленные для неё кресла, расперит веерок. Хоть и не одобряла православная часть её души языческих обычаев, но очень уж удивителен был обряд, укоренившийся ещё в прадедовские века в Кирово Городище. Участвовали, как правило, в нём жницы.

Почитая Успение Пресвятой Богородицы за большой праздник, крестьяне всё же в этот день не прекращали работы в поле. Как когда-то в старую старину, в завершение жатвы крестьянки выходили на Оспожинки на ниву, обвязывали соломой серпы и катались по земле,

прося пожню «правильн^уть силу», отданную уборке урожая: «Жнивка, жнивка! Отдай мою силку в каждую жилку, в каждый суставец! На яровину, на овёс, на гречиху, на конопельки! На пест, на колотило, да на молотило и на кривое веретено. Кто пахал – тому силку, а кто сеял – тому две, а кто жал – тому все. Пашня, пашня, хлебца нам дай, а силу нашу отдай!»

На поле полагалось оставить горсть несжатых колосьев, чтобы «завить бороду» – перевязать её лентой и подломить, приговаривая: «Николе – борода, коню – голова, пахарю – коврижка, жнеюшке – напышка, а хозяевам – на доброе здоровье. Дай Бог, для того, чтобы на другое лето был богатый урожай!» Жницы верили, что своими заговорами смогут вернуть земелюшке силу, что истратила она на «вынашивание» урожая.

Последний сжатый сноп – «именинник». Жали его обязательно молча и называли «сноп-молчанушка», связывали перевяслищем, бабы по очереди присаживались на него, просили-уговаривали: «Ржица-матушка, народи на лето получше этой, а если такой, то не надо никакой!» Потом этот спожинский сноп обряжали в сарафан и кокошник, обступали всей деревней и с песнями несли сначала в храм, освятить, а потом вдоль улицы, к владельцу села:

*Дожали, дожали, спожинки дожали,
Зерно гребли, каравай пекли,
Гостей угощали, нивку поминали.
Житушко, расти-расти!
Времечко, лети-лети!*

К вечеру на лугу сдвигали столы, приносили лавки, и устраивали складчину – общий пир, основным обрядовым блюдом которого была овсяная каша с салом и маслом.

К этому дню подходили на огородах «зимовые» огурцы – похвальба Марии Николавны. И до обеда в имении её управлялись с засолкой множества бочонков (и себе в погреб, и на ярмарку, чтобы было что выставить) хрустких кировских огурчиков. Мужики загодя ехали в Савин лес, притаскивали воз дубовых веток, наваливали в пуньку. На задах накапывали с десятков плетух хрена, в саду нашмурыгивали смородиновой, вишнёвой листвы. С огородов сдёргивали охачки духовитого укропа.

Огурцы, пересыпаемые дубовой листвой, вишняком, смороденником, укропными зонтиками, растёртым жгучим стручком и бог весть ещё какими травами, укладывали слоями в вымоченные, притопленные на всё лето на Кроме десятиведерные наполь, установленные рядами в барских погребах.

Некалибровку, остатки-перестарки, благодарствуя за барскую щедрость, торопыги бабы тащили, накрыв плетушки, на свои подворья, чтобы и в свою погребницу закатить парочку бочонков «лапотков». А как же без огурцов-то? Самый что ни на есть мужицкий продукт под картошечку да под хваткий морозец.

...Выйдет ли барынька «попить воздуха» в вековые липовые аллеи, спустится ли к пруду в горьковатые ароматы сросшейся взаплот бузины, отправится ли в тарантасе на прогулку вдоль синеглазых цикориев, повсюду слышатся гармонии, девичий смех да песни:

*...Жнеи молодые,
Серпы золотые!
Уж вы жните, жните,
Жните, не ленитесь,
А обжавши нивку,
Пейте, веселитесь!..*

Возле «именинного снопа» до позднего часа (уж и небеса затянулись тёмно-синим сатинчиком в мелкую просяночку) под ясными Стожарами шумело веселье, водились корогоды, звенели берестяные, знамые ещё прабабками песни.

До самого утра, до третьих Петуханов Куреханычей, не могла уснуть в ту ночь Марья Николавна, смотрела сквозь тюли в большое и гулкое небо. То ставенки отчего-то поскрипывали: «Распрямись ты рожь высокая!», то несносно, словно чистила сковородку кухарка, затевала чехарду, свирчала на клумбах, в метиоловых буйствах, пузатая цикадная мелочь, то наперебой тукали о крышу беседки переспелые медовки и наливки.

Раскапризничалась барыня не на шутку. Посередь ночи кликнула девку, велела поставить самовар, чего никогда за ней не водилось. «Какие чай-кофеи ишо вздумала?» – фыркнула спросонья под нос себе Марфушка, но перечить Марье Николавне – себе больней. А потому – зашлёпала, босая, по половицам, прикатила прямо к постели столик (барынька вставать-то не пожелала), подала чаю, вытряхнула в вазон варенья («Чай, уж откушав слатенького, утомонится?»).

А с Марьи Николавны при виде варенья и совсем сон, словно телушка языком слизала. Нахлынуло-о! Видать, правду, прикипела она к Акульке! С малых лет ведь она при барском дворе. Жалко её, сердешную! Как не пожалковать? Хоть и четвёрку успела народить бабонька, а пожила-то? Всего ничего! «А ведь мы с ней годки! – ахнула барынька, смахнула подкатившую слезу кружевным платочком, – и варенье ещё это!» – в сердцах отодвинула вазочку от себя Мария Николавна.

Барыня слыла по округе хлебосольницей: и сама любила вкусно поест, и гостей попотчевать, удивить каким-нибудь новейшим блюдом. И каких только никаких рецептов у неё не было! Собирала она их со всех концов России. Возвернётся ли знакомый, гостивший у приятеля в Новгородской губернии, или переселится на жительство барыня какая из Тамбова, она – тут как тут: «А не будете ли так милостивы рассказать о вашем тамошнем застолье?» Ведь во многих имениях русских хранили и передавали из поколения в поколение редкостные рецепты. Держала она у себя и книги о поварском деле, даже «Энциклопедию русской сельской ключницы, экономки, поварихи и кухарки» выписала себе из столицы.

Возрастая в монастыре, пристрастилась она к лакомству, варенью из крыжовника. Но, пока со временем не развела кусты этой дивной ягоды, «северного винограда», у себя в имении, перепробовала варить варенье из всех местных продуктов: из ягод и фруктов, из овощей и цветов. В этом деликатном и любимом занятии помогала ей, обученная премудростям стряпанья варенья, молодая кировская баба Акулина.

Вообще-то, в XIX веке в России мастерство варить варенье ставилось в один ряд с умением музицировать и рисовать. Не было пансиона для девиц, где бы ни обучали этому искусству.

В кировском имении барыни Соковниковой ни одно чаепитие не обходилось без этого лакомства. Сахар всё ещё был дорогим продуктом, а пасека у Марии Николаовны – о-го-го! Мёдом торговала даже в Москве. Поэтому и варенье у Соковниковой было исключительно на меду.

Правда, рачительная Акулинка придумала обходиться и вовсе без мёду-сахару. Просто-напросто уваривала ягоды до густоты. Не отходила от прикупленного для такого дела широкого медного нелужёного таза до шести часов, помешивая по первости деревянной, а как расщедрилась барыня – серебряной ложкой.

Приниматься за варку каждого варенья было принято в определённые дни. Прибежит, бывало, Акулька: «Матушка-барыня! Девки малины из Савина ложка вёдер пять притащили! Велите печь растапливать?» «А и то правда, милая, пора бы уж и приступать! Нынче ж двадцать четвёртое июля, Офимья-комарница (Ефимья Стожарница)!» – похвалит Акулинкину расторопность помещица.

Для своего любимого занятия Мария Николаовна приказала сладить в саду под навесом печь. Усядется она за чаем неподалёку с веером (кусучих ос отмахивать) и заведёт с Акулиной беседы, пока та кружится вокруг печки. Барыня и нужные указания даст, и расспросит о новом ключнике Федюше: мол, не сыскал ли уже молодец в Кирово или Игино зазнобушку, и снова возвернётся к варенью.

Слушает её Акулька да только руками всплещивает: «Это ж надоть! Слыхано ли то? Царю-батюшке, Ивану-то Грозному, ндравилось варенье из огурцов! Вот диво – так диво!»

«А вот во времена Екатерины Второй, – продолжала удивлять стряпуху барынька, – крыжовник называли «царской ягодой». Царица-то, сказывают, очень уж его уважала. Ходят слухи, что «изумрудное варенье», ну, то, Акуля, что мы в прошлом годе спробовали варить, за которым ещё губернаторша к Роштву присылала, на вишеннике, так, говорят, мол, рецепт его придумала царицына повариха. Матушка-благодетельница, обладая душенькой щедрой, возьми да и отблагодари кухарку. Варенье то, сама помнишь, напоминает по цвету драгоценный камень. Так восхищённая Екатерина и вознаградила повариху не чем-нибудь – перстнем с изумрудом!»

Снимет Акулина пенки с варенья, подаст барыньке (очень уж она была до них охоча!), а та, прихлебнув чайку, и прыгубит.

– А не подбавить ли, Акулинушка, со стопку медку? Нынче лето не ведрено, крыжовник вроде как кисловат? – промолвит, поморщась, Мария Николаевна.

– Как скажите, матушка! Отчего ж не подбавить? – отвечает, отирая рушником со лба пот, распаренная печным жаром стряпуха.

И Мария Николаевна от скуки приметя листать журнал-календарь. Наткнётся на что интересное – тут же Акуле и зачитает: «Имеются сведения, что крыжовник (агрыз) выращивали в монастырских садах уже в XI веке. По переписи дворцовых садов в Москве в 1701 году в аптекарском саду числилось пятьдесят кустов «крыжу бересня». В 1857 году в хозяйственных записях имения князя Гагарина указывалось: «крыжу простого» – восемьдесят кустов, «крыжу мохнатого» – двадцать кустов, «крыжу красного» – двадцать кустов... А ведь наш-то крыжовник – тоже гагаринский! Племянница князя выделила мне как-то тройку кустиков на развод. С тех самых пор, Акулинушка, и ведётся у нас крыжовник-то. Вон ведь теперь весь Спирин бугор под ним!»

Акулина гремит тазами, махотками, раскладывает готовое варенье. Барыня, просматривая корреспонденцию, ахает: «Надо же! Сколь годиков пыталась отыскать этот старинный рецепт! А тут нате ж вам, из Петербурга письмецо от свояченицы получила! Ты, девонька, даже не представляешь, что за рецептик мы с тобой отхватили! Если не врёт, голубушка, заполучила она его в самом Михайловском! Ну, ты, вероятно, и ведать не ведаешь, а ведь это – имение самого Пушкина!.. Пишет Наталья Трифонова, мол, Александр Сергеевич обожал варенье из «мохнатого крыжу», приготовленное по этому самому рецептику!» И зачитает барынька,

любительница русских романсов, почитательница поэзии Пушкина, дрожащим голосом драгоценный рецепт:

«Очищенный от семечек, сполосканный, зелёный, неспелый крыжовник, собранный между десятым и пятнадцатым июня, сложить в муравлёвый горшок, перекладывая рядами вишнёвыми листьями и немного щавелем и шпинатом. Залить крепкою водкою, закрыть крышкою, обмазать оную тестом, вставить на несколько часов в печь, столь жаркую, как она бывает после вынута из неё хлеба.

На другой день вынуть крыжовник, всыпать в холодную воду со льдом прямо из погреба, через час перемешать воду и один раз с ней вскипятить, потом второй раз, потом третий, потом положить ягоды опять в холодную воду со льдом, которую перемешать несколько раз, каждый раз держа в ней ягоды по четверти часа, потом откинуть ягоды на решето. А когда ягода отечёт – разложить на скатерть льняную, а когда обсохнет, свесить на безмене, на каждый фунт ягод взять два фунта сахара, прокипятить. Снять пену и в сей горячий сироп всыпать ягоды и поставить кипятиться, а как станет кипеть, осыпать остальным сахаром и разов три вскипятить ключом, а потом держать на лёгком огне, пробуя на вкус. После всего сложить с фунтовые банки и завернуть их вощёною бумагою, а сверху – пузырьём и обвязать. Варенье сие почитается отличным и самым наилучшим из деревенских припасов».

Выслушав эдакое длинное наставление, Акулинка заробела, заотмахивалась: «Ох, матушка Мария Николавна! Пожалейте Вы меня, отпустите на сенокос! Боязно мне, ей Богу, не справлюсь я с такими мудрёностями!»

Мария Николавна только улыбалась на Акулинины отнекивания: «Ну, будет, милая, будет! Руки-то у тебя золотые!»

Всю неделю барынька и Богоявленской водицей из кувшина умывалась, по два часа кряду раздумчиво приговаривала: «Крещенская водица, напитай меня свежестью, даруй телесам моим покой», и читала на не подступающий к ней сон охранительный заговор: «Засыпаю, на Бога уповаю. Верю в тебя и надеюсь на твою помощь. Ангелов призываю охранять мой сон, разгонять духоту, дарить сновидения. Ночь будет спокойной, а сон мой крепким. Аминь!» А сон не шёл и не шёл. И Мария Николавна в который раз вздыхала: «С кем же я теперь варенья из крыжу наварю? С кем разговоры разговаривать стану? Когда-когда другую бабу сметливую сыщу!»

В избах на Успенщину в Красный угол водружали венок, сплетённый из колосьев. Предки наши, живя не в раю, верили, что «оспожинский венец» приносит удачу в их трудах праведных, охраняет жилище от нечистой силы. Правда, не принёс он счастья прабабке моей Акулине, как не плясала, не пела она в нём в Молодое лето.

**ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ ЖИСТЬ,
ПРИВЯЖИСЬ ХОРОШАЯ!**





огда прадед Иван, усохший и почерневший, полуоблетевший одуванчик, покуковал-покуковал в своей неизменной и долгой печали и наконец-таки, хоть и умел держать характер, прихватив с Божницы родные иконки, прибился на своё кущее осеннее счастье из Кирово Городища в примачи во двор игинской вдовицы, жгучей красавицы, Рекошетовой Анфисы, шёл его «мизинчику», сиротинке Фролушке, второй годочек.

Бездетной Анфисе перевалило в ту пору за три десятка, но красота её, словно мальвовый бутон, всё ещё только раскрывалась. Видать, читала, не ленилась она заветный, тормозящий молодость заговор, известный нашим бабам с незапамятных времён: «Старость изгоняю, немощь отвождаю, красу и гладкость привечаю. Чтобы руки рабы Божией Анфисы были гладкие да красивые, и ноги рабы Божией Анфисы были гладкие да красивые, и стан рабы Божией Анфисы был гладкий да красивый, и лицо рабы Божией Анфисы было гладкое да красивое, очи сверкали, волосы играли, тело было гибко, и красиво, и для всякого желанно. Аминь. Аминь. Аминь!»

Да и бабонька, судя по убранству избы, была она домовитая.

На своём коротком, как и у его матушки, веку дед мой Фрол, хоть и было у него семь понедельников на неделе, успел пожить и при Царском режиме, на его долю выпали и метельные времена двух революций и Гражданской войны, принимал он участие в остатние свои дни и в решении планов первой советской пятилетки. И вся-то жизнь его – суета и неустроенность быта.

О родных, о своих пишу, но и о каждом, кто жил рядом с ними. Ибо все жили под одним небушком, на одном Божьем свете, в одно время. И память моя – и родовая, и о всём племени моём...

В пору Фроловой юности, в лета размытые временем, но не забытые, селом Кирово Городище и деревушкой Игино владели уже родственники государственного деятеля, генерал-адъютанта от кавалерии, в августе 1904 – январе 1905 годов российского министра внутренних дел, князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, отца литературоведа Дмитрия Петровича Святополк-Мирского.

В центре села, неподалёку от воздымавшегося плечистого белого исполина, приходского храма во имя Сергия Радонежского и Александра Невского, набирало красоту тогда великолепно

обустроенное имение. С липовым, вровень с облаками, тщательно продуманным и ухоженным парком, украшенным фонтанами, ротондами и беседками, с раскинувшимся на несколько десятин по холмам и пригоркам шафрановым садом. (После создания в 1845 году плодopитомника в нашей округе начало развиваться садоводство). Вокруг поместья размещались приносящие немалый доход пригоршни рукотворных прудов с пузатым карпом.

Усталую, с разбитыми скотиной берегами, протекающую сквозь века Кромy перегородили (непостоянной) плотиной. Рыба, как и фрукты из барских садов, обозами отправлялась в Орёл, Кромы, Карачев, Брянск, Болхов, Ливны, Мценск и Дмитровск.

Поля вокруг Кирово Городища – достаточно пологие, игинские же пашни – всё больше на склонах холмов. По примеру соседа своего Бобринского, обустройством поместья которого руководил выдающийся русский учёный-энциклопедист, живший на рубеже XVIII – XIX веков, Андрей Тимофеевич Болотов, Святополк-Мирские обрабатывали крутые склоны по особой технологии: поля достигали ширины двадцать пять – тридцать саженой и располагались флангом к логам и лощинам, в которые сбегали дождевые и вешние снеговые воды. Урожайность на нещедрых игинских полях заметно повысилась, вырос и слой гумуса. (И поныне в селе Кирово Городище существует ложок, названный в память об Андрее Тимофеевиче Болотове).

Хлопали крыльями, кукарекали вдоль урынков петухи, вроде бы не торопко тикало, копошилось времечко... Но уже к концу XIX века в нашем краю начали появляться островки ведения хозяйства на капиталистический лад.

Правда, Святополк-Мирские распродали часть своих земель, купили их оборотистые, трудолюбивые хозяева.

А в начале XX века в четырёх волостях Кромского уезда (Кировской, Сосковской, Коровье-Болотовской и Верхнее-Боёвской) затеплилась было новая жизнь – начала развиваться промышленность: семьдесят девять мельниц, шесть крупорушек, десять толчей, девять кузниц, два овчинных завода, пять волночёсок, двадцать шесть маслобоек, в которых из семян конопли изготавливали конопляное масло (три из них – в Кирово Городище и три – в прилегающем к нему Игино). Строились масленицы, и производили они не одну бочку масла в сутки. В больших печах, на противнях, обжаривали чуть растёртые семена конопли, а потом из них при

помощи лошадиной силы выжимали масло. Вот где пригодились знаменитые Кировские жернова! Это вам не яички в решете нести – камень для размола семян конопли имел диаметр более двух метров!

Два раза в год до самого 1925 года, на летний, восемнадцатого июля, и осенский, восьмого октября, Престолы, в Кирово Городище шумели ярмарки, или торжки, на которые съезжались крестьяне со всей волости, заглядывали и из соседних.

Престольные праздники у нас всегда гулялись с весельем, без пardону. Собирались на них родичи и добрые знакомые со всей округи загодя, шабашили лишь спустя неделю.

Как положено у православных, с утра в такой день хорошей души человек, не пустодом, отправлялся в церкву, на службу, поставить свечки: всему семейству – за здравие, почившим родителям – за упокой. И пренебреженно положить копеечку в картуз тутошнего блаженного, слабого на ум Гараси – с мальства сам в себе, не от мира сего. Кто не любил послушать божественные стихиры мужичка, прижившегося на храмовой паперти, заблудившегося навсегда в счастливом детстве?

Подаст православный милостыньку и нищим странникам-богомольцам, ошупывавшим костыликами дорогу, повадившимся каждый раз на волостную ярмарку. Подаст и, взявшись за плечи, проходящим гуськом вдоль рядов нищим-слепцам. Как не подать, коли сквозь заветшалую одёжку явственно проступает свет их обнажённых душ? Уж так на Руси завсегда велось: пятнадцать человек пропитывали одного нищего, а в неурожайные годы – один выживал на счёт десяти.

Сдвинув на затылок картуз, пройдётся селянин по-хозяйски разок вдоль лотков, прикупить, за-ради праздничка, какие-никакие подарочки, пройдётся вторительно. Засвербит, достанет из-за пазухи гаманок: «Чай, не хуже других!» Приглядит супружнице-лебёдке штапельный, в крупный огурчик, подшалок. Покопается в гроздьях стеклянных бус, выберет – зелёные – крыжовинка к крыжовинке – под глаза. Ребятишкам роденьким – глиняные фигурные свистульки, петушков на палочке «лизательных». Мамаше – облитые сахаром жамки. Батяне, опорожнявшему за вечер по два самовара чаю, – снизку маковых баранок.

Потопчется в мужицкой толпе у телеги с хомутами. Тронет лёзу у облюбованной косы, перепробует на язык для неё с десятков брусков,

пока хозяин не начнёт кряхтеть: мол, товарец первостатейный, сколь же можно ковыряться-то?

А ряды торговые гомонят, шумят, от часа к часу раздаются. Продают-покупают, по рукам ударяют! Ежели по правде сказать, и плутни хватает. Люду понаехало! Страсть Господня! Всех возрастов! И пеньку сбывают, и огородний-полевой продукт, и животину.

И кудахчет! И ржёт! И мычит! И визжит! И твякает!

Самый радостный – красный ряд! Тут и ситцы цветастые – на аршин наматываются, с треском разрываются, и сукна «казистые» – хрустя-пощёлкивая ножницами нарезаются, и платы расписные примеряются, по плечам, на головки прикидываются, и кушаки, и золотой позумент, и шляпы!

А то вот ещё, наше вам с почтеньцем, – лотки с «конфетами», «жамками», чаем заморским, семечками гарбузными, подсолнушками, орешками калёными, лещинкой да кедровинкой.

Съезжались на Кировскую ярмарку и за славившимися во всей России нашими конопляными намычками – «куколками». Целыми обозами вывозили конопляное лыко из Кирова Городища, а поступало оно и в Орёл, и в Москву. Отправлялась наша пенька по Оке на Волгу – и дальше по всей России. И, если верить старожилам, самое лучшее поставляли за границу, в Англию.

Тёмно-зелёная, закрывающая с головой конопля у нас вымахивала – лес лесом. Сказывают, мол, кировские мужики растили её исключительно на конском навозе. Вот и весь секрет!

Где нынче то времечко? Травой поросло...

Рассказывают, привозил однажды брянский купчина на нашу ярмарку обоз с плетёными коробами да глиняными кубанами. Знатный посуд! И – хоть пруд пруди, несчётно! Разложил вдоль заплёванной подсолнечной шелухой луговины. Бабы десятками набирали – молоко в таких кубанах до пяти дён не закисает.

Весь товар в первый же день продал молодец подчистую. Запил-загулял на радостях. Веселился до тех пор, пока по жилам вместо крови самогон потёк, только тогда и успокоился. Нахлебался – и лыка не вяжет, зюзя зюзей. Раскис, сморило его вусмерть пьяненького, придавил сон, словно жернов-камень, он и рухнул – потухший окурочек меж пальцев. Кой-как прочухался, вкусно зевнул – ползком-ползком и снова – под телегу, а сундук с деньгами без пригляду кинул.

Старикан наш кировский, дед Кит – ржаной сноп, сундучок тот прибрал, видно, крепко в Бога веровал и совести – не на пятак, а на цельный рубль!

Как проспался купец да хватился дорогой пропажи, подсеменил, значит, мелкой рысцей, старикашка – бельмо на глазу, борода клинушком – отряхнул о колено картуз и сказывает: «Здравия желаю! Натекось, извольте получить в цельности и сохранности. Нам вашего не нать!».

Расчувствовавшись, расщедрился купец – за то, что дед грех не сотворил, со спасибочком отвалил ему аж пять рубликов!

Кировская волость с волостным центром в Кирово Городище состояла в то время из деревень: Дерюгино, Еньшино, Звягинцево, Игино, Ивановка, Ключниково, Каменец, Катыши, Толмачёво, Цвеленево – и сёл: Должонки, Кирово Городище, Мелихово, Мураевка, Старое Гнездилово.

В волостном центре, в Кирово Городище, в те годы было всего восемьдесят шесть домов, в которых проживали триста пятьдесят один мужчина и триста восемьдесят шесть женщин. А в моей деревушке Игино – и того меньше – тридцать три двора, в которых – сто двадцать три мужчины и сто двадцать восемь женщин.

Население Кирово Городища и Игино в основном состояло из крестьян и делилось по разрядам: крестьяне собственники, преданные в казну, разные по купчей земле, вольные хлебопашцы, удельные крестьяне, государственные душевые, государственные подворные и четвертные.

«Ведь раньше-то как велось, – рассказывала нам, детям, бывало, престарелая девяностолетняя бабка Клавдия Орефьевна Савинкина, – Игино – деревушка, почитай, самая бедная в округе, и земельки у мужичков – с гулькин носик. Куды не подайси – леса, пашни барские. А голод – несусветнай! Даже в Престольные праздники пекли пироги из прибережённой к этим дням чёрной ржаной непросеянной муки, щедро разбавленной гороховой мукой.

Почитай, на подножном корму перебивались. Пойдём, бывало, на лог по траву какую – щавель, анис, лебеду – и всё оглядываемся, всё побаиваемся, чтобы на барскую сторону не забрести. Обьезчик доглядит, залотует, всю спину кнутом исполосует.

Не приведи Господи как жили!.. Опять же, хату по холодам чем топить? Леса тожить господские, охранные. Хмызничку, и того не

собрать. Пойдём с бабами украдкой, ровами игинскими... Насбираем сушняку, перевяслищем стянем, накрядим вязанки, да с бугра на бугор, с бугра на бугор, молчком, оглядываясь во все стороны... Сколь разов и секли, и штрафовали, и в холодную сажали».

Горюшка добавила, конечно, и война с японцем. А тут ещё вороной, чёрной тучей накрыла весть о расстреле мирного шествия к царю девятого января 1905 года в Санкт-Петербурге. И опять зашумел, забунтовал народ на улицах и площадях городов. А как не забастовать-то при таковском житье? Ясное дело, не могли те речи бунтарские не аукнуться и в провинции. Вождь большевиков Владимир Ильич Ленин об этом периоде писал: «Дремлющая Россия превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа». Хотя и не в столицах живём, хоть и места наши – глубинные, но уже к лету артачились на сходах и наши мужички.

*...Товарищи, братья родные,
Довольно вам спины ломать
За то, чтоб хозяевам-чертям
На ваших трудах отдыхать...*

А с окончанием полевых работ, с возвращением крестьян-отходников, принёсших не только мятежные вести со всей страны, но и успевших подучиться уму-разуму (небось тоже не стерпели: поднимались плечом к плечу с фабричными да заводскими рабочими на стачки, забастовки), четырнадцатого ноября, на Косьму и Дамиана, волнения в Кромском уезде разгулялись не на шутку: поджигались помещичьи усадьбы, сбивались замки с зерновых амбаров, уводился скот, разбирался хозяйственный инвентарь. Ну, так испокон веку велось: запрягает, долгонько запрягает русский мужичок, а как, наконец-таки, запряжёт, так и покажет свой нор – и удержу не сыскать.

Перепуганный нарастающим бунтом, – что тут поделать с «распоясавшимся» мужиком! – кромской уездный исправник восемнадцатого ноября скорей телеграфировать губернатору Константину Александровичу Балясному: мол, состояние до того возбуждено, что беспорядок может разразиться по всему уезду

одновременно. Дороги непроездные, полицейской стражи не боятся, в подводах отказывают.

В селе Кирово Городище, в имении князя Святополк-Мирского, и в былые годы крестьяне, крутясь как белка в колесе (не лодыри, не шалбёры какие!), подворовывали лес, но раньше свершалось это потайственно, неорганизованно. Двадцать первого же ноября кликнули крестьянский сход и порешили: ни много ни мало – рубить открыто, всем миром, без хозяйского дозволения княжеские леса. Из-за того, что скупой, как Кощей, управляющий Козюлеев всё ходил, пальцы на руке загибал, в силу обычной своей привычки, схитрил (за копейку готов был удавиться), не доплатил крестьянам за работу на заготовке дров, то решили и их поделить-разобрать меж лесорубами.

Дела – не ахти! На переговоры с бунтовщиками отправился староста Фёдор Солодов. Но и ему не удалось предотвратить произвол. «Лес – наш, и рубить его будем мы!» – принялся заправлять делами крестьянин Илья Люлюшкин. К вечеру того же дня за ним явилась полиция, но возмущение его односельчан было настолько велико, что мужика вынуждены были безнаказанно отпустить.

О бунте кировских крестьян сохранилась архивная запись: «В полдень двадцать первого ноября открыто, с песнями, приступили к порубке леса, разобрали пять сажень заготовленных дров. Всю ночь крестьяне рубили лес. Увезли ещё одиннадцать сажень заготовленных дров. В другом лесу его вырубали человек сто. Когда сторож Игнат Воробьёв хотел подойти и помешать этому безобразию, мол, Бога, что ли, не боитесь, у него вышла промашка – Матвей Епихин шасть воробьем, заступил хамовато путь, взвинтился: «Стой, не подходи! Пусть только подойдёт!»

Продолжали беззаконие и двадцать второго ноября. На требование урядника прекратить порубку Илья Люлюшкин, бестия – что не приведи Господь, свернул дулю и давай ругательски ругаться: «Попрдержжи язык! Накося – выкуси! А ну, ребята, руби колья! Колом бей!» Урядник, растрясая жирок, улепетнул от крестьян – вспоминай как звали. Вот и вся недолга... Так и понятное дело – всякое терпение лопнет. Только двадцать пятого ноября, по прибытии полуроты солдат, порубка прекратилась.

Организованное выступление кировских крестьян подтолкнуло к мятежу и жителей соседних деревень. Под звон церковного набата там и сям созывался народ на митинги, на которых направо и налево

костерились богатеи, велись не пустопорожные речи, а извечный, наболевший, разговор о земле, о бесправии крестьянства. Сходки эти, не игра в подкидного, не были безобидными, поскольку смысл их сводился к призыву к борьбе. И волнения разрастались.

По старопржежим законам для усмирения бунтовщиков прибывали солдаты, налетали и жутко свирепствовали казаки, на конюшнях ими устраивались жесточайшие назидательные порки крестьян. Но стоило войскам отбыть за околицу, снова – в огороде – бузина, а в Киеве – дядька, возмущение разгоралось с новой, ещё большей силой. И снова летело донесение губернатору: «Настроение крестьян по-прежнему возбуждённое».

Лишь к началу 1907 года волнения в Кировской волости поутихли. Немалую роль в этом сыграл Столыпинский Аграрный закон, по которому (впервые!) крестьянин имел (хотя бы!) право продавать свой участок земли. Реформа эта, конечно, поддержала бы крестьянство, если бы не война. Если бы не революция.

Первая мировая не прогремела, не прокатилась по нашим полям, но она призвала с них пахаря, увела тягловую силу – лошадей. Снижались урожаи, погибало крестьянское производство.

Сторона захолустная жила ожиданием хоть какого-то глотка воздуха, просвета, перемен. Понимая, что перемен этих уже не избежать, припоминая недавние бунты в своих усадьбах, дрогнули помещики, кинулись распродавать землю и лес.

У Святополк-Мирских и служил управляющим тот жадноватый Александр Петрович Козюлеев. Поперёк лысины длинная прядь, ходил – брюхом вперёд. Граф – да и только! Характер – не мёд. Всю округу держал в суровой узде, испепелял. В начале XX века, разбогатев на барском имении, выкупил он у своих хозяев и село, и прилегающие к нему земли. Козюлеев и оказался последним владельцем княжеского поместья.

Хозяйствовал он прижимисто и ради той же экономии плотину на Кроме соорудил постоянную. Речушка наша судоходной никогда не слыла, но лодочки по ней, бывало, шныряли: то грузы какие с берега на берег перекинуть, то рыбаки зоревать спровадятся, а во время ярмарок устраивали прогулки на лодках.

Убогая Козюлеевская водоёмина превратилось в обыкновенное болото, топь – и вся недолга. Даже половики бабам на камушке подраить негде. А всё потому только, что полая вода не вымывала ложе.

В 1912 году один из помещиков Шеншинных построил в Кирово Городище новую школу. До этого-то к концу XIX века среди нашенского населения насчитывалось лишь девятнадцать процентов грамотных. Обучались они в церковно-приходской школе при Сергиевском храме. На сто женщин умели читать и писать только пять. Детей обучалось всего сорок процентов. Закончив земское училище, крестьянский сын не имел права поступать учиться дальше, правда, в армии он служил, получив свидетельство, меньший срок.

По рассказам бабки Натальи, сестры моего деда по материнской линии, которая в тот год пошла в первый класс, на открытие школы, первого сентября, прикатил на тарантасе сам барин. Привёз для детей мешок гостинцев, каждому ученику – по кульку.

А преподавала в новой школе после окончания Орловской гимназии дочка управляющего Козюлеева Феодосия Александровна. И другая его дочь – Анна Александровна, тихая богобоязненная девица, занимались обучением детей в нашей округе.

Со временем Кировская начальная школа преобразовалась в семилетку. В ней обучались детишки из многих окрестных деревень и посёлков: из Гавриловки, Красной ягоды, Мелихово, Чистого поля, Звягинцево, Дерюгинского посёлка, Старогнездилово.

**ФРОЛКА.
ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО**





бучался грамоте с десяти лет в Кировской начальной школе и дед мой Фрол. А до того, в самые малые свои годики сухой, как стручок, Фролка приловчался жить без родителей (надорванный горем отец его Иван вскорости, как сошёлся с Анфисой, тоже помер).

*...Ты скажи, скажи, моя матушка родная,
Под которой ты меня звездою породила,
Ты каким меня и счастьем наделила?*

Познав почём фунт лиха, парнишка был пристроен мачехой Анфисой «считать пчёл» на барскую пасеку, где сновал на побегушках у пчеловодов-бортников, досматривающих великое количество семей дуплянок. Гоняли мальчонку как Сидорову козу. Правда, большого ума не требовалось: принеси-подай.

Над родничком, через чистое всполье, неподалёку от пасеки, аккуратно с полверсты от москательни, установлен был голбец, на нём закрепили икону со святой двоицей Зосимой и Савватием – покровителями бортницкого дела. Каждый день Фролку отсылали возжигать свечку у этого образа. Пасечники полагали: кому как ни детской, безвинной, душечке следует присматривать за святым родничком. Чтоб не заилило песочком, чтоб не нанесло палой листвы с осенских осокорей.

Кроме того, каждый раз, как «скрутит» управляющего Козюлеева, самого Александра Петровича, радикулит, дед Прокопий, без чьего дозволения и пчела из улья не осмеливалась вылететь, приказывал Фролке тереть на мелкой тёрке с десятков чёрных редек, потом собственноручно отжимал из той кашицы сок, смешивал с луговым мёдом. Натрепав мальчишку загодя за вихор, упреждая, чтоб не разбил склянку, спроваживал Фролку со снадобьем к управляющему.

А коли, чего недоброго, разом разроятся вдруг несколько семей и не станет хватать рук, не успевают мужики огрести рои, то поставят и Фролку деревянным ополовником снимать с куста привившуюся к веточке, зундящую, клубящуюся массу.

Под рукой держал Фролку Прокопий и на тот час, коли приходскому батюшке возжелается монастырского медку. В обязанность парнишки входило собирать для этого мёда спелые

пишки хмеля с его дерябающихся зарослей на ореховой пасечной гороже и притаскивать ключевой водицы.

Дед разводил сложенную на вольном духу печку. Размешивал в чугуне мёд с водой и, приставив Фролку подкидывать яблоневые и вишнёвые поленца, кипятил эту душистую смесь на слабом огне часа три, не меньше. Потом, как заправский ворожей, он увязывал в реденький миткальный мешочек собранный Фролкой хмель, а с ним, для груза, камушек-голышик, прихваченный мальчишкой с родника, и опускал тот мешочек на час в медовый отвар, протомиться. Вода из чугуна выкипала, а Фролка, знай, подливал её по указке деда Прокопия.

Снимут они отвар с огня, процедят, залиют в стеклянную бутыль. Но не до самого верха. Потому что через пару дней что-то в бутылке том заворчит, зашипит и давай себе бродить. А как поуспокоится, заметил Фролка, тут Прокопий заварит крутой-прекрутой чай, да и выльет в посуд с полстакана. Готово! Процедят они ещё разок напиток тот, разольют по малым бутылочкам, и беги, Фролка, засучив выше колен штаны, на Поповку. Хотя... Прокопий сказывал: мол, коли батюшка выдерживал бы с год, не пригубляя, монастырский медок куда бы ядрёнее был.

Овладевая хитростями «сладкого промысла», наострился парнишка между дел по ночам под крёхт кузнечиков при блеске светлячков в зарослях жасминов, что окружали давным-давно задичалую барскую беседку, вскрывать дальние ульи, принуждая «кормилиц» делиться нашенским вкуснящим, разнотравным (из Плоцкой лощины, из Ярочкина лога) зеленовато-янтарным мёдом. Искушение – выше его сил! Заберётся в дальний угол, высосет через полую былинку-соломинку из сот медок – и вроде дель эта проказная вовсе как и не его.

«От пуза» перепало ему медку и четырнадцатого августа, на Медовый Спас. По распоряжению господ в этот благодатный день всяк мог прийти на пасеку отведать новолетнего мёда, а Фролке, привязанному к ульюшкам, и ходить далеко не надо, он тут как тут. Иногда дорвавшись до дармового лакомства мальчонке к вечеру на Медовый Спас становилось плохо. Прокопий знал, конечно, как вылечить прожору от его хворобы: доставал из чулана свой собачий тулуп, напяливал на Фролку, усаживал спиной к разведённому кострищу и заставлял пить чай, пока пот не пойдёт рекой. С бедного парнишки пот катился градом, он и сам уже был ничему не рад.

Хныкал, мол, вовек капли мёда в рот не возьму, но терпел, знал: с дедом шутки плохи, приказал потом изойти – умри, а наказ его выполни.

При первом заборе мёда поручалось Фролке, стоя у медогонки, распевать вызубренный загода стишок:

*Дай, Господи, хозяину многие лета,
Долгие лета – многие годы.
А и долго ему жить, Спаса не гневить,
Спаса не гневить, Божьих пчёл водить.
Божьих пчёл водить, ярый воск топить,
Богу на свечку, хозяину на прибыльь,
Дому на приращенье,
Малым детушкам на угощенье.*

Спас мальчонка любил и дожидался – хотя бы уже из-за того, что мачеха Анфиса, благообразная христианка, помня о подвиге семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, пострадавших за веру праведную, выпекала спозаранку постные пряники «мачники» и «маканцы».

Десятого же октября, на Савватия Пчельника, когда пчелиный заступник закрывает медовую страду, завершая последнюю в году пчелиную девятину, была у мальчишки особая обязанность. В этот день с утра пораньше должен он отправляться в церкву и день напролёт, без передыху, стоя на коленях, горячо молиться пчелиному заступнику. Ведь исстари медовый промысел считается у нас одним из тех, что требует нравственной чистоты и праведной жизни.

Средь взрослых пасечников, видать, никто своей безгрешностью похвастаться не мог, поэтому отсылали мальчика Фролку молиться о процветании и благополучии медовых старателей. Зачастую пчелиные семьи, не выдержав холодов, даже в утеплённых омшаниках погибали, летом несчётно роились – видать, не так уж безгрешен был и Фролка-молитель.

Хоть и жизни сызмальства ему не выгорело – возрастал в сиротстве, хоть и студёно было ему, словно зимнему опёнку, говорят, был он не без балагурства, любил повалять дурака. Ещё в сопливые лета, сгуртовав деревенских мальцов, не ведая устали, участвовал он в диких набегах на охраняемый дедом Яшкой барский заказник Порточки. Пошумят «подсадные» на краю чёрного ольховника,

изъеденного «наушшал» жучками, отманят сторожа, а вся ватага кинется в орешник, обдирать лещину, затаившись во всех его кустах.

Речи нет, не раз ловили его и в барском шафраннике, вытряхнув из-за пазухи яблоки, покорно просим – охаживали крапивой, давали жару... и давали хорошо, так, что потом (на душе парши-иво!) день сидел он, потенькивая, как побитый воробей, окунув зад в Рекошетихин чугуи с оттопленной мятой. Мачеха, сморщив лоб, нет бы взглянуть косо, а она – жалеючи, вздыхала, шептала, утирая краешком платка на щеке слезинку, помня, что в годы детства воспитывается сердце, и дитя подобно воску: «Ну-ну! Цыц, уж помалкивал бы! Ремня бы тебе задать, да рука не подымается на сиротинушку! Када ж ты за ум-то возмѣшься? Ох, ты Господи, Творец Праведный!.. Да-а, без деток – горе, а с ними – вдвое».

Ещё, бывало, и трава на бугре не попрѣт, а уж Фролка нахватает на ручье «цыпок» – давай, Анфиса, вызволяй! А той наука эта знакома: обвяжет мальчишке ножки верѣвочкой, пошепчет, снимет верѣвочку – и в песок, в погреб. Как сгниѣт тот поводочек, так и цыпки отойдут.

К Покрову, как первый ледок затынет торфяные ямы в Ярочкином логу, гонял Фролка с игинской детворой на самодельных коньках, прикрученных палочками к пробитым шашалом валенкам. Трусоватые в эту пору на каток не ходили: октябрьский лёд настолько хлипок, что еле-еле выдерживает одного. Приближаться друг к дружке мальчишки остерегались, чуть что – тащи слегу – вызволяй из копани сотоварища.

Но было в этом катании по первому льду что-то особое, всегда манящее озорную мальчишью душу: летишь с горящими глазѣнками, а сердчишко ёкает: чуешь, как пораненное лезвием коньков хрупкое стекло под твоим весом расплзается на мелкие трещинки-паутинки, прогибается, ходит от берега до берега крупными волнами. Но какая-то, чудом хранимая, тончайшая связь не позволяет этим волнам надломиться, вздыбиться, обрушиться, увлекая в трёхметровую глубину дерзкого пацанѣнка.

В общем, рос Фролка обыкновенным деревенским мальчишкой: вцепившись в гриву отбившегося от табуна воронка, мчался охлюпкой по игинским холмам; под горячими валунами, дымящимися, словно печѣные караваи, на ручье Жѣлтом ловил меньков; играл в незамысловатые мальчишьи игры. Об этих играх сказ особый. Фролка был на них куда как горазд, ох и ловок!

Ну, какие-такие по тем временам у хуторских ребятишек забавы? Разве что «ножички»? По началу-то у Фролки и ножа своего не водилось. Ох, и завидовал он тогда своему дружку Федыке! Дикой завистью! Тому-то батяня в Кромах когда-когда ещё прикупил ножик – предмет особой мальчишней гордости. Но перед самыми именинами, на десять годков, как шли они с мачехой от причастия, подластился Фролка к Анфисе и выпросил-таки себе подарок, которому подивилась, было, и сама Рекошетиха, но уступила. С тех пор Фролка даже ночью не расставался с драгоценной вещицей. Заснёт – ножик в руке зажат, и никакими силами не отобрать.

А игра в «ножички» – простецкая, проще не придумать. Поведаются мальчишки кулачками на лозинке, чей верх – тот и начинает, бросает ножик в землю двумя пальцами, потом тремя, четырьмя, в конце – щепотью, чтобы он воткнулся. Потом игрок кладёт нож поперёк кулака, затем – на ладонь и кисть да с них бросает. Следующий трюк – надо воткнуть ножик в землю, взяв за кончик и приложив к губам. После – со лба. А в конце – исхитрись сбросить нож с головы. Каждый раз лезвие должно войти в землю. Для проигравшего придумано наказание – вытаскивать зубами чуть видимый, забитый в землю тонюсенький колышек. После Рекошетихина подарка натренировавшемуся Фролке уже никогда не приходилось больше под улюлюканье дружков вытаскивать тот злосчастный колышек.

Если Фролку отпускали с пасеки, а Рекошетиха не успевала придумать для него «какую-нибудь дель», мальчишка нырь в лаз ореховой горожи, шасть кубарем с горы на ручей, где ребятня обреталась и зимой, и летом, играла в «мушку» и в «чушки», в «ветчинку» и в «шар или касло», в «лапту».

Но больше всего любили «чижа». Прежде всего, как и перед началом любой подобной игры, ребятишки конались, а потом уговаривались: если кто не сделает десять ударов палкой по чижику, то сколько раз должен бегать на кули и скачку? (Кули – означало бегать от круга до упавшего чижа, при этом кричать, не переставая: «На кули, кули!» Скачка – тоже беганье, правда, на одной ноге, не перемежая её и сгорбившись).

На прожаренном песочке, а в холода – на снегу чертили круг. В круг вкидывали «чижика», или «чижа» – заострённую с обеих концов палочку (длиной в ¼ аршин). Били по порядку. Первый играющий лупит по чижику с одного какого-либо заострённого конца

и старается уже в воздухе «подбить», сделать ещё несколько ударов, и отбивает. Так и бьют все игроки по порядку. Надо сказать, что за отбитым чижином бежит следующий игрок. Положив чижу в круг, он бьёт его так же, как бил первый, а за его чижом бежит уже третий игрок и так до конца игры.

Везунчик (тот, кто скорее всех сделает десять ударов), оканчивает бить по чижу и первый принимается бить на кули и скачку (но только лишь после того, как все игроки по очереди сделают по десять ударов). Несчастливый, не сделавший десяти ударов, бегаёт, как щенок, за палочкой – чижином, подаёт его каждому, чтобы бить, и, обращаясь к кругу, непрерывно скачет и кричит: «На кули, кули!»

Но, когда мальчишки надумывали играть в «бабки», тут, увлекшись, забывали обо всём на свете. Сами игрушки «бабки» изготавливали из подкопытной кости. У деревенских мальчишек был налажен даже «бабочный» промысел. Сыщёт паренёк кость, притащит домой и возится с ней: выскоблит, выварит в кипятке. Самая большая и тяжёлая кость предназначалась для биты (Фролка измудрился, выменял себе за несколько бабок битую, налитую свинцом).

Игра в бабки не требует особого ума, правда, ловкость в ней никому не помешает. Если сказать коротко: каждый игрок ставит несколько пар своих бабок на ровном месте в один ряд. (Пары бабок называют «гнезда», а все вместе они составляют «кон»). Чтобы выяснить, кому начинать игру, участники бросают из-за кона битки; чья упадёт дальше, тому и первый черёд. Случись, кому повезёт, собьёт несколько гнезд и заберёт их себе. Проигравший бежит искать и вываривать новые косточки-бабки.

А как вошёл Фролка в силу, ему полюбились уже совсем другие игрища: коноводствовал среди игинских парней, подзадоривал их на кулачную. Одним словом – оторви да брось. Хоть в юные годы свои был он не раз порот мужиками за озорство, хоть и брали его в оборот, дёра эта с него – как с гуся вода. Вдругорядь ещё хлеще чего не того отчебучит.

В семейной памяти хранится смешная история из его юности... Был грех!..

Приехал как-то из соседней деревни погостевать, подхарчеваться на Сергов день к его мачехе брат Фома, борода – в пупок, выпить не дурак. Как полагается, угостила она его, чем Бог послал: яишню

наколотила, огурцов новолетних в кадушке наловила, груздочков чёрнорылых накроила, чесночком поспособила. Выставила для родимого братца и свойской, не без этого.

А мужик, видать, возможности свои не подрассчитал, закосел, ну, так не зря ж говорят: «Наш Фома пьёт до дна». Одним словом, в очередной раз его бес попутал. Пока собирался до дому (гостинцы сестра готовила), Фролка-хитрован, душа пересмешная, глаза нахальные, настезь распахнутые, устав от престоловского безделья, решил повалить дурака, попотешиться: распряг кобылу, подкатил телегу к грушенке, что вымахала посередь двора (высоченная, глянесь – шапка с головы валится). Заложил коня в оглобли так, что дерево оказалось между кобыльим хвостом и телегой, запряг.

Набедокурил, начудесил, попробуй перешути его, и, глядь-ка, уселся от греха подалее по-татарски на завалинку. Отсыпал в горсть осьминку табаку и давай скручивать козью ножку. Курил-то он с самого щенячьего возраста: сопрёт с печного кожуха у мачехи спички, у деда Рекошета слямзит на чердаке из пука сушёный табачный лист, раз – и в оwin. Лежит – потягивает, рядом, в лопухах, друг его Трезорка во сне мух пощёлкивает, шевелит рожками над сомкнутыми глазками, чуть приметно улыбается.

Вот и сейчас покуривал шkodник, наблюдал исподтишка, краем глаза, за гостем, собравшимся отчалить восвосяи. Ни слова, ни полслова, мол, я тут не причём, чего зря лаяться – «нация у кобылы таковская». Хмыкали, похихикивали, прикрыв рты кончиками платков, и молодухи-соседки, усевшиеся было с ним рядышком на гулянках полузгать горсточку-другую подсолнушков, осыпать шелухой свои расшитые петухами-курами завески, избитый пяточок суглинка супротив завалины, а заодно поделиться свежими сплетнями друг о дружке.

Вот было мороки! Ничего не соображающий мужик вышел, что Мартын с балалайкой, на подворье, зевнул, набожно перекрестив рот, шикнул на снующих под ногами кур. Ныло пропитое нутро, по голове били кувалдой. Подпершись в боки фертом, под маты-перематы бормотал себе что-то под нос. Затем, вытаращив осоловелые, мутные от самогона «пуговицы», поманил парня согнутым в крючок пальцем (очень уж руки чесались кому-нибудь подзатыльников отвесить), хрустя малосолом, пожучил.

– Ё-моё! Люди милаи! Святой Микола! Энто как жа так? Ить за энто и на казённое содержание спровадить могут! Ты, дурносмех, вон у ентого байкового кота учися, – и, икнув, кивнул на Анфискиного Хамкă, – када ему делать нехрена, он бубенцы лижет! – подтасовал пьяненький мужичонка, усевшись обочь шалолая в расстёгнутой на обседевшей, кудрявой груди пропотевшей в подмышках рубахе, – э-э-э, никакой надёжи на тебя нетути, Хролка, фетюк ты эдакий, один страм с тобой! Выдрать бы паршивца как Сидорову козу, да горбатого, видно, тока могила исправит. Толкуют же тебе: кому ты такой надоть? Кады ж ты, ей-богу, за ум возмёсси-то?

– Дён через пять! – выпалил Фролка и озорно подмигнул бабёнкам (праздновать труса он не привык, у него не задержится!).

Ни убавить, ни прибавить. На том полюбовно и разошлись.

Фома стащил с хода охапку обмякшей травы (наверх взобраться ему – ни за какие коврижки!), кое-как притрусил под ним, в тенёчке, и, не успев смекнуть, что речи его для Фролки – всё равно что глас вопиющего в пустыне, кинулся на люпины-клевера и задал неслыханного храповицкого!

Правда, и в работе с малых лет Фролка взрослым мужикам не уступал. Хоть и души в нём не чаяла Рекошетиха, но «разбаловуха», растопырю не растила. Так добрые люди сказывают: учи, покамест поперёк лавки лежит. Чтобы дурные думки парню в голову не лезли, чтоб пнём Божьим не рос, пользовалась баба верным способом: заставляла с мыслью об их избавлении вбивать в стену гвоздь или кол в землю (вбивать, вынимать, вбивать, вынимать...). Для пущего досмотру (фефёлой она никогда не слыла) усаживалась, спокойная, как пень, при этом на лавку насупротив, ласково приговаривала: «Ну не-ет, касатик, меня не омманешь!»

Одним словом, не только кормила, но и окормляла. И к мужижкой доле приучала: «Вить возрастёшь, посыпятся на тебя, как на бедного Макара, шишки, только спину подставляй! Слухай да на ус мотай, покуль я жива».

А как на земле иначе-то? За сохой мужик должен уметь ходить? Должен! Коня обихаживать, косу отклепать, со скотом, опять же, управляться. Топор в руках держать – тоже не последнее в крестьянстве дело. И на покосе сноровка нужна: и скосить, и стог сметать. Да сколько ещё в хозяйстве дел-то, край непочатый!

Судьбинушку свою, крестьянскую, не объегоришь. Некогда лягушек бить!

Сказывают, Фролка дармоедом, олухом царя небесного и не слыл, до всякой работы смолоду был по-мужицки жадный, «рукастый». Кроме того, уже в юные годы работал по найму, обслуживая маслобойки.

Поехал он как-то в Гороня за дровами, а дело было к осени. Глинистая дорога – надёжа по той поре плохая. Возьми коняга да и ошмыгнись, подверни ногу. Пожалел Воронка Фрол, впрягся сам, не скинув ни дровины, так полон воз до дому и дотащил. Хоть и коренаст, а, видать, силёнка в жилах играла, сдюжил, не сломал хребет.

Праздношатность, балтёжность у крестьянства никогда не была в почёте, потому как жизнь в ней не может быть чистою, и сама она – мать скуки и многих пороков, корень всему злу. Потому и прибаутка: «С долбилком – не мы, с молотилом – не мы; а попить, поплясать – против нас не сыскать», – не про наших мужиков, не про доброго хозяина, которому некогда бить баклуши, предаваться безделию, который утирал на своём клину немало поту. У нас, скорее, скажут: «От гультайства да лындовства дурь наживается, а в труде воля закаляется».

**АНФИСА.
СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ**





удьба деда моего Фрола – не тихий майский вечер, а уж о женитьбе его до сих пор вспоминают да посмеиваются у нас за семейным застольем.

Анфиса Рекошетова, мачеха Фрола, баба бездетная, пасынка своего любила, будто сама под сердцем носила. Растила на старость себе печальника, на покон души помянника. Была она старых, крепких порядков. Благочестивая – ни обедни, ни заутрени, бывало, не пропустит. И к 1915-му, когда мужа не стало, а парню шёл аж двадцать первый год (у нас женились в восемнадцать-девятнадцать лет), засвербело в её мозгах, проела пасынку всю плешь за его холостяцкую юдоль, издёргалась вся: мол, кто ж за тебя, перестарка, пойдёт? Девки, небось, перелузгивают: Фролка у Рекошетихи не иначе – порченный. Истрепала всю душечку из-за тебя тоска.

Капля камень точит. Попытав, нет ли у него самого какой любушки на примете, мачеха удостоверилась, что голова у парня забита всем, чем угодно, только не «юпками», он и палец о палец в этом деле ударить не желает, ни тпру ни ну. И Анфиса рьяно взялась за «обустройство Фролкиной жисти». Пасынку даже посидеть на пороге не давала: мол, не след холостым ребятам в дверном проёме рассиживаться, а то ни одна девушка замуж не пойдёт, в дверях остановится.

Перво-наперво озадачила она своих кумушек-соседушек провести дознание: в какой ближней деревне да в чьём дворе девки годов шестнадцати-семнадцати на выданье. Хоть по нашенским меркам пасынок почти бобыль, а всё-таки невесту желаемо не перегулявшую, молодую, красивую и, что немаловажно, работную, ровню будущему мужу. Ведь сельская свадьба – это ещё и определённый хозяйственный акт, приём в семью, в хозяйство, работника и продолжателя рода.

Ни в Игино, ни в Кирово Городище, на Анфисин цепкий взгляд, невесты для её Фролушки не сыскалось. «Все до единой – не пришей кобыле хвост», – перебрав в уме девчат, заключила привередливая баба. А вот верстах в шести, в деревне Волчьи Ямы, сказывали, у Сергея Желудкова, мужика зажиточного, но «бракодела», на дворе водился целый табун девок подходящего возраста (и только один-разъединный сынок).

Волчьи Ямы – деревушка беспорядочная. Как раз о такой и говорят: «Чёрт её в решете нёс да и растрёс». Раскидал он её

недалече, по каким-то волчьим ямам, от которых и след простыл. Рекошетиха сыскала в той деревушке родню, на седьмом киселе замешанную. Как не сыскать-то? В наших краях все друг дружке так или иначе родичи. Вот и повадилась она приходить к тем-то сродникам то по делу, а то и не понять зачем. И дневала, и ночевала там. И всё – мимо Желудковой хаты, мимо Желудковой хаты, пока дочек Сергея Алексеича всех до единой не пересмотрела. Сходила и на корогод, на гулянку, в Престол день.

Копалась, выбирала. На Татьяне остановилась. Смекнула, мол, и загвоздки никакой не станет – девка в самом соку – старшенькая, восемнадцать да с хвостиком сверкнуло – пора! Ой, как пора-а! Глянулась ей Татьяна. Как не глянуться-то? Статная, красовитая из себя, крепкотелая, коса пшеничная. Про такую говорят: мол, коня через брод перенесёт. Не смотри, что лицо крупно обсыпано веснушками и радостью, – при её-то конституции – хоть детей вынашивать, хоть в работу (вилами на скирдовке, ой, как ворочает!). Опять же – покладистая, не языкастая – всё глаза к земли убирает, всё ими, будто тёлочка, похлопывает. Да и рукодельница, сказывают, знатная. Народ ведь зря трепать не станет.

Лучше жены для Фролушки и во сне не снилось! А ольшанки? Так супротив них у Рекошетихи и заговорчик имеется: «Господь всемогущь – истина! Иисус Христос мученик – святая правда! Так я огнём очищаюсь, пятна с тела прогоняю. Вон уходите, красоту мне верните! Ключом запру замок, где слова свои спрячу. Моё дело скорое и верное! Аминь!» Анфиса даже «от глазу» по столешнице постучала да через левое плечо, за которым чёрт-искуситель прячется трижды плюнула (через правое-то нельзя, любой православный помнит, – за ним Ангел-хранитель стоит).

Рекошетиха, воспитав пасынка с самого малого возраста, полюбив его беззаветно, приняла на себя и материнскую ответственность. К тому же сын, знамо дело, – домашний гость, корми его да пои – тебе же пригодится.

По стародавнему укладу, уж так у нас повелось, родители или люди, заменяющие их, должны подготовить детей к будущей жизни, позаботиться об их браке, сыграть свадьбу.

Свадьба – древнее славянское «святъба», «связывание», обряд связывания женщины с мужчиной из другого рода. С течением времени свадьба обростала множеством ритуалов. До сих пор

представляет она собой смесь языческих обрядов и христианских традиций.

К женитьбе и замужеству в деревне вообще всегда относились очень ответственно, всячески осуждая тех, кто не вступал в брак в установленное время. Считалось даже, что люди эти серьёзно нарушают законы крестьянской жизни и обычаи предков.

Почитая Даниила Заточника, у нас смолоду девушку наставляли его речами: «Хорошая жена – венец мужу своему и беспечалие, а злая жена – горе лютое. Червь дерево точит, а злая жена дом своего мужа источает. Злая жена жизнь своего мужа погубит».

Жизнь русских крестьян испокон веку состояла из трёх периодов: расту сам – ращу детей – воспитываю внуков. Православие внушало нравственные основы: «Создавай свою семью. Зарождайте и растите детей своих. Воспитывайте их так, чтобы они позаботились о вашей старости».

*Три родные сестрицы на улицу идут.
Как сестрица сестрицу спрашивает:
«Каково тебе, сестрица, за старым жить?»
– Мне за старым жить – только стариться,
Только стариться да печалиться!»
– Каково тебе, сестрица, за малым жить?
– Мне за малым жить – только век должить!
– Каково тебе, сестрица, за ровней жить?
– Мне за ровней жить – всё скакать да плясать,
Всё скакать да плясать, да таночки водить,
Да таночки водить, по сговорам ходить.*

Слушая сызмалу на гулянках эту старинную песню, девки у нас наперёд знали, что жених должен быть старше невесты на два или три года. Хотя... «суженого и конём не объедешь», «всякая невеста для своего жениха родится».

До 1830 года в России определено было венчать мужчин не ранее пятнадцати лет, а женщин – не ранее тринадцати, но впоследствии Высочайшим указом запретили венчать браки, если жениху нет восемнадцати, а невесте – шестнадцати лет.

Засутилась Рекошетиха не на шутку, порешила во что бы то ни стало, а на Покров Фролку «окрутить». Она хорошо помнила, что браки не венчаются накануне среды и пятницы; накануне воскресных

и праздничных дней; с пятнадцатого ноября по шестое января; от недели Мясопустной (Масленицы) до Фоминой недели (Красной горки); во весь Петров и Успенский пост; накануне двадцать девятого августа и четырнадцатого сентября. Сообщила парню о своём решительном намеренье, чтоб, мол, «не брыкался», был к тому готов, потому как жена – не рукавица, с руки потом не сбросишь.

Понимая, что дело затевалось наиважнейшее, одной его не поднять, не сидела склавши руки, собрала «большуха» немалый семейный «сход». На совет призвала своих многочисленных братьёв, сестриц, кумовьёв да сватьёв. Фролку же до поры до времени спровадили на дела – ему в том «сходе» участие не полагалось, но и дурью маяться – не след.

Испокон веков созывались на Руси по такому судорожному случаю сородичи. А как же иначе? Дело-то серьёзное – судьба, почитай, решается. Поэтому важно, прежде чем ехать свататься, многое знать: и поведение, и здоровье невесты, и имущественное положение её родителей. За редким случаем крестьянский парень, превозмогая чувство собственного достоинства, женился, чтоб карман починить, брал в жёны неровню. Не зря же бытует поговорка: «Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться». Зачем себе век заедать? По холопу – барин, по Сеньке – и шапка.

Крестьянское хозяйство и по сей день отчасти натуральное, а в былые времена чего только не должна была уметь девка на выданье, ведь дом вести – не рукавом трясти. Совать руки в карманы – и думать не смей! Здесь же, на совете, определяли свадебные расходы, прикидывали и барыши – размер приданого, которое могли бы дать за невестой.

Родословная невесты перебиралась до седьмого колена – а вдруг какое кровное родство сыщется, да пойдут детки убогие, а то и вовсе – перемерут? Немаловажно – трудолюбива ли семья, не водятся ли в невестином роду пьяницы или какие непутящие. Самому же скрупулёзному разбору подвергалась девица: и её внешность, и качества характера, от которых зависели добрые отношения в молодом семействе. Да и раньше ведь строго было насчёт девьей чести. Не дай Бог ворота мужику в девках открыть! Ведь ходит же в миру поговорка: «Не бери жену богатую, бери непочатую».

Хотя... Сказывают, водились среди нашенской молодёжи ещё во времена прапрадедов, прямо-таки сказать, не совсем скромные забавы, сохранить целомудрие во время которых, как мне видится,

было не совсем просто. Правда ли? Враки ли? Но перешёптывают, мол, на гулянье, бывало, самый видный парень повязывал на своё причинное место алой лентой бант. А девчата должны были зубами ли, губами развязать тот бант. О вознаграждении за тот смелый поступок могу лишь догадываться... А может, ошибаюсь, потому ни вслух сказать, ни написать не смею.

Досужая Фролкина мачеха Анфиса – не какая-то вам бесполденная Арина – сразу быка за рога! Не стала затягивать и в следующее же воскресенье, помня, что дела будут успешными, коли начаты до восхода, спозаранку, ещё и не зарозовели у Макеевой хаты гроздь белых акаций, снарядила в Волчи Ямы свахой куму свою Настасью, бабоньку форсистую, а уж языкастую-у! «Не выбирай невесту – выбирай сваху!» Настасья – сватья спорая, вмиг сговорилась с Желудковыми. Будучи сватьей знатной, она не получила ни единого отказа, нет для неё на свете ничего невозможного.

Войдя в избу Желудковых, перво-наперво помолившись на Божницу, поклонившись на все четыре стороны, Настасья спросила хозяина. Сергей Желудков рад-радёшенек, смекнув: ой, неспроста явилась в его дом известная в округе сваха. Следуя русскому обычаю, вступил в изначальный разговор. Глаза его, стариковские, глядели спокойно и мудро.

– Откуда Бог несёт?

– Из дальней сторонунки, дорогой мой суседушко, я нарочно сюда прибыла и, вестимо, не без дела.

– Просим милости, – предложил хозяин Настасье место на лавке.

– Благодарствуем, – продолжала разговор, что гладью вышивала, сваха, -прибыла я к вам по делу, вестимо, по делу, суседушко. Люди добрые сказывают, есть у вас товарец продажный, вот и ладненько, вот и дай Господь вам здоровьца, а у меня есть купец. Сказывают: товар у вас дорогой, хороший, не лежалый. На такой товар и купец нужен богатый. Есть у меня такой на примете – хороший, неженатый.

– Дай Бог, в добрый час, – понимая, куда клонит Настасья, дал согласие на продолжение разговора хозяин. Коли не хотел бы дочь отдавать – и слушать бы не стал, прямо бы и объявил: товар, мол, ещё не готов, или – товар не по купцам. Правда, дочь, известное дело, сокровище чужое. Кормишь-поишь, а всё равно чужому дядьке отдай.

Кашлянув в кулак, поинтересовался Лексеич (для поддержания разговора) и родителями «купца».

– Батюшку Бог забрал, а матушка жива-здоровая, твоему семейству кланяется, себе сынка вырастила, а меня ему невесту искать выпросила, – тараторила сваха, – сторонушка наша православная, не басурманская, не венчают у нас без погляду, – запросила позволения приехать с поглядками.

Пока велись разговоры, накрыли стол, а как накрыли, так и принялись за малый пропой, наметили предстоящее дело пока что белыми стежками.

Воротившись в Игино, хоть и изрядно во хмелю, и, смущая благочестивую бабу Анфису крепко присоленными прибаутками, но, сняв с головы подшолок, утерши им распаренное лицо, белую полную шею, сватья с большим толком доложила Рекошетихе, на каких условиях отдадут невесту, с каким выводом и приданым. Сообщила и о том, что плевать в потолок да рот разевать особо и некогда – в ту-то пору, а точнее, через неделю станут дожидаться родители невесты Анфису с пасынком на «сговорки», свататься. У нас этот обряд ещё «большим пропиваньем» называют.

В условленный день и час колотили сватавшиеся – легки на помине! – в ворота невесты. Заполошный слух, дескать, у Желудковых «пропивают» Татьяну, вмиг облетел Волчьи Ямы. Известия подобные у нас всегда действовали, как огонь на сухие берёзовые дрова. Сбежались – глаза пучат – зеваки-односельцы со всех дальних концов. Из Кривого урынка, а это почти за три версты (откуда только прознала?), отмыв «от бакши» заскорузлые пальцы, поменяв засаленный сарафан на «престоловский» – а гори всё синим пламенем! – прискочила, разрядившись в пух и прах, охочая погулять чёрт-баба Коробчиха. Зашевелилась деревня, загудели парни, зафорскали девчата. Сыр-бор!

Игинские гости, напоминая о данном Желудковыми слове, постучались в нарочно запертую дверь. И пошли «ломать комедь», и разговор зажурчал.

- Кто тама? – поинтересовались из избы.
- Проезжие добрые люди.
- Кого надоть?

– Впустите, хозяйва́, обогреться, с дороги сбилися, перемерзли, за коромыслами рябиновыми на ярманку ходили.

– Из каких краёв будете? – брякает крючок, Желудковы отпирают двери, впускают сватов, – ну, коли продрогли – выпейте водочки, – подносят полный стакан (и выпить надо до капельки – чтоб комар ножки не замочил!)

– Водка водкой, – угостившись, продолжают гости, – но не об том нынче речь. Как сказывают старики: пей да ума не пропей, и дело разумеи, – радеет «командёр» сваха Настасья, а сама вокруг невесты круги нарезает, словно поп вокруг аналоя, с ног до головы девицу осматривает, и промежду прочим всё жениха-то до небес, донельзя, нахваливает, «пыль в глаза пускает».

Наконец, испросив дозволения у невесты, сваха, шуманув на глазевших, чтоб с мыслей не сбивали, под руку не лезли, вводит Фрола в избу. У порога стоит приготовленный по такому случаю, для чудачества, «голик» (истрёпанный веник). Сваха Настасья знает, что с ним делать, – прометает им дорожку от дверей до невесты и по этой дорожке проводит Фрола к Татьяне.

...Уж и сладился, было, почин делу, уж и сговорились родные о свадьбе (протолковали три часа к ряду), всё бы ничего, да только не удержался-таки Фролка, «отколол фортель», покуражился.

Невесту-то свою он в тот день впервой увидел. (Слово «невеста» означает «неизвестная», «неведомая» и указывает на русский обычай, когда жених мог видеть девушку только на свадьбе. А коли жених неказист, куда бедняжке деваться? Так ничего – в народе говорят, мол, стерпится-слюбится; мужик – коли чуток покрасивше чёрта – уже красавец).

Вроде, и хороша девка Татьяна, ядрёная ягодка, не обидел Бог здоровьицем, и всё при ней, а только Фролка возьми да положи глаз на её сестрицу Наталью. И когда он только успел её высмотреть? Когда зародилась в нём та страсть, что оказалась сильнее Анфискиных уговоров? Правда, Наталья как вторая из дочерей и на стол помогала накрывать, и гостей привечать. Одним словом – крутилась на глазах, на виду.

– Ой, детинка моя милая, где ж ты был?

Где ж ты был?

– А я был-побывал, молодой жены искал.

За столом дубовым я сидел,

На хорошую Натальюшку глядел.

А разубранная Татьяна сидела всё это время под полатями, в «куте». Так уж по обряду нашему русскому положено.

Как стукнула, значит, изнутри щеколда, заперли дверь, да задвинули свечу перед иконой, помолившись Богу, уселись за стол. Тут Фролка заёрзал на скамье, как на гвоздях. Крепился-крепился, сидел-сидел, хватил стопку, а скорее – стакан по самый Марусин поясок, смелости насобирает, да вдруг возьми и, всем на удивленье, смешай Рекошетихе козырные карты. Отдайте, мол, за меня вашу чёрненькую! Не знаю, как кличут, но уж больно понравилась.

Аж всех в дрожь бросило! «Вот оно! Не начинай дела, конец которого не в твоих руках. Теперь об этом конфузе надует людям в уши, стыд-то какой, Господи! – предчувствуя, что все её задумки рассыпаются в прах, вскинула руки, скривила нос удручённая выходкой пасынка Анфиса, – а я-то гадала, к чему бы? Ить какой день рябуха то петухом распеваает, то на насесте кудахчет, нет мочи. Так и есть – к несчастью, к ссоре! Как итить на попятную?»

Хоть и знала Рекошетиха, что за двумя зайцами погонишься – от обоих по морде схлопочешь, что кипятком кипятком не остужают, но толк пасынка в бок (готова сквозь землю провалиться, стыдно, хоть давись!) и громким шёпотом давай ломать колья! Мол, растила-выхаживала тебя, а теперь, значит, не указ? Что ж ты морду-то воротишь? Белены сёдни, что ли, обтрескался? Али мозги у ты не в том месте? Дурь всё! Христом-Богом прошу: чепухи не городи, что там может глянуться? Разуи глаза-то – на кой шут, прости Господи, таковская сдалася – лягуха лягухой! От такой-то бёгом бежать, криком кричать! Одним словом, билась мачеха за Татьяну смертным боем.

А потом, что её ещё горше в девке вывело из себя, окончательно уронило Анфисин дух, – не в ряд Татьяне, куда как неказистой: длиннющая, что жердь, худющая-а! Не в коня корм! Глякось, какая ягодка – собаки пугаются! Сухарь постнай супротив булки сдобнай! Слега слегой! Правда, глазищи – в пол-лица! Так и жжёт! Так и ест! Какая-то дикая красота! И коса, не как у Татьяны, – жуковая, но богатая – в землю! И походка лёгонькая – до полу ножками, будто из милости дотрагивается. Не идёт – пташкой порхает).

А во Фролкину душу прямо-таки свет хлынул! Прямо Ангелы в небесные трубы грянули! И когда только успела возыметь над ним девка чародейную силу?!

Догляделся и, само собой, ну норов показывать, утороку не сыскать! Зафордыбачился – не свернуть! И так его уговаривала мачеха, и эдак. И на ушко шепчет, и в сенцы переговорить вызывает,

и на улицу выводит. Но не тут-то было! Дал парень мачехе вышептаться, выкричаться и знай на своём стоит – филином хохочет, зубы голит, цветки тростинкой сшибает, нет и нет, ни-ка-да! Покраснел, словно рак, упёрся на своём: «Да чего ты мне всё рот-то затыкаешь? И душу тожить всю истыкала. Уж коли жениться, так только на Наталье! Вот те Бог – из рук её – хоть мёд, хоть яд, а коли Татьяну в снохи хошь – дожидайся, када рак на горе свистнет!» – на том и отрезал.

ВОЉНОМУ ВОЛЯ!





ергей Алексеич прикидывает: «Охальников да кобелей – полным полно. А девка – такой товар, вовремя не продашь – прогадаешь, залежится, прокиснет. Всё одно – когда-нибудь сбывать со двора придётся. Чем скорее – тем лучше! Их вон, дочерей-то, – цельный корогод! Глядишь, улягутся страсти-мордасти».

Полупросватанная Татьяна, дурёха, в сенцах – в рев, сердце стучает на весь белый свет, сама себя не помнит, ладони, словно лёд, сама – бледнее снега, аж круги под глазами пошли. Сначала, было, надумала брякнуться в «оморок», но потом спохватилась и, не сказав поперёк ни слова, порскнула тишком, побежала во всю прыть по молодым лопухам, по зарослям болиголова, неслась, сломя голову, как на пожар. Схоронилась от стыда в сеннике за старыми, прошлогодними берёзовыми вениками. Попадись кто на пути, змеёй подкольной сторяча куснула б. Ну так кому неизвестно: в тихом омуте черти водятся!

Невесть что у Желудковых творится! Ходуном подворье ходит! Видно, солнце завтра с другой стороны взойдёт. Ну, так куда ж поперёк поговорки вступать: «Насильно мил не будешь!» Остаётся девке дожидаться любви встречной.

И озадаченный батька (руки не опустили, тут же спохватился) даёт согласие на Фролкину прихоть. Куда ж деваться-то, раз жених заупрямился, генералом ходит, а то и вовсе никакую не возьмёт!

Раз шиворот-навыворот пошло, плачем горю не пособишь, нужно дело делать, – теперь Наталью спровадили «в куть». Зарделась девка, глаза свои васильковые, зазывные, обрамлённые чернющими ресницами опустила. Рядом с ней на лавке приседелась нанятая ещё для Татьяны «вильница» и рассиропилась, завела «невестины» причитания. Как не попричитать, коли всякая девка у нас помнит: «Не плачешь за столом, будешь плакать за столбом»?

*Не давай, кормилец-батюшко,
Ты своей-то руки правыя
Моему-то злomu ворогу –
Свату, к тебе заманному.
Не зажигай-ка, родимая матушка,
Свечи воска ярова,
Не молитесь вы Богу-Господу,*

*Не сгубляйте красу девичью.
Мало я-то у вас, желанные,
Пожила, покрасовалася,
Со подружками поводилася,
Мало я у вас нагулялася
По темным лесам дремучим,
По полям, лугам зелёным;
Мало я-то у вас порядилася
В дорогие платья цветные.*

И вдругорядь, полушутя-полувсерьёз заводится разговор:

– Ты, сватьяшка, к нам приходила?

– Приходила.

– Речи наши переводила?

– Переводила.

– Приходится нам ударить по рукам, выпить винцо да и слово дать крепкое, верное.

Судили-рядили, пока не столковались по новой. Стотовили договор: сколь постельного шло за стоворёнкой, сколь скатертей, платьев, домашней утвари. Обычно приданого, которое готовила сама невеста и её матушка: десять рубах, десять сарафанов, пятьдесят ручников одинарным да двойным «болгарским» крестиком (по большей части с любовными голубками, повёрнутыми друг к дружке крошечными клювиками да с Житной бабой за-ради благоденствия и здоровья семьи), подушки-перины и много чего прочего другого – хватало лет на десять после свадьбы. Иногда исхитряться-вышивать помогали многочисленные тётушки, сёстры и подружки невесты. Сидеть руки в боки, глаза в потолоки девушкам на выданье недосуг. Сколькo узорочья под их пальцами расцветало! Только после просватанья приступали готовить подарки жениху (рубаху и штаны), а также свёкру, свекрови, многочисленным жениховым сродникам.

Сергей Желудков, хоть и любил в людях «сурьёзность», своим детям потачки не давал, но не губить же «своего детища рожего», не отымать же у него счастья? Помолчал, словно споткнувшись на чём-то, кашлянул, шумно полез, было, в карман за куревом, а потом, не посмея огорчить отказом, махнул рукой – быть по-твоему! – и поблагодарил жениха, как положено за то, что тот не побрезговал Наташкой (девка-то – батин «потретик»!). Снял с Божницы икону и

об руку с женой своей Агриппиной образовал (благословил) Фрола и дочь.

Тут грузная, широколицая сваха Настасья (знай наших!) бутыль, припасённую по такому случаю, – бряк на стол! – и давай уещать: так, мол, и так, дело сурьёзное. И сладили большой пропой. Выпили первую, дождалися вторую рядовую, и загудело роем застолье. Со свойской наливочкой, сливовицей, с закусками, с чаем да калачиками (благо день-то скромный выпал).

«А Татьяна что ж? – прикинул Сергей Лексеич, – понимаю: не пугало гороховое – пава!.. Как не понять? Но, хочь и поедает её изнутрих теперя зависть, хочь и душит огромной жабиной, дак что ж поделать? Походит на вечерней заре к Колдучихе, та поумывает её с Божнички, как водится, пошепчет над ней от сплетен: «Благослови, Пресвятая Дева, эту воду, смой с Татьянушки все прикосы и взгляды косы, слова завистливые и дурные, сплетни бабьи и мужицкие, все наделы и подделы, все уроки, охи, вздохи». Тут и аминь всем её мукам душевным».

Не откладывая в долгий ящик, в тот же день свершили в присутствии священника и обручение. «Как водится!» – не отступала от обряда мачеха. Священник же, взяв предусмотрительно приготовленные Анфисой серебряные кольца, трижды произнёс: «Обручается раб Божий Фрол рабе Божией Наталье!» И трижды сотворив крестное знамение над головою жениха, надел ему на безымянный палец кольцо. Следом, с теми же словами, надел кольцо и на Натальин пальчик.

Колечко это серебряное с годами истончилось, истёрлось, но снять его к концу жизни со своих шишкастых, натруженных рук бабушка уже не могла. Не смогла, как ни старалась, и во время войны снять его с распухших от голода пальцев, – когда хотела обменять обручальное кольцо на хлеб для своих ребятишек.

А тогда, в заключение обручения, после тройной перемены, Фролово кольцо осталось на сохранении у Натальи, а её колечко – у Фрола, до самого венчания. В знак отдания себя на всю жизнь друг другу, а Господу – обоих нераздельным образом, в знак единодушия и согласия в предстоящем браке.

За неделю до свадьбы, спросив хозяйского дозволения, приехала Рекошетова Анфиса со сватьей Настасьей, со своими ближними

родичами в Волчьи Ямы к Желудковым на рукобитьё. Помоляся Богу, завели по старинке таковский сказ: «Драсьте! Пришли мы, гости, хочь и виданные, да не званые, а обычные дела совершати, просим вас принимати – не брезговати».

На стол, покрытый праздничной скатертью, подали пирог-стибень и соль. Хозяин зажёл свечу, а двери заперли на запор (Упаси Бог, чтобы присутствовал кто чужой да сглазил задуманное, дело-то семейное!) Совместно помолясь: «даждь нам днесь», приступили к рукобитью – поручительству в том, что дело меж сватами начато и утверждено при свидетелях.

Сваха Настасья вьюном ходит, свела правые руки сватовей и, взяв со стола пирог, обвела им три раза вокруг рук будущих сродников, важно объявила: «Дело-то сделано, хлебом-солью укреплено, навеки и навеки. Аминь». Разломив над руками сватов пирог, Настасья подала одну половину отцу жениха, другую – отцу невесты. Гости шутили, досматривали: у кого половина больше, у того больше силы, здоровья, богатства. К этим половинкам пирога не притрагиваются у нас до самой свадьбы. После венчания их первыми и едят молодые: жених – невестину половинку, а невеста – женихову. При этом сватья «черемонно» приговаривает: «Ешьте, милье, во славу Божию, во любовь вечную, бесконечную, яко же едино тесто в пироге, такожде и ваша плоть воедине до скончания века, Неба и Земли. Аминь. Ну, теперя и тянуть-то нечего: в добрый час весёлым пирком да свадебку!»

Всё это время «вытея» сидела около невесты, на расстоянии пяти-шести шагов от гостей, распевала бесконечные причёты. А как закончили рукобитье с преломлением пирога, приступили к угощениям.

На устроенный в последний вечер перед свадьбой девичник в распаренной, как баня, избе Желудковых Фрол, прихватив настряпанные Рекошетихой вкусности, прикатил не один, а с не отступающим ни на шаг подженишником. Стремительный Фролка, как сама жизнь! Из-под шапки на лоб выбился лихо торчащий кверху клок пшеничных волос. Голубые глаза так и горят, так и сверкают несказанной радостью. Петух петухом! Раздёрнул гармонь, ногой под столом запритопывал. Наддал жару: «Чай не покойника провожаем! Эх, прощевай, моя телега, все четыре колеса!» Но ещё раньше жениха

не замешкалась, успела сваха Настасья с коробом, в котором – подарки невесте, гостинцы её собравшимся на девичник подругам.

Наталья, в знак того, что «просватанная», уже в «натемнике», но коса её всё ещё вьётся по волюшке. Прощаясь с девичеством, раздарила невеста все свои наряды из прошлого житья-бытья подружкам. А те отдалили Наталью, провожая во замужество, песней, что извечно певали в наших краях на девичниках:

*Чёрна, чёрна былка
На горе стояла,
Главу преклоняла.
Гора ль моя, горка!
Скажи мне всю правду:
Скоро ль зима станет,
И какая будет?
Лютые ль морозы?
Глубокие ль снега?
Буйные ли ветры?
Грозные ли тучи?
Натальюшка плачет,
К столу припадает,
Лели, лели, лели, лели!
К столу припадает,
Матушку пытается.
Лели, лели, лели, лели!
Ты скажи, скажи, матушка,
Какова доля будет?
Лели, лели, лели, лели!
Житьё золотое.
Каков Фролушка будет?
Лели, лели, лели, лели.
Умом и разумом?*

Гулянье в большой, справной желудковской избе, со створчатými ставнями на окошках, разделённой просторными сенями на две половины, гудит, не стихает. Всё никак не распрощается невеста с девичеством. Отдыхала, гуляла душа, пела песни наотмаш.

Наконец-таки, далеко за полночь, когда уж и кобели ночные отъерундили и молодёжь давно гуртом высypала на улицу, Федька-дружка, Фролов крестовый брат (ещё в детстве обменялись они крестами, с тех пор – не разлей вода), приглашает всех на свадьбу, и – пока до свиданьяца – девичник заканчивается, чтобы утром вовремя все успели прибыть к подвенечному поезду.

Наверно, Наталья в ту ночь, накануне Покрова, накануне супружеской жизни, молилась, отходя ко сну, в дремотной тиши, пропахшей травами хаты, притихшей под разбрызганными по высокой темени звёздами, как многие века подряд молились на Красной Руси девицы перед тем, как пойти под венец, Пятнице-Прасковье да Покрову: «Батюшка Покров, мою голову покрой! Покрой землю седую и меня молоду, покрой воду ледком, а меня – платком! Святая Покровонька, покрой головоньку!». Молилась девка, и не брала её дрёма. Ночь томила, в потаённых сердечных глубинах поднимались и росли ранее неведомые желания. От них становилось разом и хорошо, и печально.

До свадьбы Андрияхина молодка Наталья работала за пять вёрст от Волчьих Ям в сторону села Рыжково белошвейкой в имении барыни Ратыньчихи, племянницы барина Шеншина, проживавшей свой век в девицах. По словам моих тётушек, бабушка слыла хорошей мастерицей. Могла за ночь вручную сшить из холста мужскую рубашку. Сама намеряла, сама кроила. Сэкономив, не ворона какая, обшивала и своё семейство. Работала она у барыни по шесть дней на неделе. На выходной возвращалась домой.

Многие её сверстники, молодые, здоровые мужики и бабы, приходили вместе с ней в имение Шеншиной на заработки. Собирали в лесу для барского стола грибы и ягоды, работали в парке и саду, на скотном подворье. Ежедневно в обязательном порядке купали и расчёсывали любимых болонок хозяйки. Ухаживали за прудом, в котором обитала не одна пара лебедей. Поместье Ратыньчихи славилось на всю округу ухоженным огромным домом, в котором всегда находилась работа для многочисленной челяди. Бабушка сказывала, мол, барынька была доброй, понапрасну работниц «не забижала». Часто вечерами приглашала к себе на веранду полюбившуюся белошвейку Наталью и её товарку повариху Мусю пить с нею чай. А когда отправлялись они на побывку домой, всегда одаривала гостинцем – баночкой монпасье.

Потом, в самом начале Советской власти, в имени том образовали коммуну, при ней показательную в районе ферму по животноводству. Барский дом заняли под ШКМ (Школа Коммунистической молодёжи), а проще – ликбез.

Не спалось Натальюшке, думки думались всё о замужестве, всё о суженом. (Слово «суженый» и произошло от слова «судьба». Она посылает невесте жениха). Только глухая ночь да запечный сверчок слышали невестины воздыхания: «Наречённый мой, птицей-голубицей вспорхнёт-встрепенётся твоя душенька, когда ты крепким сном уснёшь. Ко мне прилетит и сядет на подушку. Будет доверчиво клевать с моих ладоней хлеб и воду пить с моих уст. Всё сбудется, и так будет. Аминь». Пригляделась Наталья к пламени свечи – яркое, слегка мигающее. Знать, долюшка ожидает её переменчивая, будет место и счастью, и горюшку.

Ребёнку ясно: не спала и невестина матушка. Не напрасно ведь люди говорят: «Лучше нету дружка, чем родная матушка». Вышла из-за занавески к Наталье, мол, э-эх, девонька, не тужи, что отдают – плакать бы тому, кто берёт беду.

А под окошком натопанная валенками стёжка пела-поскрипывала капустным хрустом – расходилась с гулянки молодежь.

**ЧЕГО КАЛЯКАТЬ?
ПОРА СВАДЕБКУ СТЯПАТЬ!**





а другой день, по миткальному снегу, часов в десять поутру отряжённые приглядывать за дорогой соплёносые мальчишки-«сторожа» шабуршатся, несутся во весь дух по залитому светом солоmistому просёлку к Желудковой избе, орут что есть мочи, наперебой: «Едут! Едут!», и «невестина сторона», готовясь встречать «бояр», суетится ещё шибче: выносят с чердака первый сноп, расстилают охапки соломы у ворот.

Прибывшая из Игино новая родня: жених с дружкой (проворным, за словом в карман не полезет, весельчаком, плясуном и тем ещё хахалем – всё норовит, мерин молодой, девок без разбору за титьки, словно горох, щипнуть! – Фёдором Савинкиным), сватья Настасья, посажёные отец и мать стучатся в невестины сени, запертые по старому обычаю на коромысло. «Господи Иисусе Христе! – взывают гости три раза к ряду, – есть ли у этих дверей придверник, у ворот – приворотник, кто бы нам эти ворота отворил и двери на пяты поставил, а нас добрых молодцев до хозяина допустил?»

Из-за притворенной двери с ними ведут торг, шуточные переговоры, (продают невесту, «корячатся»). Рядом со старшим невестиным братом Иваном стоит младшая желудковская ребятня, Натальины подружки, притупившая горечь Татьяна.

Поначалу-то повадилась она было к Колдучихе – счастье своё девичье не упустить, отстоять. Видать, разнелюбая завистница глаз на Фролку положила, ой, положила! Сердчишко девичье вразбой затюкало! Бабка дала ей семь лещинок-орешков: мол, завяжи в красный лоскуток, закопай под первым деревом слева при выходе из избы, полей святой водицей, тут тебе счастье и воротится, да не забудь заговор верный, испытанный: «Вода на эти орехи прольётся – мой милый ко мне лицом обернётся. Как начнут орехи загнивать, так станет на меня мой суженый внимание обращать. Как последний орех сгниёт, так он меня под венец поведёт». Но сестрица Наталья кинулась ей в ноги: мол, не держи, родимая, на меня сердце, и растопила лёд в Татьяниной настрадавшейся душечке. Та ей в ответ: «Чего уж там, чай сёстры!.. Да и больно он мне нужен!»

Стоит молодёжь у дверей, кто с ухватом, кто с кочергой, кто со скалкой, ведут перепалку с жениховой стороной, не пропускают Фрола к Наталье, «продают невестину косу», не отдают молодую, пока жених не заплатит за неё щедрый выкуп.

А в это время Наталью обряжают к венцу. Расчёсывают гребнями её смоляные, до пят, волосы, подбирают волосок к волоску,

переплетают и перевязывают аккуратненько чёрными верёвочками, заплетают в один ряд, в тугие, длиннющие косы, припевают:

*Свет ты, коса моя, коса чёрненькая;
Свет ты, мой шёлковый косник!
Плети ты, моя невестушка,
Плети косу мелко-намелко,
Вяжи узлы крепко-накрепко!*

Не забудут подружки, положат за пазуху и крайчик посоленного хлеба, и гашник, сплетенный из льна, которым накануне «омывалась» она в бане под песни подружек о девичьих годах. Пришёл им конец, потому что «добрый молодец Фролушка украл нашу красавицу Натальюшку».

Припомнят в своих припевках Ладо и Леля, горюч камень и сахарные яства, терема-светлицы, братные скатерти и молодильные яблоки. За пояс пристроят непременно – мыло, гроздочку рябины да кусочек рыбьей сети. Хранить эти хитрые вещицы – до скончания веку, потому как мыло слывет у нас символом непорочности, рябина – твёрдости, сеть же поможет жене держать мужа своего в повиновении.

Собравши к венцу, невесту усаживают на лавку, покрытую шубой сверху шерстью, по поверьям, что знают, как пять пальцев, и блюдут у нас с незапамятных времён, – чтобы жить богато, чтобы никакие злые чары не смогли молодых разлучить вовек. По крестьянскому обычаю, сберегая молодую от «порчи», в чулки насыпали «колотина», осыпали с ног до головы хмелем, в подвенечный убор воткнули безухие иглы, спрятали в платье безголовые булавки. По этой же причине в карман невесте положили ножницы (а жениху – ножик).

Одевали девушки подружку, а сами напевали:

*...Приезжал чужой чужбинин
С храбрым своим поездом,
С поезжаными молодыми...*

Наконец-таки, обе стороны пришли к соглашению, гостей пустили в избу, на стол выставили прихваченные женихом угощения. Отец и мать, крёстные, взяв из переднего угла икону Богородицы, душевно благословили дочь свою к венцу. Невеста

вышла на опушенное синим кружевом мороза отеческое крыльцо, поклонилась родителям в ноги. Подкатили сани. Наталью усадили в середину между девушками на душистое сено, покрытое располосыми подстилками. Фрол устроился с дружками в других санях. За ними следом – ещё несколько вороных да каурых с многочисленными гостями. И «свадебный поезд» (состоявший, по нашему обычаю, из нечётного числа поезжан) наперегонки полетел в Кирово Городище, где в церкви Преподобного Сергия молодых давно ждали к венчанию.

К Покрову, как подоспели в кадушках крохотные, с голубым отливом рыжики, подбелило, легли первородно чистые снега, до того яркие, что жмурились глаза. Хрястнул-крякнул морозец. За ночь Кромку затянуло слюдяным настилом. Снегири осыпали придорожные чертополошины. Морозно задымились стожки соломы. Всё белым-бело от света. Разукрашенные сани мчали напропалую по лёгкому инею, по дышащему надеждой первопутку, ныром, словно в омота, уходили в плеснувшееся золотисто-снеговое раздолье. Ширь неимоверная, простор немереный хлынули в глаза и душу! Прозрачные, пугливые, словно одуванчики, тени деревьев летели им навстречу, падали на расстоянии вытянутой руки под полозья. Звенела, разворачивала меха, по октябрьским вольным просторам деревенская свадьба. На каждых санях – по гармонисту. «Шаферы» – со свадебными рушниками через плечо.

*После Покровá на первой неделе
Выпала пороша на талу землю;
По той по пороше ехала свадьба:
Семеро саней, по семеро в санях...*

Кони разубраны на особый лад: алыми да белыми лентами, восковыми цветами обвиты дуги, под ними поют, не смолкают заливные колокольцы. Гривы коников расчёсаны, в косы лентами разноцветными заплетенные. Поездка через соседние деревушки Гончаровку, Гнездилово затянулась надолго. Слух о Фроловой женитьбе разнёсся далеко за пределы Игино (у нас шила в мешке не утаишь!), и народ свадебный поезд до венца не допускал, в каждой деревне дорогу, словно по команде, вожжами перевязывали, брёвнами перекрывали, выкуп требовали. К тому же, завернули молодые перед венчанием на прадедов Иванов родник и, чтобы

жизнь их совместная была долгой и счастливой, по старинке дали над ним клятву верности. Жениться ведь – не спички купить!

Наконец, свадебный поезд подкатил к церковным воротам. Зазвонили переливчато колокола, и жених с невестой, держа в руках зажжённые свечи, вошли на середину храма. Перед ними с кадильницей в руках важно выступал священник (указывая этим, что по жизни молодые должны следовать по заповедям Господним, а добрые дела их будут, как фимиам, возноситься к Богу). Церковный хор – две старушки, девочка-подросток да Божий человек слепой Лукьяша – приступил к стихирам, чередуя их время от времени: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!»

Приблизившись к аналою, обмершие и сконфузившиеся от торжества и внимания, молодые ступили на разостланный перед ним розовый плат. Священник задавал полагающиеся во время венчания вопросы (по своей ли воле вступают они в брак, не обещались ли кому ранее), а Наталье никак не верилось, что всё это происходит с ней. Шестнадцать годочков! Вроде, вчера ещё куколки из тряпиц с подружками вертела, а поди ты, – невеста... венчается!

– Имеешь ли ты искреннее и непринуждённое желание и твёрдое намерение быть мужем девицы Натальи, которую видишь здесь перед собою? – обратился священник к Фролу.

– Имею, честный отче, – чуть хрипловатым от волнения голосом ответил жених.

– Не связан ли обещанием другой невесте?

– Нет, не связан.

Точно с такими же вопросами обратился священник и к Наталье. Та, чуть замявшись на вопрос, не связана ли обещанием с кем другим, всё же ответила, что, мол, свободна. И только после этого краткого, откровенного разговора, со словами: «Благословенно Царство...», приступили непосредственно к венчанию.

В маленькую сельскую церквушку набилась уйма народу. Надышали!

У Натальи от потрясения ли, от запаха оплывающих свечей, от спёртости воздуха ли, поплыла головушка. Фрол поддерживал свою «тростиночку», чуя, как тяжело ей выстоять пространные обрядовые молитвы. А священник не торопился, чинно и важно, соблюдая очерёдность, провозгласил: «Боже Пречистый, и вся твари Содетелю», потом – «Благословен еси, Господи Боже наш» и, наконец, – «Боже Святой, создавший от персти человека».

Когда наступил главный момент таинства, Наталья встрепенулась, казалось, стала ещё тоньше, подросла (она и вообще была на вершок выше коренастого Фрола). А жених, от распирающей его важности, – грудь колесом, даже на цыпочки привстал. Священник, взяв венец, озаменовал им крестообразно Фрола и протянул поцеловать образ Спасителя, прикрепленный к передней стороне венца.

– Венчается раб Божий Фрол рабе Божией Наталье во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Когда таким же образом в полнейшей тишине священник благословлял невесту, в дверях кто-то зашумел, но толпа выдавила горластого на улицу, и ёкнувшее от страха, было, Натальино сердечушко забилося ровнее.

– Венчается раба Божия Наталья рабу Божию Фролу во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

И опять читались молитвы. И приносилась общая чаша с вином – общая судьба, с общими радостями, скорбями и утешениями, и единая радость о Господе. И новобрачные, уже соединённые в одного человека пред Всевышним, попеременно, в три приёма, испили вина. Соединив правые руки Фрола и Натальи, священник покрыл их руки епитрахилью, а поверх – своей рукой и трижды обвёл молодых вокруг аналая. Хор при этом, сменяя поочерёдно три тропаря (по числу кругов), воспевал вечное шествие, которое началось нынче для новобрачных.

Сняв венцы с молодых, священник обращаясь к Фролу, торжественно изрёк: «Возвеличися, женише, якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходяй в мире и делаяй в правде заповеди Божия, – и, повернувшись к Наталье, продолжил, – и ты, невесто, возвеличися, якоже Сарра, и возвеселишися, якоже Ревекка, и умножися, якоже Рахиль, веселящися о своём муже, хранящи пределы закона, зане тако благоволи Бог».

После венчания жених с невестой обустроились в первых санях, гости заполнили остальные, и свадебный поезд с песнями, с гармониями полетел во весь дух с Поповки, с правого крутого нагорного берега Кромы, по широкой улице Кирово Городища, меж золотых дымов, через всё Игино, через густую светлую тишь на самую маковку Мишкина бугра в хлебосольную избу Анфисы Тимофеевны Рекошетовой. А вслед им с Поповки лился-переливался

светлый колокольный звон. И опять им перекрывали дорогу, опять с молодых брали выкуп.

А новобрачных у Рекошетихи заждались! Чтобы поторапливались, все скатерти на столах за углы перетрясли. Нечаянно солонку рассыпали. Так хозяйка, чтоб чего недоброго не случилось, улыбнувшись, блямсе себя ладонью по лбу да щепоть соли – через левое плечо.

...Наконец-таки, когда каляное октябрьское солнце в это бесконечное воскресенье катушкой покатилося с Мишкиной горы, бултыхнулось за игинские овины, когда бузиным морсом напिताлись Гороня и Закамни, а воздуха построжели и по бакшам потянул сиверко, часам к пяти после полудня, заверещала, стрекотнула ребятня: «Едут! Едут!» теперь уже у Фроловой хаты.

«Сторожа» развели в воротах кострище. Новобрачные влетели через него на чисто прибранное подворье. Вымели, выскоблили и хату, и двор загодя, чтобы молодые никогда не бранились меж собой, чтобы не ссорились с родными, чтобы их не сглазили враги. Всю надтреснутую посуду, и ту (чтобы жизнь склеилась прочно-напрочном) – с подворья долой! Рекошетиха (сермяжная правда!) тайком спрятала под порогом незапертый замок, чтобы потом, как молодые пройдут после венца в избу, замок тот запереть, а ключ – куда подальше, в колодец закинуть, чтоб на самом дне он изржавел-испрел, а Фрол с Натальей никогда не расставались, чтобы жили – не тужили.

Народу набежало – пруд пруди! Анфиса – в самом лучшем своём наряде, довольная тем, что задумка её округить Фролушку на Покров сбылась: «Есть она всё же – радость в жизни, есть!» – поджидала молодых на крыльце.

Фрол об руку с Натальей, выбравшись из саней, двинулся к избе. Со всех сторон, на счастье, осыпали их, как ведётся ещё со Льянной Руси, пригоршнями сушёного хмеля да зёрнами ржи. Анфиса встретила молодожёнов хлебом-солью. Всё нутро её переполнилось слезами. Успокоившись, она благословила Фрола матушкиным образом. (Всё, что досталось сыну от родительницы. Принёс эту икону когда-то покойный муженёк, отец Фрола, в рекошетовский дом вместе с малолетним сыном).

Наталья, не будь индюшка, р-раз! – и лёгким своим шагком первая на порог взлетела (мамка, видать, подучила, чтобы над мужем верховодить, под каблучок подогнуть). Ступила на порог и, не промах, прошептала: «Я-то пришла, меня-то привели, не овечку, а

волчиху, – и следом, – первая, другая, я иду третья! Все – вон! Мне одной дом!»

Новобрачных усадили на шубу – шерстью кверху – в самую середину стола, и разгулялось столованье! Пили-ели «до отвалу». А новобрачным угощаться не полагалось. Сидели они за столом плотно друг к дружке, чтобы (упаси Господи!) не проскочила промеж них кошка.

Чтобы свадьба прослыла не абы что – жиденская, чтобы не дай Бог не было стыдно перед деревенскими, загодя к этому дню, к праздничному столу, у нас заготавливали, выкармливали хрустких, как капустные кочаны, гусей да кур, а кто посолидней – поросёнка-пудовичка да телёнка в придачу, наваривали самогона, запасались «свойской» на тёрне да калине, наливочкой.

Наготовила-настряпала Анфиса и каких-никаких разносолов. Трескали гости да похваливали. А пуще всего налегали на холодец. Соседки всё спрашивали, как это студенец получился такой тугой – хоть ножом режь, духовитый – за уши не оттянешь. «Что ж тут мудрёного, – отбодрялась хозяйка, – всё, как бабка ещё стряпала: ошпарила крутым кипятком свиные ножки, поскоблила; потёрла гуськов отрубями. Промыла, нарубила кусочками и птицу, и ножки, сложила в двухведерную макитру. Залила на сутки ключевой водой (меняла её не один раз), оставила вымокать. За день до застолья растопила печь, сложила подготовленное мясо в чугуны, залила опять холодной водой, на два пальца выше мяса, да – в печь.

Как закипело, снимала, не ленилась, пену, чтоб холодчик прозраченький вышел. А потом забыла про чугун аж на восемь часов, чтобы мясо от косточки отставало. Правда, есть малая хитрость. Да какая там хитрость? – помнить, что солить холодец надобно лишь за час-два до окончания варки, положить в него лук, морковь, лаврушечки. Жир, конечно, надо снять, мясо из чугуна выбрать, бульон для ещё пущей прозрачности да чтоб мелкие косточки в студень не попали, процедить. Как приостынет, мясо отделить от костей, измельчить, нарубить чесночку, разложить по мискам, залить бульоном – и в погреб, на холод. К такому блюду не грех и забористый «хренодёр» подать».

Свадебный стол никогда не обходится без каравая. Пекли его у нас обычно из кислого ржаного, иногда пшеничного теста. Загодя созвала Рекошетиха для такого дела со своей стороны замужних родственниц. Мало подход к тесту иметь, немаловажно хвалебные

каравайные песни знать: «Валю, валю каравай, с руки правой на левую, в богатую сторону. Взойди, наш каравай, выше печи каменной, выше столба точёного, выше колечка злачёного».

Постель «убрали» ещё накануне. Стелила ее, не доверяясь никому, сама Настасья, позвав в сподручницы верных замужних сродниц Рекошетихи. Прежде всего, обошла сваха с рябиновой веточкой в руках место, где станут стелить постель для молодого князя и молодой княгини. Все участницы этого важного дела ходили кругом за Настасьей. Тщательно осмотрели светёлку: нет ли чего подозрительного, «подкинутого» навести порчу на молодых, не положили ли какой «подклад», обрекающий Наталью и Фрола на ссоры, на бездетность и болезни.

Потом – над дверью и под окнами светлицы, как внутри, так и снаружи, прибили по кресту, и уж только затем внесли иконы Спаса и Богородицы, водрузив их во главу брачного ложа. А в завершении всего внесли постель из перевезённого загодя Натальино приданого. Постель стелили на «тридевять», а значит, на двадцати семи снопах. В них у нас всегда прятали яйцо: или деревянное, или варёное. Через три дня, как лишалась молодая девичества, заворачивала она деревянное яйцо в венчальную рубаху и хранила всю жизнь среди своих бабьих вещей. А коли яйцо было варёным, – рубила его на мелкие кусочки и скармливала домашней птице. Обычай этот – напоминание об очень древнем и общераспространённом представлении о яйце как символе плодородия и обновления жизни.

Помня подсказки Анфисы, зачихнула свашка от дурного взгляду под постель ухват, кочергу да сковородку. А чтоб молодые «крепче слюбились», не забыли и о перьях, выщипанных из петушиного и куриного хвоста, тоже припрятали. Подушки уложили плотно друг к дружке, чтобы ничто не могло «встрясть» меж супругами. Не позабыла и про наговор, мол, на первую ночку – мальчонку да дочку. Обмела свашка пол вокруг кровати берёзовым веником, чтобы вымести все недоразумения и, удаляясь, покрестила дверь светёлки кнутом.

Похожую светлицу застала и я в своём раннем детстве, в бабушкиной избе. Помнится, что печки в ней никогда не бывало. Комнатушка эта – летняя. На Руси всегда так водилось – новобрачных укладывали в холодном месте. Для того чтобы дети у них росли здоровенькими и не боялись холодов.

Гостей колом не вышибешь, беззаботно балагурия, разошлись пировать до рассвета. Пол, сотрясаясь от безудержной пляски, глухо стонал, того гляди, провалится. Окна, что мухи назойливые, облепили ротоzeи, всё бы им доглядеться, пересудачить. Перемыть косточки и жениха, и невесты, поточить лясы-балясы – за язык не тяни! И то им не так, и это «не по-людски», зубастые, как щуки, раздуют из мухи слона. Ну, так ведётся это испокон веков, ещё в Евангелие подмечено: «...И что ты смотришь на сучок в глазу брата своего, а бревно в твоём не чувствуешь?»

...А как изрядно уж наколочено было и стопок, и тарелок, натабачено – хоть топор вешай, тут развязались у свадебных языки окончательно, и пошли драть козла, посыпались частушки с намёками:

*Молодые спать пошли,
Богу помолился,
Чтобы пуще в одеяле
Ноги шевелились!*

Тут сваха Настасья (уж хорошенько куликнутая), спохватившись, смекнула, куда дело клонится, повела Фрола с Натальей в светлицу. Двери-то распахнули, глядь: Анфискин племяш с женой, бестии, «постель греют». Уступать молодым не желают, выкуп требуют. Но Фрола голыми руками не возьмёшь – подготовился: по стопочке поднёс, пирожком угостил, их и след простыл.

Наученный уму-разуму женатыми дружками, наставленный свашкой, улёгся он с краю, а молодка, раздевшись, через него вскочила на постель, к стеночке (чтоб детишек рожать легко и благополучно). Постель для новобрачных всегда у нас стлалась на ржаных снопах (к прибытку). В углах светлицы – кадки, тоже наполненные зерном, в нём – прихваченные из церкви венчальные свечи.

И молодых оставили одних...

Но ненадолго, несколько раз врывалась развесёлая компания с присоленными прибаутками, поднимала новобрачных с постели, чтоб от дел своих «не лыгали»:

*Тетёра за стол прилетела,
Молода спать захотела.
Залетела пташечка во чужую клеточку.
Она в дверь не вылетит,
В оконце не вылетит...*

Среди ночи изрядно проголодавшимся молодым, наконец-таки, принесли подкрепиться: яйца, вино, жареную курицу. Есть полагалось без ножа, курицу ломать руками. На эту минутку знала Наталья ещё один заговор: «Пить бы да есть досыта, а детей рожать по любви – легко!»

А за окном! Гулянье вывалилось с крыльца. Не обошлось и без драки! А как же без неё? Это и не свадьба вовсе, коли не задерутся, не надёргают из горожи слег, кому-нибудь по пьяной лавочке не накостыляют, не надают под микитки. Пошумят, порасквашивают друг дружке носы, походят вдоль деревни с колами – эх, хорош-шо! – вжарят «Барыню», опять задерутся, опять пустят кому-нибудь юшку. А тому – как с гуся вода! На то она и свадьба!.. А так что ж?.. Так вся свадьба коту под хвост!

В общей сумятице за Анфисиным двором, под задним крыльцом, сбежавшиеся со всего Игино собаки дрались за мозговые мослы...

На второй день по гомонившей гусями улице, полной сверкающего снежного света, под раздольную песню гости съехались на «Княжий стол». Поезжане, не успевшие как следует проспать, отойти от вчерашнего гулянья, сготовились «поднимать молодых». Вырядились, шутки ради, кто во что горазд. Прихватили кринок, горшков да тарелок и давай их у порога светёлки колотить!

Есть у нас и ещё один примечательный обычай. На второй день свадьбы, поутру, идёт молодая за водой на Иванов родник – чтобы жених спросонья умылся. Родичи мужа перехватывают молодку по пути назад и воду выливают, а невестины родичи помогают ей воду спасти и до избы донести – молодого умыть. Гора наша Мишкина – крутая. Полдня можно по ней бегать туда-сюда, да окольными путями, пока, наконец-таки, не вывернется какой-нибудь ловкач, не оторвётся от развесёлой толпы, не стрекотнёт по лопухам-крапивам, а зимой – по сугробинам, удерживая ведёрки на коромысле, и доставит на крыльцо жениха «умывальную воду».

Как только ведёрко водрузили на лавку, невестина матушка Агрипшина Карповна – тут как тут! Протягивает прикупленное Натальей под Пасху духовитое мыло. Перед венчанием дочери спрятала она его у себя на груди и только сейчас, дождавшись нужного момента, – накось, зятьёк разлюбезный, умывайся дóбела. Считается, что после такого подарка зять ни за что не оставит тещу под старость.

...Гости обустряиваются «по родству» за Княжий стол, и свадьба снова набирает обороты. Родители невесты, как правило, важно

восседают за столом, а жениховы обходят гостей, потчуют-угощают. Прилюдно молодых у нас в течение всей свадьбы не кормят. Они могут лишь пригубить вина. Но все знают, что жениха и невесту всё это время «кормят на особинку». Да когда же новобрачным за свадебным столом и кушанья пробовать, если то с одного, то с другого конца кричат, пригубив из стопки: «Горько! Ой, горько! Подсластить бы!» И молодые встают уж в который раз для поцелуя.

Наталья, как водится у нас испокон веков, после Княжьего стола принялась одаривать мужниных родичей. (Подарки готовят всегда загодя, без них никак нельзя!) Сваха Настасья и Фёдор Савинкин, дружка, помогли ей при том. Обходя столы, невеста кланялась в пояс и просила принять от неё на память дары. Принимая их, молодую благодарили и трижды целовали. Одаривание началось с Фрола. Тот, не долго думая (уж так ему понравилась преподнесённая Натальей рубаха!), тут же скинул свою, вырядился в обнову. Наталья аж зарделась от гордости, – значит, пришёлся её дар по сердцу! К рубахе в «парочку» – штаны.

Свекровке Анфисе Тимофеевне – Приснодева Мария! – шаль разбукетистую. Поклонилась снохе Рекошетиха, расцеловала, мол, цветик ты мой лазоревый, и шалку по плечам раскинула. Родичей у Фролкиной мачехи много. И подарков наготовила молодая несчётно. Как от людей отстать? Тут и рушники, и подшалки, и отрезы, и пояса, и много ещё всякой-разной домотканщины да мануфактуры.

Фрол тоже не ударил в грязь лицом: одарил не только молодую жену, но не забыл и её родных.

*Всем девушкам по ленте,
Красавицам по перчаткам,
И духов, и помадки,
И гребёнки, и булавки,
И башмачки, и чулочки,
На головушку веночки,
На белую грудь цветочки.*

Отшумела, «отыгралась» свадьба, закончились со взаимными подарками и отводины (гостьба), когда молодые приходили в гости ко всем, кто их приглашал.

И посыпались у Фрола с Натальей частым дождичком детки – четыре дочки да два сыночка. Старшенькая, Нинила, народилась в самом начале бурного 1917 года.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**«КТО БЫЛ НИЧЕМ,
ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ!»**





х, найти бы то времечко, когда на Руси мужикам жилось весело да безбедно. По крайней мере, Февральская революция и Первая мировая здесь и близко не окажутся. Потому как с ними, как ни крути, бок о бок – смерть и страдание, голод и беспросветность... Но, как говорится, мёртвому – гнить, а живому – жить. В судьбе деда моего Фрола именно в эти годы произошли важные события – наконец-таки, он обзавёлся семейством.

С вешними крылатыми ветрами, с разливом Кромы, через залитые половодьем пожни, в апреле 1917 года, когда Фроловой дочке было всего лишь три месяца, хлынули и в Кирово Городище небывалые перемены.

Господь в тот день, на Николу Вешнего, будто знак какой подавал, – дождь обрушил, как из большого кармана. Правда, с припарком, тепленький! Измесив не одну версту по расхристанным просёлкам, собравшись на митинг у волостной управы, томились от предчувствий и безвестья, гомонили, роились затурканные нуждой крестьяне ближних деревень. Обсуждали зачитанный правыми эсерами Петром Марочкиным и Степаном Родиным манифест императора Николая Второго об отречении от престола.

Расталкивая мужиков и баб, на замызганное, исследованное лаптями и сапогами крыльцо, протиснулись вернувшиеся с городских заработков Алексей Шелобоков, Фёдор Солодков и Митрофан Ларин. Эта троица подлила свежего масла в огонь, и толпа сначала внимала им, развесив уши, а потом разгорланилась до первых кочетов. Не откладывая в долгий ящик, тут же, на сходе, избрали волостной Совет, который возглавили эсеры.

Хоть и раскачивался, только налаживал исполком свою работу и за летние месяцы ещё не скумекал ни одного мало-мальски стоящего, важного для истомившегося мужика постановления, крестьяне самоволкой (видать, терпелка напроць истаяла!) как с цепи сорвались, кинулись бесчинничать, кроить направо и налево помещичьи земли.

Ведь как нет без хлеба причастия, так нет крестьянина без земли. Русский мужик испокон веку в самых заветных захоронках сердца своего, по-простецки, считал, что земля – Божия, «ничья», и всякий собственник воспринимался им во все времена, как узурпатор.

Ох, и разгорелись страсти по земле в Кировской волости осенью, в октябре-ноябре! Что говорить, выборы в Учредительное собрание не только не пригасили жар разгорячённых крестьянских душ, но

ещё лише разворошили, добела раскалили уголья их незатухающих споров.

Сгуртовавшиеся на митинг заполнили площадь у волостной управы, гудели, что дикий взбеленившийся рой. На крыльцо, сменяя друг друга, поднимались какие только никакие представители, каких никаких партий: и социал-революционеры (эсеры), и конституционные демократы (кадеты), и РСДРП (большевики). Кто бы в глухомани нашей докумекал, растолковал тогда их лозунги? Порой смотрели, кто больше кричит, или обещает, иль просто на вид приятным кажется. Но разбираться в новых словах научились, тем не менее, быстро – и кадеты шли за милую душу, и эсеры, и большевики с меньшевиками. Наконец-таки, охрипшие митингующие проголосовали за партию большевиков, избрав верховодить Кировской волостью Алексея Фёдоровича Шелобокова.

И уже к посевной восемнадцатого поделили между собой все барские земли (дескать, чего медлить-то, сколь веков дожидались?).

Об одиозной фигуре Шелобокова долгое время по округе ходили легенды, мол, ему и сам чёрт не брат, для него, как впоследствии спохватились деревенские, вообще не существовало никаких законов (даже указов его же утвердившей власти). Хоть и истлели те толки-пересуды, обветшали, словно старая одежда, а живы и по сей день. Призыв своего вождя Владимира Ильича Ленина «бороться с беспощадной решительностью за дело революции» он воспринял буквально, просто помешан был на этом: мол, институт благородных девиц не заканчивал, не время «сентимонии» разводит. Жестокость, грубость и хамство прикрывалось необходимостью – «не мы их, так они нас». Наверно, содрогнулись бы и «Карс Марс и Финдрых Энгельс». Да и потом, кому не ведома прописная истина, что фанатизм, даже во имя порядка, – не что иное, как хаос, анархия.

Из уст в уста, из поколения в поколение передаются земляками моими – даже мороз по коже – события, случившиеся зимой 1918 года. Тогда спустили в волость сверху бумажку: так и так, мол, в такой-то срок, кровь из носу, изъять «лишние» ценности у буржуазии. Шелобоков встрепенулся, опять представился случай отвести душу «на врагах революции». Прикинул и всех, кого посчитал хоть мало-мальски возможным причислить к богатеям, арестовал и – под замок, в трухлявую холодную... Откуда вообще в селе Кирово Городище взялись буржуа? У нас и слова-то эдакого, заморского, слыхом не слыхивали.

Родственники арестованных, хоть и рыдали по углам: «Ах, он змеюка-полоз! Бог ему, лихоимцу, не попустит! Сгубили всю Рассеюшку!», хоть и клялись, божились, мол, в кармане блоха на

аркане, пусты загашники, хоть и с каждой минутой росла тревога у них за ближних, всё же не несли за изволение несчастных выкуп.

Но Шелобокова на мякине не разведёшь, раз приказали – в доску расшибётся, а своего добьётся. И порешил самочинник, не имея сраму, пойти на хитрость, мол, разыграем расстрел. Куда денутся буржуи? Струхнут, вмиг гаманки развяжут, кубышки раскопают.

В лютую стужу, в ночь, отсидевших в холодной четверо суток арестантов через занесённую кулигу вывели на Крому. Как не умоляли они конвоиров сжалобиться, отпустить душу на покаяние, по приказу разделись несчастные до нижнего белья, сложили на краю проруби верхнюю одежду. Для пущего устрашения лёд вокруг проруби шелобоковцы забрызгали свежей бараньей кровью. Обделав дельце, разрядив в тверёзый воздух винтовки, «расстрелянных» снова кинули в холодную. Наутро, приказав родственникам забрать вещи «убиенных», пригрозили с ножом к горлу, мол, если не принесут ценности, из каждой семьи расстреляют ещё по одному человеку.

А то вот ещё – был у нас, к примеру, такой горе-кулак Леонид Николаич Дрождин. Сам вечно голодный, квёлый, с восковым лицом, с тощей журавлиной шеей и выпирающим кадыком, босой, на плечах – драная свитка, поводком подпоясанная. Из всей скотинки – кот-котобрыс.

Человек, сказывают, Дрождин был тихий, чтобы как-то прокормиться, рыбалил, раками на Кроме промышлял, между делом на бережку и кочедыжил. И этим ремеслом хлебец себе наживал. Всё-то, бывало, сказывают, от него духом речным тянет. Почитай, родился, вырос и состарился на Кроме. Но, по воспоминаниям старожилков, в холодную его сажали, на кладбище водили – расстрелом запугивали, требовали золотые червонцы. Насилу-насилу отбилсь, чуть с ума не рехнулся. Время было жуткое! Подумать только: от мужика этого, как от кулака, во время коллективизации откапались собственные дети! Стыдоба – хоть Святых вон неси!

Ох, и крут был Шелобоков! Да и на обличье – высок ростом, широк костью, будто топором из дремучего дуба рублен. Утерпежу на него у деревенских не хватало. Не раз за превышение власти даже большевистская партийная организация то делала ему «последнее предупреждение», то вовсе отстраняла его от руководства волисполкомом. Однако большевикам пригодились, и не раз, лютый, беспощадный шелобоковский нрав. Особенно раскрылся его «стальной» характер во времена организации комбедов и продразвёрстки.

Тут уж, закусив удила, пускался Шелобоков во все тяжкие: вылупив глаза до красноты, с наганом в руке, потрясая в воздухе кулаками, потешался над всем околотком, разъезжал на подводах с Кировским отрядом по волости, оставляя лишь по пуду на едока, утоляя ярость, выгребал хлеб у «мироедов» – зажиточных крестьян, не щадил и середняков. Бывало, ежели на кого оцетинится, тому лучше – с бела света долой.

Но стоило отходникам в 1919 году снова отбыть на заработки, как крестьяне зафордыбачились, и власть большевиков в Кромском уезде задышала на ладан.

Однако Кировская волость, наряду с Сосковской, отмечалась, как «политически устойчивая», по-прежнему большевики в ней (а население у нас было густое) держали верх. Поэтому неудивительно и участие кировской дружины в подавлении мартовского (1918 года) антисоветского мятежа под предводительством анархиста Силаева.

В докладной записке кромского секретаря сообщалось о том, что анархист и заправский бандит Силаев предерзостно орудовал не только на территории нашего уезда, но зачастую для сведения счётов с большевиками проникал даже в пограничные уезды Курской губернии, поворачивая там ситуацию вверх дном.

Господи ты Боже мой! Бедный мужик русский, принимая мученический венец, только успевал бока подставлять: бандиты, красные... одна власть, назавтра проснётся, оконце протрёт, глядь – уж другая. Выжить в ту годину – не на пенёк присесть, самосадцу курнуть.

Двадцать третьего августа 1919 года в Орловской губернии Советом обороны республики было введено осадное положение. Ещё бы! Большевики всполошились не на шутку! Дорога была каждая минута, у всех на устах тревожные вести: добровольческая армия под командованием генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина подступала к Орлу.

Оборону держать, окопы-рвы кому копать? Да всё тому же мужику. На следующий день, двадцать четвёртого августа, уезды получили предписания об организации ревкомов. Кромской ревком был создан сразу же, двадцать пятого августа.

В начале осени 1919 года боевые действия между Красной армией и Белой Армией Деникина раскалённым вихрем закружились на наших землях. Фронт накатывал на Орёл со стороны нашего уезда. Бои грохотали без передышки. Как устоять Красной Армии – ей и всего-то ничего, год от роду. Какая там закалка, какая дисциплина?!

*...Ничего, ничего, ничего, сабля, пуля, штыки – всё равно.
А ты любимая, ты дождись меня, и я приду.
Я приду, и тебе обойму, если я не погибну в бою,
В тот тяжёлый час за рабочий класс, за всю страну...*

В волостях объявили мобилизацию в Красную Армию. Не минул её и дед мой – Фрол Иваныч, призванный в сентябре 1919-го. Новобранцу полагался паёк, не ахти какой, но всё-таки дефицитный по тому времени: табак, мыло, полтора килограмма хлеба или муки, сало, двести граммов сахара, две коробки спичек.

Ну, раз уж зашла речь о той лихой године, как не рассказать, что происходило в девятнадцатом и в нашей округе. Из детства всплывают воспоминания игинской бабки Колдучихи, родной бабушки моей подруги Савинкиной Гали. От её слов и до сих пор у меня мурашки по телу. Не верить бабке, перебедававшей события тех лет, пережившей то кровавое время, сумевшей помочь за свою долгую жизнь не одной сотне страждущих, у нас не привыкли.

В двух словах рассказы её и не передать. Вот, к примеру, один из них. Конопля в тот год на игинском поле, до самого Ярочкина лога, вымахала высоченная, но в октябре всё ещё стояла необранной. Когда нагрянули красные с мобилизацией, мужики кинулись врассыпную.

Некогда им, сросшимся с землёй, связавшим судьбу свою с заботами о пожне и только о ней, распутывать этот кровавый клубок, в котором переплелись судьбы красных, белых, зелёных, ещё Бог знает каких. В клубке этом, путаном, потяни за один конец – рвались кровные-семейные узы, потяни за другой – у каждого своя правда. И нет и не будет этому конца ещё долгие, долгие десятилетия...

Несчастный русский мужик, будучи лишь у Господа под защитой, метался, как голодный кутёнок, тыкался слепо то к красным, то к белым в поисках матушки, без которой нет ему «жисти» ни в какие времена, с мыслью о которой мужик и вставал, и ложился, а имя её, родимой, ласковое – Земелюшка...

По словам прозорливой, мудрой бабки Колдучихи, «мужику нашему не хотелось приставать ни к красным, ни к белым, в голову лезли одни-разъединные мысли: землю бы под осень «перевернуть», озимые посеять, а тут – лезь под пули!»

Колдучиха эта, жена Фёдора Савинкина, друга моего деда Фрола, в ту пору ходила на пятом месяце. Ну, так доложу по порядку. В тот злосчастный день, «тока-тока подоила короушку», хлопотала она с пральником у омутка: то ветошки тёрла на камне, то плёхала, шлёпала ими звучно о воду. Заслышав переполох – «куды бечь?» – перемаяв купальницы, чтоб какого конфузу не вышло, нырь квочкой,

схоронилась с перепугу в тальнике, аж пот под оде́жей заструился. Упала наземь, затаилась, смотрит, глаз отвести не может: побежали задами прятаться в коноплю муж её и брат.

Конные красноармейцы махом рванули им наперехват. Сквозь треск перестоявших будыльев конопля слышался остервенелый мат, мол, так-разэдак, шалишь, не уйдёшь, зар-р-раза!

Мужа Колдучихи отловили, скрутили. А вот брату её не повезло – нагнали душегубцы (видел Фёдор, муж её, не станет он ерунду городить, понапрасну расстёгивать рот). Один вдруг резко осадил конягу, допялся, рубанул, каналья, саблей, аж коняка под ним шарахнулся, заржал с перепугу... Так и покати́лась голова обмякшего парня, молодого, неженатого, телок – телком, молоком парным пахнет. Катится, значит, голова его, а глаза полны ужаса и смотрят широко-широко. А он этими глазами ещё и света белого не видывал, только-только начал было за девками на Кроме из-за кустов подглядывать... Как представлю, в голове не укладывается, насколько озверел народ, брат брата порешит – не моргнёт. Да, сколько беды натворила Гражданская!

Оборону от деникинцев держали на своих рубежах. Делили с голодными домочадцами скудный солдатский паёк. Придут мужики Кировские, игинские домой, перекусят на скорую руку, и снова – в окопы.

На самой середине игинского поля есть местечко, которое по сей день кличут Окоп. Окоп да окоп, я и никогда не задумывалась, с каких-таких он времён. А оказывается, в девятнадцатом от леска Хильмички, как раз, где на опушке берёза-двойчатка, поперёк поля до самой Ярочкиной лощины пролегал глубокий окоп, в котором белогвардейцы обустроили множество площадок под пулемёты, чтобы не пропустить красных на Дмитровск.

После Гражданской окоп засыпали вручную. Перепахивали его и много десятилетий тракторами, но по сей день на месте том ещё можно различить протяжённую впадину. Не раз слышала я, как местные, рассказывая о покосах ли, ещё ли о чём, говорили, махнув рукой в направлении от Игино к Новогнездилову: «Там, за окопом». Ну, так это потом...

А в лихом девятнадцатом Красной Армии, основной своей массой мобилизованной из «несознательных» крестьян, не хватало питания, обмундирования, а самое главное – вооружения.

И такое войско могло остановить продвижение армейского корпуса генерала Александра Павловича Кутепова в двадцать пять

тысяч штыков и сабель, в составе которого находились отборные дивизии: Корниловская, Марковская и Дроздовская? Мало того – по правому флангу подтягивались кавалерийские части Константина Константиновича Мамонтова и Андрея Григорьевича Шкуро, с запада шёл на помощь конный корпус Якова Давидовича Юзефовича в четыре тысячи сабель.

Понимая, что на кону стояло само существование Советской власти, для противостояния такой махине большевиками была сформирована Ударная группа, в которую вошли: бригада Червонных казаков под командованием Виталия Марковича Примакова (тысяча двести сабель, сто орудий, пятьдесят пулемётов), дивизия Красных латышских стрелков, командир – Антон Антонович Мартусевич (шесть тысяч штыков, шестьсот восемнадцать сабель, сорок орудий, сто двадцать восемь пулемётов) и состоящая из киевских рабочих Пластунская бригада Павла Андреевича Павлова. Эта Ударная группа должна была подрезать под основание клин денкинских войск, втянувшихся уже в Орёл и нацелившихся на Тулу. Осенью 1919 года на нашей территории шли упорные бои. Здесь, в наших землях, решалась тогда судьба республики Советов.

Николай Петрович Макаров, местный учитель истории Рыжковской школы, мой учитель, долгое время вёл поисковую краеведческую работу. В своей книге «История Сосковского района» на основании документов и воспоминаний очевидцев подробно, день за днём, рассказывает он и о сражениях периода Гражданской войны в наших краях. Вот что он, например, пишет о событиях восемнадцатого октября:

«В результате наступления войск Добровольческой армии из Орла и Дмитровска войска Ударной группы были практически разделены на две группы. Им предстояли тяжёлые бои с превосходящими силами противника на два фронта. Части седьмой стрелковой дивизии уже оставили некоторые населённые пункты... Поэтому в четыре утра частям первой латбригады было приказано занять позиции по линии Кирово – Игино. Червоноказахьей бригаде приказано поддерживать части первой латбригады, сосредоточившись в деревнях: Маслово – Мураевка – Цвеленево – Должонки – Красная Роща. Было приказано: если противник, занимающий Рыжково – Кирово, продвинется, его остановить до подхода главных сил».

Из польмя – да в воду! Латышам и казакам в жестоких (зачастую лицом к лицу, рукопашных) боях и штыковых атаках, с огромными потерями, удалось остановить наступление Белой Армии. В пяти верстах от Игино в ярком бою было порублено много денкинцев, и в

отместку белая конница, налетев со стороны села Столбище, с саблями наголо понеслась на врага, косила направо-налево без разбора, усеяв трупами латышских стрелков застонавшие жутким стоном наши поля. Ливень огня был страшный – только за день двадцать второго октября стрелками и пулемётчиками четвёртого латышского полка израсходовано сто десять тысяч патронов. Вторая латбригада в яростном противостоянии потеряла убитыми и тяжело ранеными двести двадцать человек. Немалые потери насчитала и бригада Павла Андреевича Павлова.

В этот день, всего лишь один день Гражданской войны, но такой для неё характерный, как отмечает краевед Николай Петрович Макаров, «многие населённые пункты... вновь переходили из рук в руки, а поля и перелески, предчувствовавшие людскую гибель, слезившиеся промозглым дождём, обильно поливались русской кровью: кровью русских солдат – солдат враждующих сторон».

Подумать только! Ударной группе противостояло десять с половиной тысяч штыков, две тысячи триста сабель, двести двенадцать пулемётов, тридцать восемь лёгких и тринадцать тяжёлых орудий, три бронепоезда, четыре броневедомки. Мало того – для соединения с Корниловской дивизией генерал Александр Павлович Кутепов, продвигая белогвардейские войска на северном направлении, ввёл в бой все свои резервы.

Особенно страшные, рукопашные, штыковые бои происходили в пойме реки Кромы, в нескольких верстах от Кирова, у деревни Должонки.

Показав Кузькину мать белоказакам в оборонительных боях, латыши и «червонцы» прижали вражеские войска, и те – деваться некуда, познав, почём фунт лиха, – запятелились. Припомнив русскую поговорку: «Миром и батьку бить легче», красные сгуртовались в единый, мощный кулак, и в ночь на двадцать первого октября, ещё до рассвета, пройдя незаметно по оврагам, Первая латышская и Червоная казачья армии уже выступили с контрударом на Дмитровск – атаковали в конном строю солдат Первого Дроздовского полка.

До позднего вечера двадцать седьмого октября, до той поры, пока не поползли по кромке неба прогорклые пережжённые пенки, грохотали ещё орудия, велись бои в нашей округе «за землю, за волю, за лучшую долю».

А ночью с двадцать седьмого на двадцать восьмое октября Гражданская война наконец-таки затухла, как затухают исподволь в эту пору жёлто-красные костры нашенских лесов. Побоище это оставило наутро крестьянину истерзанную, изрытую снарядами,

исколотую штыками, простреленную пулями, но такую желанную, родную землю, на которой всё было и высвечено, и просветлено неимоверной, высшей человеческой болью, которая была и останется для многомудрого крестьянина нашего до скончания Божьего мира единственным светом в окне. Сердце колом у мужика повернёт, как вспомнит он о ней, пресной, неухоженной, оглумелой... Словно кто в родник наплевал... Много перемен видела эта земля, много лиха выдюжили живущие на ней люди! Оборони нас, Господи! Не дай испить и нам такую же долю!

Сколько на полях, в лугах и долинах, на пригорках и в оврагах округи нашей осталось братских и одиночных, известных и сгладившихся дождями-ветрами захоронений. Недалеко от моего родительского дома, на окраине деревни Игино, там, где Мишкина гора смыкается с полем, похоронен один из латышских стрелков. Отец мой, чтоб не запомнилось место, гурёк тот, ничем не приметный – ни крестом, ни плитой, ни каким иным знаком, обсадил раkitником. Придёт, бывало, сюда, постоит, изменится обликом – клещами слова не вытащить – сожалеючи поскокрушается, покачает головой. Побредёт в раздумке восвояси... По траве рассыпаются одуванчики, пахнет землёй и мёдом...

И в родной деревушке бабушки Натальи, в Волчьих Ямах, после яростных боёв червонных казаков и латышских стрелков с частями группировки генерала Володзимежа Май-Маевского осталось братское захоронение.

Двадцать третьего февраля 1990 года на здании Кировской школы была установлена мемориальная доска в память о размещении в её стенах в октябре 1919 года штаба бригады Червонных казаков, которой командовал Виталий Маркович Примаков.

**«НАШ ПАРОВОЗ,
ВПЕРЁД ЛЕТИТ!
В КОММУНЕ ОСТАНОВКА!..»**





1921 году в неокрепшей Советской республике, несущейся яростными ветрами в светлое будущее, большевики не успевали разобраться, разглядеть свои промашки и просчёты, и, когда порушенное Первой мировой, Октябрьской революцией и Гражданской войной хозяйство молодого государства не в силах стало кормить окончательно занищавший народ, власти пошли на послабление, передышку – новую экономическую политику (НЭП). А с нею воскресла частная торговля, надорвавшая мужицкие жилы продразвёрстка заменилась продналогом.

Как и в годы Столыпинской реформы, в период НЭПа в Кировской волости, в основном по берегам Кромы и её притоков, возникли новые посёлки. Практически каждое наше село и деревня ими приросли. К примеру, на Желепёках, на пригорке между Игино и Новогнездилово, обустроился из кировских выходцев посёлок в четырнадцать изб. Жили выселки крепко, у каждого – пасека, сообща перепружали ручей, разводили рыбу. Сложности в крестьянском деле – невелики, главное – радение.

Обживались на просторе, избу от избы ставили на расстоянии двадцати пяти – тридцати метров, рядом с подворьем захороводились сады-палисадники. В колхоз выселки не вступили, продержались до самого сорок первого, стояли на своём, мол, хотя горшок и один, да сам себе господин.

Получив небывалые до сей поры наделы земли, расставили на них соломенные пуки. Из-за меж Мамаева побоища не устраивали – втыкали в начале надела, в середине и в конце по жердине, ровнёхонько проходили первую борозду. Так вокруг Кирово Городища в период НЭПа зашумели посёлки: Чистое поле, Красная Новь, Степь, Отлет, Красная Ягода.

На зажиточных подворьях, как никогда прежде, крыши перекрывались железом, подводился каменный фундамент. В богатых домах появилась «городская» мебель и посуда. Именно в эту пору на крестьянских окнах впервые закрасовались занавески. На стенах, в рамках под вышитыми рушниками, водрузились семейные фотографии.

Но, по правде сказать, обогатились-то в ту пору – по пальцам сосчитать сколько хозяйств. Как ни прикидывай – в основной массе крестьянство так и осталось «голью голимой». И никакие новшества бедняцких подворий почти не коснулись. Зато объявились они в духовной жизни моих односельчан. Сначала, исписав ворота по крупному матюгами, прибавив: «Религия – опиум для народа», в 1926 году, накиннулись шелобоковцы на самую святыню (видать,

уповали на чужого бога) – на кировскую церковь во имя Пресвятого Сергия Радонежского.

Признав в ней причину всех своих бед, разобрали церковь до кирпичика. И «по-хозяйски», из веками намоленных стен, не заморачиваясь, сложили в пойме Кромы, на правом берегу, конюшню для колхозных лошадей... Древний погост при церкви стёрли с лица земли (на нём исстари прихоранивали к храму семьи владельцев села, а простолоудины погребались на кладбище в версте выше). На месте помещичьего погоста построили обычный сельский домик с пристройками...

Не отомлоти грех неотмолимый... Помнится, бабушка Наталья говорила: «Нечего теперь попусту лаяться-то. Придёт время, и всех нас Господь взвесит на своих весах».

Только-только, было, вздохнул крестьянин свободно, хоть и звёзд с неба пугами, как ромашки, не срывал, но помаленьку принялся поднимать своё хозяйство. Прикупил мужичок (пусть порой и на артель, вскладчину) кой-какие новые плуги, бороны, сеялки-веялки, ввёл севооборот, а там, глядь, и полюшко откликнулось, расщедрилось, стало давать поболее и жита, и картошки, появились, хоть и малые, но всё-таки излишки, продав которые, можно одеть-обуть семью, закупить скот, опять же – так необходимый в крестьянском деле полевой инвентарь.

Но начиная с 1930 года, как снег на голову, как гром среди ясного неба, на несчастного крестьянина свалились две беды – коллективизация и раскулачивание (не только зажиточных, успевших окрепнуть, но и середняков). И в этой круговерти сгнули тысячи и тысячи невинных людей.

В январе 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». Одним словом: «Наш паровоз, вперёд лети! В коммуне остановка!» На словах-то у нас колхозы не иначе как добровольно и вовсе не возникали. А на самом деле (какая ж советская газета о том обмолвится?) обобществление протекало не так уж и гладко. Крестьянину не вот-то хотелось вести на колхозный двор нажитую непосильными трудами последнюю скотинку, перемеривать заново земли, работать на общий карман, «потому как законом скреплены на совместную жизнь». Причин, чтобы многие первые колхозы, не успев стать на ноги, распались, насчитывалось немало.

Присланные на село рабочие, переходя от уговоров к угрозам, убеждали крестьян вступать в колхозы. Мужики же – народ бывалый, твердолобый, таращились. Упирались, насколько могли. Например,

только в январе – начале марта 1930 года в России произошло более двух тысяч крестьянских выступлений.

Оно бы ничего, крестьянин общину любит, да только в личной собственности мужику оставляли «подсобный» участок да немного животинки. Размер этого приусадебного участка был заметно меньше дореволюционного общинного надела. С него теперь в основном мужик и кормился – едва сводил концы с концами, как говорится, в кармане мышь прогрызла дырку. Чтобы дети меньше хлебушка ели, хозяину приходилось за обедом ножик под стол ронять.

Кроме того, чтобы снова, как несколько веков назад, связать мужика по рукам и ногам, прикрепить к земле, государство додумалось и в 1932 году ввело паспортный режим. Мужикам паспортов не полагалось. А это значит, они, как раньше-то бывало, не вольны были не пройтись по России с сумой, не податься в отходничество. По сути дела, крестьяне стали государственными крепостными. Оплата труда колхозников была сверхминимальной и производилась по «трудодням». А на них ведь особо не разгуляешься.

Колхозная собственность охранялась как зеница ока, не менее чем государственная. В том же 1932 году издано и ещё одно, перекрывающее мужику воздух, постановление (в народе оно получило название «Закон о трёх колосках»), не какая-то там Филькина грамота, Сталин писал его собственноручно: хищение государственного и «колхозного добра» каралось щедро – смертной казнью или десятью годами тюрьмы с конфискацией имущества. Даже на убранном колхозном поле нельзя было собирать колоски. Наказание применялось ко всем гражданам, начиная с двенадцати лет. И уж коли поймали за руку – не ищи сочувствия.

А в феврале этого же года спешно решили разобраться с «кулацкими» хозяйствами. И опять пострадали десятки и сотни тысяч людей. В Кировской волости (видно, хорошо усвоили уроки «беспощадной» Шелобоковской борьбы) коллективизация и раскулачивание проходили особенно жестоко. В комбед вошла, как нарочно, одна голь перекатная, тот, кто просыпался пораньше, чтоб побольше ничего не делать, лодыри и пьяницы, не ведавшие за всю жизнь настоящего труда, а если что и делали, так спустя рукава, тятляп. А горланить на сходах – первые. Ну, так и муха жужжала, сидя у вола на рогах: «Мы пахали!» Тот, кто век на печи сидел, тараканов за усы дёргал, прытко отправлялся раскулачивать зажиточного хозяина, обзывая его «кровопивцем», невзирая на то, что мужик этот вкальывал на своей пожне до седьмого пота.

Не этому ли хозяину, заголодав, не раз кланялись среди зимы в ножки, выпрашивая за кусок хлеба хоть какую работёнку, и Иванин Иван Николаевич, и Безгин Степан Сидорович, и Солодов Хрисантий

Емельяныч, они же первыми налаживались и «громить кулацкое отродье». А раскулачить могли всего лишь из-за имевшейся в хозяйстве простейшей конной молотилки. Старожилы вспоминали, как однажды, например, ворвались к мужику Леониду Николаевичу Дрождину, отняли «надёжу» его жизни, великим трудом нажитую молотилку.

Кулацкими считались все мало-мальски зажиточные, справные, наиболее крепкие хозяйства. Заходила ходуном земля под настоящим, не чета Безгиным да Солодовым, хозяином – день ли, ночь ли подгоняли ко двору подводу, пихали в неё несчастную семью, и ходом, ходом на железнодорожную станцию Нарышкино, там, горланя провонявшими перегаром и табаком голосами, расталкивали обездоленных «спецпереселенцев» скопом по товарнякам, словно швыряли поленья в устье полыхающей печи, и отправляли без еды-воды, куда Макар телят не гонял, в самые отдалённые, необжитые районы России. И – взятки гладки! Попробуй возропщи, пожалобись! Только открой рот! При малейшем сопротивлении кулаков ждал суд, арест, тюрьма и лагерь.

За время «раскулачивания» уничтожено по стране (дело нешуточное!) более одного миллиона хозяйств. Не каждому из тех несчастных суждено было выжить, погибло около одного миллиона человек.

Дорвались, разгромили и новенькое (1912 года) поместье управляющего Александра Николаевича Козюлеева. Правда, брат его служил в Губчека, предупредил о непрошенных гостях. И Козюлеев, сбыв самое дорогое, не стал дожидаться, когда его этапируют в Сибирь, загодя прикупив в Орле домик, срочным порядком уехал из Кирова Городища.

До сих пор ещё живы у нас слухи и о том, как раскулачивали семью Лесаулиных (по-уличному, а в действительности – Леоновых). Глава семейства – ни какой-нибудь вам отставной козы барабанщик – в молодости служил есаулом в царской армии (от того и Лесаулины по деревне – Есауловы).

Подсобрал он за время службы кое-какие деньжата, вернулся в родное Кирово Городище и принялся потихоньку обустроиваться: прикупил десятин шесть земли, заложил плодовый сад, отстроился на широкую ногу, завёл три лошади, остальную, как и положено крестьянину, живность. Была у него и немалая пасека – сорок колод-душлянок. Хозяйство по кировским меркам – знатное. Выгода, конечно, была. Как не быть? «Спитый чай не кушали». Но и хлопот-забот – по самую маковку, всё какая-нибудь забота мужика гложет. Наломается, бывало, с утра! Одни душлянки чего стоит изготовить: деревья напил, на колоды разбери, гнилушки изнутри удали,

вощиной каждую снабди, расставь в саду, как подобает, да не забывай доглядывать-ухаживать.

Федор Лесаулин батраков не нанимал. Хоть и подызносился за жизнь, но справлялся своим семейством: подросли три сына, дочь. Жёну он берёт, под башмаком не держал, мол «в болезнях, подтратилась здоровьишком». Селяне иначе как «барыней» её и не величали. И сынов женил не абы на ком. Старший Афоня, к примеру, не проворонил, засватал учительницу Кировской школы Веру Фёдоровну. Как рассказывала она впоследствии, семейство Лесаулиных не бедовало. Правда, не посчастливилось Вере Фёдоровне – в самом конце Великой Отечественной, тридцатого апреля 1945 года под Прагой, в Судетах, погиб её Афанасий, как извещил в письме его командир, «смертью храбрых».

А в те далёкие годы, когда пришли Лесаулиных кулачить, отобрали у них пасеку, три лошади, два железных хода (телеги), много добра прихватили, всё, что могли, вплоть до бороны, отняли. Разорили, конечно, и дом. Оборвав протянутые по двору верёвки, втоптав крепко пахнущее Кромой бельё в гусиный помёт, наладились в амбар, а в нём – шесть восьмиведерных наполов с мёдом! Но хозяин, не будь дурак, не стал тянуть канитель – сунул среднему сыну в руки топор. А парень уже лет тридцать как в детстве пребывает. Лохматый, что твой леший, упрям, как чёрт, хоть кол ему на макушке теши, завращал глазищами, гаркнул: «Подходи, мать вашу перемать, кто смелый!»

Спрос с убогого – курам на смех! Ему ведь всё нипочём. Вусмерть зашибёт – не моргнёт. Заробели мужики – жилки затряслись, отступились, не получилось у них взять мудрого мужика на арапа. Испугались – и давай Бог ноги! Каким чудом не спровадили Лесаулиных тогда на выселки – до сих пор остаётся для кировцев загадкой. Правда, в округе тогда перешёптывались, мол, любую дверь можно отпереть «бумажным ключом».

Дела давно минувших дней, но старожилы ещё рассказывают, мол, жили-были в Игино два друга, Иван Халмана да Тихон Пузанков. Халмана – он и есть Халмана. А Тихон – не баклушник, чуть ли не первый на деревне хозяин. В Горонях нарезали им рядышком наделы. Под Зимнего Николу хватился как-то Халмана и спрашивает у своего друга Тихона, мол, не заметил ли тот, когда ходил на охоту, цела ли позабытая после посевной на поле его соха. Ничего не скажешь, крестьянин – что надо! Ну, так привычка – не рукавичка, на гвоздик не повесишь.

Но во время коллективизации этот «хозяин» возглавил один из Игинских колхозов – имени Первого Мая. Тихона же раскулачили,

отобрав единственного коня. Конёк тот, ломовик, широкий в крупе, основательный и в работе, и в еде (естной, значит), был выращен им с жеребячьего возраста. Раньше-то, бывало, голубил его мужик без удержу, чистил и холил, узду надевал, как фату.

Всё Тихону знамо было в конском деле. Чуть что, ранку какую заприметит, муцицей древесной присыплет, вмиг затянет, и мазей никаких не надобно. (У нас издревле так лошадей лечат. Поработает жучок-мукомол над каким-нибудь амбаришкой, брёвна в мелкую муку, не придраться, добротню, источит, словно намелет мельник на пасхальные куличи пшеничку. Бери ту муцицу – и к лекарю с конём век не ходи).

Ну так вот, значит. Едет председатель как-то мимо избы Пузанковых. А конёк – бока в навозе, не ухоженный: гривой и хвостом все репейники да колюки пособрал. Тихон – мужик суровый, решимый на любое дело. Брови его с торчащими сединками вползли на лоб, кинул он из рук оземь грабли, в которых заменял сломанные зубья, и вдруг возьми, да и заплачь.

– Ирод! Раскатал губы на дармовщинку! Слыханное ли дело? Хоть бы почистил Воронка, стервец анафемский, негодяй бессовестный! – лицо у него налилось кровью, трех съехал на затылок (чай, тоже нервы поотмотаны).

– Не брехал бы ты попусту, друг мой ситцевай! Мало бы кому, что не пондрвилось! Нечего хныкать да нюни развешивать! Ай, от г...а с Воронка твоего убудет? Зато не сглазят! – запетушился, расхохотался ему в глаза пегий, что твой гусак, Халмана.

Чёрт знает, что за натура таковская! Вроде и тянулся он всю жизнь к грамотным людям, но ни книжной премудрости, ни какого иного воспитания не обрёл. Разговоры с ним вести, что воду в ступе толочь. С той поры, как столкнутся где они, Тихон – нем, как рыба, ни «здравствуй!» Халмане, ни «прощай!»

Кстати, кажется, в эти годы в Англии был Премьер-министр Халмана. Откуда уж узнали его имя в Игино, Бог ведает. А только колхозники порешили так: «Коли Иван Николаич теперь у нас председатель, так и зватьсь ему нельзя иначе, как Халмана!» Правда, под его окнами вечерами насмеялась под гармонию во всеуслышание молодёжь:

*«Как у нашем у колхозе
Зарезали и-гу-гу,
Три недели кишки ели,
Вспоминали Халману!»*

Правда, ему это – как с гуся вода.

Кличка-то – слово ме-еткое, остренькое! Уж как прилипнет, вовек не отодрать. Помнится, ещё Николай Васильевич Гоголь замечал по этому поводу: «...А всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а вылепливает сразу, как паспорт, на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы – одной чертой обрисован ты с ног до головы».

Мужика, хоть так прикинь, хоть эдак, гнули в дугу, не всяк стерпит. Насилие – пример дурной, к тому ж, заразительной, порождает ещё более лихие времена. В волости, в глухой свободе, процветал бандитизм. В Кирово Городище свирепствовала банда под предводительством Миколы Грищенко. Рассказывают, собрались как-то мужики в одной избе, решают, как так им стуртоваться да дать той банде отпор. Тут бац по окну кнутовищем: «Выходи, кто смелый! Свеженького медку сотового испробуй!» – и пальнули из нагана. Бедные мужики перепугались, нырь под лавки. Долго разбойники держали в страхе наши деревушки. Лишь спустя годы Миколу Грищенко с его поделниками изловили и спровадили в Сибирь.

К концу 1930 года все крестьянские хозяйства всё же были объединены в колхозы. На землях села Кирово Городище их насчитывалось аж четыре: «Облога», «Доброволец» (изготавливал кирпич с фирменным клеймом), «Заря коммунизма», имени Кирова. Небольшой «поперешный» хуторок села Кирово Городище, деревенька Игино, вместила два колхоза: имени Ворошилова (урынок Козловка – шестьдесят дворов) и имени Первого Мая (урынок Требучина – семьдесят пять дворов).

Председателем последнего колхоза был полуграмотный (четыре класса образования), вечно надеявшийся на «авоську», многодетный (восемь душ детворы) тот самый Стёпин Иван Николаевич, по дворовой кличке Халмана.

Кстати, именно у него в избе отец мой, ребёнком, первый раз услышал повесть А.С. Пушкина «Дубровский». Читали тогда вслух всё, что попадалось под руку: доходившие через полгода до нашей глубинки газеты, книги из барской библиотеки. Уникальное её собрание было раскидано, изорвано, растаскано мужиками по избам на самокрутки.

Так же не пощадили и великолепный парк с серебристыми тополями в нескольких верстах от Игино, в имении барыни Анны Семёновны Шеншиной. На въезде в поместье стояли два огромных, неохватных ясеня. Век свой вели ещё со времён закладки усадьбы. Жизнь не одного поколения прошла на виду у этих деревьев. Но во времена вседозволенные, в самую Октябрьскую революцию,

хитромудрый мужичок из соседней деревушки Выдумка, Макаров Пётр Сергеевич, спилил под корень древний ясень (ничейный!), в кроне которого гнездились целые армады галок, а в дуплах обитали ночные сторожа-сычи.

Видать, беспокойно было у вороватого мужика на душе, оттого и придумал он оказию: в ту же ночь, как извёл он древний ясень, расстарался, прикрывая свой грех, перетащил тёмными закоулками со сродниками из лесу огромный муравейник и водрузил на ясеньевый пенёк, мол, где ей, простоте сермяжной, люду деревенскому, докумекать.

Ошибся Пётр Сергеич – народ наш не проведёшь: всё видит, всё примечает. Проходят мужики на покос, бабы на дойку, детвора на прудки – нет ясеня! Тут же и толкуют: «Не иначе как свои! Надо б доглядеть, у кого вскорости новина объявится!» А шныркий хозяйчик, не убоявшись никого, мол, «всё теперя наше!», распустил могучий ясень на доски и приладил себе из них обыкновенное крыльцо к обыкновенной деревенской избе.

Как не загоняли мужиков скопом в колхозы, некоторые хозяева оказались орешками крепкими, всё-таки держались единолично. В колхозы не вступили, заершились Лесаулины, Шурупкины, Шатуновы, Иконниковы, Соболевы. Но власти и тут исхитрялись, мол, не мыгтьём возьмём, так катаньем, и душили нещадно единоличника пятикратными налогами, не давали голоса на выборах. Не имели голоса, «поражены в правах», были и граждане, имевшие судимость.

Кировские и игинские колхозы объединились в одно хозяйство – имени Кирова – лишь в 1953 году. И колхоз тот возглавил председатель Виктор Павлович Резюкин.

А тогда, в первые годы Советской власти, выходцы из тех же урынков, несколько крепких родственных семей, среди них мужик наш по кличке Монах, артелью обустроили ещё и через поле от Игино у самой границы с хутором помещицы Шеншиной, бывшей усадьбы генерала Ратынского, на ухоженной барской земле первого мая 1922 года посёлок «Первомайский», в нём сначала ТОЗ – товарищество по совместной обработке земли, потом – коммуны, а уж затем, в 1929 году, колхоз «Свободная жизнь». Закупили породистый скот, сообща приобрели трактор «Фордзон», пенькотрепалку, молотилку. Земли – плодородные, хозяева – не из самых бедных. И дела колхоза – хоть и не мёд с сахаром, – а всё-таки, в отличие от остальных в округе, пошли в гору.

Но это скорее счастливое исключение, в основном же, колхозные хозяйства были слабые, не механизированные. Сторона наша

испокон веку – гужевая. И в начале тридцатых годов на пять колхозов приходился всего лишь один трактор. Сеяли колхозники, как когда-то в небыль их пращуров вятичи, – всё рученьками. Из инвентаря – лишь малое количество плугов, борон да сох. Какой урожай можно ожидать при таком уходе? Как вспоминала Катерина Орефьевна Савинкина: «Землица-то у нас – постней не бывает. Всё с ней, как с козла молока... Бывало, августом, жнём, жнём рожь, а глянешь – на загоне всего пять кощёнок стоят. Оттого хлебушка до новины и не хватало. Народец замухрел, сколь тады Богу душу отдало!».

Среднегодовое производство зерна снизилось до уровня 1913 года, на сорок-пятьдесят процентов снизилось и поголовье скота. А всё – из-за насильственного создания колхозов и неумелого руководства присланных в них председателей.

Мало того, что в крестьянском промысле и так год на год не приходится, молодые колхозы лишь сводили концы с концами, жили впроголодь, питались отъедьями, пустой похлёбкой, все сусеки обмели, так в 1933 году из неурожайной Украины, чтобы не пропасть, потянулись толпы попрошаек, спасавшегося от великого голода и мора люда. Приходилось охранять от них, чтоб «не зóрили», хлебные и картофельные поля. Да к тому ж – словно чёрные вороны, кружили над кировскими пожнями повадившиеся из года в год недороды, мужичок почёсывал всё левую да левую ладонь – к убытку.

Помню, бабушка Наталья рассказывала, как бедовал в ту пору народ, как тяжело приходилось первым колхозам, а нам, сытым, обутым-одетым, казалось всё в диковинную диковинку: верить, не верить?

Зимними ночами голодные бабы с воспалёнными, ввалившимися в самую душу глазами, цепями молотили колхозное зерно. Морозы – страшные. Небо прозрачное, яркое-колкое, – чистойшей воды полынья. Пробирало до костей. Разве согреться в чунях с портянками – домоткаными холстинами, обмотанными вокруг ног в несколько слоёв, перевязанными конопляными верёвками? В такой обувке ходили мои земляки до самого тридцать восьмого года.

Чтобы хоть как-то держаться на ногах, на жаровне поджаривали зерно. Домой под утро идут – по горсточке зерна в карманах прихватят. Сварят детворе ржаную кутью – этим и кормились.

Колхозный урожай свёклы и картошки хранился в шейных ямах. По весне ямы эти раскрывались, картошка перебиралась, готовилась к посевной. Однажды на Требучине, за Душиной избой, вынули из шейной ямы картошку. Устали бабоньки – мочушки нет. В ту пору, по воспоминаниям бабушки Натальи, завхозом работал Полетаев

Андрей Иванович. Смотрел, смотрел на них, отощавших доходяг, завхоз, а к вечеру, как дело-то пообладели, пошабашили, значит, не стерпел, сжалился и говорит: «Ладно уж, возьмите большой чугунок, наварите для себя картох, а ребятам, зайдите, вики из склада отпишу».

Хлебушка – в глаза не видели. Что тут говорить! Уж так бабы вике той, корму конскому, были рады! А картошку, не почистив, бултыхнули в чугунок, сварили. Прикинули: мелочь – мелочью, потолкли с водой, похлебали похлёбкой. Ели прямо из чугуна, словно из круговой чаши. Все – ровня, одна на всех у них и беспросветная жизнь. Ели да добрым словом вспоминали, «спасибочком» не один раз отдаривались потом колхозному завхозу.

Особенно тяжело приходилось в уборочную. Малышня сама себе предоставлена, а мужики да бабы – в поле, все свободные руки – при деле, цельнодневная канитель. В такую пору не похрапишь в теньке, прикрыв лицо косынкой. Спору нет, мало урожай собрать, его ещё и «до ума довести надо». Всю осень бабушка Наталья вместе с игинскими бабами мыкалась в разъездах. На лошадях под флагами и транспорантами «Даёшь хлеб Родине!» возили аж в Нарышкино (за пятьдесят километров) заготовку зерна. Поди потаскай, нагрузи трёхпудовыми мешками телегу, протрясись столько вёрст по бездорожью, напрямки по скошенному жнивью, по расхристанным просёлкам, а потом ещё и разгрузи! Да снова поворачивай оглобли до дому! Во двор ввалятся – уж и звёзды отыграют.

Хлеб прежде всего сдавали, потом засыпали в колхозные закрома на семена, и только то, что останется, делили на трудодни. Даже представить себе невозможно, как «выкручивалась» замотанная работой бабушка, чтобы прокормить к тому времени уже пятёрку малолеток, если на один трудодень выдавали сто граммов зерна. Каждый колхозник с восемнадцатилетнего возраста и до глубокой старости ежегодно обязан был выработать за год сто двадцать трудодней. Пенсий никаких не существовало. Не выработал норму – в милицию. А там разговор короткий – пришьют статью «Тунеядство».

Чуть выше Андрияхинской избы, на околице, рядом выкопаны были шейные ямы под картошку. Бывало, стукнет в окно с вечера бабушке сторож: поджайди, мол, Наташка, попожжа, набери малкосне своей картох... так уж и быть.

Прадед мой, отец бабушки Натальи, Сергей Лексеич Желудков, широкоплечий, словно из матёрого дуба тесаный, крепыш среднего роста, оставшийся после кончины жены, прабабки моей Агриппины с самой младшей, четырнадцати лет, дочерью Ньюшей (другие-то уже своими семьями обосновались) часто приходил из Волчьих Ям

повидаться с дочерью Натальей и внуками в Игино. На мелководье, в речушке Чечоре, что ныряет меж тростников и рогозов на самом днище ложка Лычки, в самый раз на полпути, приспособился ряднилкою, прилаженной к рогатой орешине, налавливать мелкой рыбицы: пескариков да карасиков. Как с пустыми руками к детворе придёшь?

«Выручал дедуня... Придёт... в посконной рубахе, ни-ни – распояской, – вспоминает отец мой своего деда, – сядет на завалинку, нас, детвору, поманит, землянику-гостинчик раздаст – по пути в лесу насобирал, в пучки былинкой повязал. А то вынет из-за пазухи тройку яблочков, разломит их да всех половинками и оделит. Сам седенький, глаза подслеповатые, но выразительные, зубы, что чеснок, – белые-белые. По облику его было видно, что мужик он своеобычный».

С возрастом Серей Лексеич посветлел глазами, с головы его облетела последняя кучерявина. По этому поводу, сказывают, был он не прочь огоршить, мол, «теперь за мной хорошо в гололедицу ходить – следом зола притрушивается, и ночью – тожить не спотыкнёшься – лысина за версту светит!»

Жалко ему было дочь любимую с её сиротинками донельзя, вздыхал, мол, ясно всё до донышка – не с того конца за жисть взялась, на кого ж теперь-то сердать? Видел, как тяжело Наталье одной в постромках тянуть, и, исхитрившись, из развалившейся ветряной мельницы (в Волчьих ямах их когда-то было аж четыре!) поставил он ей в Игино четырёхстенник. Срубил избу, приладил к ней светёлку и кой-какой сараешко.

Потом мой отец уже перебрал хату, слаженную своим дедом Сергеем Лексеевичем, и дубовые брёвна старого волчяемского ветряка до сих пор служат ему в стенах сенного амбара свою хозяйскую службу.

Как помер Сергей Лексеич, так и вовсе съёжившись, прижилась засиротевшая сестрица Нюша в Игино у бабушки Натальи, а чтобы не сидеть на её шее «за спасибо» ещё одним «голодным ртом», помогала ей нянчить ребятишек, своих племянников. Так и возрастала, пока не заневестилась да не вышла замуж в тридцать третьем за Мельникова Саньку из деревни Дерюгино, заглядывавшего по вечерам «на улицу» в Игино.

И вскорости, увязав в крохотный подшалок-узелок своё крестьянское счастье, отправились они по густому запаху увядающей зелени, по скошенной картофельной ботве Игинского поля, по березнячку-самосевку Ярочкина лога, сначала пёхом до Кром, а потом без страха – в необозримую от Мишкина бугра даль – на шахты Донбасса, попытать ещё разок не заладившуюся в Орловской деревне судьбу, авось наладится.

В ОТХОДНИКАХ





перёд и только вперёд! Без оглядки! Две первые пятилетки (1928–1932 годы и 1933–1937 годы), названные тогда «сталинскими», были во многом похожи друг на друга и стали «знаменательными в решении задач форсированной индустриализации». Ещё бы! Обе они отличались таким размахом строительства, которого в России за всё ее существование и не видывали. Страна превратилась в гигантскую строительную площадку.

Когда в декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) утвердил директивы первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, кадровый вопрос в строительстве явился одним из острейших. Попросту – не хватало рабочих рук.

Из деревни же, всеми правдами и неправдами насильственно «околлективизированный», избираемый до нитки всевозможными налогами, мужик (а душа русского неволи, ох, как не приемлет!) потянулся по проторенной стёжке на заработки, искать работу вдали от колхозов. А тут ещё под руку подвернулась пропасть новостроек!

Что же так манило крестьянина из насиженного гнезда? Что могло пересилить и тоску по детворе, и думы о житных суслонах? А и к гадалке ходить не приходится. Думки мужицкие, конечно, не запить, не заесть. Снились отходнику чуть ли ни каждую ночь – как не сниться-то? – родимые, обкошенные литовкою, склоны; повязанные бабами в тугие снопы золотые житные колосья. Разве могло сердце его наполниться покоем и ладом под скомканным, чужбинным небом?

Но средний доход рабочего превышал добыток крестьянина-бедняка более чем в два с половиной раза! Не очень-то разбежишься на колхозные трудодни. Крестьянское житьё тоже денегат просит. А откуда они, деньги-то, возьмутся?.. Если прикинуть, мужику и себе картуз купить надо, и жене подшалок, и малым детям обутку, да и в праздник винца не грех пригубить. А сына женить, а дочери приданое справить, а мать-отца похоронить?

На стройки с порушенной душой, за долей да недолей хлынула, валом повалила (не от безделья, от великой нужды!) рыхлая масса, идущая из деревни впервые на производство.

Крестьяне-сезонники связь с землёй ни за какие коврижки терять не желали. Без неё, родимой, как ни крути, какие заработки на стороне ни имей, мужику не сдюжить. Вся опора – в земле. Как от неё навсегда мужику оторваться? И помыслить страшно!

Вообще-то отходничество существовало в России на протяжении нескольких веков, и в былые времена промысел этот был важным источником дохода крестьян, покидавших на время родные деревни.

Но в годы первых пятилеток это движение приняло невиданный размах. Среди более двенадцати с половиной миллионов рабочих и служащих, вовлечённых в различные отрасли народного хозяйства, восемь с половиной миллионов – простые русские мужики с Орловщины, Рязанщины, Смоленщины, со всех уголков России. Многие из них пришли в строительство. Кто поспорит, что большинство их своими корнями, судьбою своей, напрочь повязано с землёй, если доподлинно известно, что только 4,2 % отходников имели хозяйства без посева, 3% – с посевом, но без рабочего скота, а 64% – с посевом и рабочим скотом!

Руководители колхозов – люди тоже подневольные, по большей части своей – партийные, побаивались, конечно, не на шутку. Кого-кого, а их-то первых «взогреют» за развал колхозов. Вот они всячески и старались задержать сезонников в деревнях, клеймя их на сходах и собраниях, как «дезертиров с колхозного фронта, отходников за длинным рублём». Но, несмотря на препятствия местных властей, маты-перематы председателей колхозов, крестьянин-бедняк самочинно, тайно, «потому как жить так не доставало уже никакой мочушки», срывался, словно травушка перекасти-поле, из страха голода катил в чужедальние края. К примеру, только в 1929 году 63% сезонников прибыли на стройки самотёком.

Правда, несколько партийных и государственных постановлений 1931 года «упорядочили отход крестьянства на стройки первых пятилеток в условиях коллективизированной деревни».

С новостроек в российские глубинки кинулись вербовщики, сговаривать мужиков на отход. Разводили турысы на колёсах, стелили-то мягко, только не ведали мужики, как жёстко придётся им спать. Наврали с три короба, мол, и то-то вам будет, и это. Для завербовавшихся устанавливались льготы, обещалось жильё и продовольствие, оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, даже на время проезда выплачивались суточные. Кто ж не поддастся заманчивым уговорам? И крестьянин-отходник, оставив на баб детишек, избы и пожни, потёк, валом повалил на новостройки. Теперь уже участились случаи прибытия из колхозов целых бригад.

В 1928 году в Карагандинской области Казахстана геологи во главе с Михаилом Петровичем Русаковым разведали месторождение меди. Для строительства медеплавильного комбината признали пригодным северный берег озера Балхаш. И в каких краях только в ту пору ни рылись котлованы, ни стучали топоры и молотки, но из сорока двух новостроек первых пятилеток «Прибалхашстрой» был

самым важным, самым трудным. Не случайно же девизом первостроителей тридцатых годов стал лозунг «В бой за Балхаш!»

Несмотря на то, что строительство металлургического комбината велось в совершенно необжитой пустыне, вдали от промышленных центров и железных дорог, со всей страны начали съезжаться к Балхашу крестьяне по вербовке. Трудности и дальние, невиданные края не пугали: «Ай, мужику привыкать? Небалованные!»

Завербовавшись на строительство медеплавильного завода, отбыла бригада и крестьян Кировской волости (угораздило ж мужиков попасть на самую тяжкую стройку!). Среди них: Ходёнков Иван, Блинов Григорий, Пинкин Фёдор, Самоха (осталась от мужика только кличка, за годами имя стёрлось в памяти земляков), Макаров Пётр, Чершуков Пётр, Гадёнков Павел, Иконников Василий, Леонов Сергей, мой дед Андрияхин Фрол, кум его разлюбезный, что гулял у него дружкой на свадьбе, Савинкин Фёдор.

Навряд ли задумывались кировские и игинские мужики, собравшиеся «на заработки», о том, что едут на стройку грандиозного комбината, по мощи, техническому оснащению который не имел себе равных тогда в Европе, который решит проблему государственного значения: прежде всего – освободит от импорта, ну, и, конечно же, – полностью обеспечит медью сам СССР. Обо всём этом ни дед мой Фрол, ни его сотоварищи, наверняка, не думали. Им, мужикам из Орловской глубинки, не до лозунгов и громких речей, «хочь бы как-нибудь сдюжить, детишек поднять».

Мужики наши – бывалые, снарядились, как водится. Взяли на прощанье перед благословенными образами со своих баб «крутой зарок» (чтоб потом на неё не иметь сердце), пошептали над спящей супружницей, как делали всегда у нас мужики, отправлявшиеся в путь:

«На перекрёстке трёх дорог, на семи ветрах стоит бел-горюч камень Алатырь. Припаду я, раб Божий, к камню тому, слово заветное молвлю. Попрошу, чтобы жена моя впредь была мне единому верна и телом и душой – отныне и до гробовой доски! Да исполнится просьба моя заветная, ибо помыслы мои чисты и несть в них ни зла, ни поклёпа. А мне вместе с женой моей жить-поживать в мире и счастии! Аминь, аминь, аминь!»

Долгие проводы – лишние слёзы. Чтоб не выла баба в голос, не пророчила, сама того не желая, чего не след, прихватив с Божнички святой образок да сготовленный супружницей бережный рушник, шась хозяйин тихонько за порог. Поклонился избе, трижды перекрестился заскорузлыми пальцами на двери и, призвав Бога в помощь, Преподобного Сергия на путь, был таков.

*Ты прощай-ка, моя молода жена,
Прощай ненадолго,
Ненадолго поры времечка,
На один часочек,
На кругленький годочек!*

Многие деревенские, в их числе и мой дед Фрол, занимались отходничеством не первый год. Так однажды вместе с земляками Харитоновым Кузьмой, Шавыриным Митрофаном и Леоновым Иваном ездил он на заработки аж во Владивосток! Видно, отходничество у наших мужиков было уже в крови. Вот и старшая Фролова дочка Нинила, шестнадцати лет, завербовалась в тридцать третьем в Шатуру, на Ивановские торфоразработки.

А уж сам дед Фрол поколесил по России! Работал со своими, игинскими, мужиками даже в Ялте на ремонте Воронцовского Дворца. Обтёсывали плиты, выстилали ступени. Своя сноровка требовалась – раствор с добавлением свинца да яичного желтка! Тоже – не фунт изюма! Друг его закадычный, Фёдор, к примеру, вернулся искалеченный: левая рука (так и осталась потом на всю жизнь), словно утюгом обожженная, с изуродованными пальцами.

А дело было так: обтёсывали они камень, готовили для ступеней. Фёдор держал долото, а Михалёв Василий, тоже нашенский мужик, ударял по нему кувалдой. Вроде и совсем уж дело шло к концу, не подрассчитал Василий, возьми да промахнись. Так Фёдору руку и изувечил. Пальцы до костей стесал, измял. Правда, мастеровой человек, он без дела никогда не останется. Прилачился Фёдор, как уж исхитрялся, Бог ведает. Только во всей волости в каждой избе (а может, и до сей поры хранятся?), мололи хлебушко именно его ручными меленками.

...Как, наконец-таки, добрались мужики до Казахстана, зацокали языками, только тут смикитили: надобно было дважды подумать, прежде чем вербоваться, тут не только не обогатишься, скорее – по миру пойдёшь. Не зря ж говорят: «За морем телушка – полушка, да рубль – перевоз!» Погнавшись за «длинным» рублём, хлебнут теперь горюшка сполна – голая казахстанская степь, «ни угла, ни калиточки, ни жилья, ни курева, ни простейших условий к жисти, ни нормального струменту». Да и где разжиться? Степь!.. Ветер сух и щедр! Даже для них, не балованных жизнью смиренников, работа, а её здесь было невпроворот, оказалась рубежом неземным, пределом человеческих возможностей, хоть волком вой. Оставалось надеяться на авось.

Если даже на ударных стройках, где поначалу вытягивали на «голых» призывах и кличах, не спасали громкие лозунги «Эх, ухнем!» и жилищная неустроенность приводила к срывам работы, то в районах средней Азии жизнь рабочих была просто невыносимой.

Сохранились архивные описания сварганенного наскоро «жилья» для сезонников: «приспособленные под общежития собачья конура, курятник, старая полуразвалившаяся печь и просто пещера, вырытая в земле... рабочие живут гораздо хуже скотины и по соседству имеют ... уголовный элемент: курильщиков опиума».

Не является секретом теперь уже и телеграмма заместителя наркома тяжёлой промышленности СССР Александра Павловича Серебровского из Алма-Аты в Совет труда и Оборону, в ОГПУ и Наркомат снабжения СССР от семнадцатого июня 1932 года, по прочтении которой можно представить, как питались рабочие Балхашстроя: «Здесь, на месте, в Балхаше убедились, насколько краевые организации урезали контингент, утверждённый Москвой, и рабочие плохо питаются, поэтому прошу категорически запретить краю урезку, обязать давать разрядки с твёрдым назначением, прекратить выдачу нарядов хлеба, мяса, масла в отдалённые районы Казахстана, откуда их невозможно вывезти. Прошу распоряжения срочного на присылку антицинготных средств, техрабочие по причине плохого питания болеют цингой, бросают работу и уходят, строительство движется очень плохо. Просим распоряжения завоза коммерческих продовольственных, промышленных товаров, выделив твёрдые фонды прямо из центра, поручив реализацию ГОРТУ. Имейте в виду, Балхашстрой находится в совершенно пустынной местности и на расстоянии пятисот вёрст от жилых мест, условия жизни и работы здесь исключительно тяжёлые».

Крестьянин, знамо дело, терпит-терпит, а потом «терпелке» его подступает неминуемый конец. Ну, тут уж, как исстари повелось, – без бунта не обойтись. А как не взбунтоваться-то, если зарплату не выплачивают, расценки – ниже не придумать, с гулькин носик, норму выработать нет ни малейшей возможности. Кроме того – о доплате за работу в дождливые и холодные дни – и речи не веди. Кормёжка – никудышная, а чуть что – начальники грубиянствуют.

Как тут не запить? Наипервейшее дело для мужика нашего, коли попал в безвыходное положение – «надраться». Гиблая, беспросветная жизнь, конечно, и подтолкнула мужика к стакану. А под пьяную лавочку да на голодный желудок тут как тут и хворобины, а злее всех из них – «беззубка»-цинга. Чуть протрезвев, мужики чихали на все договоры, толпами разбегались по домам... Так прокатилась по стройкам девятибальная «пьяная волна», отголоски которой ещё долго шумели по всей стране.

По правде говоря, успехи на стройках первой пятилетки были достигнуты, конечно, за счёт невероятного напряжения сил рабочих (в основной массе своей – крестьян-отходников), без них, пришедших из деревни и крепчайшими нитями связанными с ней, не смогло бы «осуществиться форсированное развитие строительства». С киркой и лопатой разворачивая сухую, каменную землю, рыли они котлованы, возводили стены будущих цехов, без тёплой одежды в зимнюю стужу, без питьевой воды (за ней выстраивались километровые очереди) в изнуряющий летний зной.

Но упрямо, непрерывным потоком, караванами на верблюдах, на лошадях, на баржах через Балхаш, шло оборудование и материалы для мощного медеплавильного комбината. Вскоре пролегли по пустыне и стальные рельсы, гудки паровозов разбудили тысячелетиями спавшую степь.

Не потрафило деду Фролу, не удалось ему дотянуть до завершения строительства, помытарила его жизнь и дала окончательный крен, – уехал к чёрту на кулички, и – с концами, как в воду канул. Там, на Балхашстрое, умер он от крупозного воспаления лёгких в 1934 году, простудившись на очередном субботнике, на маёвке, не дожив года до своего сорокалетия, не познав и полдня жизни, оставив полну избу малолеток.

...Бабушку Наталью известили о мужниной кончине его сотоварищи. Видно, чуяло её сердечушко в дремучей безвестности беду неминуемую, коли нет-нет да затоскует, выйдет она, полна отчаянья, бывало, в тихую безветренную ночь по сухим будьяльям розовника на своё намоленное местечко, на берег прудка стоячего, губы сами по себе и зашепчут: «Боженька Всемилостивый! Не позволь мне нести пустую околесицу! Уйми ты рабу Наталью от гнева лихого, от слова дурного, от чувства тоски, от напрасной грусти, от слёз ненужных, от мыслей недужных. Чай Фрол мне – не чужой человек! Не страдала бы я, не кричала бы я, думками худыми бы не маялась, а была бы спокойна и тиха, как эта стоячая вода. Прочь тревога от мово порога! Аминь!»

Ни креста, ни могилочки, куда прийти, праху мужнину поклониться... Ни самой малой ракисточки, им посаженной, на Мишкином бугре, от деда Фрола не осталось. Правда, в фанерном чемодане, возвратившись из Казахстана с пустой мошной, прохарчившись, привёз земляк его Самоха сокрушавшейся вдове, бабушке моей Наталье, по первозимице от «опорухи верной» пожитки: побитую фуфайку, вдрызг стоптанные кирзачи да пару застиранных бумазейных рубрах. Долго не смела она даже заглянуть в мужнин чемодан...

Кинулась бы на Поповку маетная душенька, да церкву нехристи порушили! «А что церква, коли лики Святые на Россию, на игинские поля, на Мишкин бугор, денно и ночью с небес взирают, приглядишься: небушко-то наше, словно образа... Вишь, опять дош закрапал... Знать, томную со мною небеса, голосют, – рвала на себе волосы баба, била поклоны, – Господи Всемилостивый! Упокой душу мужа моего! Ниспошли ему местечко, хоть какое... с краешку, в Царствии твоём Небесном! Что ж ты не слышишь-то меня, Господи!.. Сколь крестил меня вьюгой стылою? Коли задолжала тебе что, так уж все сроки вышли – сполна отмолила! А коли нет – и до последнего вздоха стану тебя умолять! Об одном лишь прошу, убиваюся: не щадил ты меня, ну, и ладноть, пожалей, ты, родненький, не дозвошь сгинуть чадам моим малолетним... заступись, дозвошь выкормить младенчика Ванечку!»

Уж и слёзы все, словно реки-водоёмы Казахстанские, пустынные, повысыхали, а небеса не откликались, молчали. Да что сказать-то? Бабья доля! Судьбина такая. Что теперь с неё возьмёшь? Носить её, как дитё малое в себе, – не выносить... Испокон веку растили бабы наши детушек в одиночку. Сколько войн! Сколько бедствий! Сколько мужиков кануло вдаль от родимой хаты? Какой горький путь прошли русичи!?

Не гадала, не ведала Наталья, что накроет вдовым платом муженёк судьбинушку её, до того нескладную, что глубоко на сердце западёт безутешная тяжесть сиротства. Знать, на роду ей прописано спознаться с горькой тоской.

Глянула на себя, будто со стороны, украдкой: одна... как в гробу. Линялая белокрайка, чёрствыи крестьянские руки, горечь – в изломе губ, в глазах – слёзы долготерпимых мук, ни лучика во мгле души.

Вот и увяла, как увядает всё на этом свете... Пришлось ей, горемышной, как говорится, круто: ни разочку жизнь, насмешница злая, не погладила её по головке, не пролила слёз участия к ней, не согрела.

Делá её, по правде заметить, не только в ту пору были из рук вон плохи. Не было в мире уголка, где бы её жалели и любили... ну, разве что в девичестве, родимый батюшка Сергей Алексеич да матушка Агриппина Карповна только кровинушкой своей и нуждались.

Горе глухое, судьбина лютая не молодят, а косицу белят... Не зря же сказывают: мол, день меркнет ночью, человек – печалью, а горе, что годы, – борозды по лицу проводит да безрассудно разбивает сердце. Но сгореть дотла при малых детях – не сгоришь...

**СИРОТСКОЕ ДЕТСТВО –
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
НАСЛЕДСТВО**



Нед Фрол Иванович ушёл из жизни молодым, беспросветно обездолив большую семью, оставив на плечах жены Натальи, моей бабушки, шестёрку детей. За полгода до его смерти, в Рождество тридцать четвёртого, в их семье появился на Божий свет последний ребёнок, мой отец. Кроме него – четыре сестры, с семнадцатого по тридцатый год: Нинила, Надежда, Александра, Анна да брат Пётр.

Видать, потому и судьба у отца моего ознобкая, что родился он в лютые Рождественские морозы. В избе – полы земляные, закрома пустые. Много ль трудодней выработает баба на сносях? Мужнины казахстанские заработки когда-когда до неё дойдут! Сам он объявлялся из своих отлучек раз в три года (оттого и меж детьми разница в три года). А печь топить, варево стряпать, детей кормить каждый день надо. Как правило, после Рождества подъедались у бедной бабы остатние припасы, дальше, до самого подножного корма, – молись на подаяние, живи впроголодь, жалостью соседей, а у них самих – негусто, несытно.

Как приспичило Наталье рожать, сама «лагополучно» справилась. «Поди-кась невидаль какая – родины!» Пуповину кухонным ножом перерезала, волосами своими перевязала. Укрутила мальчика во что потеплее, оставила на пригляд старшеньким. А сама по лютой стуже, чтобы принести для своих ребятишек хоть какой-то еды, потащилась в бывшее имение Ратыньчихи, в колхоз, организованный на базе коммуны «Светлая Жизнь». Там, вроде, тоже куры деньги поклевали, но всё-таки жили покрепче.

Во главе колхоза стоял двадцатипяти тысячник из Коломны Григорий Николаевич Гришкин. Мужик он был – с хозяйской хваткой, колхоз этот стал при нём лучший в районе. Коровник на шестьдесят голов, овчарня на сто голов, конюшня на пятьдесят лошадей, свинарник, телятник, пасека в сто с лишним ульев, кузня. Имелась и необходимая зерноперерабатывающая техника, молотильный склад, крытый ток. А ещё – школа-семилетка, училище для деревенской молодёжи.

В этот самый колхоз и отправилась бабушка Наталья за подаянием. Туда – пять вёрст, оттуда – пять. По перемётённым позёмкой полям, по заваленным снегами буеракам. В чунях.

Вернулась – уж и спать пора, уж и вторые кочета пропели – за пазухой, чтоб не промёрзли, несколько картофелин, пригоршня пшеница да шмоток сала. А главное, на радость дочерям, – сама пришла. Хотя... откуда у полуголодной бабы в «титках» молоко? Истошала, исхудала, одни глаза да кожа.

По рассказам тётушек, старших отцовых сестёр, проголодавшийся младенец, конечно, орал всю Рождественскую

ночь. Девчонки помыкались, помучались и – хныкать-то нечего! – разыскав в телятнике промёрзшие хвостики столовой свёклы, отварили их, сделали неугомонному «мумку», по очереди затетёшкали:

*Кот Котонаич, Кот Котонаич,
Поди к нам ночевать
Да Ванюшу качать.
Кот осердился,
На печку спать ложился,
Онучки под голову клал
И Ванюшу не качал.*

Если бы кто-то другой рассказал мне, что новорожденный в ту, не ласково принявшую его ночь, не умер, я бы ни за что не поверила. Но так было. Отец выжил. Всем страстям наперекор. Никого собой не обременяя. Словно неземная сила оберегла его. Ну, так Бог – не Прокошка, видит немножко... Правда, впереди мальчонку ждала не менее тяжкая жизнь – безотцовщина.

Откуда, с каких таких достатков? Но на здоровье он никогда не жаловался – с первых часов своей жизни закалённый. Помнится, если в детстве мы с братом капризничали, не хотели есть состряпанный мамой суп, выпрашивая чего-нибудь эдакого, отец искренне удивлялся: мол, какие ещё нужны лакомства, если в кладовке несчитанное число банок со всевозможным вареньем, а уж мёд вообще не сходит со стола. Детворе из его голодного детства такое и присниться не могло.

До мельчайших подробностей помнит он свою жизнь с четырёхлетнего возраста. Из его рассказов знаю и я, как складывалась судьба моих ближних. Уехавшая на Донбасс младшая сестра бабушки Натальи Нюша, как только чуть-чуть обжилась и получила крохотную квартиру, стала манить к себе старшую сестру со всей её многочисленной детворой.

В тридцать шестом году, в девятнадцать лет, первой к ней переехала тётушка Нинила, старшая отцова сестра, и, устроившись на шахту, спустилась в забой. Наведываясь в Игино на побывку, она всеми силами уговаривала мать распрощаться с беспросветной жизнью в деревне, определившись на какое-нибудь производство или вместе с нею – на шахте.

И в тридцать восьмом, когда бабушке Наталье стало совсем уж неважно поднимать подрастающих детей, она наконец-таки решилась. Терять ей, кроме горстки трудодней да крохотной хаты, было нечего. Ни курёнка, ни поросёнка, а тем более, коровы не

имелось, нищета жуткая, а вот с переездом «на шахты» затеплилась надежда хоть как-то, без мужа, в одиночку, поставить детей на ноги.

Отходничеством у нас по большей части занимались мужики. Диву даюсь мужеству и выносливости бабушки Натальи. Как она могла на такое решиться? Правда, именно на шахты потянулись в ту пору и многие семьи Кировской волости. Не раз слышала я воспоминания отца об этом переезде. Конечно, все события удержаться в памяти четырёхлетнего пацана не смогли, но самые яркие ощущения остались до сегодняшних дней. Много поведаль он мне из своего несчастного детства.

– Сестра Нинила слала письмо за письмом, а мы всё не решались, – вспоминал в который раз отец, – как с тутошнего, родного, хоть и голого, но всё же насиженного гнезда сорваться? Да и где этот Донбасс – одному Богу известно! Но, как только схлынули Крещенские морозы, а в ларях подъелись последние припасы, совсем не стало никакой мочи оставаться в Игино, и мы засобирались... Сказывают: нищему собраться – только подпоясаться. Ой ли? Решились – будто в ледяную воду ступили. На дворе зима, у нас – ни одёжи, ни обуви. Мать перештопала все хархары, чтобы хоть как-то не застудить ребяню в дороге.

Ну, ладноть, – продолжает свою историю отец, – договорилась с местным мужиком Фёдором Редькиным, чтобы на санях довёз наше семейство до Кром, двадцать пять километров по переметённым позёмкой холмам и долинам. Хоть и маленький был, и годков с тех пор несчётно минуло, но, как сейчас, помню: лежу, укутанный сеном, только лицо снаружи. Возница погоняет, лошадка поторапливается, и мне чудится: не она это вовсе мчится – столбы телеграфные навстречу бегут. Мимо, мимо... А дядька Фёдор посмеивается над моей непонятливостью, знай, конягу понукает.

Добрались мы до Орла, разыскали вокзал. Мать – за билетами. Только успевай головой вертеть, сёстры глаза поломали, по сторонам таращатся, всё внове – считай, первый раз в городе! Народа – уйма! Плятятся девки, как на иконостас. А я сижу на узлах, песни слушаю – на весь вокзал громкоговоритель надрывается. Тридцать восьмой год. Только что облетела страну новость о перелёте в Америку Чкалова и Байдукова. На всю жизнь врезалась в память песня, прославлявшая это событие: «...Байдуков летел далёко, Чкалов дальше полетел!..»

...Загрузились всей оравой со своими чучалами в вагон, и вот тут мне, четырёхлетнему мальчишке, никогда раньше не задумывавшемуся о своём внешнем виде (в Игино все так были в ту пору одеты-обуты), вдруг стало нестерпимо стыдно за наши лохмотья. Напротив сидела девочка моего возраста. Личико –

блюдцем. Ехала куда-то с родителями. Взрослые прилично одеты, а уж ребёнка, как мне тогда показалось, вынарядили, словно «королевишну» из мамкиной сказки. Чудно! Завидно даже... Видел, как «тушевались» и все наши.

Отец говорит, говорит... а взгляд его устремлён куда-то далеко-далеко... в прошлое. Обо мне он давно позабыл, или только кажется, что толкует он сам с собой?

– Едем мы, значит, едем, и наступило время обеда. Матушка стесняется при соседях вынуть узелок со скудным провиантом. В нём что? Картохи в мундирах да ситного крауха. Смотрим: выкладывает на столик провизию для своих соседка, усаживаются полудневать. Что там было, теперь уж из памяти узкользнуло, но до сих пор нет-нет да вспомнится мне их сдобная булочка-плетёнка. Настолько она поразила меня, что я как уставился на неё, так глаза отвести уже и не смог. Откуда в нашем Игино в тридцать восьмом пшеничная сдоба? Ржаного, и того не вволю...

Вытаращился я, значит, на эту булочку, прямо глазами поедаю... Не стерпела соседка, протянула мне угощение, видно, кусок в горло не полез при виде меня, дохляка. Наверно, был настолько голодным, что не заметил, как умял я ту плетёнку, мигом исчезла в моём урчащем, «прилипшем к спине» желудке. А тут ещё мамаша «королевишны» совсем расщедрилась и протянула мне конфетку... первую в моей жизни конфетку...

Угостился я, запрятал драгоценный подарок в полу одежонки (карманы дырявые), провалилась она – никому не сыскать, а мне – про запас, и в благодарность как заору всю мочь услышанную на вокзале песню: «Байдуков летел далёко, Чкалов дальше полетел!» Матушка толк меня в бок, мол, молчи себе в тряпочку и пяль глаза в окошко. Но все прыснули со смеху, это растопило напряжение. Принесли (дармовой, пей всяк, кому не лень!) чай в серебристых подстаканниках, махонький сахарок, и соседка выложила перед нами все свои припасы. Так я впервые заработал хлеб для нашей семьи. Потом выручал своих не раз. Малый ребёнок с голодными глазами... Как не подать милостыню? Кто ж стерпит?

...И вот добрались мы, наконец-таки, до шахтёрского посёлка «Чумаковка». Двенадцать километров до Макеевки. Недалеко от Сталино, который нынче Донецк. Приняла нас тётушка Нюша в своей крохотной комнатухе со всей душой: спервоначалу-то перекупала, накормила... а у самой уж тоже двое ребятешек – трёхлетний Коля и грудная Любочка. Даже и не представляю теперь, где мы, такая орава, на девяти метрах размещались! Помогали, чем

могли, обустроившиеся раньше нас земляки: и толмачёвские Сорокины (откуда бабка моя Агриппина), и волчеямские Солодковы.

На следующий же день по приезду (а что выжидать-то?) отправились мать и вторая сестра Надя в шахтком. И устроились на работу. А Аню не взяли, и заикаться не смей, – несовершеннолетняя. В скором времени и у нас выгорело – выделили и нам комнатуху (видать, преложил Господь гнев на милость!). Такие маломерки «кухоньками» тогда называли. Но мы и ей были несказанно рады! И вроде всё помаленьку стало налаживаться: мать и старшие сёстры уходят в забой, Шура с Петей – в школу. Остаёмся мы с Аней на хозяйстве. Правда, дома сестра долго не засиживалась. Носилась от магазина к магазину, выстаивала днями в очередях. Продукты и мануфактура распределялись тогда по талонам. И Аня день-деньской их отоваривала, заодно занимала очередь и для соседей.

Разойдутся старшие по своим делам, наскучит мне одному сидеть, оденусь – и к землякам, пока обойду всех по очереди – наемся, ещё и в карманы пампушек напихают: сестёр, мол, угостишь.

А там мне уж и пять стукнуло, совсем смыслённый стал. Помню, мучаются Шура с Петькой, учат стихи на украинском, а у меня-то память – на троих хватит, мне и потом науки проще пареной репы доставались. Матушка, бывало, скажет: «Видать, тебя, Ванюша, Господь в маковку поцеловал»... и положит Богу за меня кресты... И сейчас могу рассказать стихотворение из украинского учебника, что невольно запомнилось, пока старшие над ним бились.

И отец, с детской гордостью читает:

*...Там пенёк малёсенький,
Замела зима.
Там росла елыночка,
А теперь нема.
Хто ж зрубил елыночку?...*

– Вся мебель в комнатухе нашей – отец загибает пальцы, считает, – стол, печка, сундук (ещё игинской) да три кровати. На одной спали старшие сёстры Нинила и Надя, на другой – Шура с Аней, на третьей – мы с матушкой, а Петя – на сундуке.

В пять лет появилась у меня обязанность – кочегарить. Приставили меня к печке. Мать приносила из шахты антрацит, и я – некогда в носу ковырять – наловчился растапливать печку, подкидывал уголь в топку, поддерживал огонь, а уж сварить попутно картошку – это вообще никакого труда не составляло. Мужик! Мужичок-с-ноготок... Если не в ночную, сойдутся все вечером, а я уже и картошки отварил, а там и Аня сумки вытряхнет. Ничего... жить

можно... главное – питаться стали лучше, хлеба – не вприглядку. За работу старшим платили не трудоднями, реальными деньгами. А «пахать» старались сверх меры, не балованные. Помню, Надю даже от профкома наградили путёвкой в дом отдыха. Ну так давно известно: «Дальняя сторонущка уму-разуму учит».

Перед войной-то прямо пошло-пошло, – возвращается из детских воспоминаний отец, – словно какое древнее заклятье с семьи нашей спало. Вот бы поглядели игинские! Уж и квартиру дали. Просторную, хорошую. Одним словом – насилу-насилу окрепли, встали на ноги...»

А к этому времени земли села Кирово и деревни Игино перешли из Кромского в Сосковский район, в котором были созданы две машино-тракторные станции: Сосковская и Гнездиловская.

Крестьянин понимал: если обрабатывать землю по старинке, выбиться из нужды он не сможет никогда. И в 1934 году на кировских полях появились сначала колёсные ХТЗ, а позже гусеничные УТЗ, трактора ценились на вес золота. Через четыре года, четырнадцатого октября 1938 года, передовица районной газеты «Сосковский колхозник» расскажет о Стахановском движении, увлекая в него и тружеников района, чтобы, наконец-таки, дышащие на ладан колхозы выбились из нужды.

В селе моём в это время действовала начальная школа, появилась небольшая изба-читальня, клуб, где проходили самодеятельные концерты, а иногда «крутили» сначала немые, потом и звуковые кинофильмы.

Именно тогда решено было и в Кирово Городище построить МТС. Уже и фундамент заложили, но по каким-то причинам дело это вдруг свернули. Фундамент разобрали и перевезли на пристройки в Гнездиловскую МТС, что располагалась в барском имении в селе Алмазово.

В предвоенные годы кировская молодёжь кинулась осваивать технику. Например, в семье Бульгиных (родные моей мамы) на тракториста обучились не только четыре брата: Иван, Дмитрий, Яков и Михаил, но и младшая сестра Соня. Девчонка-то – пуд с косырем! До педалей не доставала, глядеть не на что, а всё туда же!

Отучившись на курсах трактористов, Бульгин Михаил вместе со своим земляком Хрусталёвым Афоней, устроились сначала на Гнездиловскую, потом Сосковскую МТС, получили УТЗ и с утра до темна бороздили поля многочисленных колхозов Сосковского района. Собрав харчи, уходили из дому на неделю, жили в общежитии при МТС. А когда в семи километрах от Кирово в селе Рыжково организовали сначала ЛЗС (лесозащитную станцию,

которая занималась опашкой лесополос), а потом на её базе и МТС, обженившиеся к тому времени трактористы перебрались поближе к семьям.

В 1939 году, ровно за два года до фашистской оккупации моего Кирово Городища, в избе с большим палисадником, в котором под кустами акаций вечно копошилась насадка с малыми цыплятами, а на ветки ливнем обрушивались гомонливые воробьи, в крестьянской семье Булыгиных Михаила Александровича и Анны Григорьевны аккурат после Покровá появился на свет первый ребёнок – дочка Клава, моя мама.

Но семейство бабушки Натальи Андрияхиной не ведало весточек из родной деревни. Спасаясь от нищеты, оно вынуждено было скитаться по людям, обустраиваться на чужбине, далеко от родимого Игино, от Мишкина бугра.

«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!»





одошла пора поведать и о судьбе родителей моей мамы. К слову сказать, ничем особым от судеб кировских крестьян она не отличалась: та же беспросветная (но без неё-то и жизнь – не жизнь!) работа на земле, те же, как и у миллионов наших крестьян, заботы о хлебе насущном, о том, чтобы поставить детей своих хоть как-то на ноги.

...Нюра – будущая моя бабушка, мамина мама, работала до замужества в райбольнице. По выходным округа собиралась на лугу в лесу Волчьем. Девки дробили под гармошку, а парни устраивали кулачки. На лугу этом наша молодежь зачастую и знакомилась.

У Михаила – три брата. Станут стеной – все бегут врассыпную. Как такими богатырями не залюбоваться? А глянулся Нюре младшенький.

И молодой тракторист Миша Булыгин не дал маху – меж кулачками сумел-таки приглядеть себе любушку. И девчонка-то, вроде, как девчонка, но косы! Длинные, тугие, ни у одной в округе таких не было. За косы и полюбил её Михаил. Одна такая рзьединая! Увидел, протосковал лето, а к Успенью сватов заслал.

Михаил приехал свататься, и будущей тёще очень понравился – крепкий, ладный, непьющий. В тридцать восьмом, после уборочной сыграли свадьбу. Только не пришлось Нюрочке покрасоваться косой своей. Тиф свирепствовал тогда в деревнях. Навезли тифозных в больницу, Нюра и заразилась, слегла.

Долго провалялась в жару. В таких случаях стригут налысо. Брат Нюрочкин Василий скандалил на всю больницу, не давал резать её расчудесную косу. Выгнали его за дверь, а Нюру всё равно остригли... и косу сожгли. Случилось это незадолго до свадьбы. На вечере сидела она слабая, бледная, в белом платочке, волосики ёжиком, только начали отрастать... В октябре тридцать девятого народилось дитё.

Это теперь разные отсрочки перед службой в армии существуют, а раньше такого в помине не было. Да ещё перед службой парни проходили предварительную подготовку в Терчастях недалеко от Орла, на полигоне в Лужках.

Пришло время, забрали Михаила на действительную, сначала на Кавказ, затем перекинули в Иран. Помню его, маминого отца, дедушку Михаила, не смотри, что век на земле, – аккуратист и

чистюля. Видать, в Иране насмотрелся, как выпекали лаваша, поэтому никогда их не ел, «гребовал». Скажет, бывало, мол, хозяйка их на коленке раскатала, к печке пришлёпнула. Покачает головой: «Разве можно так-то с хлебушком?»...

Уж и на вторую половину перевалила служба Михаила, а тут – хватать! – Гитлер, не к ночи будь помянут, зачесал кулаки, оттяпал пол-Европы...

Мы о волке, а он – за гумном! В Кирово и Игино сразу же, за июнь-июль сорок первого, мобилизовали всех мужиков, остались старики да малые дети. А по большей части – сплошное бабье царство. Осталась и Нюрочка с полуторогодовалой дочкой Клавой на руках да со свекровью. Слава Богу, та её любила. Бывало, до войны-то посадит на гулянках рядом, нальёт стопочку (а Нюрочка и вкуса спиртного не знала) и смеётся-приговаривает: «Попейся, молодиц!» Ведь знает, что Нюрочка и не пригубит, а всё подшучивала над ней.

Прожили свекровь с Нюрой до самой своей смерти под одной крышей. Всегда ладили, душа в душу. Любила свекровь её, как собственную дочь. А по какому случаю не любить-то? Бабочка она была покладистая, на работу цепкая, даже ярая, чисто плотная, да и в Мише, сынке её, души не чаяла. Коса у Нюры отросла, но уже не была выдающейся. Зато из простой девчонки превратилась Нюра в красивую женщину, расцвела, стать появилась.

И вот в сорок первом обрушилась беда...

Спустя всего лишь три с половиной месяца немцы овладели Орлом, рвались к Москве. До того момента, когда на поле запылали конопляные снопы, в деревне только слышали погромы хивание дальних боёв, да время от времени приходили слухи о зверствах гестапо в Орле. Но в Кирово уже никто не сомневался, что со дня на день немец придёт и в их дома. Конечно, боялись... Как не бояться-то?

...И вот заскрежетали гусеницы по большаку, ещё не прибранными полями, напрямки, наматывая на гусеницы побуревший подсекольник, в деревню вкатилась война. Сначала ворвались танки, за ними мотоциклетки с колясками и машины с солдатами. Улица наводнилась немцами.

Первое, что они сделали – перебили у Кромы колхозное стадо, устроили настоящую охоту за коровами. Потом, переловив под плетнями хозяйских кур, выгнали всех баб из хат в амбары да сарай (хоть волчицами вой!) и расквартировались. Заходить в свои избы разрешали только для того, чтобы навести порядок, приготовить им еду.

Вытолкали немцы и Нюру с малышкой, и бабушку, а в их просторной хате разместили свою почту. Только и успела старая, что похватать вгорячах со стен да спрятать в опущенный в шейную яму, заваленный картошником кованый прабабкин сундук посуровевшие образа да фотографии четверых своих ненаглядных кровиночек, сыновей, что бились на фронте яростно с лютым врагом за неё, престарелую мать, за любушек-жён, за малых детишек своих, за родное Кирово Городище.

Согнав жителей села к школе, на которой уже развивался флаг со свастикой и была приколочена вывеска «Komendatur», немцы представили важную шишку – коменданта Давыдова, поставленного над Кировской волостью (имя его не сохранилось в памяти земляков моих, а может, не захотели они его, «вражину», и запоминать-то, Давыдов, да и Давыдов).

...Когда бабка услышала хрипкое, последнее, мычанье выпестованного ею, словно дитя малое, белолобого подтёлка, привязанного на луговинке, за садом, решительно собрала кое-какие пожитки, подхватила невестку Нюру с маленькой дочкой и ушла с ними в летник. Сладили печку, стол, так и перебивались.

А немцы продолжали занимать кировские хаты, грабить немудрёное их добро. Хозяйничали, как будто у себя дома. Ведь по не писаным правилам войны первые три дня оккупированные деревни отдавались на разграбление. Свиной оккупанты порезали сразу. Разбегались по дворам, хватали палки, били кур, откручивали им головы. С Кромы доносились взрывы – забавляясь, немцы загоняли гусей в воду и бросали туда гранаты. А выудив птицу на берег, снимали с неё кожу, словно чулок.

Рассказов о войне много не будет никогда...

На постое в соседской хате жил дебёлый рыжий офицер. Всё, бывало, погуживал себе под нос что-то бравурное. Только сам и знал, о чём поёт. Часто вынимал фриц из нагрудного кармана фото и хвастал своею фрау с малолетним сыном на руках. Из дома ему присылали посылки с шоколадом, печеньем. Он и повадился

угощать Нюрочкину дочку, а сам всё на Нюру заглядывался, всё прижаться норовил.

Почувяв мысли фрица злые, потаённые, свекровь, чтоб невестка, не приведи Господи, духом перед «немецким жеребцом» не смутилась, вырядила её в рваньё. В сарае соорудила большой топчан. Сама ложилась спать с краю, внучку укладывала посередине, а Нюрочку – у стенки. Утром самолично на люди вымазывала её лицо и руки сажей. За версту от молодки несло древесной золой, влажным и кисловатым духом замызганной фуфайки, отваром чеснока.

Фриц всё, конечно, понимал, и только свистел из всей дури, ржал над уловками старушки. К зиме он совсем уже не давал прохода бедной Нюре («скрозь земь провалиться!»), заставлял её умываться, чтобы не прятала красу.

Фашисты резали скот, отбирали продукты, а деревенские кормились, как могли. Даже на собственной бакше были не вольны теперь распоряжаться. На общем сходе староста зачитал распоряжение командования триста восемьдесят третьей немецкой пехотной дивизии: «Кто вытаскивает картофель до созревания, чтобы взять самые большие картофелины, и вставляет потом клубень обратно в землю, будет расстрелян, как вредитель, то же самое для того, кто украдёт сноп зерна или сена...»

Не жили, а выживали! Ведь никто и не мыслил, что за такой короткий срок немцы дойдут до Орловщины и будут на ней властвовать двадцать два месяца!

По теплу ещё куда ни шло – деревенских спасали грибы, ягоды, щавель. А зимой приходилось тяжело. По немецким тылам Нюра, оставив на пригляд свекрови дочку, ходила за семьдесят пять вёрст пешком на базар в Орёл. Успевала за двое суток. Меняла яйца, настряпанные блины, пирожки на соль. На базаре в то время царствовал товарообмен. Наряду с советским рублём имела хождение и немецкая марка, приравненная к стоимости десяти рублей.

Немцы, конечно, не раз перехватывали Нюру на пути, вытрясали корзину, отбирали продукты. А коли посчастливится добраться до Орла, надо было ещё суметь продать картофельные пирожки, выдав их за мучные. За сутки картошка темнела,

покупатель разламывал, и, если чуял обман, затевался скандал. А могли и побить, времена-то голодные!

Однажды свекровь учудила на старости лет. Ни с того ни с сего надумала пойти в лес и невестку с собой прихватила. Пробродили до тёмных. Молодка подобрёзовики да свиных собирала, а свекровь – мухоморы. «Совсем бабка плохая стала, – заглянув в корзину старухи, в кои веки подумала так о свекрови Нюрочка, – ничегошеньки путного... во как! – тут толь одни поганки!» А старой – хоть бы хны: «Тебе всё бы хаханьки! Об чём увидала – не мели! Языки-то людские побереги! Бытто не об чём не ведаешь. А то худо будет!» – промямлила бабка, прикрыла добыток «папретником», принесла домой и затеяла баню.

Пока Нюра с дочкой купались, хитрая бабка сделала отвар из мухоморов. Не впервой ей снадобья стряпать, до войны отварами всю деревню лечила. Взяла и окатила Нюру ядовитым зельем.

На другой день кожа на теле у невестки покраснела и распухла. Увидав это, немец остолбенел, сплюнул в сердцах, но никогда больше не подходил к Нюре и даже не заговаривал с нею. «Нечего фрицам на наших лебёдок заглядываться!» – бубнила в сердцах довольная старушка.

Она, бесстрашная, ведь не читала памятку, которую вручали солдатам и офицерам вермахта, воевавшим на Восточном фронте: «убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим ты спасёшь от гибели себя, обеспечишь будущее своей семьи и прославишься на века».

Не знали мои земляки и о том, что, готовя «План Барбаросса» (план нападения на Советский Союз), фашисты разработали «Распоряжение об особой подсудности в районе Барбаросса». Чудовищный документ этот, по сути, – государственная политика, оправдывающая жестокость и зверство. И к кому? К старикам, бабам да детишкам!

Война длилась... Каждый раз, как только бабка замечала, что фрицы засматривались на Нюрочку, тут же пользовалась испытанным рецептом. Настойка на мухоморах действовала безотказно. Многих парней и девчат на деревне спасла тогда хитрая бабка. Скольких фашисты не угнали в Германию, боясь колдовской заразы! А ещё старая придумала такую уловку: как что недоброе

учует – нырь с невесткой и внучкой в шейную яму под копну ржаной соломы. Кто только в этом бабкином схроне не отсиживался!

...В августе сорок третьего выдворили немцев с Орловщины. А Михаил потопал в обмотках по свету – не приведи никому. Вернулся на родину лишь в сорок шестом.

Прыткая бабка, задетая за сердце невесткиными уговорами отдохнуть, и представить себе не могла, что выпадет такое времечко, когда и делать-то ей будет нечего. Бывало, скажет: «Э-эх, молодича-а! Всё второпях да второпях, и роздыху за жисть не чаяла! Горбила – все рученьки в коросте. К ночи – лишь бы до подушки дотяться. Щец летних, пустых, похлебать – и то недосуг... И пожалиться некому... Теперя, када годики под гору, надеюся, что скоро, на том свете, небось, и отдохну, а тута – некада!»

Вот уже лет шестьдесят, как отдыхает... Видно, надломила её такая вот, в нехватках и постоянных заботах о пропитании, жизнь. Правда, перед смертью успела она налюбоваться на возмужавшего за долгие и суровые годы сына, пожила под его крылом, натетёшкалась и с двумя народившимися, послевоенными, внучатами – Михаил с Нюрочкой нажили ещё дочь Галину и сына Николая.

Рождение детей, обихаживание развороченной минами и снарядами землицы – всё это будет потом, после войны. А пока, в самом её начале, артиллерийская часть, в которой служил Михаил, срочно перекинули сначала в район Киева, на Днепр, а потом под Полтаву. Враг навалился такой машиной, что устоять уже не было никакой возможности. И вот тут судьба преподнесла ему случай, о котором мой дед Михаил, мамин отец, потом помнил всю жизнь.

Ещё с Ирана пришлось ему служить в одной артиллерийской роте со своим земляком Кудиновым Иваном. Когда под Полтавой часть их чуть не попала в окружение, отчаявшийся Иван, визжа от возбуждения и страха, предложил Михаилу под шумок бежать, мол, того гляди, фрицы всех нас одним чохом в землю вроят. Глазёнки его хитро-беглые, что глядели россыпью, не могли скрыть его нутра: всякого обведёт вокруг пальца.

Михаил аж зарделся в гнев: «Как бросить погибающих один за другим товарищей?! Нет уж! Что всем – то и мне!» – решил он и пригрозил застрелить земляка, если тот ещё раз заикнётся ему о победе с передовой. А с Михаилом шутки плохи!

Правда, Иван, улучив минуту, всё равно дал стрекача. И ни разу за все годы войны пути их больше не пересекались.

А когда дед Михаил вернулся с фронта, как-то на Медовый Спас объявился на его пороге тот самый Кудинов Иван. Слухами земля полнится: оказывается, со времён освобождения Брянщины от фашистов возглавлял там (глазки хитрющие, гусь ещё тот!) какую-то деревоперерабатывающую фабрику или что-то в этом роде. Гость – на порог, а дед посмотрел на него пытливым взглядом, даже руки не подал, молча, вышел вон. С чего бы вдруг?

Иван ушёл, и бабушка Нюра ни с того ни с сего накинулась на мужа, не давая себе труда с ним церемониться, осерчала, зашуняла: мол, что ж ты так-то фронтового товарища задичился, с чего так на него взъелся? Что за муха тебя укусила?

Тут уж дед не стерпел (пустоболтом никогда не был): не торопясь, раздумчиво покачивая головой, свернул козью ножку, покурил, потушил окурок о каблук сапога, а потом всё, что тяготило его душу, выложил жене. Мол, развесила уши, слушай больше этого балабола! Был бы дельный мужик! Нечего с ним церемониться! Волк ему брянский – товарищ, а для меня он – на веки вечные предатель и дезертир! В такую-то минуту дал портки! Чего хорошего от него, подлеца, дожидать-то?..

Деда Михаила, участника несчётных боёв (иконостас за них – дай Бог каждому!), угораздило побывать в таких крутых заварушках, из которых и самому ему не верилось, что и выкарабкался. Но, видать, сам Господь его хранил. Довелось мамину отцу сражаться и в июле сорок второго на Волге, под Сталинградом, и летом сорок третьего на Орловско-Курской дуге, и освобождать родные места.

Тогда часть его вела бои в направлении Калинова куста и Дмитровска. Помню, бабушка всегда шуняла дедушку: мол, чуть хату родную из своей пушки в щепки не разнёс. До родного Кирово-то оставалось всего ничего – восемь километров! Узнав, что Михаил почти на пороге своего дома, командир пообещал, как прорвутся на городишко, дать трое суток отпуска. Но предстоял жутчайший бой...

Очнулся солдат в госпитале в Алма-Ате. Перед глазами – круги разноцветные. Вся правая сторона исполосована, изуродована, мясо вырвано до костей, концы рёбер срублены... Сплошные бинты. А домой о том – ни весточки, ни полнамёка...

Тот бой одиннадцатого августа сорок третьего года, в котором дедушку тяжелейше изранило, остался в семейной памяти и ещё по одной причине... Уже несколько ночей кряду наша артиллерия выкуривала немцев из Кирова. Бабушка Нюра с маленькой дочерью и свекровью уходили с вечера со своего двора в самом центре села и прятались в крепком подвале у Баженовых, которые жили на самом краю села, ближе к Игино. Старой бабке не доставало мочушки каждый вечер таскаться в убежище, вот и говорит она невестке: «Молодйц, я нынче никуда не пойду, ховайтесь без меня. Лягу я у энтой вот стеночки, глядишь, ничего со мной за ночь и не случится». Нюра заперечила (курицей квёлой никогда не была), сгребла бабку в охашку и, не слушая её ворчания, отвела в подвал. Ночью наша артиллерия почти разнесла Кирово. В Нюриной хате выбило одним махом именно ту стену, за которой надеялась спрятаться бабка. Спору нет, невестка спасла тогда свою свекровь от верной гибели.

А Михаил полгода провалялся по лазаретам, и снова – фронт. Прошагал половину Европы, до Сандомирского плацдарма. Освобождал узников концлагеря Равенсбрюк. Здесь, в Польше, и застала его Победа... А потом была ещё и Чехословакия!..

Чего только не случилось на войне?! Как уж так вышло? Воистину: «Пути Господни неисповедимы!» В Равенсбрюке томился попавший в плен ещё в сорок первом под Минском брат бабушки Нюры Василий. При воспоминании о встрече у ворот барака № 7 концлагеря и дед Михаил, и дед Василий никогда не могли сдержать слёз.

Как сейчас вижу: приедет, бывало, бабушкин брат из своего Мартьяново к нам в гости на Престол, а уж на День Победы – обязательно (заранее дня за два, чтоб помочь сготовиться к празднику, и уедет дня через два после), и всё-то деды рядышком, всё-то не наговорятся.

На праздник, откинув все хлопоты (их ведь в деревне вовек не переделать!), усядутся они за заставленный закусками стол, а бабуля уж и с ног сбилась, снуёт по кухне, словно челнок из её ткацкого стана: то холодчику из погреба гусяного принесёт, то кубанок кваску подаст.

Чокнутся деды за встречу – по первой, потолкуют. В который раз расскажет дед Василий, как выживал в фашистском застенке, о том, как за ночь под страхом расстрела, по приказу немецкого офицера он (никогда не бравший в руки швейную машинку!) сшил

немецкий китель (распоров старый и используя его вместо выкройки).

Не чокаясь, стоя, выпьют они по второй – за павших своих друзей-товарищей. Сколько их полегло за четыре года войны? Страшно и подумать... Под Минском в сорок первом остался полк деда Васи... Он, контуженый в том бою, да ещё горсть ребят из их роты, попали в плен... Помянет и дед Миша свой расчёт, который накрыло вместе с пушкой под Курском, когда он по счастливой случайности был вызван к командиру роты.

До сих пор отчётливо памятно: нальют деды по третьей, подзовут бабушку: «Да присядь ты, Григорьевна, не колмотись! Сама-то, чай, не меньше нашего хлебнула!» Утрёт бабуля кончиком фартука подкатившую слезу: «Да уж! Верёвку на маленькой вязанке никогда не затыгивала, всё старалась на горб поболее взвалить... За Победу, родные!»

**ХОРОШО ВОЙНУ СЛЫШАТЬ,
ДА ТЯЖЕЛО ВИДЕТЬ**



Гинскому мальчишке, Ване Андрияхину, впоследствии – моему отцу, заброшенному волей судьбы в далёкую шахтёрскую Чумаковку, в середине сентября 1941 года, когда в Донбасс вступили немецкие войска, было всего ничего – семь с половиной. Но события той поры так потрясли ребёнка, что каждый день до мельчайших подробностей навсегда врезался в его память. Не забыл он и первую встречу с оккупантами.

...Наши оставили Донбасс, немцы вот-вот вступят в Чумаковку. Отступающими поспешно взрывались последние шахты. В посёлке, на погирель, на поруху, – безвластие. Начался грабёж магазинов и лавок. Малочисленные отряды милиции не справлялись с ситуацией. Выловленных мародёров выводили за бахчи, в заболоченное местечко Ларинка, и там, без суда и следствия, по законам военного времени, безжалостно расстреливали.

По соседству с семьёй Андрияхиных жили куряне Винокуровы, отец и мать работали на Чумаковской шахте. У них – парнишка, ровесник Вани. Мальчишки – сердца шальные, народ бесстрашный. Ваня со своим дружкой Колькой Винокуровым в тот день пробрались через выбитое окно в никем не охраняемую контору шахты БИС 11–21. Пошуровали по шкафам, обнаружили конденсаторы. И ну их потрошить, набивать карманы выдернутой из них фольгой. Несмышлёныши, ребячество! Думали: «Золото!» Только перелезли обратно через забор конторы, слышат крики: «Немцы! Немцы!» Пацаны – к Ване домой! Золото прятать! «Чёрт их знает, кто они – немцы эти?»

Народ, высыпав из домов, стоял у калиток за горожей, а вдоль посёлка шли враспынную немцы – рукава засучены, в яловых сапогах (у нас-то – кирза!), автоматы наперевес. У некоторых – ещё и пистолеты на взводе. Тьма тьмуца! Всё равно, как мошкары летом.

Собак, разрывающих своим брёхом крошечную тишину, фашист стрелял без разбору. Поравняется фриц с домом – огладит сапогом калитку, яблоч пилотку через край надерёт, жрёт-похрустывает. Рубанёт куцкой (кнутом, схожим с нашим батожком, плёткой), так у курицы голова в мальвы и покатится. Подберёт немчина рябку, прицепит сзади за ремень и давай за другой охотиться.

Крик, мычание, кудахтанье, поросычий визг! Выволокли у соседей Сорокиных из хлева двух поросят, по пуле – в ухо, и потащили со двора. У других соседей-татар – одну за другой перестреляли шестёрку овец и – на полевую кухню.

Сейчас отцу – восемь десятков. Нелегко даются ему эти воспоминания. Он то говорит взахлёб, порою, с яростью, порою, умолкает, плачет... Снова окунается в сорок первый, старается припомнить своё изломанное, израненное войной детство,

останавливается: «На сегодня хватит, и так теперь не заснуть», но спустя минуту растереблённая его память снова не даёт ему покоя, и он говорит, говорит...

После шествия и беспредельного грабежа немчуры посёлок будто обмер. Ночь подошла, тишина – гробовая!

А на следующее утро не заставили себя дожидаться, спозаранку явились полицейские: «Телефонные аппараты и радиоприёмники безотлагательно сдать в комендатуру!»

К октябрю последние запасы харчей иссякли, надвигался голод. К общим бедам в семье Андрияхиных добавилась ещё одна – бабушка Наталья не могла заниматься добычей продуктов. С середины августа, целый месяц лежала она с переломанной левой ногой в Сталино (в Донецке) в больнице. Сопровождала вагонетки с углём, поднимая их на террикон, уж почти и на гора вышла, как вдруг сорвавшаяся глыба антрацита упала ей прямо на ногу. За день до того, как немцы вступили в Чумаковку, коногон их шахты привёз бабушку Наталью из больницы домой. Бабушка – на костылях, в посёлке – фашисты, в доме – голод... «Ох, и томнёхонько!»

При отступлении, чтобы не досталось врагу, на товарной станции наши подожгли склады с пшеницей и кукурузой. Соседи Андрияхиных, как и многие в посёлке, кинулись к складам. А когда пошли и Ванины сёстры, Надя с Нюрой, и с ними живший неподалёку шахтёр-китаец со своей женой, хохлушкой Лизой, то попали под взрыв склада. Лиза погибла на месте. Вернувшись, несчастные приготовили кашу из полуторелого зерна да чуть не отравились.

Собрав кой-какую одеждунку, ходили её менять на продукты в село Мандрыкино, за семь километров. На брошенных овощных совхозных полях, что раскинулись неподалёку от Чумаковки, кто успел, собрал истоптанный, истерзанный урожай лета 1941 года.

Рядом с Ваньей семьей жил одинокий старичок. Потихоньку-помаленьку насобирав он на тех полях целый мешок столовой свёклы. Как уж прознали о его скудных запасах объявившиеся с наступлением голода грабители, только соседи нашли старичка с проломленной головой, конурка обобрана до нитки, конечно, исчез и злосчастный мешок со свёклой.

Не убоявшись надвигающейся зимы (что ещё может быть ужасней войны?!), с горечью на сердце от невозможности повернуть время вспять, народ потёк из Чумаковки. Хоть куда-нибудь, в какую-нибудь самую глухую деревеньку, но только бы уйти из заголодавшего Донбасса! А бабушка спала и видела вернуться на Орловщину, в Игино...

Двадцать первого декабря сорок первого года, погрузив невеликий скарб свой на самодельные санки, Наталья Андрияхина с дочерьми Надей, Шурой и Аней, с маленьким Ваней, на ногах – глубокие галоши,

портянки с поворозами, ни свет ни заря выехали из Чумаковки. (Самая старшая сестра Нинила и брат Петя вернулись на родину, в Игино, незадолго до начала войны).

От Сталино (Донецка) – скопище людское, кругом галдёж, сплошной поток беженцев... на крутолобине храм без маковки... Бабушка Наталья ещё с костылём, перелом ноги давал о себе знать. Вместе с дочерью Надей тащили они на салазках побывавший на Донбассе игинской сундук. Санки чуть поменьше везла Шура. Сверху, на поклаже, на её санях пристраивали Ваню. Шли обочиной.

Сдружились с семьёй Андрея Грачёва, она добиралась тоже на Орловщину, в село Апальково. Чтобы не сбиться с пути, дядька Андрей раздобыл где-то карту, по ней и передвигались. Прикидывали: добраться бы до Сум... потом – Курск... Обоянь... Лубянки... Гнездилово, а от него до Игино – рукой подать, с завязанными глазами свою хату найдут...

По дороге, устремляясь всё дальше на восток, страшной, лязгающей армадой непрерывно катили германские танки, машины, крытые брезентовые обозы, мотоциклы. Кюветы завалены лошадиными и людскими трупами, развороченной техникой: и с паучьими знаками-свастикой, и с красными звёздами. На полях – занесённые снегом крестцы ядрёной украинской пшеницы. Чернеют пожухлые, перестоявшие картузы подсолнечника. Покинутым лесом шуршат-перешёптываются будылья перезрелой, необранной кукурузы. Кормились, чем приведёт Бог. Растирали хлебные колосья, веяли на студёном ветрище пшеницу, обжаривали зёрна на прибоченных кострах. Шелушили подсолнечник, сыпали в чувальник семечки. Выкручивали жёсткие, каляные початки.

Когда вечер переступал порог глухой ночи, когда напрочь опрокидывался тёмный купол небес и высыпала колючая россыпь Млечного пути, доползали до очередного селенья. Втащив в сени санки с хархарами, измождённые и окоченевшие, упрашивали сжалившуюся хозяйку, пустившую на ночлег, напарить на завтра в дорогу полный чугунок кукурузы. Украинки, как водится, – добрейшие женщины. И обувку-одежду просушат, и вареников, хоть с бульбой, а настряпают – к столу позовут, и спать уложат. И поутру в дорогу узелок со шматком сальца, с галушками сготовят.

Война научила Ваню многому: и побираться, просить милостыню – тоже. Может, оттого у отца моего всю оставшуюся жизнь при воспоминании о детстве перед глазами возникал кусок хлеба, поданного ему из милости. Поэтому и на тарелке он поныне никогда не оставляет недоеденный кусок...

Зачастую семья останавливалась на краю встретившейся на пути к дому деревушки, и мальчонку посылали по дворам. К этому времени он разучил много новых песен, и, обходя хату за хатой, пел их, ничуть не смущаясь, на все лады. Паренька жалели, подавали, хоть и у самих не

густо (война!) Обойдя деревню из конца в конец, Ваня возвращался к своим. В карманах – хлеб, блины, вареники. Обступят его сёстры, первый кусок – Шуре (на салазках-то она Ваню везёт).

Из продвижения по Украине врезалась в память семилетнего ребёнка картинка: конец января, лесистая дорога, небольшие селения... И на спуске, на выезде из одной деревушки, пристроился дед. Стоит, с самоваром... как диковина. Сколько так стоит, никто не ведает. Кипяток для беженцев греет. Вместо заварки – яблочная да грушевая сушка. Всем желающим наливает в «люминиевые» кружки огненный чай. Святой человек! Кланялись ему до земли.

А время лютое, февральское.

*...Знать не можешь
Доли своей,
Может, крылья сложишь
Посреди степей...*

Однажды вечером поднялась несусветная метель, дорога – в гору. Кое-как добрались обозники до сельца. Ветрище гудит, лютой собакой воеет, разметал вдоль улицы «притуги», которыми для тепла обкладывали испокон веку и в России, и на Украине стены изб.

Забрели они на двор, Наталья двинулась к крыльцу. Смотрит: а на порожках женщина замёрзшая сидит. Видать, настолько обессилила, что до двери дойти последнего шага не хватило. Рядом с нею саночки. А в них – два ребяточка укрытые. Живенькие! Жалостливые хозяева приютили Наталью с детьми на ночь, и малышей погибшей беженки оставили у себя.

Добравшись до местечка Грайворон, с ужасом обнаружили: потеряли Аню! И немудрено – двигался жуткий людской поток! И на машинах, и на лошадях, но в основном – пешком. С сумарями, корзинками, кошёлками, рюкзаками, сундуками, тормосами, авоськами. Бабушка Наталья чуть не очумела. Наказав детям продвигаться вперёд, заметалась среди беженцев, кинулась разыскивать дочь. Чего бы она только не отдала, только бы сыскалась пропавшая Аня. Лишь спустя три дня догнала она своих ребят, ведя за собой зарёванную, словно млечный младенец, Аню.

Разные люди встречались на их долгом, мучительном пути: и душевные, сердечные, были и злыдни. В тот, навсегда оставшийся в мальчишеской памяти день, под Курском, уж и пятна промёрзлых окошек засветились, попросились они на постой. На улице – холод лютый, собаку из дома не выгонишь.

Хозяйка впустить впустила, но весь вечер поедом ела, по глазам завистливо стебала, через плечо кидала: «Что? Съездили за длинным рублём?» И спать уложила на полу в холодной половине хаты. Изморенные, валившиеся с ног, беженцы были рады и такому приюту.

Свернулись клубочками и потонули в жутких сновидениях, продолживших их такой же жуткий дневной путь.

Упали, значит, на брошенную хозяйкой охапку соломы и тут же заснули, в темени, да особо и замечать-то было некогда, не разглядели в углу телка. За ночь продрогший телёнок измочил всю солому, на которой спали несчастные. Когда осветлилось, по раннему холоду утра, мокрые и голодные, двинулись они своим путём-дорогою.

А было и такое – как-то, в середине марта, хозяйка их, радушная баба, растопила печь, накормила, чем могла, даже помыться воды согрела – за тяжкий день хоть какая-то награда. Хлопотала жалкая вокруг них, словно вокруг близких родичей, и, собрав разбитую, растрёпанную обутку, пристроила её, как на грех, на ночь в печь, на просушку.

Утром, отодвинув заслонку, обнаружила заботная ворошок угольёв... И ну в голос! Мол, не казните, дайте во грехе покаяться! Что тут скажешь? О невозвратном голосить – воду решетом носить, вчерашний день искать. Поахали, попричитали они с бабушкой Натальей, а потом обмотали бедолажные тёткины постояльцы ноги тряпьем, и вперёд, только вперёд, домой в Игино, на Мишкин бутор.

А в селе Обратеево отправился Ваня побираться (совсем отоцали, ничегошеньки в материнской суме из припасов не осталось), и понравился он одним деду с бабкой. Раздели они мальчишку, накормили, на печь погреться усадили, и давай вещицы сны рассказывать, уговаривать у них остаться. Ваня – ни в какую: свои дожидаются! Ну что ж? Насильно не удержишь. Набили ему карманы старики яблочными пирожками да за ворота спровадили.

А по Ване мамка с сёстрами уже истомились: «Кормилец ты наш!» – кинулись ему навстречу, обрадовались. Парнишка пирожки из карманов вытряс и расхорохорился: «Ещё пойду!» Бабушка Наташа просветлела лицом, прослезилась: «Милай ты мой, родной! Вот те крест! Сгibli б без тебя давно!» Перекусили, передохнули, – некогда ворон да галок ловить – снова в путь. Только бы дойти, только бы к стенам родимым прикоснуться.

...Обратеево – Лубянки – Городище... Уже и Игино в нескольких верстах. Но – двадцать девятое марта – зальсели под ярым солнышком пригорки, разлилась коварная Чечора-река, снесла мостушку, половодье – неоглядное. Напрямки в Игино никак не добраться. Втащили санки на Гнездиловскую гору, а с неё – под уклон, через кладку, на «Свободную жизнь», пять вёрст крюку. В ту самую деревушку, где ещё девчонкой бабушка Наталья работала белошвейкой в имении барыни Шеншиной. Места до кустика, до малого ложка знакомые – по этой самой дороге бегала она когда-то «на работы» из Волчьих Ям в барское поместье.

Вербная заутреня. На дороге, на полях – месиво из последнего, слюдяного снега, а в нём блестят золотистые прожилки соломы. Дух подтаявшего вешнего сутлинка и навоза. Тёплый материнский запах

земли... В лужинах не то что курица, корова напьётся. От пригорков – зыбкий парок.

Старались двигаться гуськом, по натоптанной за зиму, до выпуклости, стёжке. Когда, наконец-таки, почти босые, на ногах – пропитанные грязью лохмотья, объявились на деревне, всюю чернилил поздний вечер. Заночевали у Маковой Ольги (по уличному – Коробухи).

...Ещё не разродился, не забрезжил рассвет, ещё над пожжённым барским садом вязала свет недотлевшая луна, когда бабушка Наталья подняла своё семейство. За ночь грязь стянуло морозом, заоченели волглые бутончики цветков первой мать-и-мачехи, но день обещал обтеплиться, быть погожим, надо торопиться, пока не отпустило – легче будет пробираться по полю, разделявшему Свободную и Игино.

Деревушка наша лежит на двух высоченных пригорках: Требучине и Козловке. В низине, по лугу, пробиваясь из дальних Гороней, проскальзывая по оврагам мимо Закамней, подцепляя родниковую струйку из Хильмечков, бежит-торопится к Кроме исшлёпанный рябьчыми, цыпочными, ножонками; изгаженный у колдобин гусиным помётом; исхлопанный, расплёсканный до последней капельки вальками игинских баб, самый дорогой для каждого моего земляка ручей Жёлтый.

В тот день, тридцатого марта сорок первого года, дикое половодье ворочало камни-валуны на Жёлтом, вырывая их из оврагов и с грохотом перекачивая по затопленному грязными, омывшими бутры и пригорки, вешними водами, лугу.

Слухи у нас разлетаются со стрижиной скоростью. На деревне уже знали, что Наталья «с выводком» возвращается с «шахт» домой. Намыкавшиеся по военным дорогам беженцы, бросив санки с пожитками на Свободной, доплелись наконец-таки до Игино. Зашли со стороны Требучины. Под горой – потоп, на ногах не пойми что. Как перейти на свой урынок Козловку?

И вдруг с неё, с противоположной стороны половодья, прямо в чунях и полушубке в воду бросился Фёдор Редькин (а то сколько ж у моря погоды-то дожидаться?), тот самый мужик, что отвозил их на лошади зимой тридцать восьмого до Кром, когда они уезжали в поисках лучшей доли на Донбасс. Выскочил он на Требучину – некогда чесаться – подхватил Ваню и опроретью – назад, прямо через поток, на козловский берег. Что тут делать? Спятили с ума – кинулась вслед за ним и бабушка Наталья, а за ней и девчонки!

Перебрались и – скорей сушиться к Татьяне, Натальиной сестре. Перед самой войной вышла и она замуж из Волчьих Ям в Игино, во двор Блиновых. Наконец, с души Натальиной, материнской, хоть чуток отлегло – все дети при ней, за едино дыхание: и Нинила, и Петя, и Надя, и Аня, и Шура, и маленький Ваня.

На следующий день (ночью-то Наталье ни сон нейдёт, ни дрема её не берёт), затемно, когда под застрехами сараев ещё лежали густые, молчаливые, тени, – кто ж стерпит? – отправилась Наталья, прихватив с собой Ваню, в родную избу. Уезжали – окна и двери – горбылём накрест, на косяк – замок.

Со страхом и трепетом вошли на подворье... Пожухлые, надломленные травы, будто бабья доля, стелились по ветру. Крыльцо, окружённое прошлогодним, в человеческий рост, репейником и крапивой. Поросшие мхами, рассыпавшиеся входные ступени. У крыльца в бурьяне – стопка худых ведёрок. Рядом с крылечным камнем, на кленовом суке забытые верёвочные качели. Даже выбитая, начищенная голыми ребячьими пятками до блеску земля под ними, и та затянулась подорожником да вездесущей гусиной лапкой.

Двери в избе расхлебены. Тихо, как в гробу. Переметы, и те выпилены, рамы выбраны. Голо, словно в избе этой бобыль проживал, в хозяйстве горшок не на что повесить. Мамай прошёл! Подворье, войной порушенное, и своё – не своё.

Ни широченных лавок под окнами, на которых проходила вся жизнь избяная – и сидели, и спали, – ни стола с сучковатой столешницей, что справил им когда-то на их многоголовое застолье дед Сергей. Нет и телятника, на котором обычно спал Петя. А по правую сторону от дверей выдран Ванин коник, где, бывало, по ночам под лоскутным одеялом виделась такая небывальщина, что на утро мамка и сёстры ухохатывались над Ваниными рассказами.

Уцелела лишь угловая пузастая печка. С трещинами-ходами для пронырливых клопов, которых Ваня, бывало, выкуривал оттуда подожжённой лучинкой, да с громадными, на всех разом, полатями. Ни постилочки на них, ни какого худого веретья... На подоконниках в треснутых черепушках и безносом чайнике – засохшие бальзамины, усеянный меленькими сушёными зелепушками скукоженный стручковый перец.

Зато, по счастливой случайности, на радость Натальи, успевшей размотать свою зимнюю, бурую от старости, прикипевшую к её груди шалёнку, не тронуты оказались в подпечье ни её ямки, ни чапельники. Вытащив их наружу, разостлали там, в тёмном местечке, соломки, усадили в это гнёздышко выделенную из своего скудного хозяйства тётушкой Татьяной чёрно-белую хохлатую курицу (нравом – шёлк). Обустроили и подсыпали под пеструшку подаренные к ней, принесённые в подшалке тринадцать яиц. На развод, на обзаведение хозяйством.

Но не суждено было по новолетию выпустить Наталье у завалинки цыпляток...

«НОВЫЙ» ПОРЯДОК





а двадцать два тяжких месяца, со второго октября 1941 по одиннадцатое августа 1943 года, мои родные земли накрыло лютое ненастье – фашистская оккупация.

Андрияхины вернулись домой ранней весной сорок второго, когда немцы уже всю хозяйничали и в Кирово Городище, и в Игино. От односельчан Наталья узнала и последние игинские новости, и о том, как жили они перед самой оккупацией, в июле-августе 1941-го.

Сорок первый был урожайным. И рожь уродилась, и яровая пшеница, и гречиха и картошка. Для нужд фронта из Кировского колхоза были отправлены сразу же все автомашины и трактора, большая часть лошадей. Но спешно, чтобы урожай не достался врагу, организовали уборку вручную. Мобилизация увела с полей самых работных мужиков, родившихся с 1905 по 1912 годы, и, конечно, основная тяжесть во время уборочной легла на плечи женщин, стариков и подростков. Хоть и наладили двусменку, сил всё равно не хватало. Убранные с полей хлеба оставались не обмолочены. Надеялись: справятся осенью и зимой. Овины под завяз забили снопами, хлеб оставался и в скирдах. (Но фашисты – что им до баб и детишек, до неминуемого голода? – пожгли хлеба трассирующими пулями).

Из жителей Кирово и Игино сформировали отряд, направленный на строительство оборонительных рубежей на западе области. В него входили: Андрияхина Нинила (старшая моя тётушка), Стёпина Клавдия, Стёпина Наталья, Полетаев Афоня, Губарёв Илья, Губарёв Василий, Михалёва Прасковья, Губарёва Вера и др.

Прихватив месячный запас продуктов, на двух колхозных телегах, по шесть человек на каждой, выехали они на Брянщину. Вместе с ними, собранный из моих земляков, ушёл и истребительный отряд под командованием члена райкома партии, кировского коммуниста Ивана Михайловича Леонова. Больше месяца и рабочие, и истребительный отряд рыли лопатами заградительные, противотанковые рвы.

Но когда немцы девятого августа оккупировали северо-западные районы Орловской области – Рогнединский, Дубровский, Клетнянский – и обошли стороной эти сооружения, рабочим, чтобы не попали в окружение, было приказано спасаться как можно быстрее. И бабы и пацаны, побросав кирки и лопаты, под прикрытием своего истребительного отряда, кинулись врассыпную.

«... И буди проклята на сем на белом свете –
Уж как это зло великое, несчастье!..»

А мужики озлобились, примкнув к трёхлинейкам штыки, остались в вырытых ими рвах встречать надвигающегося врага.

Пятнадцатого сентября наступление немецких войск на Брянском фронте было остановлено. В яростной штыковой атаке Кировский истребительный отряд не только отстоял свои заграждения, но и так пуганул врага, что тот даже драпанул, попятился на несколько километров назад. Настигая фашистов, «нанизывали, прикалывали нечисть к Брянской земле». Когда, наконец, на помощь подоспели наши регулярные войска, отряд влился в их состав.

По воспоминаниям Ивана Михайловича Леонова (однофамильца командира отряда, прозванного для отличия «Мужик»), когда после этого боя, к вечеру, подкатила полевая кухня и выдали ложки, кировцы не могли ими есть. Руки от напряжения и пережитого первого столкновения с фашистом так тряслись, что бойцы кулеш из котелков вынуждены были хлебать через край.

...Сдержат валам накатывающую армадину нашим не удалось. И уже тридцатого сентября фашисты прорвали левое крыло Брянского фронта. Вторая немецкая танковая группа генерал-полковника Гейнца Гудериана предприняла наступление на северо-восток – на Брянск, Карачев, Орёл и бронированным клином, беспрепятственно продвигалась по большаку Дмитровск-Кромы-Орёл. По просёлочным дорогам, словно пауки, расползались немецкие мотоциклисты. Второго октября враг был уже и в Дмитровске, и в Кромах, и в нашем районном центре Сосково, и в Кирово-Игино.

В начале войны кировские коммунисты по приказу райкома партии готовились к сопротивлению, к подпольной работе. Кроме Леонова Ивана Михайловича, в эту группу входили: Шилкин Иван Семёнович (секретарь Кировского сельского совета), Чириков Алексей Карпыч (перед войной – председатель колхоза имени Кирова), Солодова Дарья (член исполкома сельского совета), прославившийся в годы Гражданской войны Шелобокос Алексей Фёдорович и его племянница Антонина, Солодов Хрисантий Емельяныч (член президиума Кировского сельского совета).

Немцы прорвались настолько внезапно, что все задумки организации серьёзного партизанского сопротивления в Сосковском крае были в одночасье разрушены. Колхозы сразу же разогнаны, а их земля немцами поделена по дворам.

Германский имперский министр Альфред Розенберг объявил в своём распоряжении от шестнадцатого февраля 1942 года новый порядок землепользования, за которым присматривали старосты и

полицейские, доводя до населения приказы и распоряжения немецких властей. Фашисты старались вербовать к себе на службу уважаемых, авторитетных среди жителей Кирово и Игино людей. Так, старостой служил у немцев кировский коммунист Чириков Алексей Карпыч, ушёл по своей воле в полицию и игинской коммунист Шилкин Иван Семёнович.

Новый германский порядок, изничтоживший под корень колхозы, как убеждали теперь на каждом сходе бывшие колхозные активисты, обещал «построение свободного и рационального сельского хозяйства». Фашистам грезилось: организуй они крупные поместья, а дальше, постепенно, русская деревня перейдёт на капиталистический лад. Вместо колхозов возникали общинные хозяйства. Собственно говоря, они являлись переходной формой к единоличному хозяйствованию и подчинялись уездному сельскохозяйственному штабу во главе с немецкими офицерами.

На время войны сельская община безоговорочно должна была снабжать продовольствием германскую армию. Вводилась обязательная трудовая повинность. Почему ж не похозяйствовать, применяя на всю катушку дешёвую рабочую силу подневольного населения, управляемого кнутом немецкого надсмотрщика? Выкачать, выжать все соки из оккупированных земель ради благоденствия высшей немецкой расы, а там – хоть травушка на них не расти – вот и весь секрет, единственная цель «нового порядка».

Живуч русский человек, вынослив! Ранней весной сорок второго, в оккупацию, голодая и нищенствуя, Андрияхины добрались, наконец-таки, по немецким тылам до родной деревушки и начали помаленьку (в такие лихие времена!) обживать.

Народ у нас – не сундук бесчувственный, жалостливый. Соседи тащили кто лавку, кто стол. Пока невесть из чего муж тётки Татьяны вязал рамы, окна избы заткнули соломой и принялись обживать углы.

Смотрелись в Хильмечки, притащили кой-какого лашнику, с Кромы – рогозьев, устелили пол. Сверху – навильни, другие соломы – всё теплее. И топили ей же – старой, полутгнилой, из забытых, довоенных ометов, соломой. Подымит-подымит она, потом – пых! – и как не бывало. Кирпичи печные прогреться не успевали. Надо бы дровишками, да откуда их взять-то, коли в лесах во всей волости немцы свели подчистую все дубы (после того как в Ярочкином логу, где остались ямины после довоенной разработки торфа, перевернулся немецкий танк и погиб весь экипаж) – гатили торфяники и болота для проезда грузовиков и танков. В лесах – ни орешины, всё до хворостиночки вырубили на топку.

На кировских низинных землях испокон веков разрабатывались торфяники. Подсуетись по теплу – можно хоть как-то перебедровать холода. И тальника, хмызника там же, по торфяникам – бери не хочу. А в Игино, разбежавшемся вдоль двух пригорков, с «топлей» – беда. И после войны, до самого пятьдесят третьего (пока не объединились колхозы), не позволяли срезать игинским на кировских угодьях ни лозиночки, даже на корзинки. Мужикам приходилось для хозяйских нужд: на плетушки, кубари, да и на ту же топку – воровать тальник у кировских по ночам. Но лесники-обходчики летом – по росному следу, зимой – по снегу выслеживали «покусителей на колхозное добро», и дело доходило до суда.

...Спустя две недели, как вернулась Наталья с детьми домой, к своим разбитым корытам, пришли к ним Афоня Полетаев и Степан Михалёв. Оба начищенные, в новенькой полицейской форме, на рукавах, как и полагалось, – паучьи повязки. Пришли, значит, и уселись на коник. В руках по корзинке. Хата Андрияхинская – крайняя, с неё и начали побор. Вот, мол, так и так, тётка Наталья, начал зубастый Степан, собираем по приказу немецкой комендатуры яйца.

– Ой! Боюсь вся! Напужал! Ты чей будешь-то? Кажись, по деревне ты Михалёвский? А по морде – с места не сойти – бандит бандитом! Разевай рот шире! Какие ж вам яйца, ироды, когда я тока-тока надьсь с дороги? Лёгкое ли дело отголе дотопать?... Нешто сама вам яиц нанесу? Не пособить, а последнюю рубаху готовы анчибелы снять, – платок сбился на затылок, оторвавшись от постирушки, на ходу сноровко отжимая тряпку, вытирая руки о подол завески, не стерпела, дала дрозда паразиту уверенная в своей правоте и всё ещё не научившаяся мириться с потерями бабушка Наталья.

А тут, как нарочно, пеструхе (птице этой «синей», на которую вся надежда была!) то ли пить захотелось, то ли подошёл черёд промяться. Вышла она из-под печки и спокойнѐхонько – к плошке с водой. Горлышко промочила, лапками соломку пошерудила – нырь на место, в подпечье. У Натальи аж сердце захолынуло! Афоня, гусь лапчатый, – ни слова. Только перекинул на скривившихся губах из угла в угол сигарку.

– Ё-моё! Сталбыть, по дороге, говоришь, снесла? – сощурив свои круглые поросычьи глазки, шлёп Степан на пузо перед печью и – ширк – одним махом выгреб яйца из-под курицы.

– У-у-у! Ты гляди, что делается-то! Со дна моря вынет! Христа на тебя, злыдня, нету!.. Да ведь ладно бы свежие, а то – насиженные! – Наталья полезла на рожон – прядка выбилась из-под подшалка, застила глаза, а она, не замечая того, раскраснелась, чисто девка,

выхватила из корыта недостиранный рушник и хватъ полицаю по загривку, взашей.

– Молчать у меня! Нечего переливать из пустого в порожнее! Разлалакалась! А мне, – говорю тебе – какое дело? – как об стену горох, отбивается он от бабы, – у меня приказ: к вечеру две корзины доверху натереть! А свежие ли, с цыпятами – до того мне и дела нету!

И вон со двора. И взятки гладки...

В полицейские попадали по-разному: одних (в основном мальчишек) загоняли насильственно: так, от опаски, оказались в полициях Иван Ходёнков, братья Редькины. А были и шавки, кто сам ластился, среди них – Полетаев Афанасий, Михалёв Степан (те самые, что выгребли из-под печки у Натальи Андрияхиной даже насиженные курицей яйца), сам пришёл в полицаи и Сидоров Евгений и Шатунов Пётр. Ну, так известно: «Своя воля страшней неволи!»

Помнят мои земляки и фамилии старост: Винограденко Николай (шахтёр, прибывший в Игино в то же время, когда и Наталья с детьми, и улизнувший от наказания, затерявшийся где-то потом на Донбассе) и местный Полетаев Данила.

Не забыли и бои зимой сорок третьего, и участие в них наших полицаяев. По воспоминаниям отца знаю об этих событиях и я. В феврале в тот год жали лютые морозы. Вот возьми ты! Детворе стужа, голод – нипочём, в избах не удержишь. Двадцать первого числа игинская ребятня на обмазанных глиной и навозом, политых водой лукошках, в домотканых штанишках – носы хлюпают, лодыжки стекленеют – ползали, что паучата малые, по Сорочкиной горе.

На вечерней заре, часов в пять, слышит детвора: бомбордировщики гудья гудят, тянутся один за другим в направлении широко разъезженного большака, на Дмитровск. И совсем в нескольких верстах, прямо за Хильмечками, за сосновыми глуцобами, над Новогнездилово, чуть дальше – над Лубянками – чёрное-чёрное небо, прокопченный, постный, промороженный блин солнца, и – несусветный грохот, неохватное зарево. Разбабахалось – всю ночь, до каляной утренней зари.

А на другой день, двадцать второго, спозаранку, по утрамбованному немецкими танками просёлку мимо крайней Андрияхинской хаты прогромыхла вниз, к Савинкиной избе, телега, деревенский ход: «Н-но! Гамыра! Н-но! Растрёпа!». Зима, а тут – не сани, а ход! В наспах слаженной, на цыганский манер, кибитке куча мала: взрослые, детишки, тут же – чугуны, сундуки, всяческие хархары.

К Фёдорову Савельевичу, в низину, вставляя палки в тележные колёса (для торможения), скатился с маковки Мишкиной горы суматошным порядком брат его Себастьян со всеми домочадцами и с прихваченной впопыхах полуобгорелой хозяйской утварью. За всю свою долгую деревянную жизнь Себастьянова телега не ведала такого гона! В тот же день от двора ко двору поползли слухи: «В Лубянках, Крупышино, Волобуево неожиданно-негаданно высадился русский десант».

А на самом деле было всё вот как. Жители деревни Чувардино девятнадцатого февраля в два часа по полудню под присмотром полицаев были направлены чистить от снега большак Дмитровск-Орёл, смотрят: катят прямо на них лыжники в маскхалатах: «Ур-ра!» Слово-то какое! Словно благовест прозвучало, вот ублажили! Свои!.. Полицаи, знамо дело, – дёру! А народ было возрадовался: надо же! Красная Армия заняла в тылу врага целую округу!

Разобрали бойцов по хатам. Узнали, что третьего февраля 1943 года на станции Русский Брод высадилась Дальневосточная бригада моряков и вошла в состав ударной подвижной группы войск тринадцатой армии Брянского фронта. Бойцам предстояло сражаться в тылу врага, чтобы дезорганизовать его силы южнее и юго-западнее Орла, сковать его силы, не позволять передвигаться по шоссе и железнодородным дорогам, ведущим к Орлу. (А с выходом на Чувардино под их контролем окажется важная магистраль Кромы-Дмитровск). Одним словом, всячески способствовать успешному наступлению советских войск и освобождению Орла.

Переоделись в белые полушубки, маскхалаты, белые валенки, прихватили трёхсуточный НЗ и стали на лыжи. Оснащены были моряки автоматами, на волокушах – ПТРы. И предприняли дальневосточники рейд по вражеским тылам. Передвигались только ночью, по лесам, оврагам и посадкам.

К вечеру двадцать первого отбитые моряками деревни со всех сторон обложили немецкие танки, налетела авиация (те самолёты, что видела, катаясь на горе, Игинская детвора). И устроили немцы крошечный ад, хоть ложись да помирай: с неба нескончаемым потоком, словно из преисподней, сыпалась смерть, танки били прямой наводкой, прожигали по очереди избу за избой, ревел скот, всё кругом взялось пылимем. Жители – кто в подвал, кто – куда!

Начальником кировской полиции фашисты назначили Давыдова. В волости он являлся полным хозяином (после немцев, конечно). Без его ведома ни один житель не имел права никуда отлучаться, не мог и без уведомления пришлых пускать к себе на постой.

Давы́дов по приказу немецкого командования собрал всех старост и полицейских. Полагая, что его подчинённые задействованы в облаве на партизан, кинул их на подмогу немцам, на уничтожение русских краснофлотцев. Среди тех, кто участвовал в бою против наших моряков-дальневосточников, были: Тихон Хохлов, Аркадий Лебедев, Афанасий Полетаев, Евгений Сидоров.

К утру моряки вокруг трёх деревень заняли оборону – тяжело дело. И разразился кровопролитный бой, в котором полегли две бригады наших лыжников. До сих пор всплывают, из уст в уста передаются в округе нашей то те, то иные подробности яростного, героического сражения краснофлотцев. Двадцатипятилетний комиссар их погиб смертью героя – когда враги окружили его, тяжелораненого, рванул кольца сразу двух гранат, унеся за собой пятерых фашистов, здесь же погиб и заслон бригады. Сражались до последнего патрона. Когда уже и отстреливаться было нечем, моряки обливали себя горючей смесью и бросались под танки. (Недаром фашисты прозвали краснофлотцев «полосатой смертью»). В бою под Крупышино был смертельно ранен и комбриг Первой бригады майор Иван Иванович Понтяр.

До двадцать пятого марта, во устрашение, немцы не позволяли уцелевшим жителям похоронить павших лыжников. Их трупами была усеяна округа трёх деревень.

Зачастую старосты и полицейские, активно, из убеждения работавшие на немцев, в издевательствах над мирными жителями превосходили своих хозяев.

Полями и перелесками рыскали полицаи. С ними и кировские-игинские заодно – одним миром мазаны, – куда ж деваться-то? – попал в волчью стаю, и лай, и хвостом виляй, сдирали армейские полшубки с погибших моряков, и (жутко даже представить!), не сумев стянуть с окоченевших трупов валенки, отрубали топорами ноги, привозили на санях домой, отгаивали в печи. А потом со спокойным сердцем разгуливали в этой обуви на глазах у всей деревни! Бабы качали им вослед головой: «Кому – война, а кому таперичка – мать родна!»

Мало того! Ведь они ещё за свою «работу» получали зарплату: к примеру: триста-четырееста пятьдесят рублей в месяц – для старосты, двести-триста рублей – для писаря, а полицейские, кроме денег, получали ещё и продовольственный паёк: около одного пуда хлеба в месяц! (В каждой деревне они назначались немецким комендантом в обязательном порядке). Знать, о Боге «склизкие голяшки» напрочь позабыли, и мыслить не мыслили. Страху не было на них, окаянных! Помнит. Всю подлинную правду помнит наш народ. Разве такое забывается? Вовек не знать им прощения!

Воистину, есть времена, которые испытывают души. Какими добрыми словами могла вспоминать Сидорова Евгения Митрофановича моя родная тётушка Надежда (как же ей позабудется?), если по спискам должны были немцы отправить в Германию его, жребий ему вынулся, а он, подлая душонка, тут же перекроился, поклонился врагам в ножки, сам напросился в полицаи, и вместо себя вписал её – девчонку Надю Андрияхину. Не будет ли по старой памяти всю оставшуюся жизнь саднить её душу досада, живя бок о бок в одной деревне с эдакой мышью?

...И погнали в мае сорок второго под конвоем немцы, а с ними в помощниках полицаи, пешим ходом до Кром игинскую и кировскую молодёжь. Среди них – двух подруг: мою тётушку и её товарку Чеченёву Талю. Правда, с полпути вернулась Талья домой. В женихах у неё числился Михалёв Степан. Уломал он начальника полиции, мол, женюсь я на Тальке, породнюсь с Чеченёвыми. Что бедной девке делать, надрывай душу: или – за полицаю, или – в германское рабство!

В рейхе были созданы невольничьи рынки, где любой заводчик, помещик или кулак мог просто напросто купить себе раба или рабыню (немцы называли их «остарбайтерами», а они себя сами «остовцами»). Несколько месяцев нечеловеческого, каторжного труда превращали людей в инвалидов (ими не нуждались, отсылали в Россию), а чаще – вообще сводили в могилу. Вот когда раскрывались лживые германские обещания всевозможных благ: высокая зарплата от пятисот до тысячи рублей в месяц, ежемесячные пособия оставшимся родным в размере ста восьмидесяти рублей, выделение лучших наделов земли по возвращении на родину.

Тётушка Надя в расцвете своей весны попала в Германии в работницы на хутор к поволжскому немцу Хансу Нойвурду, который в 1914 году вернулся на историческую родину. И всё у него здесь сложилось вроде бы хорошо: и тугой карман, и не прозевал своё счастье: жена Эльза, как и положено добропорядочной немке, на зубок отточила свои три «К» (**K**inder, **K**üche, **K**irche – церковь, дети, кухня), шестилетняя дочка Фрида – капля в каплю мать её Эльза. Что ещё для счастья нужно порядочному бауеру? Живи да сколачивай денежку про чёрный день. Но тут вдруг обожаемый фюрер выбил его планы из наезженной колеи, нацелился прихапнуть львиную долю, ни много ни мало – полмира, а это – не фунт изюма – война, с которой можно вернуться покалеченным или вовсе сгинуть где-нибудь под Сталинградом или Орлом.

«Продувной» бауер откупался от Вермахта и от своей нацистской партии, как мог: частенько к нему на хутор наезжали

высокопоставленные гости, устраивались попойки с домашними колбасками, со свойским пивком и шнапсом. Знал, как держать псов на привязи. Корзинами отправлялись вслед отъехавшим гостям свежая забоинка: и птица, и телята-поросята. Чем не пожертвует пройдоха-бауер, лишь бы не угодить на Восточный фронт?!

Переодели игинскую девчонку «Надю» в униформу прислуги: юбку тёмно-зелёного цвета, такого же цвета блузку с накладными карманами, на голову – берет. Точно такую же форму носила и видевшаяся с Надей землячка Павликова Шура, ещё одна Игинская девушка, угнанная фашистами в Германию и работавшая на соседнем хуторе.

Хозяин оказался крепким, зажиточным бауером. Дом у него, не то что у игинских крестьян, – трёхэтажный! Для деревенской девчонки из русской глубинки всё здесь было в диковинку: первый этаж – винный подвал, продовольственный склад, второй – кухня, гостиная, а третий – спальни.

И хозяйство у бауера по нашим меркам – немалое. Одних коров – двадцать пять! И подоить, и накормить, и почистить! Несколько человек трудилось у него на подворье. Правда, Нойбург и сам был не лодырь, частенько помогал Наде доить коров.

За шестёркой лошадей, за телегами на резиновом ходу, за иным гужевым транспортом присматривал у него пленный поляк Юзек. Ленивый был мужичок. Но у бауера не пошалишь, антимионии ему разводить недосуг, быстренько возьмёт в шоры, – не раз учил он своего работника, охаживая вдоль боков плёткой, так, что у того потом неделю усы тарачились по-рачьи, чтобы не топтал понапрасну плетей при сборе огурцов, чтобы вовремя успевал доставлять фляги с молоком на большак. Там их подхватывал молоковоз и увозил на молокозавод, возвращая хозяину платой за молоко – обрат, творог, сливочное масло, сыр. Вечером, когда Надя с хозяином заканчивали дойку, Юзеф отправлялся в повторный рейс.

Немцы – народ практичный. А уж дармовую рабсилу не использовать на всю катушку – прям-таки грех! Даже в проливенный ливень, пусть хоть дождь вбивает в крышу гвозди-сотки, Нойвур не позволял своим работникам отсиживаться без дела. В наших краях картофелесажалки объявились лишь в пятьдесят шестом году. А в Германии успешно их использовали ещё до войны. Был такой агрегат и на дворе Надиного хозяина. Правда, земли его (двадцать пять гектаров) располагались на неудобье – камни, камушки, валунки да крупные валуны. Как выпустить картофелесажалку, какую другую технику на такие поля? Вот и придумал хозяин: «на гулянках», в непогоду, выдаст, случалось, работникам сапоги да плащи и – на поле камня убирать, на тележке вывозить, у обочины дороги

складывать – на ремонт пойдут. Государство за этот строительный материал бауеру ещё и заплатит.

Время от времени Нойвур отбывал на партийные сборища (член нацистской партии – куда деваться!), и тогда, по указке отца, неотступно за работниками следовала его шестилетняя дочка Фрида, приглядывала, чтобы скотина была накормлена, выпасена, во дворе – полнейший порядок.

Так и работала моя тётушка Надя в немецком хозяйстве. Пока весной сорок пятого не освободили её американцы. Добралась до русских частей. Наконец-то, скинула униформу. Из разбомблённых немецких магазинов можно было взять вещей – не более одного чемодана (второй отбирался): пара обуви, сменная одежда... Потом – дорога домой, по истерзанной Европе, из поверженной Германии. А на родные Игинские земли, поскитавшись по свету, Надежда Андрияхина ступила лишь осенью сорок шестого. Вернулась – слава Богу!

В это же время вместе с тётушкой Надеей вернулся из Германии и Афоня Полетаев, игинской полицай, драпавший следом за немцами с женой Раисой, дочерью и тёщей. Наверно, надеялся, что забудут земляки, как он наперебой с другими «христопродавцами» отбирал для немчуры последние крохи у голодных русских баб и ребятишек. Попав между молотом и наковальней, развернул из Рейха оглобли, думал, напоёт Лазаря, расхлёбывать не придётся, чистеньким останется, мол, под радость Победы делишки его положат под сукно, сдадут в архив, а с него – взятки гладки. Но в деревне каждый на виду, пулю не отольёшь, каждый шаг известен.

Помнили люди чинимый полицаями «новый порядок», как позабыть-то?.. И мамина мама, кировская бабушка Нюра, тоже помнила, как прикомандировали к ней полицаяву сестру забирать за просто так молоко от её Лыски.

Были и такие, кто наломал дров, наложил на себя печать позора, – идя на поводу у геббельсовской пропаганды, усевшись в чужие сани, укатил в Германию по собственной воле за счастливой долей. Немцы их родственникам на сепараторном пункте как поощрение в неделю раз выдавали ведро обрат. Но, как вскорости прояснилось: ловить журавлей во вражьем небе – дело не только не прибыльное, но и куда как опасное.

Были и те, кто доносил немцам на своих же односельчан. А ведь на Руси с каких времён бытует поговорка: «Доносчику – первый кнут!» Теперь, через столько десятков лет, в связи с его делишками, вспоминают старожилы о Михе Гадёнкове, который был в селе нашем при немцах не пятое колесо в телеге, быстренько смекнул, как прибрать вожжи к рукам, гнул своих земляков в три погибели.

Помню, как ещё школьницей, в Кирово, участвовала я у братской могилы в праздничном митинге по случаю тридцатилетия Победы. Тогда ещё живы были многие ветераны... Стоят, навидавшиеся всяких смертей, – на груди ордена, непрощенные слёзы бегут и бегут по колючим их щекам...

И вдруг, как нарочно, явился этот самый Миха Гадёнков. С самыми вкрадчивыми кошачими манерами. Пропадай он совсем! У баб раскалёнными угольями блеснули глаза, даже остолбенели от нахальства, не сдержались, не смогли смотреть с безмолвной укоризной. Взбунтовались, дым коромыслом! Видать, дума застарелая поранила, вспомнили «горемышное житьё своё в погребках да амбарах при немцу», и давай стебать, дрызгать его же паршивой подноготной по глазам! Пригвоздили к позорному столбу: «Прихвостень фашистский! Ты, собачий сын, перед кем шапку ломал? Отца родного продашь и выкупишь! Пересчитал серебряники? Ни Бога, ни Суда страшного ты не боишься, совести нет у тебя в глазах!» Стоит христопродавец, исподлобья бирюком посверкивает, голову-то в кусты не спрячешь, приходится людской правде в глаза смотреть.

Человек и есть человек, пока в нём живы стыд и совесть – наивернейшие лекарства от мерзких делишек. И дорожить ими нужно ничуть не меньше, чем собственным здоровьем.

**И ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ
СТОЛЬКО СИЛЫ
ДАЖЕ В САМОМ
СЛАБЕЙШЕМ ИЗ НАС?**





о рассказам очевидцев можно представить жизнь Игино во время немецкой оккупации. Например, раннее утро. Выйдет бабушка Наталья из хаты, соберётся за водой. А ключ у нас под Мишкиной горой. На ней, как раз напротив наших соседей Ходёнковых, расставили немцы походные брезентовые палатки. Большущие! В них под охраной автоматчиков держали они своих штрафников. Рядом с этим лагерем на штанге стоял противоавиационный пулемёт.

«Однажды, уже Курская подкатывала, уже слышно было, как «гавкали» зенитки, – рассказывал отец, – прохожу мимо. Вижу: привели под дулами автоматов и – батюшки! – бьют страшным боем, прикладами, двух своих танкистов (те в чёрных формах, с шевронами). Домекался: то ли за невыполнение приказа, то ли струсили, то ли ещё чем проштрафились. «Исходили» их до полусмерти и – в палатку».

День и ночь гоняли немцы своих штрафников, мочалили по ручью, по бакшам. И всё – по-пластунски. (Вообще-то, около сорока вагонов подобных арестантов было отправлено в Рейх с Орловского вокзала для разбирательства и соответствующего наказания. Как правило, если не расстреливали, штрафника с маршевой ротой отсылали на передовую).

Каждый раз вынуждены были бабы ходить мимо этих палаток на родник. Ко ржанью и улюлюканью постовых, может, и можно привыкнуть: «Матка, Русь – капут! Москва – капут! Сталин – капут!» А как привыкнуть к тому, что здесь же, чуть ниже по горе, на воздухах, немцы устроили открытый сортир: канава сантиметров сорок шириной, метра три длиной, по бокам – два кола, меж ними – слега.

Спустит фриц исподнее, усядется напротив стёжки, которая ведёт на ключ, и застынет, как вкопанный. Сидит себе, как ни в чём не бывало, газету почитывает. Бабам, попавшим впросак, хоть и ни в зуб ногой они в европейских правилах приличия, конечно, – гадко и противно. «За людей ироды нас не считают! Ещё кажут себя культурной нацией! И всё-то у них не по-людски, шиворот-навыворот! Нешто в добрых людях так-то водится? Можя, только тамотка, в ихних Германиях?» – плевались, судачили меж собою игинские крестьянки.

Пять минут читает фриц, десять читает, полчаса читает... А баба, хоть и не с руки, обегай его с коромыслом да с ведёрками аж за версту, спускайся к роднику по Сорочкиной горе, меж Савинкиными и Меркуловыми.

Кто его знает, фрица того? Может, штудирует попутно разработанную ещё накануне войны инструкцию поведения на оккупированных территориях СССР, в которой росчерком пера

уничтожались миллионы «представителей неарийской расы». «Вы должны уяснить себе, – вдалбливали в башку, развязывали руки и так обнаглевшему захватчику эти «Двенадцать заповедей поведения немцев на Востоке и их обращения с русскими», – что вы на целые столетия являетесь представителями великой Германии и знаменосцами национал-социалистической революции в новой Европе. Поэтому вы должны с сознанием своего достоинства проводить самые жёсткие и самые беспощадные мероприятия, которые потребует от вас государство».

Немец, особенно мелкая сошка, – исполнительный, приказной крючок, всегда чётко следует предписаниям. Вот и в деревнях наших гайки закручивал на славу! С самого первого дня по избам да заборам поразвесил, начитавшись указаний своих вождей, правила «нового порядка». Бельмом белела эта бумажка и на крыльце у Андрияхиных. Всё прописанное сводилось к одной последней строке: «За невыполнение правил – расстрел или повешенье!»

Несчастные, оставшиеся в оккупации (в основном женщины, дети и старики), были совершенно беспомощны, хлебнули горюшка сполна.

Ежедневно деревенских, от пятнадцатилетних подростков до стариков, выгоняли полицейские по разнарядке коменданта Давыдова на общественные работы. Чистились от снега просёлки, тщательно засыпались промоины, вырубался кустарник с обочин, выкашивались лопухи и крапива.

С фашистом шутки плохи, у него пёс цепной вместо души, – всякое уклонение от работы рассматривалось как саботаж. Работали под надзором полицаев или под прицелом немецкой охраны. Чуть что, замешкался, – получи удар палкой по спине или рёбрам. «За работу, – вспоминают пережившие оккупацию, – выдавался мизерный паёк: хлеб с опилками, неочищенная гречиха, обрат с молокозавода. Но даже это было большим подспорьем для голодавших семей – на безрыбье и рак – рыба».

Вывозилось население наших деревень и на рытье немецких окопов. И на строительство укреплений, например, линии «Хаген», проходившей по границе брянских лесов, западнее города Карачев, на которой почти на месяц было задержано наступление советских войск на брянском направлении.

Поле игинское немцы поделили на небольшие частные наделы. На них мужик вмести и лук-картохи, и полосочку ржицы. А где ещё возьмёшь хлебушко-то? В магазине не купишь, не получишь на колхозном складе за трудодни. На несколько дворов выдавали «благодетели» лошадь.

Война – войной, а обед у фрица строго по расписанию. Чуть ниже по горе, напротив Макеевой избы, замаскировав под развесистой ракилкой, немцы врыли большую фуру. Регулярно в этот «ларек»

завозили они для своей части эрзац-хлеб: белый, крошащийся, рассыпающийся и совершенно безвкусный. Сколько этим буханкам лет – сам фюрер не ведал. Видать, из его стратегических запасов. Правда, готовясь к походу на Восток, зазубрив предусмотрительно подготовленные простейшие разговорники, да и пообтёршись с начала войны, немцы научились худо-бедно балакать по-русски, первыми словами, с которыми они вышибали двери, были: «матка», «млеко», «яйки», «масло».

У деревенских хлебушко – по великим праздникам, на самый крайний случай, достать негде было «ни жменьки». Мучицу берегли пуще собственного глаза. А когда вдруг случалось «разжиться», затевали тюрю – похлёбку из хлеба, лука, воды и растительного масла. Чёрный хлеб – вкуснее всего на всём белом свете. Он, и правда, – свидетель нашей истории. И горестей, и счастья. А потому и замешан, и испечён самой судьбой. Тот, кто бедовал – воевал и голодал, не забудет об этом никогда.

Из чего только бабы не исхитрялись стряпать блины-лепёшки. С такими добавками, которые и скотине мужик в бывалошние времена не подал бы. «Гребовать» не приходилось. Лютовал страшный голод. Зашлёт, бывало, ранней весной, как только снег стает, бабушка Наталья детей на игинское поле или в брошенные бурты, насобирают они прошлогодних, нечаянно просмотренных, перемерзлых картох – «пирепиков», вымоют, высушат, перемелют – хоть в хлеб подсыпай, хоть ещё в какое печево. Даже поговорка объявилась в эти тяжёлые годы: «Хороши лепёшки из гнилой картошки!»

А как выстоятся, вызреют в лугах метёлки конского щавеля, сдёргивали их деревенские и пополам с мякиной, лебедой стряпали из них «хлеб». Все травы с Мишкина бутра перебивали на столе в ту тяжкую пору у моих земляков. Не давали траве веку. Всю луговину переели: «опестыши» (весенние побеги хвоща), головки клевера, листья липы, сергибус и анис, «толстухка» и щавель, стволья конского щавеля и топорики (баранчики), дикий лук и дикий чеснок, лоухи и крапива, паслён и молочник, даже сосновая хвоя.

Бабушка Наталья и лес – это особая песня. Пели на Руси эту песню бабы и раньше, но в годы оккупации, в голод, она стала чуть ли не самой единственной, придающей силы. Выручало именно собирательство, которым с успехом занимались ещё наши прапращурь, кажется, без него бы и вовсе не выжили. «Лес – кормилец, батюшка!» – только так и называла его всегда бабушка Наташа. На всю жизнь, видно, с тех голодных лет сохранилось у неё особое, «лесное» чутьё.

...Травы сушили, размалывали и стряпали из таковой муки блины и лепёшки. Конечно же, выбирали подчистую все грибочки-ягодиночки. Болели и пухли вповалку от этой еды взрослые, умерала

детвора. По деревне – ни кошки, ни собаки не осталось. А немцы да полиция разъезжали на холёных лошадях...

«Познали, почём фунт лиха! И поплакаться – не поплачешься. Есть хотелось всегда. Постоянное чувство голода. А он ведь – страшнее любого страха... даже страха смерти. Хлеб – несказанный праздник! Даже когда его всего лишь кусочек размером со спичечную коробочку. В ригах, где когда-то хранились снопы, труху до земли повыбрали», – так говорит отец мой, и я ему безгранично верю.

А уж коли какая баба на деревне не скрепится духом, не сдержится и вынет заветный мешочек с последней мучицей да выкатит из чулана дежку, затеет, замесит на ночь тесто, а по заре над всей округой поплывёт дух ржаного хлеба, то к обеду жди она на порог полицаев. Явятся с поборами. Унюхают, как же! Клещами вырвут! Да и фрицы распробовали наши ковриги. Конечно! Не хрен знает что – какой-то эрзац, а настоящий русский хлеб! Прихвостни обыщут каждый угол, только держись! Похватают всё, что припасено из съестного.

Суточные нормы продуктов питания, установленные оккупантами:

	Дети до 14 лет		Члены семей работающих Частично не работающие		Работающие		Рабочие, занятые на тяжелых работах		Рабочие, занятые на очень тяжелых работах (в шахтах, на разработке копий и т.п.)	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Хлеб или зерно	Отдельно не учитывались	79	158	210	186	285	200	500	225	570
Жиры		—	—	7	—	10	8,5	18	8,5	35
Мясо		—	—	14	—	21	10,7	35	14	50
Картофель		180	350	350	425	500	425	640	570	640
Прочие продукты		12,5	25	—	28	35	32	57	35	71
Среднее количество калорий	Ок. 400		800—850		1000—1250		1500—1900		1700—2100	

У немцев существовала даже «Памятка для ведения хозяйства в завоёванных восточных районах»! Недвусмысленны и строки из этого предписания: «Завоёванные восточные области являются германской хозяйственной территорией. Земля, весь живой и мёртвый инвентарь... являются собственностью германского государства».

От эдаких рекомендаций и памяток, узаконенных командованием Третьего рейха, руки у германца развязывались

окончательно, и русские крестьяне облагались дикими, непосильными налогами. Предписывалось сдавать почти весь урожай. Вводились невиданные поборы масла, яиц, молока и шерсти. Чтобы выжать всё возможное из крестьянских хозяйств, придумывались всяческие налоги: поземельный, на строения, снежный, подоходный, церковный...

Так и этого мало – время от времени производился грабёж и под предлогом пожертвований для русских военнопленных. Сохранился список вещей, собранных населением для русских военнопленных и переданных немецкой части № 42355 за 1942 год: четыреста тридцать пять брюк, двести восемнадцать ватных пиджаков, девятьсот тринадцать шапок и фуражек, пятьсот семьдесят шесть рубашек, четыре мешка табаку. Валенки, пятьдесят три пары лаптей.

Холода в сорок втором – сорок третьем стояли такие, что птицы замерзали на лету, до минус тридцати. Немцы укутывались во что могли, увязывались даже бабьими шальями. Бывали случаи, когда снимали облюбованную одежду-обувку: валенки, полушубки с жителей деревни прямо на улице.

Бедный Мишкин бугор! Чего он только не натерпелся за эти двадцать два месяца! На середине его, ниже Савинкиной и Павликовой изб, до сих пор можно разглядеть достаточно большую по площади, выровненную немецкими штрафниками площадку. На ней, обнесённой колючей проволокой, тренировались минёры.

Однажды Ване Андрияхину повезло найти в конце своего огорода трёхлинейку. Притащил домой, мамка, словно поражённая громом, так и ахнула: «Тудыть тую рать!» Обшарила его карманы, и винтовку ночью запрятала под застрех, чтоб мальчишка её вовеки не сыскал. А когда пацан наткнулся в окопах на офицерский бинокль, зная мамкины разборки, чтобы не отбрёхиваться, не наводить тень на плетень, домой не понёс (ай маменькин сынок?), сам припрятал, куда подальше. (В сорок четвёртом в немецких окопах наткнулся он на пистолет, и приспособил было к нему патроны от ППШ, да хоть и жалко расставаться, пришлось-таки сдать председателю колхоза).

А при немцах, забравшись на грушенку в саду Вани Макеева, вооружившись биноклем, не думая о том, что бы с ними случилось, коли обнаружили б их фашисты, отчаянные друзья-мальчишки просматривали всю округу.

Выпытали они и то, как аккуратно, с их Мишкина бугра фрицы вырезают дернину, закладывают противотанковые «кастрюльки», а затем снова незаметно прикрывают дерновой печинкой. Там же, за колючим забором – по-немецки добротнo сколоченные длинные столы, на них немчура разложила такие же мины. Соберутся над ними кружком, послушать, так ничего и не разберёшь, всё на своём:

вар-вар-вар. И так день за днём. Одни насобачатся смерть для наших уготавливать – уходят, прибывают новые.

Местность наша, расположенная на водоразделе, имела для врага особую, стратегическую ценность. Заняв этот гребень, враг мог наблюдать все передвижения войск на Сосковском направлении. Через всю округу с юга на север тянулась сплошная линия обороны. Порадели фрицы – единой цепью, чередуясь друг за другом, без малейшей лазейки для наших войск, шли немецкие блиндажи, минные поля и траншеи.

И поньне они, поросшие чернобыльем, всё ещё пугают своей ощеренной пастью, нет-нет да напомнят о себе взрывом семидесятилетней мины или снаряда, припрятанных страшной годиной.

На господствующих высотах сёл Кирова, Новогнездилово и Гнилое Болото фашисты установили мощные противотанковые орудия, вкопали в землю «пантеры» и «тигры». На этих же высотах располагались немецкие подвижные противотанковые группы, разившие броню наших танков даже на расстоянии двух километров. На подступах к высотам, на их склонах, минёры из части, расположившейся в Игино, оборудовали мощные минные заграждения – голыми руками не возьмёшь.

Ниже минёров по взгорью, чтоб не быть бельмом на глазу, за Маринкиной избой, у её мазанки, в самых зарослях мальвы (не дураки, местечко красивое!), обустроило немецкое офицерье на тёплое время свою палатку.

И туда дотянулись своим биноклем пацаны. Жили офицеры в ней вольготно. Раз, два раза в месяц получали из Германии посылки (всё упаковано в баночки-коробочки), да и паёк офицерский не такой уж скудный: и шнапс, и тушенка, и шоколад, и галеты. А чего не достанет – на то полицаи существуют – только прикажи, на задних лапках пробегутся из конца в конец деревни, из-под земли выкопают, добудут и яйца, и кур, и духовитые русские ковриги.

Оттуда, из этой палатки, день и ночь на всю катушку гремели бравурные немецкие марши, развесёлые тирольские и австрийские крестьянские песенки – дым коромыслом! Иногда кому-нибудь из офицеров вздумывалось с шального перепоя позабавиться: разыскивались пластинки с русскими песнями, приводился какой-нибудь игинской мужик.

Из стаканов фрицы не пили. Нальют мужичку рюмочку – тот хлоп её махом. Подивятся, заподзуживают, нальют ещё – нашему-то эта граммулька, что комариный укус: «А что там пить-то – экий напёрсток!» Подадут бутылку – кашлянёт мужик в кулак, оприходует её, и галетку не примет, рукавом занюхает. Держится козырем. Сплюнет. А пачку сигарет возьмёт... И под восторженный гогот немчуры отправится до хаты. (Как не вспомнить тут фильм «Судьба человека»? Было! И у нас такое было!)

«С куревом, – рассказывали «пережившие немца», – было туго. Как мужику без него? Хоть пропадай! Дрождин Харлампий Дмитрич, на зависть всем, бои идут, а он всё-таки табачок посеял. Мужик он – скаредный, снегу посередь зимы не допросишься! Собрался как-то ни свет, ни заря по какому-то делу в Порточки. Идёт, козьей ножкой в темени поыхивает. А по утренней рани табачок эвон где душе, истомлённой по куреву, чувствуется. Вот и унюхали его, домекались братья Редькины, патрулировавшие в тот день Игино, да бегом, бегом наперерез Харлампию. Тот прикинул: «Облава!» – и пулей в Ярочкин лесок. (Жителям под страхом смерти запрещалось передвигаться между деревнями без пропуска, выдаваемого комендатурой. Поля за околицами время от времени простреливались трассирующими пулями.) Полиции кинулись за мужиком. Догнали, свалили: «Покурить не найдётся? Дай хоть затянуться!» Тот, очухавшись, выудил из кармана кисец, размотал шнурок, вынул сложенный вчетверо книжный лист: «Доброе сегодня утро», – только и молвил, и стал не спеша крутить сигарки.

Восьмилетним мальчишкой, по словам отца, сажал и он до двухсот корней самосада. И сам украдкой от старших с друзьями-товарищами курил, и мать выменивала табак на базаре в Орле на еду (дети до четырнадцати лет на рынок не допускались, за это беспощадно штрафовали родителей).

Запрещалось во время оккупации под страхом смерти торговать не только на рынках, но и везде где бы то ни было самогоном, брагой и табаком. Бабушке приходилось рисковать. Но сколько же надо было того табаку, если в это, голодное, время золотое кольцо можно было выменять всего лишь на полкило муки! Килограмм хлеба стоил тридцать-пятьдесят рублей. Мясо на рынке стоило полторы марки за кило, яйца – марка за десяток, водка – три марки за пол-литра.

Запрещалось проносить по дорогам, даже если комендант и выдаст аусвайс на перемещение, больше продуктов, чем «необходимо для дневного пропитания». На подходах к городу немцы расставляли полицейские посты. И те коштывались, как могли: отбирали всё, что люди с огромным трудом вырастили, собрали или наменяли в деревнях. Но если и добирались игинские бабы более-менее благополучно до Орла, то нередко и на самом рынке устраивались облавы и товар конфисковали. И несчастные, протопав семьдесят пять километров до рынка, – батожок в руки – возвращались с пустыми котомками, опять же своим ходом, назад, к голодной детворе.

Даже рейхминистр пропаганды Германии Геббельс в своём дневнике в начале марта 1942 года вынужден был признать: «Положение с продовольствием в оккупированных восточных областях чрезвычайно затруднительно. Там умирают от голода тысячи и десятки тысяч людей, что совершенно никого не интересует».

ИЗГНАНИЕ





ятого июля 1943 года разразилась Орловско-Курская битва. Много их, страшных побоищ, за годы Великой Отечественной отлязгало, отгрохотало, откровоточило на русских полях. Но это! Именно в нём, в июльско-августовском сражении сорок третьего наши войска – наконец-то – сломали хребет непобедимому, подмявшему под себя всю Европу фашистскому зверю. Конечно, были и потом лихие битвы, но после Курской смертельно раненый враг, зализывая раны, отползая в своё логово, лишь яростно огрызался.

Наступательная операция по освобождению Орла началась двенадцатого июля, и носила она название «Кутузов». Какой русский не гордился этим именем, не помнил, как громил великий фельдмаршал ещё несколько веков назад иноземного захватчика?

В нашей округе на долю воинам 3-й Гвардейской танковой армии генерала Павла Семёновича Рыбалко выпало крушить основательно укреплённую немецкую оборону. Вместе с ними наши края освобождали бойцы 2-й Гвардейской танковой армии генерала Семёна Ильича Богданова, 13-й и 48-й полевых армий. А также – войска Брянского и Центрального фронтов, которыми командовали генералы Мариан Михайлович Попов и Константин Константинович Рокоссовский. С воздуха войска поддерживали лётчики 15-й и 16-й воздушных армий генералов Николай Фёдорович Науменко и Сергей Игнатьевич Руденко. Шутка сказать, какую свернули махину!

Отступая, немцы угнали с собой почти всех жителей округи, использовали их в качестве живых щитов, прикрывались бабами и детьми от налётов нашей авиации, от артиллерийских атак. Хитрость эта коварная не случайная, не в панике возникшая. Фашист продумал в своем завоевательном походе на Россию всё до мелочей: и «блицкриг», как поскорее прихапнуть огромную территорию с несметными богатствами, и как потом ими распорядиться-хозяйствовать. А на тот случай, ежели, чего недоброго, намнут бока, придётся драпать, заранее разработана и политика «выжженной земли», а проще – система грабежа, насилия и уничтожения. (Лишь к ноябрю угнанные отступающими немцами, уцелевшие несчастные смогли возвратиться из Прибалтики и Белоруссии на родину, пройдя сотни вёрст разбитых войной дорог).

Фашист понимал, что разграбленные и опустошённые им районы обратятся в мёртвые зоны. И, конечно, зверствовал, стараясь не оставить не только материальных, но и никаких «пригодных» людских ресурсов.

Поначалу-то фрицы собирались досыта пограбить, но Красная Армия испортила им всю обедню, поддала такого пинка, что тут не до грабежа, хоть бы самим ноги унести! А вот попутно пожечь, взорвать,

на это много времени не требовалось. Если при отходе немецкие войска, не дай Бог, встречали на своём пути скот и не имели возможности отправить его в свой тыл, и тут гнали свою статью – расстреливали его подчистую.

Второй человек после Гитлера, рейхминистр Герман Геринг в своей директиве от седьмого сентября 1943 года требовал вывезти все сельхозпродукты и средства сельхозпроизводства, разрушить все обрабатывающие и перерабатывающие предприятия пищевой промышленности, уничтожить все другие производственные основы сельского хозяйства, вывозить людей, занятых в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Одним словом, стереть русскую деревню с лица земли.

Отступая, немцы обливали хаты бензином и поджигали. Так, например, выгорел дотла соседний с Игино посёлок Свободная жизнь. Такая же участь ожидала и Кирово-Игино. Просто фашисты впопыхах спалить наши деревни не успели.

Шестнадцатого февраля 1943 года на заседании «Центрального планирования» в Рейхе было решено угнать на запад всё население, находящееся в ста километрах за линией фронта. Существовал по этому поводу и специальный приказ за № 4, подписанный самим Адольфом Гитлером от четырнадцатого февраля того же года. В нём нацистский вождь настоятельно требовал от своих подчинённых «если возможно, брать с собой всё гражданское население и затем использовать его как рабочую силу». По этому же приказу, когда затрещали по швам все германские стратегические планы, населённые пункты после эвакуации безжалостно уничтожались.

«Второго августа сорок третьего, на Илью, – рассказывал отец, – жители Игино молотили со своих участков хлеб, налетели власовцы, и давай людей булгатить: «Всё прекратить! Готовиться к эвакуации!» Беготня, рокот двигателей грузовиков, немцы – в панике, срочно сворачиваются, готовятся бежать».

Хлеб, как ни жалко было, бабы опустили в шейные ямы. Сколько с собой второпях прихватишь? К тому же, лошадь выдали на четырёх хозяев. С Андрияхиными – шесть душ Ходёнковых, шесть душ Макеевых, Молдачёвы! Сами, хочешь – не хочешь, пешком. Скарб – на застланную веретём телегу. За телегой – бабы, белужинами ревут, в чём только душечки теплятся. Цепляясь за их юбки – детишки, сопли кулачонками по щекам растирают. Бросили хаты свои на Мишкином бугре, бросили хоть как-то кормившие огороды, всё бросили... Потацились самотёком по пыльной, словно обсыпанной серой мукой, дороге под автоматами власовцев на Запад...

Одно только свербило на душе: наступит ли этим мучениям предел? И концов-просветов не видно, когда из них перестанут

нехристи верёвки вить. А уж о том, увидят ли опять свой порог, – вообще вилами по воде писано.

Как всегда у нас велось, коли настигнет русского человека крайний случай, вспомнились слова нужные, зашептались сами собой: «Осподи милостивый! Преложи гнев на милость! – и дальше, как положено, коли покидал православный человек свой родимый дом, – двадцать шестой псалом, – Господь – просвещение моё и Спаситель мой, кого убоюся...».

Вышли за околицу по полудню. Поташились правым пологим берегом, среди разбросанных там и тут замшелых вётел. Все вперемешку: немцы, обоз жителей Кирово и Игино, полицаи, власовцы... Немцы старались затеряться меж обоза, в самой гуще народа.

Идут бабы с грудными детьми на руках в глубоком бесчувствии, ревут, назад оглядываются, пытаются избы свои разглядеть, но застит дым от полыхающей им вдогонку Полетаевой хаты, не позволяет напоследок узреть родимые дворы. Чуть дальше и левее Игино, в логу Плоцком догорает вместе с экипажем немецкая танкетка. В верхих, на дальнем поле, у лога Майского, полыхают прорвавшиеся было три наших Т-34 – немцы огрызаются, лупят по ним прямой наводкой из занявшегося пылем сада (из бывшей усадьбы барыни Шеншиной).

Негаданно хрестанула молния! Гроза впереди заугрюмилась. В полнеба расползлись сырые овчины жуковых, с огненными краями, туч! Затаилась под ними Крома, зашептала чёрная дальняя гать. Склонились долу приречные стрелолысты и осоки. Низко-низко заметались, засвистали над людским потоком чёрными пулями ласточки. Крупные дождевые капли, поднимая пыль, застучали по прибитой дороге. Да что там гроза – чай, не из соломы сплетены! В народе ходили толки: фашистская чужбина – вот горе так горюшко!

Не знали, не ведали кировские и игинские крестьянки, полонённые фашистской нечистью, что несколько веков назад этими же путями уходили в Брянские леса под покровом ночи их пращурки, спасаясь от татарского ига, так же рыдали и оглядывались на родные пепелища. Захватчик – он во все века и во всех землях – изверг и лютый ворог!..

Что ж от него дожидать-то, если, к примеру, командиром двадцать седьмой танковой дивизии вермахта двадцать девятого декабря сорок первого года было отдано распоряжение «...тыловым отрядам и арьергардам производить:

а) разрушение (поджог) всех населённых пунктов. Использовать специальные команды для поджога деревень, лежащих в стороне от путей отступления;

б) уничтожение наличных средств транспорта и имеющегося скота;

в) уничтожение или приведение в негодность всех имеющихся продуктов».

...За час еле-еле доползли обозы до сожжённой подчистую соседней деревни Свободная Жизнь. С приходом фашистов в богатом этом колхозе, который когда-то населили кировские и игинские выходцы, обосновался немецкий комендант Шмидт. Похозяйничал на славу! Обобрал до нитки и колхоз, и крестьян: и скот ему сведи, и инвентарь свой крестьянский сдай, но в первую очередь, создавая помещичье хозяйство, Шмидт отнял у мужиков шестьсот гектаров земли.

Словно закоренелый крепостник, за малейшую оплошность, не говоря уже об отказе от работы, он публично устраивал жесточайшие порки. Не гнушался лиходея и расстрелами.

Многие жители этой несчастной, родной по крови Кирову Городищу деревушки, пали от рук мучителей, среди них: Василий Ходёнков, Михаил Завязлов, Василий Морозов. Истерзанное «новым порядком» население перед отступлением немцы под конвоем угнали в тыл, тех же, кто не мог идти, расстреляли, а деревню, все пятьдесят четыре избы с надворными постройками, спалили дотла.

... Обоз растянулся длиннющей вереницей вдоль пыльного просёлка от Большого лога до самой окраины деревни Выдумка. Смотрят обозники: чуть правее, за Кромой, над гавриловским полем, несётся наш ястребок, а за ним – четыре мессера! И разразился в чистом поле, прямо над их головами, воздушный бой. Бабы, дети – под телеги! Куда ещё спрячешься?

А наш ястребок оказался неуловимым! И так его немцы прижмут, и эдак, а он – круть-верть – и был таков! Подбил один из мессеров, и – только его и видели, вырвался, умчался к своим, в сторону Кром. Из подбитого фашистского самолёта выбросились на парашютах два лётчика, зависли над Гавриловкой, а машина, объятая пламенем, с рёвом пошла над верхушками леска и ахнулась где-то у деревушки Орехово – огненный шар полыхнул впереди, по правому краю небес.

...Гонимые немцами и власовцами земляки мои под прицелами автоматов добрались до Брянщины, до железнодорожной станции Почеп. Несчастные не знали тогда, что пятого августа уже освобождён Орёл, а шестого августа Ставка Верховного главнокомандования в четырнадцать часов сорок пять минут приказала:

«...Командующему Центральным фронтом использовать 2-ю и 3-ю Гвардейские танковые армии для удара в направлении Шаблыкино с задачей во взаимодействии с правым крылом Брянского фронта, наступающим на Карачев, уничтожить противника, отходящего от Орла на запад» (в том же направлении,

куда угнали моих земляков). Бои в этих местах, как передавали в сводках инфрбюро, носили упорный, кровопролитный характер.

Не знали страдальные земляки мои и о том, что немецкое командование, опасаясь окружения, сократило линию фронта, усилив за счёт этого части, действовавшие в районах Хотынца и Кром, прикрывавшие отход своих войск из Орла на запад... Получалось, что и они, кировские и игинские бабы с ребятишками, прикрывали вражеский отход.

Чтобы отрезать противнику пути отступления из Орла, Кром и Нарышкино, наше Командование задействовало сразу две танковые армии. Нельзя было допустить закрепление противника на заранее подготовленных укрепубежах «Хаген» восточнее Брянска. В течение двух дней велись жестокие бои и на подступах к Кромам. По реке Крома проходил сильнейший оборонительный рубеж, заранее занятый немецкими войсками. Но и он был сломлен к вечеру шестого августа. Показали наши немцам, где раки кромские зимуют.

А девятого августа 2-я Гвардейская воздушно-десантная дивизия выбила врага из Кирова и Игино. В этот же день освободили и близлежащие села и деревни: Должонки, Дерюгино, Чистое поле, Красная новь, Старогнездилово, Цвеленево, Мураевка.

Восемнадцатого августа была освобождена Орловская область в её современных границах. Советские войска ликвидировали «кинжал, направленный в сердце России». Так фашисты называли Орловский выступ, который рассматривали в качестве исходного района для нанесения удара на Москву. Как у нас говорят: «Испробуй-ка нашенского гостинцу! Мы тут всяких видали да бивали!»

Но война всё ещё не отпускала из своих жутких когтей моих родичей и земляков.

Немцы, как чёрт ладана, боялись партизан. На ночь бросали обозы и вместе с власовцами прятались в укрытиях. Передвигаясь по Брасовскому району на Брянщине, бабы и ребятишки вытянули все жилы – поминутно толкали подводы, покрытые рогожами, увязанные верёвками, то и дело застревавшие во встречавшихся на их пути глухих болотах. Места, неизменные тысячи лет: зыбучая глубь, бездонная хлябь, где само время с ума сошло. Слепни и мухи вились над лошадиными спинами, донимали полчища комарья. От телег пахло дёгтем, от болотин – брусничником и сыростью.

Кормиться помогали собранные в бору грибы и ягоды. (Немцы выдавали строго по списку лишь небольшие брикеты с кашей). Так же, как и в деревне, из последних сил держались по-соседски друг дружки, хлеб-соль вместе водили. Останавливаясь в селениях,

собирали на брошенных усадьбах картошку. Попутно в речушках и прудах ловили рыбу.

Однажды, расположившись на разъезженном, усыпанном мелкими камнями берегу Десны, соорудили кой из чего сеть и отправились на рыбалку. Мужики вели рекою снасть, а мальчишки воробьиной стайкой бегали следом, подбирали выкинутый на берег небогатый добыток. Вытянули невод в очередной раз, а в нём – полторагодовалый мальчик! И гадать не нужно – вверх по течению разбомбили переправу, одна из семей погибла разом: вместе с конём и телегой ушла под воду. Мужики – мальчишкам: «Бегите, кличьте баб, скажите, мол, рыбину крупную поймали». Примчался народ, разглядев лежащий на берегу под олешником улов, бабы, вар подливай – не смолкнут, выли в голос, волосы на себе рвали, словно у каждой умер во чреве младенец. И терпению приходит когда-нибудь конец...

И вблизи Почепа обнаружили в лесу жуткую, погибельную картину: наши ли, немцы? Так и не поняли. Но волосы встали дыбом, когда натолкнулись на огромный, метра в два высотой ворох человеческих костей: скелеты, черепа. И никакой гражданской одежды или военной формы, голые кости.

Не менее чем партизан, немцы боялись тифа и вшей. В Почепе баб и детишек раздели донага и втолкнули по очереди в два загодя приспособленных под санобработку вагона. Вещи тоже подверглись термообработке. На путях, нацеленных на Запад, стояли два поезда: один – товарняк – в нём хозяйственные немцы везли плодородную украинскую землю, а в другой загрузили наших баб и ребятишек, не церемонясь, «рассортировали» под вой и причитания: детей – в одни вагоны, матерей – в другие.

Но Господь вступился за полонённых, не позволил им очужеть, сгинуть во вражеской стороне. Ночью налетели наши кукурузники, развесили фонари и нещадно разбомбили драпающую немчуру. Запыхал Почеп, зароился народ. Хаос, толчея! Скученность – не дай Бог! Тати фашистские, утратив прежнюю спесь, спасали собственные шкуры, бежали. Им было не до вагонов с русскими, приготовленных для отправки в Рейх. Бабы повысыпали на рельсы, кинулись в дикой неразберихе разыскивать своих детей.

Отцу запомнилась картинка: село Добрунь, только что прошёл дождь, по склону крутой горы стекают грязные потоки. Немцы в спешке отступают. Дорога в гору, на неё фриц гонит запряжённую в бистарку лошадь. Подвода под завяз нагружена мешками с крупой, сахаром, солью. Лошадь от натуги падает на колени, как бы её ни погоняли, вскарабкаться на угор по сползающей дорожной жиже не может. И тогда возница (наверно, состоял при кухне) вспарывает

мешки ножом, и на глазах у голодных беженцев продукты втоптываются в грязь...

А следом плачет, пытается взъехать на размавленную гору молодой немецкий мотоциклист... чует, что подходит конец, что рыльцо-то в пуху!

Сколько несчастья, горя, разрухи, обездоленности и смерти повстречалось беженцам на пути – и не передать. Куда ни ступни, куда ни посмотри – везде слёзы и разор. Не от вида ли нашей округи содрогнулось сердце немца Ганса Гессенса, фронтового уполномоченного национального комитета «Свободная Германия», не о горе ли несчастье именно моих земляков поведал он в своей речи, обращённой к немецкому народу, сообщая о причинённых опустошениях вовремя отступления войск группы армий «Центр» из Орловской области осенью 1943 года: «Мы проехали сотни километров и здесь на месте благоустроенных жилищ видели груды камней, пепла и обгоревших брёвен. С немецкой педантичностью совершались страшные и в военном отношении абсолютно бессмысленные разрушения». По его мнению, виноват во всём немецкий вермахт. Своими глазами увидел представитель «Свободной Германии» нищету и разрушения, содеянные его соотечественниками. Свидетельствуя эти злодеяния, он предупреждал немецкий народ о том, что каждый угнанный, замученный или убитый советский человек – страшное обвинение. Каждый разрушенный дом, каждая украденная корова, каждая похищенная вещь – страшное обвинение. И за всё это в скором времени придётся расплачиваться, потому что «кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда».

**СЛОМАВ ХРЕБЕТ
ФАШИСТСКОЙ НЕЧИСТИ**





обрала Наталья Андрияхина своих и – за огороды, в окопы. Вдруг слышат: где-то совсем рядом забабыхало, загромыхало, рванул склад немецких боеприпасов. От его взрывов вспыхнула ветряная мельница, замахала горящими крыльями, заскрипела навзрыд, зачатила, застала белый свет.

...Прожили они в окопах полторы недели. Засобирались в обратную, на Мишкин бугор, до своей хаты. А до неё, родимой, топать и топать. Общего на несколько семей мерина, кривого Воронка – опять им не повезло – украл староста (приходил сообщить, мол, завтра красные будут уже тут).

Немцы ушли. Затихше. И вдруг – снова пальба! А затем – шквальный огонь! Поспрыгивали беженцы в окопы, набились битком, прижались друг к дружке, а сверху на них – земля от разрывов.

За полчаса до начала артподготовки бабушка Наташа ушла в деревню за едой. Местные жалели беженцев, помогали, чем могли: позволят и картошки на огородах накопать, и хранить в своих подвалах вещи.

К вечеру канонада чуть притихла, объявились наши бойцы: уходите, мол, как можно скорее, здесь вот-вот разразится страшный бой. Куда ж дети сдвинутся, когда мать так и не вернулась из деревни? Кинулись сами её искать. Как бывает нередко по осени – темь кромешная, первородная. Народ попрятался по подвалам, затаих.

Наконец, достучались, открыли им двери в том самом подвале, где отсиживалась и бабушка Наташа. Дохнуло погребною сыростью, смотрят: свеча горит, народу – битком. Выскочила Наталья наружу, к детям, некогда маху давать – бросились они к яме, где свалены их вещи, которые не все прихапнул, удирая, староста. Кое-что, кое-как достали, и мать распределила эти хархары меж своими, что кому нести. Раздобыли Андрияхины где-то тележку, покидали в неё свой скарб (как одёжу кинуть – когда-когда до Игино доберутся, осень на дворе, уже и жёлтые ручьи ракитовых листьев потекли вдоль обочин), и под покровом ночи – в путь! А за их спинами – бой. Не на жизнь, а на смерть.

И снова начались их мытарства по израненной войной русской земле. Правда, водители полуторок никогда не отказывали, брали на кузов, подвозили, если было по пути. Маленькому Ивану мать выделила нести ковригу, которую добыла в деревне. Уложили её в

наволочку, привязали котомкой с правой руки. Шли быстро, над головами свистели пули.

К утру, выбравшись наконец-то из опасной зоны, упали в лесу, чтоб хоть чуть-чуть передохнуть. Вынула бабушка Наталья махотку с говяжьим салом (кто-то подал ей на нищенство), глядь, а ковриги-то нет как не бывало! Потерял мальчишка хлебушко, а как, где – и не заметил. Вспомнил о нём, лишь когда на него уставились голодные сёстры. Спыхватился, бедный, и в голос! Только слезами – реви, не реви – не поможешь.

Слава Богу, добрали кое-как до лесной дереvушки. Постучались в крайнюю хату. Хозяйка, посочувствовав их горю-несчастью, кликнула бабушку Наталью в подвал. А там! Три шестиведерных напола груздей. Не пожалела баба, наловила грибов большущую миску: «Ешьте, родненькие! Всё, что Бог послал!»

А потом случайно повстречали своих игинских соседей Ходёнковых. С горем пополам, нечеловеческой силой, добрались с ними до Брянска. Тут – попутка. Подъезжают к Десне. Водитель почему-то притормозил на минутку. И вдруг – ка-ак ахнуло! И в воздух взлетели куски от впереди идущей полуторки, руки-ноги находившихся в её кабине и на кузове беженцев. Колонна подхватилась, запытилась по-рачьи. Высаживая беженцев из машин, остервенело орал патруль (некогда ему на переправе в бирюльки играть!): «Вылезай без разговоров, и – пёхом, пёхом! Скатертью дорожка!»

Сколько людских жизней унесут ещё оставленные войной противотанковые мины, авиационные снаряды, гранаты и другая ненасытная, кровожадная, безжалостная, противочеловечная дрянь.

Пристроившись к вечеру, когда уже начал заметно меркнуть день, на другой попутке, кое-как попали в Карачев. Въехали в городишко ранним утром, затемно, а когда жидкий свет проявил улицы, ужаснулись – Карачев стёрт с лица земли! Все здания разбиты, повсюду вороха жжёного красного кирпича. Ребяшня уселась, где попало, на развалинах, а взрослые кинулись спрашивать очередную попутку.

Только когда оказались в Сосково, от души чуть отлегло – теперь хоть ползком, а доберутся на свой Мишкин бугор. Плетутся они окрестными дереvушками – кругом разор, пепелище. Видят: на зерновом складе в деревне Мартьяново красной краской прямо по брёвнам, во всю стену: «Смерть фашистским оккупантам!» Соседнее

Звягинцево сожжено дотла. От него рукой подать до своих полей. Все глаза проглядели: что там, как там дома, впереди?

Вот и Кировская Облога. Два-три домишка. Святая Приснодева Мария, – цела! Осведомились у знакомых, округлили глаза – нет, Игино почти не тронули. Ни живы, ни мертвы от радости.

Поднялись на взгорье – впереди родная деревенька, урынок наш, – Козловка, как стрелочка, взлетает вдоль бугра! Чуть размывается лёгким маревом бабьего лета. Над соломенными крышами зыблются нагретые за день воздуха. Поле кировское, где, бывало, колыхалась, ходила светло-зелёным маревом рожь, истерзано окопами да рытвинами от снарядов.

Через Крому ни тебе мосточка, ни хоть бы каких-нибудь хлипких, ручейных кладей. Пришлось, подняв узлы с пожитками на плечи, «кунаться» бродом. Осторожно ступая по скользким подводным гольшам, поднимая за собой облако мути, выплеснулись, наконец-таки, на берег – мокрющие, словно водяные крысы.

А бывало... проходит по мостку из Ломинских лугов, отмахиваясь хвостами от назойливых слепней, разномастное стадо, а он глухо так, деревянным вздохом вздыхает, вздыхает. На быстрине – неподвижно замерли пухлые белые облака, и дождём через них сигает мелкая рыбёшка. А та, что покрупнее, стоит неподвижно у коряг, чуть пошевеливая розоватыми пёрышками плавников, дивясь на золотое, усыпанное разноцветной ракушкой дно Кромы, по которому снуют прозрачно-жёлтые пескарини.

По правому берегу, под ивовыми косицами, – купавки жёлтенькие, и на них – букашки усатые. И в зыби речной плавится-топится предвечерняя заря, гуляет солнышко. Боже ты мой! И счастья иного не надобно... Правда, было это в каком-то давнем-давнем, неведомом году.

Кинула бабушка пожитки, склонилась, растёрла в ладонях горсть земельки с игинского поля, нечем унять дрожь, мочушки нет, душа с телом расстаётся, и разрыда-алась...

Под кипенными облаками, в надмирной округе, низко над лугами, над полями, над овражистыми урочищами, носились чибиcы: «Чи вы? Чи вы?». Из-под ног рассыпались крупинками, щёлкали и падали в траву, обожженную войной и жаркой осенью, не ведающие горя кузнечики.

Наверно, по-настоящему ощутить святость родимых мест, её меру, можно лишь после разлуки, грозившей смертью... И родичи мои, надорвавшие души свои от обречённости жить в неволе, словно воскресли из мёртвых.

Двадцать восьмого октября 1944 года Комиссия при исполкоме Сосковского района Советов депутатов трудящихся Орловской области по расследованию фактов зверств и злодеяний немецко-фашистских властей на временно оккупированной территории Сосковского района, в которую вошли: председатель комиссии Понуровский П.А., Сулоцкой И.К., Соловых Г.Я., Безлюдная В.В., Меркулова Н.А. (жаль, в документе остались фамилии да инициалы) произвела проверку и расследование зверств немецкой власти над мирными жителями. Я просто не имею права не донести до читателей книги документ, подготовленный этой комиссией.

«Установлено: немецко-фашистские власти оккупировали территорию Сосковского района четвёртого октября 1941 года, и временная оккупация продолжалась до одиннадцатого августа 1943 года.

За указанное время по заданию и приказам немецкого командования, под непосредственным исполнением сельхозкоменданта Темпеля, коварные зверства немецко-фашистских властей характеризуются следующим: только за незначительный промежуток времени с февраля 1942 года по июнь 1942 года немецкими властями было расстреляно и замучено двадцать три члена партии, а всего замучено, казнено и уничтожено сто тридцать четыре человека.

Немецко-фашистское командование, думая ослабить тыл и фронт нашей Родины, поставило цель насильственного угнания советских граждан в немецко-фашистское рабство.

По заданию немецкого командования, под непосредственным руководством немецкого сельхозкоменданта оберлейтенанта Темпеля и лейтенанта Легенза отправлено на каторжные работы в Германию восемьсот семьдесят человек передовой советской молодёжи, главным образом, в возрасте от шестнадцати до сорока пяти лет.

Граждане Сосковского района не желали покидать свой родной край. В июле 1943 года немецкие солдаты приказали комсомольцу Панину Фёдору (1922 г.р.) отправляться на сборный пункт для отправки в Германию. Панин сделал попытку бежать, но немецкие солдаты заметили это и дали очередь из автоматов в спину Панина. Панин был смертельно ранен, но ещё жив. Немцы подошли к нему и зарыли в землю заживо.

Рябининой Д. (двадцать семь лет) также было предложено идти на сборный пункт для отправки в Германию. Рябинина спряталась в подвал. Немцы заметили это, бросили туда гранату, и она погибла от

взрыва. Мамонова З. (тридцать два года) категорически отказалась покинуть свой дом и ехать в Германию. Немецкий палач отрубил ей голову. Журавлёву Т. (тридцать шесть лет) за отказ ехать на работу в Германию четвёртого августа 1943 года замучили, исколов штыками грудь и спину.

Настоящий акт представлен Областной комиссии по расследованию злодеяний и привлечению виновных к ответственности за всех граждан Сосковского района казнённых, замученных и угнанных на каторжные работы в немецкое рабство немецко-фашистскими палачами».

Документ этот, по правде говоря, не раскрывает полной картины бедствий, постигших мою несчастную родину за двадцать два месяца оккупации. Его можно дополнять и дополнять.

Например, событием, произошедшим у нас осенью сорок первого. А связано оно с немецким самолётом. При отступлении нашим бойцам посчастливилось подбить обнаглевший, летящий настолько низко, что можно было «снять» из трёхлинейки, фашистский бомбардировщик. Как ни старался он дотянуть до своих, но всё-таки вынужден был сесть на пшеничное поле между селом Кирово и посёлком Степь. Экипаж из четырёх человек пытался слухом прорваться к линии фронта, но передвижение сдерживал раненый пилот. Чуть выше Кирово, у леска, в перестоявших горохах, наши бойцы настигли немецких лётчиков и взяли в плен. Отступавшим, конечно, было не до сбитого самолёта. А для деревенских он – чудо из чудес! Отец мой, мальчишкой, бегал на него смотреть, и показался самолёт ему тот громадным вокзалом.

Хороший крестьянин – мужик практичный. За просто так у него никакая вещь не пропадёт. Пошныряли деревенские в самолёте и обнаружили в баках двести литров керосина. Это ж какое богатство задарма пропадает! Выкачали керосин, растащили его по избам. Нальют его в гильзу от сорокапятки или любой другой патрон, вставят фитилёк – тряпицу хоть бы от той же портянки – какой-никакой, а всё-таки свет.

Вскорости нагрянули немцы. Ясное дело, не могли они не заметить свой сбитый бомбардировщик. Началось дознание, мол, куда подевались четыре пистолета, ящики с патронами, ну, и керосин, конечно. Мужики разводили турысы на колёсах, несли всяческую околесицу, одним словом, мутили воду, водили фрицев за нос. А один из тех пистолетов, обследуя немецкий самолёт, нашли шестидесятилетний дед Фарафон и девятнадцатилетний парень

Василий Андрияхин (двоюродный брат моего деда Фрола). Нашли, значит, они тот злосчастный пистолет и спрятали в избе Василия, правильнее сказать, заложили в устье печки кирпичом, замазали глиной.

Война – войной, а у парня в соседней деревушке Дерюгино (чай, не сто вёрст киселя хлебать!) проживала зазноба. Так уж случилось, что понравилась его дроля и местному полицаяу. А был тот малый, сказывают, крутой, готовый побрататься ради своего интереса хоть с лешим, хоть с чёртом.

Пришёл Васька к своей любушке по белому лугу, по облитому лунным светом просёлку на свиданье, а соперник про то узнал и зарёй на обратном пути в мелком подлеске подстерёг парня да пугнул из зарослей папоротника: саданул из немецкой десятизарядной винтовки в дремучую сонную тишь, прямо над его головой. Польшнул, чтобы Ваське неповадно было в их деревню к девчонке ходить.

Как ни суди, ни ряди, молодость – время горячее. Заартачился парень, сердце в огне! Прибежал домой, на Кировский посёлок, разворотил свой схрон, зарядил пистолет патронами от ППШ: «Ну, посмотрим: кто кого! Погодь, милоч! Я те покажу козью морду! Я те задам перцу!»

И на следующий вечер, сунув оружие в карман, видать, был не из робкого десятка, упрямо отправился в Дерюгино. Полицай, конечно, его уже подждал. На подходе к деревне завязалась перестрелка. Полицейский догадался, откуда у Василия может быть пистолет. Мало того – Васькин младший брат, играя со своим сверстником, братом того самого полицейского, с которым у парня была перестрелка, решил похвастаться, какой у него храбрый старший брат – даже оружие имеет.

...Печку раскурочили, Василия и деда Фарафона увезли на допрос в Сосково. Избили их до полусмерти. Вывели на кладбище и заставили рыть себе могилы. Поставили у края. Первого изрешетили деда Фарафона (страху не выдал ничем, лишь задрожали огромные его кулаки да беспощадно ударил свет из его широко раскрытых, устремлённых на ворога глаз). А Василий казни не дождался – тоже слезинки не обронил – негоже перед врагом плакаться! – как настал его смертный черёд, упал в вырытую им яму, замертво. От разрыва сердца. Больное оно у него было, потому в начале войны и не мобилизовали.

За время фашистского ига из моего района было угнано в Германию около тысячи трёхсот человек, в основном, молодёжь. На фронтах погибли, сгинули в фашистской неволе сотни жителей моей округи. Лишь по неполным данным погибшими и пропавшими без вести числятся три тысячи шестьсот четырнадцать человек. Немцы уничтожили девятьсот шестьдесят колхозных построек, клубов, изб-читален, шесть больниц и медпунктов, маслозавод, тринадцать школ, две МТС. Крестьянские хозяйства были полностью разорены, не говоря уже о колхозных фермах, с которых фашисты угнали: три тысячи пятьсот девяносто две коровы, пять тысяч пятьсот сорок три овцы, четыре тысячи семьсот девяносто одну лошадь, тысяча девятьсот девяносто шесть свиней, тысяча четыреста семьдесят пять пчелосемей. Уничтожены птицефермы.

Немцы следовали наставлениям своего фюрера Адольфа Гитлера: «Мы обязаны истреблять население – это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придётся развить технику истребления населения... если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей жалости, проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею права уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви». Ишь ты, чего удумали, чтобы чистенькими остаться, мол, раса у нас низшая!

История человечества знает немало примеров, когда в обычном человеке воспламеняются такие отвага и геройство, о которых он и сам за собой ранее не замечал. Уж так велось исстари: война прочёсывала мужиков частой гребёнкой. В годы Великой Отечественной войны в боях за нашу округу погибло и умерло от ран семьсот солдат и офицеров разных национальностей. Останки их покоятся в пятнадцати братских и воинских захоронениях. Есть такая братская могила и в селе Кирово. В ВМЦ числится она за номером 57-613. Год её создания – 1943-й. Сразу же, как выдворили ворога из округи нашей, оплакали героев – на видном месте, у правления колхоза, захоронили погибших на подступах к селу Кирово, павших за деревушки Игино и Старогнездилово, за посёлки Степь, Облога, Чистое поле.

Каждый раз, когда, отправляясь за грибами, пробираюсь по Савину лесу, изрытому вдоль и поперёк траншеями и окопами, обязательно вспоминаются мне дедовы и отцовы рассказы о минувшей войне. Вот и сегодня...

Над ухом на книжной полке неотвязным комаром гундосит будильник. С вечера завела, не хотелось проспать последний сентябрьский денёк. Прихлопываю назойливое чудовище и отряхиваю цветастые картинки утреннего сна, точь-в-точь как у ворот листик за листиком отцовская липа сбрасывает свой последний наряд.

За окошком редет предрассветный сумрак. Накидываю шаль, выхожу на крыльцо. Солнца ещё не видать. Всё затихло в ожидании появления этого извечного, но каждый раз нового, необычайного чуда.

Сначала, словно пенки «райского» варенья, вскипают, розовеют над Марьиной ложиной края кудлатых облаков. Следом «мяконькие», рыжеватые дымки затепливают по склонам Ревун-оврага полуобнажённый березняк. Потом скирда гречишной соломы посередь игинского поля, проступая сквозь ниспадающие туманцы, набирает цвет и окрашивается в тёмно-красную, ржавую медь. Воздух, настоянный на ароматах палой листвы и зарывшихся в её вороха улежалых антоновских яблок, кажется забористым бабушкиным квасом: и терпкий, и хмельной, и пьёшь – не напьёшься.

Всё отчётливее сквозь редящую пелену слышатся звуки пробуждающейся деревни: мычит и блеет выпущенное в Сивкин овражек стадо; о чём-то спорят у прудка горластые гусиные табуны; за хутором Степным спозаранку управляется, мурлычет трактор – поднимает зябь; на краю урынка скрипит колодезный журавель; катит вдоль улицы гружёная под завяз переспелыми тыквами телега (сосед перевозит с задворок остатки урожая в теплушку – того гляди, заколупают морозы), а у камней на Талькином омутке пара залиvistых пральников колотит, перебирает мотив извечной бабьей песни.

Наконец бело-сахарное солнце выказывается с краешка Филькина лога, а когда вскарабкивается на чистый небосвод, начинает попевать – пузатеть и рыжеть, да так, что сомневаешься: а не тыква ли – медовка, забытая беззаботным соседом в огородных бурьянах, выкатилась сама по себе с поля крестьянское в поле небесное?

Прихватив корзину, ныряю в Савин лог, поросший дубом, бересклетом и орешником. Конец сентября – самое время для поздних, осенских, опят. Местные лесок этот недолюбливают – чёрт ноги поломает, ямины да рвы, уже осевшие, заросшие травой, но ещё сохранившиеся, как свидетельство минувшей войны.

Когда-то здесь было поле. В сорок третьем по нему проходила передовая. В августе на подступах к селу разразился танковый бой. Истерзанная земля долго не могла от него опомниться – годами выбаливали раны. После войны никто здесь не пахал, не хватало рук поднимать даже пригодные для сева земли. Сколько пахарей полегло!

Заботливые залётные ветра постарались, и птицы натаскали, принесли и рассеяли по рытвинам, жёлуди, орехи лещинника, семена. Так и возрос на измученном месте мой опёночный лес.

Спускаюсь из оврага в овраг, брожу, присматриваюсь: за семьдесят лет палая листва, суки и ветки, валежник, отмершие травы сгладили развороченные взрывами ямы, но и по наши дни всё ещё различима страшная поступь войны.

Забарабанит дятел о сухую коряжину, а мне пулемётная очередь почудится. Хрустнет сучок, ухнет филин, раздастся выстрел охотника, случайно забредшего в наши глухие края, а передо мной рисуются картины из неведомого мной, но столько раз слышанного от деда-солдата, его военного прошлого.

Давно уже нет старика, и ветеранов Великой Отечественной – пересчитать по пальцам. Но каждый год в последние дни сентября, пробираясь сквозь овраги задичалого Савина леса, нет-нет да вспомню дедовы рассказы о войне. Всё никак не может в моём сердце зарости забудь-травую память о нём и о таких, как он, простых русских пахарях, сменивших, как только подступился к отчему их порогу лютый ворог, сохи и литовки на винтовки и автоматы.

**ДА РАЗВЕ ОБ ЭТОМ
РАССКАЖЕШЬ!**
А надо рассказать ...





емца погнали дальше, на запад. 43-й, 44-й, 45-й... Мужики воюют, а на бабьих измождённых плечах порушенные хозяйства, голодные, истощённые дети. Попробуй подними разваленные фашистом колхозы, когда все работные мужики на фронте! Пяткина Лидия Тимофеевна, заведующая избой-читальней, всю осень билась, гуртовала баб вокруг себя, пыталась заново собрать игинской колхоз имени Ворошилова.

На осень сорок третьего в нём – одна корова красно-пёстрой масти, пять овец, три свиноматки да разбединая лошадь Хозяйка. Продвигаясь вперёд, одна из наших частей оставила её, раненую, в Игино, мол, чем чёрт не шутит, может, и выкарабкается. Протоптав военными путями-дорогами не одну версту, на игинских буграх Хозяйка поотдохнула и, на радость деревенским, пошла на поправку. А выносливости ей, военной коняге, не занимать, трудяга ещё та!

В декабре сорок третьего председателем в Игино прислали Меркулова Алексея Даниловича, брянского партизана из отряда имени Когановича. Жену и пятерых его детей, за участие Алексея Даниловича в движении сопротивления, расстреляли фашистские каратели.

Одинокому председателю отвели угол в избе Фёдора Савинкина. Соберётся, бывало, детвора вечером у Савинкиных в избе и пристаёт к Алексею Даниловичу: расскажи да расскажи, как там, в партизанах-то, воевалось. Показали фрицу кузькину матушку? Покурит Данилыч, кашлянёт и завспоминает. О том, как с болью в сердце взрывал на Брянщине мосты, возведённые до войны его же руками, как ходил в разведку за линию фронта, как чуть не погиб вместе с другими бойцами от голода.

Однажды каратели обложили болота, в которых скрывался отряд. Обычно продовольствие и боеприпасы доставляли им с большой земли на самолёте, а тут немцы устроили настоящую охоту на парашюты со снабжением. Расстреливали, уничтожали их ещё в воздухе. Командир собрал отряд и приказал: паникёров расстреливать, держаться любой ценою!

Закончились последние припасы. К лютому зимнему холоду добавилась голод. В отряде были две лошади. Обсудив меж собой, медсестры отряда предложили командиру зарезать лошадей и подкормить партизан, спасти отряд. Но после длительной голодовки конина не пошла впрок – видать, с непривычки съели лишку, скрутило желудки, бойцы мучились, хворали. Нашли способ излечения: больного сажали в тёмную землянку на несколько суток. Невероятно, но, Данилыч уверял, что помогало.

В эту осень вернулась с малолетним ребёнком из блокадного Ленинграда чудом выжившая дочь Савинкиных Настя. Ещё в начале войны получила она на мужа похоронку. Приглянулся новый председатель Насте, и зажили они одной семьёй. А хатка – кошку за хвост повернуть негде.

Приблизжалась зима. А новоявленный председатель раздет-разут. Справили ему кой-какую одежду: посконную рубаху, штаны, шубник. Правда, с обувкой – беда! И порешили тогда бабы нашенские, всю жизнь делавшие добро не разбирая кому, верившие, что добрые дела не разлетаются по свету никчёмным дымом, остричь своих разнесчастных пятерых колхозных овец, чтобы дед Харлан свалял председателю валенки. Обычно-то овец стригут в апреле – лучшая шерсть; на худой конец, в сентябре – пояrkовая стрижка. А тут – в декабре-то месяце! Фермы разрушены, поэтому и малочисленную колхозную животинку распределили тогда по крестьянским дворам. Хлев, куда поместили «лысых» овец, покрепче обложили от холодов всякой всячиной.

У Савинкиных на дворе стояла единственная колхозная корова. Рожищи – по сажени. Кстати, очень даже неплохая – ведерница. Прилачился ходить сверять её удои Илья Губарёв, выбранный бабами председателем ревизионной комиссии. Подоит подвизавшаяся её обихаживать Авдотья-Колдучиха Красавку, а он тут как тут, слёзно просит: «Авдотьюшка, ну хоть бутылочку молока ребятишкам налей!» Понятное дело, у кого ж терпение не лопнет, когда детвора помирает с голоду.

Перебедовали с горем пополам зиму. Подкатывала весна сорок четвёртого. Как поднимать поля? Именно в эту пору прижилась в деревнях наших частушка: «Я – и лошадь, я – и бык, я – и баба, и – мужик». Отмахнётся баба от тяжёлых думок, ровно тараканов из «кухвайки» повытряхнет, и снова – за заступ.

Русская жизнестойкость и выносливость во все века поражала иностранцев. Народ наш – удивительнейший, ему и самому не ведомо, какие напасти в своей судьбе он ещё может сдюжить. Не раз подтверждалось историей, что русские лишь только кажутся беспечными и разрозненными. Попробуй, загреми гроза, подкати к украинцам нашим чужеземец – соберутся они для отпора в единый, несломимый кулак.

Колхозные поля бабам приходилось вскапывать вручную, лопатой. Норма – пять соток в день. А полевая земля – не огородня! К тому ж – издвлена гусеницами танков, изъезжена грузовиками, изорвана минами-снарядами! Кровь приливает к голове, и сердце начинает бить тревогу, как представлю ту

непосильную ношу. Говорят: баба русская – двужильная. Так оно и есть. Мамина мама, бабушка Нюра, вскапывала в день по семь соток! Это как же надо бы питаться при такой тягловой работе? А на столе что? Тёрли из пирепиков (гнилой сушеной картошки) крахмал, и из жмыха, с добавлением вики, «груили хлеб». Сейчас хозяйке стыдно было бы свиньям его подать. Но даже такой еде радовались.

Отец мой вспоминает те страшные годы: «Порой не ели по три дня. Деревня пухла от голода. В старых, заброшенных буртах выгребали возгоревшееся месиво, толкли в ступе на лепёшки и оладьи. Пекли прелики на огуречном рассоле – «трёхдневные прелики». Блины их них – чёрные, сухие до хруста. Потащились как-то с Иваном Макеевым в Савин лес. Ноги переставлять мочи нет. Шесть раз на пути отдыхали. Пришли, а лес – пустой: ни гриба, ни ягоды, ни щавеля. Побрели, не солоно хлебавши, назад.

А однажды напали с другом в глуши на нетронутый куст крушины, так наелись, чуть не померли. Трава не успевала вырастать, выдирали с корнями. В лугах не сыскать было даже конского щавеля. Зубы от травы у ребятни – чёрные. Ходишь, как слепой котёнок, ткнёшься в траву и сходу засыпаешь. Из районной Сосковской больницы приезжали санитары, забирали окончательно ослабших, распухших детей».

Пошла как-то игинская баба Катерина Полетаева на Свободную к брату. Вернулась радостная – дали в гостинец аж два стакана пшена! Сварила Катя жиденский кулешец. А к обеду ненароком заглянул к ней тринадцатилетний племянник. Переминается с ноги на ногу, из избы не идёт. Шут с ним! Как не разжалобишься, не угостишь – своя кровь?!

Все ушли по делам, и племянник ушёл. Чуток погода возвратился он в тёткину избу (заперта ведь – лишь на палочку), отодвинул заслонку, залез в печку, выхлебал из чтуна весь до капельки кулеш и, разморенный теплым уютом и сытостью, «отчаянный злодей» – на-поди! – прямо в печи и уснул.

Вернулись хозяева. Собралась семья за стол. Катя подошла к печи да ка-ак заорёт благим матом – из печного устья ноги торчат! Подбегает к ней дочка: «Да это ж наш Афонька!» – по чуням признала. И смех, и слёзы.

Ни мыла (голову мыли золой), ни керосина, ни спичек. Печку бабе разжечь было нечем. Почтальонка вместе с фронтowymi письмами на неделю разносила по избам десять спичек и к ним – тёрочку. Берегли из печи каждый уголёк. Вспомнили, как когда-то разводили огонь пращурь – трутовики в ту, тяжелейшую, пору были на вес золота. Сначала трутень варили в золе, потом высушивали. Он становился мягким, ворсистым. Чтобы извлечь с его помощью огонь,

необходимы были ещё кресало и камушек-голышик. Курильщики тоже носили обязательно в кармане кроме кисета трутовик и кресало.

Чудом сохранённых во время оккупации шестёрку коров хозяйки берегли как зеницу ока. Но весной их всё равно насильно забирали распахивать колхозные поля. В отличие от конского хомута, им шили из суровой ткани упряжь – шлейки – и ставили в соху. На них же и боронили. Пасли ночью, утром – снова в поле. Бабы, знамо дело, не давали кормилиц, кричали истошными голосами, рыдали горячими слезами. Как повели бурёнку со двора, Сидорова бабка уцепилась за её хвост, кричит-рыдает: «Как я к ней, голубушке, с подойником подойду, стыдно под титьки садиться. Вымечко напрочь иссохло!»

Несмотря на тяжелейшие условия, в которых оказались мои земляки после выдворения оккупантов, они, чем только могли, оказывали помощь фронту. Не было в ту пору иного призыва, кроме «Всё для фронта, всё для Победы!» К примеру, в честь Героя Советского Союза, уроженца нашего района Немкова Ивана Андреевича в первые месяцы после освобождения проходил сбор денежных средств на постройку боевых самолётов. Среди пятисот тысяч рублей есть доля личных сбережений и моих односельчан. Может, это о моих землячках писал Михаил Васильевич Исаковский:

*...Ты шла, затаив своё горе,
Суровым путём трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим...*

Кроме того, колхозники платили налоги продуктами из личного хозяйства. Налогом обкладывалось каждое плодовое дерево, каждый крыжовниковый-смородиновый куст. Прозябающим впроголодь крестьянам с подворья необходимо было сдать двести литров молока, двести штук яиц, сорок четыре килограмма мяса, три центнера картошки.

Вспахать кое-как вспахали-вскопали в сорок четвёртом. А сеять нечем – зерно ведь, когда игинских и Кировских жителей власовцы при отступлении немецких войск погнали на Брянск, в августе сорок третьего, ссыпали в шейные ямы. Там оно «сгорелось» и погнило. Весной этого года сеять не удалось. Но в августе немного скосили «хлеб войны». Крестцы и старновку, чтобы не было холодно, и наши, и немцы стелили по окопам. В апреле осыпавшееся зерно возшло, а к осени худородный клин, этот самосев, скосили, прибрав зерно в дальний чулан на семена.

А вот картошку бабы, угнанные немцами, в августе наспех, но успели забуртовать. Теперь её вынули из ям и, не оставив себе на пропитание ни плетушки, нарезав на мельчайшие дольки, порой

«глазками», очистками посадили на вскопанных лопатами, вспаханных на коровах полях.

До новины – ждать и ждать! Да и какой урожай от эдаких семян: мелочь, дичка дичкой. Под деревней Толмачёво обнаружили в буртах гнилую картошку. И бабушка Наталья кинулась туда «на менку» (айда, не зевай!), принесла детворе высушенную и перетёртую в муку картошку. Отдав свою вязаную кофту, получила всего-то стакан муки, затеяла олады.

А в первых числах Великого поста сорок четвёртого бабушка Наталья слегла от тифа. Слава Богу, на ту пору в её семье снова объявилась (уже с тройкой своих ребятишек) младшая её сестра Нюша, добравшаяся к ней, наконец-таки, из Донбасса. И откуда старшая сестра металась в жару, она взяла под пригляд немудрёное её хозяйство. Не захворай тогда бабушка, может, и не постигла бы её семью беда смертная. Но что теперь о том толковать? Таков, видать, Божий промысел.

...Как-то раз, ещё и снег не сошёл, нашли Ваня Андрияхин и сосед его Петик Ходёнков под кручей противопехотную мину. Чудная штукавина! Летит с небес, гудит-воет. Отрубили ребятишки у неё топором крылышки (обезвредили!) – теперь уж точно выть не станет, и, вроде как, так и надо. «А в апреле, в Чистый четверг, – рассказывает отец, – играли в оврагах мы с братом Петькой да с двумя соседскими мальчонками, тоже Иваном да Петей. Нашли точно такую же мину. Ходёнков Иван возьми да ударь её оземь. А мина ка-ак бабахнет! Пришёл я в себя, поворачиваюсь: у Петика Ходёнкова обе челюсти порвало, фуфайка кровью течёт. Ивана, брата его, взрывной волной отбросило во-он куда, аж под кручу, в ручей. Меня, – вспоминает отец, – изрешетили мелкие осколки, а брату Петьке досталось, как следует: один осколок – в руку, другой, более крупный, пробил армейский ремень и вошёл в живот.

Мать слышала взрыв – оборвалось сердце. Она рванулась было в тифу к оврагам, но где там! Упала в круче, на полпути...

Ходёнкова Ивана принесли на подстилке – двадцать три раны. Но, слава Богу, – поверхностные! А наш Петик отлежал две недели под окном на лавке. В больницу везти не было никакой возможности – апрель, всеселенский разлив: бурлил Жёлтый, вскрылась Крома.

Мало-помалу брат даже стал выкарабкиваться на солнышко. Сядет, играет девкам на балалайке... Ох, и мастак же был! Жарил на ней так, что устоять не было никакой мочи. Живот ему перевязывали кружевами. Откуда бинты-то? Кружева те присыхали к ране и к коже вокруг неё. Сердобольная тётушка Нюша, ухаживая за племянником, отмачивала их водой и свежими повязками перематывала Петин живот. Хоть и растирала она его нашептанными Колдучихой мазями,

подавала пить девясиловый настой, а всё одно – не вышедший осколок начать ржаветь. Умер брат от столбняка. Страшно умирал. Кричал шибко. На семнадцатый день после того взрыва у Хильмечков его отнесли на погост».

В начале ноября 1943 года снова начались занятия в Кировской семилетке. Орловский облисполком и бюро ВКП(б) постановило «провести первый день учёбы в школах, как праздник трудящихся освобождённых районов области, мобилизующих учителей и всю общественность на повседневную заботу о советской школе, учащихся, воинах Красной Армии, партизан, детях, оставшихся без родителей, создавая все условия для их нормальной учёбы и питания».

С семнадцатого августа до второго ноября, до самых глубоких заморозков сорок третьего, в Кировской школе располагался военный госпиталь 133ЧППГ. Здесь же, на взгорье, между правлением колхоза и школой, расчистили аэродром, на который садились самолёты с ранеными. Через дорогу от школы – старая конюшня, в ней наладили первичную обработку раненых. Рядом, на пойменном лугу, раскинули брезентовые приёмные палатки. Школьные классы оборудовали под лечебные палаты. В конце сорок третьего этот госпиталь, вместе с соседним, из села Звягинцево, перевели в освобождённый Дмитровск.

Школу кое-как привели в порядок, для тепла (по тем временам, как нарочно, стояли лютые зимы) окна в классах засыпали золой и торфяной крошкой. Немцы свели все леса, классы не отапливались. И вот в такую школу Иван Андрияхин, мой отец, в сентябре сорок четвертого в десятилетнем возрасте пришёл в первый раз учиться.

Набрали сразу два параллельных класса. Ребятишки разных лет рождения. Малолетние мужички. Дети войны. Дети, с присутствием всем мальчикам на свете, в любые времена, озорством.

Чернила – сок отжатой столовой свёклы – по дороге в школу замерзали. Приходилось согревать собственным теплом. Засунет пацан «непроливайку» под мышку, так и несёт её в школу, а холода – великие. Мальчишка сам окоченел до костей, свекольный сок тельцем своим отогреть так и не смог. Отец вспоминает:

«Одёжа у меня была на всё про всё, на все случаи жизни – тужурка, в которой ещё из Донбасса возвратился, а рукава – непомерные – и в десятилетнем возрасте – до земли. Ночью служила она на печке подстилкой. Утром выйдет мать на подворье, поколотит её об угол, выбьет из неё пылюгу: «Иди, сын, учись!»

И был у нас в классе мальчонка, с хоронившимися глазками, невелик ростом, корявеньки-ий, серенький. И волосы цвета печной

золы. Самый молодой. Дразнили его «Кыса». Где уж отыскала ему мамка, Бог знает, только явился он однажды в школу гордый. Вынимает из своей холщовой сумки пузырёк подсинки. Чтобы драгоценную жидкость не пролить, вырезали ему дома заботливо из пушечных колёс резинку, притёрли пузырёчек.

Парт ещё сладить для учеников не успели, просто сколотили из досок стол, длиннющий, на сорок человек один. Достал Кыса свой заветный пузырёк, открывает пробку зубами, а шкодник-сосед толк его под локоть. Ребятя попадала с лавок – на рожицу мальчишки выплеснулась ядрёная, ядовито-синего цвета жидкость, залила его с ног до головы.

Урок, конечно, сорвали, никто не мог равнодушно смотреть на несчастного Кысу-«Водяного». Молодая учительница Вера Фёдоровна ушла. Вместо неё появился директор школы – Дмитрий Иванович Герасин (бывший армеец, капитан): «Ну, что, неслухи, идите просите у Веры Фёдоровны прощения». «Идём, – улыбается отец, – неумытый Кыска с нами. Только открыли двери в учительскую, Вера Фёдоровна, взглянув на синего Кысу, не сдержалась: фыркнула и рассмеялась. Вот и всё прощение... А ещё, на переменах, не раз побывав до войны на взрослых кулачках, в школьном коридоре бились мальчишки Кировской школы класс на класс. Звонок прозвенит – сидят, уткнув разбитые сопатки в крепкие снежки».

К посевной сорок пятого пригнали в колхоз им. Ворошилова шестёрку крупных немецких тяжеловозов, среди них одного никому не поддающегося мерина. Деревенские за дикие повадки тут же приклеили ему кличку – Бандит. На радость бабам, коров перестали залучать на поля. Бандита, конечно, приручили. Куда деваться? Лошадиная сила – на вес золота! Ночью игинской табун пасли в Савином логу – там всегда трава гуще и сочнее.

Пахота и уборка урожая были сопряжены с большими опасностями, ведь многие поля заминированы и нашими, и немцами. Пахарю за день надо было поднять один гектар да ещё двадцать соток. За такой тягловый труд ему выдавали один килограмм хлеба зерном. Малое зерно это легко было смолоть и на ручной домашней мельнице. Устройство её чрезвычайно просто: два жернова размером с тазик. Нижний, основной, мощней, толще. На камнях – пазы, в центре отверстие, куда засыпалось зерно. Если ты одалживаешь меленку, должен уплатить, перед тем, как молоть, «гарцевый сбор» – отсыпать хозяину кружку зерна.

**«...А ЧЕЛОВЕК ИСКУШАЕТСЯ
НАПАСТЬМИ»**



А в мае наконец дождалась! Пришла весть о Победе. Не стовариваясь, словно колокол на Поповке воззвонил, рванулись и игинские, и кировские к школе. Народу собралось! Гудят, как в улье. Директор школы, Горбунова Елена Ивановна, вышла на крыльцо. И сразу наступила тишина. Елена Ивановна так волновалась, что долго не могла собраться, и тогда все, подбадривая её, захлопали, загалдели. Она улыбнулась сквозь слёзы и, наконец, сказала: «С великим, выстрадавшим, праздником вас, земляки!» И только потом уже – где и кто подписывал капитуляцию, наобещала бабам скорое возвращение их кормильцев. Подъехали работники райкома партии.

До позднего вечера не расходился народ со школьного двора: всяк желал высказаться по такому случаю. Хоть и висела на душах многих тягость горьких, небывалых утрат, хоть и застили слёзы почерневшие вдовьи глаза, хоть совсем недавно, на прошлой неделе, вынула почтарька Раиска дрожащими руками из своей пузатой сумки похоронку на мужа учительницы Веры Фёдоровны, но появились гармони и балалайки, и пошло гулять до зари под школьными тополями, обвешанными гроздьями майских жуков, всеобщее веселье. Правда, столов у нас в тот день не накрывали (не с чего), и пьяные были лишь от счастья.

К уборочной сорок пятого подоспел Халмана. Явился, как снег на голову. Уж и не чаяли увидеть его в живых. Когда-когда ещё сообщил жене воевавший вместе с Иваном Николаевичем сосед его Никита Фёдорович Чеченёв, мол, не жди, Иван твой погиб. В Брянске прижали их немцы, Чеченёв-то успел отойти в лес, и Халмана шарк через плетень, а немец – очередь ему вслед. Никита Фёдорович, правда, видел, как земляк его упал, и никогда больше не встречались они на фронте.

Иван Николаевич же попал в том бою в плен. Много чего пришлось испытать нашему первому председателю. Окончание войны застало его в самой Германии. Но страшные воспоминания первых месяцев плена долго ему не позволяли забыть те дни.

Часто Халмана рассказывал один случай. Русских пленных немцы – автоматы наперевес, на поводках овчарки – нещадно, без остановок на отдых, гнали брянскими просёлками. Тяжелораненый ли, чуть замешкался ли – без разбору – пулю в лоб. Жара стояла несусветная. Мочи нет, душа с телом расстаётся. Почти не кормили. Но самое ужасное – не давали воды.

Однажды доплелась их колонна до лесного селения. Видать, до войны оно было достаточно зажиточное – каждый хозяин держал не

одну колоду пчёл. Но незадолго до прибытия русских пленных в селе этом хозяйничали немцы: ульи залиты водой, разграблены, повалены, как зря. Бесприютные, несчастные пчёлы стонут, мечутся у покорёженных колод. Немецкие конвоиры, даже они – сытые, со фляжками воды на ремне, изнемогая от зноя, устроили привал. Оголодавшие пленные рты разевать не стали, кинулись выгребать остатки сот, несмотря на ярившихся пчёл (они, бедные, ведь не разбирают, кто – лютый враг, а кто нашенский мужик).

Спустя некоторое время немцы загыркали снова, мол, пора выдвигаться. А несчастным, наевшимся на жаре мёда, к колодцу бы, да водицы – прямо из бадьи. Но только рванётся какой мужик, завидев колодину с журавлём, тут же окрик: «Хальт!» – и ржание.

Идут они полевой дорогой. Солнце нещадно палит, погибают мужики – губы потрескались, кажется, и внутри всё, как в пустыне, пересохло. И был среди них парень, раненый в плечо. Рана его гноилась, поднялась температура, а тут ещё мёд – будь он неладен! И не стерпел, кинулся солдатик этот прямо к протухшей зелёной луже посередь просёлка. Налетели немцы, загоготали: «Швайн! Швайн!» Бедный, не помня себя, не обращая внимания на рвущихся к нему псов, хлебал и хлебал прозеленившуюся воду... До тех пор, пока и встать уже не смог. Скрутило его, закорчился в муках, мга беспросветная застала глаза. Подошёл немец, сплюнул, и на глазах у притихшей шеренги хладнокровно прикончил раненого выстрелом в висок, столкнул ногой в лужу, из которой обезумевший только что жадно пил.

А в мае сорок пятого председательствовавший на то время в Игино бывший брянский партизан Алексей Данилович Меркулов оставил свою должность и перебрался в район. Баклуши не бил, занимался, по своей довоенной специальности, строительством новых, восстановлением разрушенных мостов. А его пост принял уцелевший наперекор всем ужасам войны Иван Николаевич по кличке Халмана.

Когда, наконец-таки, с фронта возвратились мужики, Халмана ушёл в завфермой. Что ни говори, а скорее всего, решил он после того, как на отчётном собрании его не только чуть ли не сняли с должности, но чудом не отдали под суд.

А дело было так. На краю Игино, рядом с конюшней прилепился колхозный амбаришко. Командовала в нём Буюкина Наталья (как-никак – четыре класса, хоть считать умела). У ворот амбара – деревянные лопаты, а внутри – на полу несколько ворошков – ржица, горох, овёс. Был и небольшой семенной бугорок вики. Возьми та вика да и подпортись. А откуда взять семена назамен? Вот и рискнули,

засеяли в Горонях поле, конечно, не без ведома председателя, той злосчастной виков. Прошёл месяц, другой, а всходы не появились. И вика, на беду Халманы, не взошла вообще.

А на отчётном собрании, в конце года, председателю, не откладывая в долгий ящик, эту промашку припомнили, мол, не сберёг семенной фонд, сгноил, судить его за халатное отношение к вверенной должности. Слава Богу, встал тут один из игинских мужиков, задетый за сердце фронтовик: «Как же так? Что ж вы баете-то, опомнитесь! Иван Николаич всю душу в колхоз вкладывает! За здорово живёшь – под суд! Эх, вы-ы!» – пристыдил он односельчан. Так и спас, считай, Халману. А то бы несдобровать председателю, сняли бы о-ох какую стружку, пришили б дело! Времена-то – суровые!

К сорок шестому году в Игино, в хозяйстве колхоза имени Ворошилова, уже насчитывалось: семь лошадей, пять овец, один баран, три свиноматки, две коровы и четыре вола. С волами этими у Халманы (когда уже он командовал фермой) произошёл прямо-таки забавный случай.

На ночь загоняет он волов на ферму. Считает: «Чёрный – раз, белый – два, рыжий – три, красный – дома, – и так несколько раз, – руку даю на отсечение – нет одного быка – и всё!» Проходит мимо кум. Халмана ему, мол, так и так: вол куда-то, чёрт рогатый, запропастился. Кум крутит у виска, покатывается со смеху: «Опомнись, Иван Николаич! Красный – дома, а остальные три где? Не дома ли тоже?»

В этом году объявилась в округе «заводская» картошка. Нет труда изнурительнее, чем сажать и собирать «орехи», которыми, как и хлебом, еле-еле дотягивали до Зимнего Николы. (А какие ещё урожаи можно ожидать от «глазков» да «очисток»?) И, когда разнёсся слух о том, что в Красной роце (деревушка вниз по течению Кромы) можно достать сортовую картошку, хоть полведра, хоть по пятку на развод, ясное дело, всеми правдами и неправдами игинские и кировские бабы кинулись её добывать. Правда, следом, в том же году, по весне прислали на семена картошку из Белоруссии.

К Покрову сорок шестого из Татарстана и Башкирии пришло в поддержку голодающему Орловскому краю и зерно. Непривычная, горьковатая на вкус рожь дышала степью и полыньком. Но, как бы то ни было, она помогла вытянуть ещё и неурожайный сорок седьмой. Раздали на семью по полтора центнера этой степной ржи, оставив семенной запас, который берегли пуще всех богатств на свете. Даже за горсть украденных семян могли отправить в места не столь отдалённые. Но разве стерпят бабы, доведённые до белого каления?

Как смотреть день за днём в голодные глаза детишек, видеть, как они пухнут от мякинного хлеба? Конечно, воровали. На свой страх и риск и картошку на поле подкапывали, и «парикмахерствовали» (стригли колоски зерновых).

Ясное дело, что случилось с Тихоном Ивановичем Гадёнковым, который припрятал во время посевной шестидесятикилограммовый мешок зерна! Расплатился сполна – десять лет прокладывал он железную дорогу в районе Печоры, в вечной мерзлоте. Кайлом выдалбливал в ней ежедневную норму: полтора метра в длину, восемьдесят сантиметров в ширину, один метр в глубину.

В пятидесятые годы повсеместно шло слияние мелких хозяйств в более крупные. Колхозы села Кирово Городище и деревни Игино объединились в один – имени Кирова.

Война выкосила мужиков несчётно. Конечно, рук в колхозе не хватало, и едва-едва подросшая молодёжь впрягалась в крестьянские работы вместо не вернувшихся отцов и старших братьев. С четырнадцати лет отец мой выходил на косовицу наравне со взрослыми мужиками. Фронтовики, они ж «ломовые», закалённые. Хоть и шустрый малый, но попробуй угонись за ними на пустой желудок! А если к косе ещё прилажены и грабли? Подрезал – грабельками прядочка к прядочке уложил, и так день за днём всю уборочную. А коли не наловчился, сплеховал – пойдут бабы снопы вязать, исчертыхаются, разбирая перепутанные стебли ржи.

Ладно, коса – ещё куда ни шло! А как устоять четырнадцатилетнему мальчишке за сохой? Наверно, потому что с малых лет познал отец труд пахаря, в зрелые годы – завяжи ему глаза – он в одиночку мог разделить под орех любой клин. Так ведь исстари велось: пооботрётся мальчонка около умелых да работающих, никогда уже не станет прожигать жизнь попусту, и работу со своих плеч на чужие перекидывать не станет. И будет опорой всему своему роду и подродью.

Несчастья, как говорится, выются верёвочкой. На ещё неокрепшие после разрухи хозяйства навалилась новая горячая беда. Посевы сорок шестого и сорок седьмого: и хлеб, и картошку – спалила безжалостная жара. Ни капельки дождя, ни сырого ветерка. Ничто не шелохалось, небо блистало ярко, как отполированная медь. Голодали страшней, чем в войну. Всем бедам – беда! Два года кряду народ пухнул от голода, вымирал целыми семьями. Даже в глухих балках и лесах выгорела трава. Подросшие было деревья и кустарники стояли подчистую обглоданные живностью.

Выпущенная на волю близ сельца, на склоны балок, деревенская скотинишка (сказочное богатство!) – сосчитать её можно было по пальцам – задичала. Спровоженная хозяевами на подножный корм, день и ночь бродила она с заострёнными хребтинами, с проваленными боками и «обрезавшимися» костями таза по лысым луговинам и поймам. А следом за ней, неотступно, тащились, падая от голода, хозяйки, в надежде нацедить хоть когда-нибудь из жмуренного, сухого, болтающегося замызганной, тёмной тряпицей коровьего вымени ребятишкам кружку молока. Но то ли бабу совсем покидали силы, то ли и капли не собиралось в нём, худом, только, как ни тяни хозяйка за сморщенные сосочки, сух и сух оставался её подойник. А резать последнюю «надёжу» хозяйкам жалко до слёз.

Правда, за кормилицей – глаз да глаз! Голод ведь не тётка, на что только не подтолкнёт?! Коли станет немого – тут как раз всё от человека зависит. Не доглядишь – слопают, ни копыт, ни костей от бурёнки не оставят.

Не раз, наверно, вспомнили в ту сошедшую с ума жарень мои земляки, как до революции устраивались в празднование Пасхи, Крещения Господня, Спаса, Происхождения честных древ Животворящего Креста и обязательно в лихолетья (в проливные дожди или наоборот – в засуху, в повальные хвори-напасти, при угрозе нападения врагов) благочестивые древние традиции – крестные ходы и молебны. Обряд этот являлся выражением единой народной веры и усердным молением ко Господу и Пресвятой Его Матери о даровании людям благодатной помощи в их несчастьи. Вот когда пожалковали-то кировские мужики о порушенной ими на Поповке церкви!

Мудрые наши предки не зря ведь переняли у Византии чудесный этот обычай, возникший там ещё в IV веке. Ведь в своё время и Святитель Иоанн Златоуст и Святитель Кирилл Александрийский для освящения мест и отвращения от болезней носили по улицам Животворящий Крест.

Раньше-то, когда в церкви во имя Преподобного Сергия Радонежского велась служба, и в Кирово Городище постоянно устраивались Крестные ходы. Не только по строго закреплённым датам, но и по острой необходимости, когда начинали роптать крестьяне, обеспокоенные положением дел в полях, считая, что Господь на них за что-то прогневался.

Отстоявши заутреню и литургию, под трезвон колоколов мужики «поднимали образа», за ними – священник, облачённый в фелонь и епитрахиль, нёс Животворящий крест, следом – весь честной кировский и игинской люд. Спускались к Святому источнику под

горой Поповкой, обходили улицы села и все прилежащие к нему поля. Как правило, под богослужебные песнопения во главе шествия несли храмовые Святыни: Евангелие, Крест, хорутви и иконы, среди них – пренеменно (как же без него-то?) образ Ильи-пророка, которому истари молился мужик, коли припрёт его нужда в дожде.

Крестный ход в Русской Православной Церкви совершался всегда против движения солнца (противосолонь, против часовой стрелки). Во время этого обряда в пяти заранее избранных местах служились молебны с коленопреклонением. По их завершении православные прикладывались ко кресту и священник кропил каждого Святой водой, а остатки её выливали на поле. Первый такой молебен, посвященный Спасителю, служили обязательно на Кировском Святом источнике. Второй, как и полагалось, посвящали Богородице, третий – Николаю Чудотворцу, четвёртый – пророку Илье, и пятый, заключительный, – молебен о неоставлении в беде, о ниспослании Господом на всю волость благодатного дождя.

Подобным образом совершались Крестные ходы по всей округе. Правда, в некоторых сёлах начинались они с того, что после заутрени и литургии весь приход отправлялся на сельский погост для того, чтобы отслужить панихиду разом по всем усопшим. Такой мудрый обычай Святой Руси вёлся ещё со стародавних времён. Православные верили: если они, живые, горячо помолятся за умерших, то на Том свете родные заупокойники не забудут так же помолиться Господу о близких, которых оставили они на Этом Свете. И не было ещё случая с тех пор, как стоит Православная Русь, чтобы в тот ли день, или в самые ближайшие после Крестного хода не пошёл бы дождик, не наладилась бы погода.

Да и во времена Древней Руси, чтобы вызвать дождь, пращурьы мои собирались у ключей, на Кроме и у Жёлтого ручья, устраивали первого зарева (августа) Мокриды (Мокрины). Праздник этот был одним из важнейших сакральных дней русской народной традиции. Иначе известны Мокриды как Мокрый или Медовый Спас. Не случайно именно в этот день крещена была в 988 году языческая Русь. Потрудись священник на Мокриды только выйти к воде, где и «гуляли» предки свой праздник, перекрести всех купающихся, и обряд крещения – свершившийся факт.

Чем же отличаются Мокриды от Купалы, когда весь русский люд тоже стремился к речкам, прудам и озёрам? На Купалу никакими особенностями купание не отличалось, купание да и купание. Совсем другое дело – Мокриды. Купание в этот день слыло «обережным». Считалось, что вода именно в этот праздник обретает бережные свойства от различных хвороб. Очень важно, в отличие от Купалы, на

которого нет никаких советов и рекомендаций к купанью, на Мокриды окунаться с головой. И, если на Купалу плескались прачуры на прудах и реках скопом, то из-за сакральности этого дня женщины и мужчины на Мокриды купались порознь. Нарушение же этой традиции небезобидно: предки верили: для ослушников купание станет вредоносным и в самом ближайшем будущем последует наказание. И вообще – после Мокрого Спаса окунаться в воду считалось делом опрометчивым и опасным.

Только когда всё это было? А в послевоенные годы, утерев и языческое празднование Мокриды, и обряд христианского водосвятия во время Крестного хода, чтобы хоть каким-то образом вызвать дождь, земляки мои устраивали «обливалку». Собирался на неё весь деревенский люд: и стар, и мал. Купались в Кроме и в окрестных прудках, на ручье Жёлтом. Окачивали из вёдер друг дружку водой, парни ловили девчат и кидали, взявши за руки – за ноги, на глубину. Визг и гам стоял в такие дни у воды с раннего утра до позднего вечера. Но не слышали их древние языческие боги, не вступился за них, сничтоживших Кировский храм – Его дом, и сам Господь.


Но изо дня в день выходили на изрытые траншеями, дзотами, опутанные колючей проволокой поля, шатаясь от голода, из последних сил, в первые послевоенные години бабы... И принимались лечить раны земли нашей истерзанной. А их на ней – прорва целая!

Хотя война и не обошла стороной ни одну кировскую-игинскую семью, в наши края возвращалась жизнь. При всех немыслимых трудностях – всё же рады-радёшеньки – мир!

А выживать – мужику не привыкать! Не впервой! Что ему? Нешто он не русский человек? Все теперешние невзгоды для него, по сравнению с тем, что выдюжил он за двадцать два месяца оккупации, казались уже мизерными. И сейчас старики у нас, вспоминая, «как были под немцем», крестятся: «Упаси, Господи! Только б не было войны!»

**ОСТАНЬСЯ В РОССИИ
ЛИШЬ ХУТОР –
РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ**



 время, потрёпанное, искалеченное и израненное Великой войной, не сворачивая, не присев передохнуть, шло напрямки. Через сожжённые дотла селения, через всё ещё заваленные искорёженной военной техникой просёлки и обочины, перебираясь через свежие, не успевшие порости бурьяном окопы, склоняясь лишь у безымянных холмиков с наспех сколоченными крестами да у братских могил защитников Земли Русской.

Деревня мало-помалу оживала, перебедавав оккупацию; дотянув на бабьих жилах непосильный воз хозяйских тягот до Победы; дождавшись, когда вернувшийся с фронта мужик поменял винтовку и автомат на исконно крестьянский инструмент: соху, топор, грабли, вилы и лопату; шатаясь и почернев, но выстояв в голодные сорок шестой и сорок седьмой.

Не каждому хозяину по силам было пока отстроить деревянный пятистенник, но там и тут, словно на дрожжах, росли саманные хаты. И хотя стены – глина, песок, солома да кизяк, – конечно, не могли заменить добротного деревянного и, тем более, кирпичного жилища, но всё же: обездоленный войной народ не опустил руки перед развороченным, стёртым с лица земли хозяйством, а продолжал сражаться, теперь уже с разрухой, – выбирался из землянок под новый кров.

Ещё нет в райцентре Сосково кирпичного завода, ещё не из чего сложить в «продувных» саманных хатёнках печки. Но мужик наш (ой, не врут, не врут сказки русские!) умён и изворотлив. Именно в послевоенное десятилетие одна из круч Мишкиной горы, самая глинистая, и получила название на немецкий лад «Цигельня» (Ziegel – с немецкого – кирпич). В этой самой Цигельне Фёдор Савельич Савинкин раскинул умишком и обустроил небольшое хозяйство – изготавливал для нужд Игино и Кирово кирпич-сырец – ни сучка ни задоринки.

Зимы по той поре стояли лихие, печка в студёную пору – что мать родная, без неё – сгинешь: ни варева состряпать, ни обутки просушить, ни самим отогреться. Одним словом, продукцию Савельича с руками отрывали. На первый взгляд казалось, что и хитрости в Фёдоровом деле ни граммочки нет, но только поди ж ты, испробуй сам, тогда и скумекаешь: во всём свои навыв, умение да сноровка нужны.

А Фёдор Савельич что ж? Выроет он ямку сантиметров сорок глубиной, подкинет в неё лопатой две трети глины да одну треть песка, плеснёт водицы и давай ногами вымешивать. А сколько ему в этом месиве топтаться, почует мастер своими чуткими босыми

ногами, истоптавшими не одну тонну земли, выбранной из Мишкиной горы.

Готовый раствор этот заливался в деревянную четырёхсекционную форму, предварительно обсыпанную изнутри сухим песком. И сверху её желательно было тоже присыпать песочком.

К вечеру, проведя день на макушке Мишкиной горы под палящим солнышком, раствор в форме окрепал. И вот тут-то наступал ответственнейший момент – надо суметь аккуратненько перевернуть форму с будущими кирпичами и вытряхнуть их на деревянный щит или утрамбованную до блеска земляную площадку. И не дай Бог сорвётся дождик! Тогда другой коленкор – вся работа насмарку! Неожоженная продукция растает, будто сахарная. А коли ведро – на следующий день кирпичи поставит Фёдор Савельич на рёбрышко, чтобы шибче их продувало, чтобы скорее просыхали. На горе – немалый плетнёвый шалаш. В него в шахматном порядке (опять же для просушки) укладывался готовый кирпич-сырец.

Может быть, именно оттого, что печки складывались из этого сырца, и обжигался он уже в самой слаженной печи, были те печки вечные. Технология эта известна издревле, клали из сырца печки и до войны. Пожжёт, разрушит фашист, бывало, в Отечественную, селение, ничегошеньки от него не оставит, глядишь, а печки стоят, трубы в самое поднебесье упираются! Правда, ничего иного из этого кирпича уже сделать невозможно.

Обучившись у Фёдора Савельича, приглядевшись к его нехитрому делу, не до жиру, смекнули что к чему, наловчились, почитай, все наши мужики для своих подворий изготавливать кирпич-сырец: сладить ли грубку, печку или на летний случай в саду какой-никакой очаг.

Сколько сил и времени нужно отдать на восстановление порушенного хозяйства? Вздыхает, бывало, на отчётном собрании председатель: «Десять лет минуло после изгнания фашиста с наших земель, вроде бы, и ваньку-то не валяли, по глотку в работе, в навозе, горбим вовсю – короста с пальцев круглый год не сходит, под вечер – лишь бы до подушки дотащиться, а в животноводстве и поголовье, и продуктивность скота на фермах растут очень медленно. Поди попробуй выполнить план, когда среднегодовые надои молока от коровы составляют всего тысяча двести тридцать – тысяча двести сорок литров! Сколько лет карабкаемся из долгов!»

Да и посевные площади ещё не достигли довоенного уровня, урожаи собирали низкие. Правда, в передовых полеводческих бригадах в 1953 году урожай яровой пшеницы составил уже

девятнадцать с половиной центнеров с гектара, проса – семнадцать центнеров, конопли (волокно) – около шести центнеров.

В период с 1951 по 1956 год в райцентре Сосково построили завод по производству пеньковолокна. О знаменитых конопляных «куколках» с кировской ярмарки вспомнили вдруг англичане, торговавшие с нашими мужиками ещё до революции, и зачастили на завод. Кстати сказать, продукция его поставлялась в шестнадцать стран мира и за своё качество пользовалась немалым спросом.

А колхозникам это только на руку. Кировские и игинские поля, испокон веку растившие эту культуру, снова к осени стали покрываться конопляными крестцами. Съездил директор нашего пенькозавода Василий Ильич Антонов и в Англию. Побывав там в музее, рассказывал, какая великая гордость охватила его при виде на экспонате бирки: «Село Кирово Городище, Орловская губерния, Россия».

Пережив лихолетье, народ радовался малейшим достижениям в мирной жизни. И, конечно, в честь них устраивались праздники. Ежегодно по завершении сельхозработ в райцентре проходили, к примеру, выставки, на которые привозили со всей округи лучших коров, овец, свиней и другую живность. Здесь же демонстрировалась и продукция полеводства: картофель, конопля, свёкла, морковь, тыква.

Жители села Кирово и деревни Игино принимались готовиться к выставке задолго до её начала. Не забывали и о художественной самодеятельности, засиживались в избе-читальне до зари, до свету, как, бывало, на «досветках» пряли и вышивали, пели песни и частушки, играли их прядки.

В нашем краю в XV–XVI веках поселились выходцы из различных мест Московского государства, конечно, покинув родные края, каждый из них принёс частичку самобытной культуры и в наше Кирово Городище. Их праздничные обряды, традиции и обычаи тесно переплелись с исконными, составлявшими основу культурной жизни наших пращуров.

Но была у нас одна из любимейших забав, о которой нельзя не рассказать особо. Упоминание кулачных боёв и «орловских дубинников» встречаются в различных исторических документах и описаниях начиная с XIV века: о них говорится и в русских летописях, и в сообщениях иноземных послов. Ещё в Несторовской летописи, датированной 1048 годом, можем отыскать строки о кулачных боях: «Себо не погански ли живемъ... нравы всяческими льстими, превабляеми отъ Бога, трубами и скоморохи. И гусльми, и русальи; видимъ бо игрища уточена, и людей много множество, яко упихати друг друга позоры дебще отбеса замышленого дела». Об

орловских кулачках рассказывают на страницах своих произведений и наши писатели-земляки Николай Семёнович Лесков и Леонид Николаевич Андреев.

В нашей просторной округе есть, где развернуться, показать свою молодецкую удаль. Кулачки происходили повсеместно в Престольные праздники, на Масленицу – под Старогнездилово и Новогнездилово, на Троицу – под Торохово, после Троицы – в старом саду барыни Шеншиной, под Ниживкой – двадцать восьмого июня, на козырного Тихона. В Сычин и Волчий лог, под Мерсияновку собирались на кулачки летом. Много времени уткло с первых кулачных боёв на Руси, но дрались на них мужики и в наше время всегда по старинке, с удалью.

В юности и мне удалось посмотреть на «остаточки» лихой мужицкой забавы. В Кирово Городище продержалась она до 80-х годов XX в. А тогда, в послевоенные годы, бывшие фронтовики являлись показать свою удаль при всех орденах.

Нарядившись в лучшие платья, часу в четвёртом шли поглазеть на кулачки, к примеру, в Волчьем логу и стар, и мал. Девушки форсили, женихов присматривали. Шутками сыпали, словно из рукава. А уж парни петушились друг перед дружкой!

По лугу прогуливались парочки, плыли паутинки доброй махры, играла гармошка, но вот внезапно раздавался призывный свист, мужская часть гуляющих разбегалась на две стороны (на две «стенки»), гуртуясь вокруг бывалых. В каждой «стенке» выбирался свой непререкаемый «вожак». Обычно им был умудрённый, опытный боец-кулачник, здоровенный, быка с ног свалит, мужик в теле, плечищи – под три мешка.

Девчата, переживая за своих, поднимались на две противоположные горки, меж которыми на широком лугу назревали кулачки. Пока обстановка накалялась, в «стенках», словно в пчелиных ульях, нарастал гул, «сопливые свистуны», малышня «враждующих» сторон, подтравливаемая старшими, выскочив на середину луга, уже петушилась, лупила друг дружку по сопаткам. (А могли выйти и один на один («сам на сам») по бойцу от каждой «стенки». И бились тогда «до трёх раз»).

Вернувшись с первой стычки, с «затравки», подростков сменяли ребята постарше, но обязательно – холостяки. Наколошматившись, аж в пот кинуло, намутузившись вволю, слизывая с кулаков кровь, молодые драчуны уступали место женатым парням. И только после них в бой кидались, раздувая ноздри, бывалые мужики, у которых давно уж играла в жилах кровь. Слышались слова добродушного мата, и начиналась «сцеплялка-свалка», стенка на стенку! И давай

друг дружку по бокам охаживать! Над лугом стоял сплошной гул. Идут стенки, бах-бах-бах по грудям, как по барабанам.

Деревни округи делились на два лагеря. На стороне Кирово бились Игино, Мелихово, Катыши, Цвеленево, Маслово, посёлок Бекин, Старогнездилово, Новогнездилово, Городище. А противниками нашими были кулачники из Звягинцево, Сосково, Мартьяново, Орехово, Рыжково, Гавриловки и Свободной.

Помню, как волновалась за отца и брата, как старалась отыскать их глазами в общей круговерти, как, поддаваясь кулачному азарту, кричала, свистела по-бабьи, поддерживая своих: «Заходи справа! Навались!» Зачастую бок о бок становились родственники. Так когда-то бились мамин отец, дед мой Булыгин Михаил и братья его Дмитрий, Иван и Яков, стояли за кировцев стеной. Лихими кулачниками у нас слыли братья Василий и Николай Резюкины, Анатолий и Василий Королёвы, Леонов Иван, Лебедев Сергей.

Во время передышек пацанята бегали по лугу, собирали растерянные в бою кепки, рубахи, а зимою – валенки, рукавицы да ушанки. А ещё припоминается, что на кулачках стороны друг на дружку не серчали и дрались всегда честно: лежачего не били, не били и «с крыла» (свои потом разберутся – отлупят), в кулаках ничего не прятали – совесть стыдила. Позор тому, кто утаит кастет или ударит кого-то заведомо слабее себя. Ниже пояса тоже никогда не били. Старались попасть в голову. Лупили и под рёбра – «под микитки», и в солнечное сплетение – «в душу», но только до первой крови. Поднял руку – вне кулачек, не тронут.

Передохнёт, утрёт драчун-кулачник из-под носа юшку и снова – в кучу-малу! Жив курилка! Иногда сторона, взявшая верх, разгоняла противника по деревням, до самых дворов. Кулачки в своё время были настолько популярны, что в них участвовали все мужики, несмотря на ранги и должности. Как-то вышли супротив наших два брата Новиковы из Мелихово, бойцы ещё те. И за ними – стена что надо! Председатель колхоза, соседнего с кировским, Артюхов Алексей Николаевич, увидел, что теснят, и говорит своему водителю: «Возьми бортовую машину, поезжай по нашенским деревням, собери всех, кто может стоять на ногах!» Через двадцать минут, с диким свистом, прямо через борт машины попрыгали в самую гущу свежие силы и разбили противника в пух и прах.

Многие ещё помнят заядлого кулачника, бывшего одесского портового грузчика, Егора Полякова, рубившегося на кировской стороне. В своё время никто против него не мог устоять. Походка у него была, как у тетерева-петуха: руки вечно в стороны растарашены. Рассказывают, мол, решили как-то противники Егора «отгладить». Засели в кустах поджидать его аж шесть человек. Идёт себе Егор,

нарядился на гулянку в новом жилете. Накинулись на него – ни жилетки, ни рукавов! Увидали это наши и понеслось по лугу: «Егора бьют!» И встала за удалого кулачника целая армада, не дали в обиду. Он ведь не раз выручал кировскую стенку.

Однажды, помню, в моё уж время, приехал разнимать кулачки участковый Хлюпкин Николай Петрович. Подивились на него обе стороны, мол, а зачем собирались-то? И решили: как только милиционер окажется посреди стенок, устроить кучу малу. Бедный участковый не знал, как вырваться из рукопашной. Поднял пистолет вверх: «Отпустите за-ради Христа! Уезжаю!»

Истари враги наши дрожали, да и в Великую Отечественную не раз испробовала на себе немчура, когда воины русские, натренированные в дружеских кулачных боях, стиснув ряды, поднимались в жесточайший рукопашный или, окружённые ворогом, становились спиной к спине:

*...Засучивши рукава,
То – под дых, а то – наотмашь,
Чаще – в морду бьёт братва!*

Русские кулачные бои – не только забава-потеха, но и закалка тела, воспитание воли, укрепление духа сотоварищества, тренировка для защиты себя, своей семьи, дома, своей Родины.

И попеть, поплясать у нас горазды. На балалайках жарили чуть ли не в каждом дворе, но самым заядлым балалаечниками слыли Полетаев Афоня, сестра его Таля и Хлебосолов Алексей. (Ах, как жаль, что теперь этот инструмент почти ушёл в забвение!)

И без гармонии на деревне – тоже тоска смертная. Но у нас предостаточно было и гармонистов. Среди них, к примеру, любитель «шуйки» Иван Тихонов, братья Шилкины, выучившиеся игре на баяне и гармошке у своего дядьки Пузанкова Василия Тихоновича, знаменитого до самой Сибири настройщика, изготовителя и виртуозного исполнителя. О нём нельзя не рассказать поподробнее.

Будучи подростком, в четырнадцать лет (в 1925 году) поступил он в платное обучение в Саратове к мастеру по настройке гармоней и баянов. И точно так же, как Ванька Жуков, поначалу, не занимаясь навыками выбранного им ремесла, сновал на побегушках у хозяина, нянчился с двумя его малолетними детьми. Наконец-таки, как пробудилась у мастера совесть, прообучал он Василия аж два года ремонтному делу.

Вернувшись в Игино, женился парень на молоденькой, шестнадцати лет, Ане Шилкиной и занялся изготовлением и

ремонт баянов да гармошек. Любители этого инструмента, оценивая уровень его мастерства, не жалели за Васильеву работу ни денег, ни продуктов, ни какой другой платы. Кроме того – слава его как непревзойдённого в округе баяниста, росла день ото дня.

А потом была война. И Василий Пузанков, прихватив гармошку, вместе с односельчанами отправился на призывной пункт, и дальше, дальше с боями по фронтовым дорогам. Тяжелораненого (тогда родственникам позволялось брать на долечивание) увезла его в Сибирь сестра Катерина.

Комиссовавшись, Василий снова принялся за ремонтное дело и остался на жительство в дальних краях... И огорошил! И приключилась с ним невероятная штука: дома к тому времени уж четверо ребятишек, а он возьми да влюбись! Уж такая, говорят, раскрасавица, умница и хозяйка была сибирячка, что не достало у Василия мочи с ней расстаться.

Время шло, и затомилось его сердце, заскучал по родимым детушкам, по стороне своей, по отцу, матери. И приехал Василь Тихоныч на побывку на родину. Приехал, обнял свою четвёрку, хоть какими мерками мерь – рад до смерти, да так при них и остался. И семье на малость, а полегче стало.

А уж как молодёжь его возвращению обрадовалась! Нога у него не заживала долго (правую пятку осколком напрочь скосило), пока-пока он «на улицу» доберётся. Так девчата что придумали: усадят музыканта на санки, баян на колени и катят по улице. Василь Тихоныч играет, а они по очереди на всё Игино «страдают»:

*С неба звёздочка упала
Прямо Гитлеру в штаны!
Разбомбила, что там было,
И настал конец войны!*

Пела песни, страдала частушки после большого крестьянского дня неутомная кировская и игинская послевоенная молодёжь. Собиралась в клубе, устраивала к праздникам концерты. А завклубом, закончив десятилетку, работала в Кирово старшая дочка Михаила Булыгина Клава.

МАМА-МАМОЧКА



Од от года блёкнут воспоминания детских лет, неудержимо выплывают, словно, бывало, к концу сенокоса, к августу месяцу, под палящими лучами солнца выгорала мамина ситцевая косынка. Прошлое хоть как-то ещё поддерживают, не позволяют угаснуть насовсем, чёрно-белые, любительские фотокарточки из семейного альбома, снятые допотопным отцовским ФЭДом...

Если бы не пожелтевшие эти снимки да сны, черты самого родного, мамина, лица со временем, наверно, начали бы таять. Правда, иногда, проходя мимо зеркала, вдруг ошеломлённо застываю на месте: с годами обнаруживаю усиливающееся сходство с мамой. Почудится вдруг, словно это не моё отражение, а она сама стоит со мной рядом, смотрит на меня из зазеркалья, глаза её, улыбка.

А то бывает... особенно под утро, и не разберёшь: то ли сон, то ли явь. Почудится, с чего-то вдруг прорежется сквозь десятки лет, выхватится из времени какой-нибудь совсем позабытый эпизод. Да вот хотя бы неделю назад – вспомнился почему-то звонкий июльский день, один из немногих, которые всплыли из далёкого раннего детства.

...Уютно, обхватив маму за шею, сижу у неё на руке, а она, босая, тропинкой сквозь анисы спускается с Мишкиной горы к омутку. Конечно, нести, кроме вертявой девчонки, ещё и сложенное в ведёрко, прикрытое пральником бельё маме неудобно, но разве я о том думаю? Да и она, кажется, бежит себе налегке. Так чего ж не бежать-то, когда сама девчонка девчонкой, чуть за двадцать, когда здорова (и как по сей день заверяет отец: «Статная, аж дух захватывало!»). Да и до конца своих дней сохранила она на своём лице следы бывлой красоты.

Солнышко разбутонилося прямо над Жёлтым. Может, ручей этот, шкодливый, в середине лета уходит сквозь песок, кто ж его знает? Только в это время в нём – и воробью по колено. Оттого и водичка – парное молоко!

Мама – в голубом сарафане (два вечера жужукала, строчила за перегородкой швейная машинка). И я – точь-в-точь таком же (остаточек как раз и сгодился)! Мы, значит, с мамой – голубые-голубые, даже глаза жмурятся, и небо – ослепительно голубое, ни облачка! И от этой сплошной голубизны – чувство беспечной, безграничной радости и восторга!

Мама опускает меня ножонками прямо в ручей, и мы шлёпаем по нему к омутку. И от сверкающих на солнце из-под наших пяток водяных брызг, что рассыпаются хрустальными бусинами, словно с маминой шеи оборвалась подаренная папой снизка, тоже радость – взахлёб!

Мама, подоткнув с обеих сторон сарафан за пояс, забирается в омуток, кышкает: «Тега, пошли, тега!», выпроваживает из него взбаламутивший воду, когочущий на весь белый свет табун деда Зуба. Гуси сердчат и уворачиваются, хлопают крыльями, не хотят покидать облюбованного, накупанного места. Тарарам на всё подгорье!

Визжу от восторга! Мама заодно мечется за «неслухами» по лугу до тех пор, пока они, наконец-таки, не отступают: подлётывая, сбиваются снова в табун уже под Меркуловой горой.

Когда запыхавшаяся мама возвращается ко мне, в руках у неё оброненные птицами белоснежные перья. Коса её растрепалась; разгорячённая, утирая косынкой со лба и груди пот, она грозит лозинкой гусаку, мол, гляди у меня, не вздумай вернуться! И хохочет, и улыбается самой замечательной на свете улыбкой! И я хохочу вместе с нею!

И весь мир вокруг – солнечный, весёлый и радостный: и эта, поросшая клевером и лютиками высоченная – до облаков! – Мишкина гора, с которой мы недавно спустились, где на самом верхотурье живёт-поживает наша изба с примостившимися в её палисаднике кленовыми качелями; и эти круглые, словно мячики, раскатившиеся по низине до берегов Кромы раkitки, на которые мама, отколотив на камушке и круто отжав, раскинула для просушки расшитые петухами-курами её «приданные» рушники. Весёлый даже дед Зуб, сползший к нам с горы за своими «разбойниками», нашаривший для меня в кармане ватных штанов, не сменявшихся даже «в лютую жарень», пропахшие табаком «сельповские подушечки».

...От ласковой ли маминой песни, которую намурлыкивает она тихонечко, распуская по омутку мои рубашонки, или от разглядывания ничуть меня не пугающихся (видать, за свою принимают!), пьющих из ручья прямо у моих ног, невесомых лимонниц, а может, от дурашливого мымыканья привязанного к колышку нашего слонявого телка Митрошки меня окутывает чувство полного блаженства и покоя.

Наконец, мама кидает валёк в осоки: «Ну что, Танюшка, айда купаться!» И молодость, и задор незабудками сыплются из её глаз.

Наплескавшись вдосталь, усаживаемся на бережку обсыхать, а чтобы вдруг – чего доброго – не заскучалось, зачёрпываем в ведро водицы, кидаем в неё обмылочек (сыскался в кармане мамина фартука, выкройку метила, когда сарафаны востожила, так кусочек мыльца и заваялся, надо же – сгодился!)

Лежим себе, через былинку на всё подгорье мыльные пузыри запускаем. Это такая непередаваемая красотища! Сотни перламутровых шаров, шариков и шарич пузырятся, лениво-лениво

плывут перекатываемые едва ощутимым ласковым ветерком, куда им вздумается — над нами, над угмонившимся в тени осокорей попрошайкой Митрошкой, над сбегаящей Стёпиной стёжкой на Иванов ключ с вёдрами и коромыслом тёткой Маринкой, над зарослями таких же шаров, только «золотых», свесившихся через плетень Меркулихина сада.

Может, для того и всплыл в стылую ноябрьскую ночь из глубин моей памяти тот солнечный июльский день на Жёлтом, чтобы одарить меня ещё хоть разок прикосновением самых ласковых на свете рук, чтобы снова ощутить беспредельность доброты и любви, в которых растворялись мои детские годы. Весь окружающий мир тогда проявлялся, познавался, удивлял и окутывал меня нежным материнским голосом.

Ощущение защищённости и неотделимости, наверно, впитавшееся в меня с молоком сразу же при первом прикладывании к материнской груди, как ни удивительно, не оставляло меня до той поры, пока мама не ушла в мир иной. Может, оттого, что она была необозримой частью меня (или я — её?), так горек её уход, так долго выбаливает рана от её потери.

Отец, оформляя мои метрики, почему-то «омолодил» меня на неделю. Но мама упрямо настаивала, видать, день моего появления на свет для неё был так дорог и долгожданен, что родилась я неделей раньше, в пронзительно солнечное, морозное воскресенье. «Уже который день метелило, — любила вспоминать родная, — а тут — на-те ж вам — на дворе стихло, объявилось солнышко, а следом — и ты!»

В дожди и вьюги, буреломившие на моём веку, неугасимый, словно Божья лампадка, свет маминой любви не позволял угаснуть и мне, снова и снова затепливал, окрылял и поддерживал мои мечты и надежды.

Вышла матушка, как и отец мой, из рода до самых глубин крестьянского. Росла и воспитывалась на землях древнего Кирово Городища, которые наделили её стремлением к добру и свету, не истребимым никакими неурядицами (ни семейными, ни государственными). Военное детство, послевоенная юность в не знавшей роздыха от повседневных мужицких забот избе деда Михаила. Суровые нравы жизни на земле не позволяли баловать дочку не выдавшим за работой белого свету маминым родителям. С малых лет не минули девчонку ни огородные хлопоты, ни заботы по двору. К тому же на ней, старшей, — «послевоенные» сестра и брат. Ведь вернувшийся с фронта дед Михаил снова сел за трактор, а бабушка Нюра (родная моя Григорьевна) — день-деньской безвылазно в поле.

Как и все деревенские девчонки, Клава Булыгина училась стряпать и ухаживать за скотом, вязать и вышивать. Изукрашенные ладным крестиком, расшитые её руками рушники с чудными, затейливыми кружевами до сих пор хранятся у меня вместе с оставшимся от мамы наследством – сундуком, с которым она выходила замуж. Греет душу и то, что недавно дочь моя выбрала целую охапку полотенец для себя, в память о своей бабушке.

А ещё берегу я шерстяную клетчатую шаль (старую-престарую, из бабушкиного приданого). Помню, как не стало бабули, всё, бывало, укроется ею мама и укроется (видно, шибко тосковала по нашей Григорьевне)... Теперь вот эта шаль спасает и меня, когда комом к горлу подступят воспоминания о них обеих.

До сих пор для меня загадка: как рано мама вставала и во сколько шла в свою крохотную спальню: проснусь – она уже на ногах, засыпаю, а ей всё ещё недосуг, хлопочет и хлопочет. Не припомню и того, чтобы она сидела сложа руки.

Скорее всего, мамина судьба ничем бы не отличалась от той, которую прожили её кировские сверстницы: замужество, детвора, крестьянское хозяйство, беспросветная (затемно ушла, по темну возвратилась) работа на колхозных полях или фермах. Всё почти так и сложилось, кроме последнего.

Уже подрастая, от самих родителей, от близких узнала я, как поженились мои мать и отец, как свились в один их жизненные пути. Клаве было всего восемнадцать, когда однажды, вдруг, ни с того ни с сего, с Новогоднего вечера вызвался проводить её до дома, по деревенским меркам, совсем взрослый ухажер – Иван Андрияхин. И раньше на неё местные ребята заглядывались, даже замуж уговаривали, и сватать приходили, а она носик кверху: «Какое замужество? Какие мои годы?» «Как же! – подшучивал потом отец, вспоминая мамину неподступность, – не хухры-мухры – завклубом, ответственный работник! Вечера, репетиции».

Сказать, что Клава Ивана не знала, как скажешь? Парень свой, Игино-то – рукой подать! Да и гармонист – не из последних. А клубу как без гармониста? Хоть и на пять лет старше, а в послевоенную пору, когда классы не редкость заполнялись разногодками, за семь километров, в Рыжковскую школу, ходили вместе. Затопит, бывало, Бóльший лог апрельское половодье – не перебраться, так Иван с другими парнями их, девчат, на руках по крыгам сколько раз переносили. Но то когда ж было?

А теперь, знала Клава, Иван уж и отслужил, старшиной вернулся, и на целине успел по комсомольской путёвке побывать, сельсовет вот доверили. Куда ей за начальника-то? Она об Иване и думать не думала. К тому же – насколько старше, да и захочешь – в

очередь становись, попробуй подступиться сквозь корогод девчат, окружавших все вечера гармониста.

А в тот декабрьский, последний вечер пятьдесят восьмого Иван сам вокруг неё петухом выхаживал, всех парней отвадил: то на «Барыню» выдробит, то на «Подыспань» пригласит, а то так под «Синенький платочек» закружит! И поплыла у девчонки голова... «Вечер был тихий-тихий. Шапками валил снег, зима в разгаре, а, вроде бы, вовсе как и не зима, даже жарко в облешленном хлопьями платке», – вспоминала потом мама о первом свидании с отцом.

Целый год Иван уговаривал девчонку, мол, взаправду жениться надумал. А она ему всё хмыкала: «Нет да нет, – всё увиливала, – маленькая я ещё!» В Рождество пятьдесят девятого, когда уже и слов на уговоры не осталось, парень решил взять её приступом – без предупреждения заслал сватов. Хоть и времена настали иные, но сватовство у нас ещё было в чести, никто не отменял. Да и Михаил Булыгин, знали на селе, порядок, ох, как уважал!

Не один мужик в деревне хотел бы видеть Ивана в зятях. Отец, добродушно посмеиваясь, не раз рассказывал нам, детям, о своём сватовстве. Ведь дед Михаил по первости-то наотмашь бухнул дверь, так что брякнул крючок, не просто заупрямылся, а отказал наотрез. Характерец у него – знай наших!

А Иван и знал, как не знать-то, что мужик он строгий, хозяйственный, копеечку бережёт, а ведь не струхнул, что и привести-то молодку особо некуда: хатёнка, слаженная ещё его дедом Сергеем из ветряка, совсем прохудилась. Но надо было как-то начинать налаживать свою жизнь, обзаводиться надёжной женой, с которой в согласии поднимать новую избу, новое хозяйство, заводить детей.

Взросшей в почитании старых обычаев Клаве как идти замуж без родительского благословения, наперекор отцу? Боже упаси! Дед, значит, пустился во все тяжкие – фордыбачится, хоть святых выноси, а дочь знай своё: гуляет себе все вечера с Иваном по-над Кромой да гуляет. Дошло до того, что Михаил собрался навовсе съехать из Кирово, лишь бы дочку уберечь от замужества с этим «упёртым» парнем.

А бабушке Нюре, по правде сказать, дочерин выбор понравился – не вертопрах и в стакан не заглядывает, работящ, соседи рассказывают, – что коса ему, что рубанок – всё в руках играет. То тут его встретишь за день, то там на него натолкнёшься, и всё – при деле. Чужало материнское сердце, отчего-то верилось ему, что тень раздоров и семейных неполадок обойдёт стороной их дочь рядом с таким мужем. (Да и впоследствии одно лишь бабушку в отце моём смущало до конца дней: уж очень далёк её зять-коммунист от Христовой веры

– переступит через порог, на образа не перекрестится, и деток своих к вере не приучает).

Видя, что нашла коса на камень (дочка-то вся в отца своего), мудрая Григорьевна, не сказав мужу поперёк ни слова, запустила тяжёлую артиллерию. Подложив на удачу под пятку пятак, принялась мужа «обрабатывать», пилит и пилит. Талдычит день и ночь, хоть топчется у печки, хоть мылит постирушку: «Вить как на духу тебе толкую: от судьбы, сам, отец, знаешь, не увернёшься! Куда на разор ехать-то вздумал в свои полста с хвостиком? Сидел бы уж теперя в затишке... Отдай девку-то! Он ведь, Ванюшка, не забулдыга какой! Настойчиватый, твердолобый, не свернуть! Из-под зёми Клаву всё одно сыщет, коли на то пошло. Ну, не прятать же нам её, ей-Богу?»

А причина дедовых переживаний и сомнений очень даже объяснима и любому-каждому деревенскому понятна. Как говорится, «ларчик просто открывался», – кто ж не желает чаду, кровинушке своей, счастья? А счастье, уж так у крестьянина испокон веку ведётся, неразрывно связано с достатком. На селе ведь все друг у дружки, как на ладони. Судьбинушка Натальи Андрияхиной вся, как есть, – на просвет. А значит, и Иваново сиротство – ни от кого не секрет. Хватил лиха!

Не шибко-то богато жили и Бульгины. Но когда отцов отец, дед мой Фрол, колесил от Владивостока до Крыма (как, начиная с XVII века, пытаясь прокормить семью, бродило по России отхожее крестьянство в поисках заработка), дед Михаил напрочь осел в Кирово. Летом пахал, сеял, жал, а зимой, опять же, как из века в век его односельчане, кустарничал. Приработанная дедовская швейная машинка до сих пор у меня строчит, не петляет.

Размышляла я об этом. Может, и правда, дал дед Фрол маху? Не надо было метаться «за длинным рублём», ловить счастье в чужедальних краях, а выстрадать его на своей земле, на своём дворе? У кого теперь искать правды?.. Кто осмелится ответить наверняка? Ведь отходничество и сейчас себя не изжило. И даже покатило по России новой волной. Почти весь мужик деревенский из Орловщины разбрёлся по крупным российским городам. Снова пытаются хоть каким-то способом выбиться из нужды мужики русские.

А дед Михаил смотрел на это со своей колокольни, знал свою правду, против которой «не попрёшь»: может, семья его «облеманов» и не пробовала, но, как говорится, нечего Бога гневить, – хлеб в доме водился. Оттого-то и был уверен и твёрд в своей правоте. Да и мама вспоминала: «Бывало, идут однокашники в школу мимо нашей избы, я хоть по ломтику хлеба, а вынесу... идут обратно – опять просят. А где я им возьму, когда и у самих еле-еле концы сводятся. Мамка-то,

бабушка твоя, и так, бывало, развернёт из рушника располовиненную краюху, вздохнёт, покачает головой, а сказать – ничего не скажет».

Ясное дело, кто ж захочет отдать дочь свою в семью, где хлебушка – и того не вольно? Но, как уж там случилось, только дед Михаил, поддавшись, наконец-таки, уговором жены и дочери, вскорости смягчил своё суровое решение, а там и вообще переменял отношение к зятю.

Иван не подвёл обнадёжившуюся на него бабушку Нюру под монастырь. Повернул судьбу их дочери, как родители её и не ожидали. Бабья-то доля, если, раскинуть, – от мужика. После женитьбы сам надумал учиться, настоял, чтобы и жена училась тоже. Вспоминая об отцовской настойчивости, мама всегда улыбалась: «Читала я со школьной скамьи запоем, до страсти увлекалась книгами. Поехали мы поступать в Орловский пединститут. А отец к тому же устроился на работу. Натаскал мне из библиотеки нужных книжек, учебников: «Занимайся!» Мало того, следил, чтобы не отлынивала, прям-таки отдушины не давал. А когда ж любимые романы читать? Не дай Бог застанет не за той книгой! Однажды даже сжечь «романчики» собрался, скандал учинил!». Собрание маминых книг (к слову сказать, немалое) послужило основой и моего образования, и моей коллекции, увеличившейся теперь уже в разы.

Обычно-то как бывает? Коли не успела жена уложить мужа под каблучок, в семействе за главного – мужик. Ни с мамой, ни с отцом такого просто-напросто не могло произойти – каждый был сам по себе и друг для друга и для нас, детей, значим. Не то чтобы мама не уступала отцу, а он ей, скорее, решения их, принимавшиеся в связи с какими-то важными семейными делами, были равноценны. Но всё же... мама умела совершенно незаметно и безобидно для отца гасить своей обстоятельностью его импульсивность. Одним словом, поговорка: «Муж – голова, а жена – шея» – в хорошем смысле, как нельзя кстати подходила их союзу.

Не успев закончить учёбу, вернулись они в родное Кирово: директор школы сманил, мол, заочно закончите, некому ребятишек учить. На селе ведь во все времена учителей не хватало. Потом отец, пока не назначили председательствовать в колхозе, преподавал немецкий язык, работал директором школы, а мама – конечно же, учила детишек своей любимой литературе и русскому языку.

Нас с братом – двое, хозяйство (жить в деревне да без него – и не поймут, и осудят, да и кормиться с чего-то надо). Занятия в школе, планы-подготовка на завтра, проверка домашних, контрольных, сочинений, диктантов. И так изо дня в день. Перебирать с бабами на

лавке сплетни, облуживать передник семечками – не о ней речь. И как её, родной, на всё хватало!

До сих пор в отцовском доме, в книжном шкафу у маминого письменного стола, хранятся стопы пожелтевших ребячьих тетрадей: и с помарками-кляксами – неучей, и аккуратно обёрнутые (ранние – газетами), с промокашками – зубрилок-отличников. Особая стопка – её гордость, тетради с лучшими сочинениями за сорок лет работы в школе!

Помню, как она гордилась, что я поступила именно в пед... как всё никак не могла смириться с тем, что я безвозвратно оставила школу. Для неё, не мыслящей себя без своих неслухов и отличников, без драмкружка, которому она отдавала столько внеурочного времени, без школьной библиотеки, где могла с закрытыми глазами отыскать любую нужную книгу, мой «отказ от профессии», как она тогда меня в сердцах упрекнула, был невыносимым поступком, не оправдывавшимся никакими отговорками. «Ну, чем же ты – учитель, собираешься заниматься?!» – с болью сетовала она.

Разворошила вот былые годики, словно прошлогоднюю, устоявшуюся копну: ещё душистую, но уже отдающую сладковатой горечью. Снова будешь по ночам в полудрёме до последних петухов кружить по игинским пригоркам. Только теперь (видно, чует душа: вот-вот падут на мир долгожданные снега) прислышится скрип катанок, вжиканье полозьев на Мишкиной горе, привидится матушка, развешивающая на каляном морозном духу вдоль протянутой от моего «качельного» клёна до амбара верёвки, белоснежную, пропахшую свежестью и омутком, постирушку (затемно успела отполоскаться).

А постный, непрожаренный блин январского солнца уже разлётся, словно на блюде, в фаянсовом небе прямо над Копытцами. Зимой короток игинской день. Но во время новогодних каникул, когда в горнице водружается высоченная, под самый потолок, пропахшая Хильмечками сосна, и вся семья рядышком, когда мне не надо, укатавшись на санках под кручей, клевать носом над злосчастной арифметикой, а маме, управившись по двору и дому, наконец-то приниматься за ребячьи тетрадки, день этот, вольготный, словно послеполуденные тени от отцовских тополей, может вытянуться до беспредела.

Если подластиться к маме, шумная «каникульная вольница» может закончиться далеко за полночь (пока наконец не отыграюсь перед отцом в шахматы или не узнаю, в каком же всё-таки стуле самозванный сын лейтенанта Шмидта отыщет ускользающие от него сокровища).

А на заре услышишь сквозь последние сладкие сновидения – грохнула на кухне на пол у печки вязанка дров. Разжмуришь лениво глаза – морозы в моём детстве стояли не то что нынче – настоящие, лихие! – и увидишь сквозь полуприкрытые ресницы на усыпанном алмазной пылью окне: солнце молодое играет!

Пригреешься под лоскутным одеялом, и выныривать жалко. Но вспомнишь вдруг про корзинку, обмазанную глиной, политую для пущей прочности раз пятнадцать ключевой водой: «Ждёт, небось, не дождётсЯ, когда, зажмурившись и взвизгивая, и сама не ведая, от чего больше – от страха или от счастья, спущусь в ней напропалую с Мишкиной горы».

«Эх! Была – не была!» – выскочишь из нагретой постели и – к рукомойнику. А в нём ледышки плавают, выскальзывают тонюсенькими осколочками прямо на ладошки. Брр! Потопчешься для виду у рукомойника, подёргаешь его за носик, оботрёшь руки о мамины расписные розаны (даже жалко пачкать!) и – скорее на кухню.

А там мама у печи уж давным-давно хлопочет. На столе стопка оладьев так и растёт, так и подымается, рядом – кубан топлёного молока. Отец, слышу, топает в подполье, смекаю: за земляничным вареньем спустился. Проснулся, закуныкал в кроватке годовалый Андрюша. «Справишься?» – мама, развязывая фартук, протягивает его мне, кивает на сковородку, а сама, прихватив из печурки тёпленькие штаники и носочки, кидается одевать-обувать братишку.

Она принимается ворковать с Андрюшей на понятном только им языке, а мне слышится, как по сенцам кто-то крадётсЯ, постукивая коготками о половицы: ток-ток-ток. Промороженные двери, тихонько пискнув, отзыниваются, и в кухню остороженько протискивается сначала только жуковая, мохнатая морда, а потом, не заставляет себя долго дожидаться, вваливается и весь Дружок. Ну, никакими силами не спровадить настырного, пока не добьётся своего!


Уж что-что, а нюх у него отменный! Запах блинов учует, носясь с беляками наперегонки, даже в Горонях. Примчится, прокрадётся на кухню (дверь вот тоже приловчился, хитрющий, открывать!), уставится на тебя своими карими вишенками, как тут откажешь? Ну, нет мочи в них смотреть! Уж такие страдальческие, такие несчастные! И, волей-поневоле, пока мама не видит, в его бездонной пасти исчезнет вся выпечка.

Блиноеда-лакомку – за дверь! Первый блин – конечно, комом! Но потом поднатореешь, приладишься, глядишь, снова подрастает стопочка.

А мама только улыбнётся. Она ведь всё понимает. Любви её хватает и на отца, и на нас с Андрюшей, и даже на прожорливого Дружка.

**И СТАЛ ОН МОЙ –
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ**



од мой начинается не первого января, а только под Сретенье, в середине февраля, в самые рассутробы, разметели, в стужу. Заглянув в Святцы, бабушка нарекла меня Татьяной, и родные не заспорили, не стали перечить. Склонившись над люлькой, пригляделись к новорожденной получше и обнаружили, что как раз это имечко дитяти и к лицу.

От раннего детства у меня остались обрывочные воспоминания. Вот я просыпаюсь в подвязанной к потолку люльке. Она опущена на такую высоту, что бабушка, сидя за ткацким станом, может в любой момент меня подкачать. Копошусь в одеялах, сбрасываю поясковсвивалень. Маме наперекор бабуля почти до двух лет обвязывает меня им, «чтобы статной росла да чтоб сама себя ручонками не будила».

Выбравшись из баек-фланелек, устраиваюсь половчее и дивлюсь, как сторожко такают в тишине ходики с охрипшей престарелой кукушкой; как сноровко управляют бабушкины руки с мельтешащим туда-сюда челноком; как, поддев коготком, выкатывает из плетёной корзины и гоняет по горнице разноцветные шерстяные клубки мой не знающий ни рода, ни племени (хоть и дёргает у бабушки из прялки «куделу»), а всё-таки самый обожаемый друг – полосатик Барсик.

И вообще – вокруг столько манящего! Да хотя бы дедушкина, недоработанная со вчерашнего вечера плетушка. Ишь, развалилась в углу хаты, будто барыня! Мир вокруг меня такой огромный, и конца и края ему не видать! К тому же пока он для меня совершенно неведом и таинственен. И это так здорово! Всю оставшуюся жизнь можно заниматься его разгадыванием.

Зацепившееся за стреху солнышко поёт петухами. Печка уже хозяйски протоплена, позднее утро. Бирюзово. В палисаде устроили базар синички – вот потеха! Дедушка с утра развесил на яблоневых веточках, поближе к окошку (чтобы мне было видно), кусочки сала, вот птички-то и столуются, лакомки. В углушку подоконника, в «проевшемся» жестяном бидоне – пыльный букетик – меж духовитых былочек золотятся бессмертники.

С люльки сброшена тюлевая занавеска, и мне хорошо видно, как завтракает печка – мумлит, жуёт широченным беззубым ртом бордовые уголья. Розовые отсветы жара играют на загнетке. Печурка побрякивает и причмокивает от удовольствия, лакомится, словно ветхая старушонка, переспелыми калиновыми ягодами: и горчит, и вкусно. А может, пожалела бабуля сиротинушку, расщедрилась да моей любимой кашей угостила? – пригашается вдруг моя радость.

Чую знакомый запах. Мотай, братец Барсик, на ус! Каша в нашем дворе знатная, хитрая! Так оно, конечно! На пяти крупах стряпана: тут тебе и маночка, и греча, и рис, и геркулес (как же без него?), и, конечно же, пшеницо. Маслицем топлёным сдобрено, в печке утомлёно, распарено.

Барсик от эдакого корму уж и в форточку не протискивается. Приноровился, мышатник, как только отвернётся бабуля, он на-ко что выкидывает – из моей миски хап да хап. Растянулся, пристроился, ну, не отпихнуть жирнющего! Развесит свои шкодные уши, «ума покупает!» и «ну ни капелюжечки не внемлет».

С бабулей у него на этот счёт нелады. Как обнаружит она котейкины проказы, тут же учиняет тарарам, щуняет его, рыжехвостого: «Нешто так-то можно?» А ему – всё нипочём! Сожмурит зелёные глазёнки и давай свои мурь водить.

Григорьевна, я уже знаю, так все мою бабушку, мамину маму, кличут, оставляет работу, поправляет напяленные по случаю крайних холодов, свостоженные из собачьей шерсти ходоки и, словно Барсик на своих пушистых лапках-помпушках, отправляется хлопотать у печи. Рогачами выхватывает с жару (видать, отбирает у прожоры, а то бы мне и пеночки не досталось) чугунок разомлевшей на сливочках каши. Достает из-под припечки заслонку, прилаживает на загнетку, и, наконец-таки, печища захлопывает неуёмный рот. «Сыта, видать, – решаю, – спать отправили. И верно, пусть каша поуляжется, а то не ровён час беда приключится – треснет толстуха. Где же мы тогда станем с бабулей сказки друг дружке сказывать?»

«Ну, солнышко, соловья баснями не кормят, пора и подкрепиться, – Григорьевна с безграничной нежностью усаживает меня на колени, натягивает на мои ножонки переночевавшие в печурке, «для сугреву», точь-в-точь, как и у неё (из пушистой смоляной Полкановой шерсти, только совсем крохотные) вязанки-тапчонки.

Снимает с керосинки сипящий чайник, водружает на стол. Чай она любит. Любит пошевелить ложечкой крыжовниковое варенье, прихлебнув кипяточку, коротенько потолковать о предстоящих на дню житейских делах.

Восседаю на высоченном, слаженном дедушкой, липовом стуле. С бортиками-подлокотниками, «чтоб не бабахнулась», с белорудыми гусями-лебедами по спинке.

Края деревянной ложечки, «любо-дорого поглядеть!» источены, изгрызены моими молочными зубёнками. Пробую на очередной режущийся зубок всё, что попадает под руки. Откапываю рисованных, спрятавшихся под кашей, на дне миски, проньру Патрикеевну и румяного, веснушчатого, словно бабушкины плюшки,

в маковых зёрнышках, Колобка. Кашей замурзано всё, до чего могу дотянуться.

Григорьевна неотступно принуждает меня к самостоятельности. Недосуг ей от не меренных никем бабьих дел. Времени «ни граммочки на праздные посиделки нетути», то и дело хлопает калитка – работы и в дому, и на дворе, да и на бакше – невпроворот, «под вечер ухайдокайся!»: то горсть, другую крыжовника собрать, то под «клубу яичков подсыпь, то корехвостом картохи от жука сбрызни, живём-то – пню поклонися!». И побаловала бы внучонку бабуля, да когда тут!

А в три года, когда без разбору – где надо и где не надо – пытаюсь лепетать наученное бабулей «спасибо», я уже знаю, что, оказывается, у всех людей есть именины. Это такой вкуснящий праздник. С бабушкиным пирогом, на который (люди милые!) раным-ранёхонько, чуть забрезжит, – конечно, если детки вчера не капризничали, когда их кормили рыбьим жиром и горькими микстурами, и вообще вели себя хорошо, – слетает золотистый, румяный ангелок.

Замечательный праздник – именины! Душа тонет в блаженстве! С купанием, оттиранием «до блеску» (загодя, ещё с вечера) в большом жестяном корыте, пропахшем духовитым земляничным мылом, с самым ранним подарком – дедулиной, спрятанной под подушку, вырезанной из ракового сучка, дудочкой-свистулькой. Со сшитым мамой (тютелька в тютельку!) на недосягаемой для меня заветной игрушке – швейной машинке, нарядным, с оборочкой по подолу, платьицем. С папиными новыми книжками про Снегурочку да про зайкину избушку, с покупными карамельками-подушечками.

С утра бабуля умывает меня водицей из маленькой склянки с Божницы, даёт глоточек испить и важно радуется: «Ну, солныш ты мой ясной, готовься менины справлять!»

Только много лет спустя узнаю, что в старину Татьянин день называли «Солнышем». Потому и бабушка меня так ласково называла. А ещё этот праздник известен как Татьяна Крещенская. Дня за окошком ровно на «воробьиный скок» прибывает, но сила солнца уже обретает значение. «Солныш» – так называется самое тёплое место в доме, «к солнцу повёрнутое» – устье печки. Недалеко и зыбка моя висит. Бабуля стряпает у печи, и я тут же. В народе считается: рождённая в эти дни одарена светом, крепостью и надёжностью. Какие бы лютые морозы не стояли, Татьянин день всегда солнечный. А солнце ещё с древнейших времён для славян, особенно для русского народа, имеет священный смысл.

Переступив школьный порог, я чувствую, что бабушка живёт какой-то иной жизнью, чем страна, в которой не только «не помнят Бога», но порою и рода-племени. Она сама, хата её с образами в Красном углу, с запахом елея от прокопченной лампадки, с тяжелой старинной «Библией» на липовой этажерке, с протяжными-грустными песнями выюжными декабрьскими вечерами, с бездонным, нафталинным нутром допотопного сундука, в котором запрятана всяческая бабья справа, кажутся настолько древними, словно сошедшими со страниц моих любимых сказок. Спустя много лет, только теперь, понимаю, насколько мудры были бабушкины речи, как не терпела она слащавое сюсюканье и праздные словеса.

Из года в год, на Татьянин день, следуя какому-то давнишнему обычаю, везла она к реке, туда, где поджали от стужи ноги, стоят, смотрятся в ледовое зеркало широкие вёстры, к проруби, вдоль снежных наметов, на деревянных хозяйственных салазках домотканые дорожки, круги-половики да диванные покрывала. Стужа – хозяин собаку из дома не выгонит, самые раскрещенские морозы.

Покрасневшими от каляной воды руками (словно лапки голубиные) полощет заядлая чистюля на лютном ветрище своё «тканство», отбивает, не переводя духу, колотит их на камушке «как следно» берёзовым, с резными завитушками, валёчком, промытым за несчётные годы до синь-бела.

В этот день, чтобы не ударить лицом в грязь на угощенье, она домовничает с особым усердием, с тихой, светлой радостью. Меня ж непременно «наряжает за-ради менин», но не броско, приговаривая при этом: «Татьяна должна всему и во всём меру чують». Откуда уж моя родная это знала, один Господь ведаёт.

Говорит Григорьевна всегда уверенно, будто пророчествует. Как сейчас, помню её слова: «Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и корогод ведёт!» Греческого бабуля не знала, а имя моё, оказывается, переводится на русский как «труженица». Вот так удружила! Но родимая, видать, и сама не догадывалась, какую судьбу уготовила любимой внучке с таким именем.

Как бы там ни было, но дорожки и ковры в крещенском снегу в этот день я обязательно (следуя старушкиным заветам) по сей день чищу. Занесу с мороза в дом – и дышится легче, словно хворобы из дому повыбила-повыгнала.

Уж сколько лет прошло, а вот вспомнилось – у бабули на мои именины была куча примет. Коли солнце красно заходит за лес – к ветру колючему. Снег на Святую Татьяну – быть летом частому дождичку. А уж если солнышко по утру выглянуло да до полудня

простояло над деревней – птицы рано возвратятся, весне, знать, дружной да бурной быть.

Катится, катится, потихоньку разматывается клубочек воспоминаний... Будто наяву видится... Мне – восемь. В Татьянин день остаюсь переночевать у бабушки, благо школа рядом, утром можно не торопиться.

Вечером, «справив менины», забираюсь на печь, а уснуть не могу: подарки вспоминаю, драгоценные фантики от карамелек в коробке перебираю, бабушку поджидаю. Захлопоталась неугомонная, задерживается где-то, наверно, сворачивает на столешнице ворох стираного белья. Ну, теперь до морковкиных заговёв не дождёшься!

Лежу-лежу, а её всё нет и нет. Не могу уразуметь, что за оказия? Может, присела на кухне с краешка резного деревянного диванчика, плеснула в кружку кипяточку на ягоднике да и задремала, устав от меренных никем бабьих дел и дум? Соскальзываю с печи, смотрю: дверь в дальнюю комнату приоткрыта. Шажками, шажками, подожгу, слышу шёпот: «О, Святая мученице Татиано, прими ныне нас молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молися о нас, рабех Божиих, да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне проживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклониться в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Любопытство охватывает меня, и я на цыпочках подкрадываюсь к комнате, боясь нарушить бабулино священнодействие, замираю в нерешительности у дверей. Тусклый свет крошечной лампадки отражается в просторном зеркале, выхватывает из полумрака белеющую рубахой, стоящую на коленях перед иконостасом, Григорьевну. Почувяв меня, она встаёт, манит к себе. От лампы проникает во все уголки комнаты, просачиваясь сквозь щёлку двери на другую половину хаты, разливается очень знакомый запах... елейный, родной, бабулин. Перед одной из икон оплавленная свеча. Причудливо сплетаются ласковые тени. Внятно, сторожко тиктакают на кухне ходики.

– Подойди, солнышко, поближе. Это твоя Святая... Татьяна... за тебя со мною просит у Господа денно и ночью. Хоть бы пожалилась ты ей об чём своём, вить она тебе не седьмая вода на киселе – родненькая! – перекрестившись на образок, вздыхает Григорьевна, гладит бабушка шершавой своею лаской мои золотистые мягкие локоны.

Небольшая в недорогом окладе иконка. Женщина в красных одеждах. В правой руке – крест, в левой – кадило.

– Бабуль, почему она такая строгая?

– Да как же не посуроветь, коли житие такое! Кабы завтра тебе не в школу, обсказала б.

– Бабулечка! – подластиваюсь, ровно Барсик, – проснусь, как кликнешь, сразу и вскочу.

– Давно думала тебе об ей сообщить. Что говорить? Сколь мне пожить ещё осталось – не ведаю, а тебе не след – житие своей Святой Заступницы не знать... Ну, смотри у меня, Татьяна! Спать ведь пора, кочета уж полночь пропели! Поутру, чтоб – как штык!

Перебираемся на печку. Здесь ядрёно пахнет раскинутым по кожуху для просушки овчинным тулупом, заткнутыми в печурку дворовыми валенками. И я, разомлевшая от этого духа, смешавшегося с ароматом поставленных на ночь хлебов, подсушивающихся на камушках под постилкою гарбузных семушков, упредив бабулю: «Только не говори: жил-был царь Овёс, он все сказки унёс», слушаю удивительный рассказ о древней героической христианке.

– Давно это, солнышко, было. В чужом городе – Риме. Как читала я в житиях, родилась Татиана в богатой да знатной семье. Отец её аж консулом в ихней империи состоял. Семейство исповедовало веру праведную, потому и дочь свою воспитывали в благочестии, в христианстве. А как возросла девица, надумала замуж не идти. Читала я у Димитрия Ростовского, что за свою добродетельную жизнь поставлена она была диакониссой. Случились в те времена, в году 226, гонения на христиан. Схватили Татиану и привели в храм Аполлона для поклонения ему.

– А кто это, бабуль, почему ему поклоняться-то надо?

– Да, внученька, по ту пору язычников было боле, чем христиан праведных. А этот Аполлон – божок языческий... Не могла она, знамо дело, этого свершить и вознесла молитву Иисусу Христу, и произошло землетрясение великое. Статуя божка-то развалилася, и храм их рассыпался. В житиях прописано: «Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причём все слышали вопль его и видели тень, пронёсшуюся по воздуху».

Бабушка Григорьевна молчит, будто погружается в прошлое... От волос её пахнет мятным квасом. От рук – вишенником и укропом.

– Бабуль, а дальше-то что? – ёрзаю, терблю её, увлёкшись преданием.

– А потом... и рассказывать жутко, каким пыткам подвергли Татиану нехристи! Но следы мучений с её тела исчезали, как и вовсе не бывало. К тому ж объявились чудеса!.. Сничтожился в пыль, рухнул – камня на камне не осталось, языческий храм, усмирился злощий лев, на съедение которому была брошена святая.

– Значит, Татиана победила всё-таки язычников? – забегаю наперёд.

– Победила, конечно, победила... Духом... Жрецы остригли её, мол, «чтоб не волхвовала», и заперли в храме главного своего бога, а как возвратились, смотрят: статуя бога разбита, а Татьяна жива, невредима. Не справился их божок с Великой верой Христовой!.. Татьяне вынесли лиходеи смертный приговор, и она вместе со своим отцом была усечена мечом. Мученическую смерть приняла двадцать пятого января... Видать, Господь дал ей посох по силе её. Честь не малая.

– Бабулечка, что же ты темнила, не рассказывала мне раньше о Татьяне?

– Батюшки! Как же! – Григорьевна спадает с лица, – расскажешь тут что путное! Поди попробуй! То концерт к седьмому готовите, то правила октябрятские зубришь. Я вам – слово, а вы мне – десять! А чтобы не подойти, не сказать по-доброму? Хоть бы польза какая с того была, с дикой ягодки и вино дикое. Спит-ко, солныш мой яснай, утро вечера мудренее.

Так и возрастаю между бабушкиными сказами о житиях Святых и походами с родителями на спевки в колхозный клуб.

За более чем тысячелетнюю историю в краю нашем изменялись и обычаи, и религия, и быт, и характер, и уклад. А у старушки моей «вся жистюшка» прошла в одной заботе о работе, да опять о ней же, родимой, «дыхнуть некада, пожалобиться некому», редкие остановочки – Дванадцатые праздники, и в довесок – опять работа, работа. Сухарики житние. Так год от года... Сейчас она бы напомнила: «Ну, так Даниил-то Заточник что сказывал? «Злато искушается огнём, а человек – напастями».

Серый, в мелкую клетку подшалок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад. Радостей – на пятак. Жизнь – то обочь, то вдоль, то поперёк. Не до жиру. Каждая морщинка, каждая вздущаяся жилка моей родной была прописана заботой о хлебе насущном. Но главное – каждодневная молитва «Уразуми, Пристальноокий Отче!...» за нас всех – уклад простого русского человека, испокон веков ведшийся на Руси до самого семнадцатого года. «Коли не болит, не ноет об ком сердце, так и жизнь никчёмна, пуста. Хорошо-то ведь на свете када? А када на душе хорошо», – уверяла бабушка.

Прикипела душенька моя к ней! По пути в школу каждый раз забегаю к бабуле Григорьевне, иногда остаюсь на выходной. Общенье, разговоры с ней выпадают целительной росой на мою разгорячённую душу. Хочу того или нет, но слово Божие, благодаря бабушке, оседает и накапливается в потаённых пластах моей детской души, омывает и подпитывает её корни, закрепляется в ней навечно, чтобы не сумела забыть Христово ученье, чтобы когда-нибудь и мои внуки узнали его от меня.

Моей ранней весной мудрая бабуля, несмотря на безбожные времена, умудрилась посеять во мне, словно на нови, на только что вспаханном поле, благодатные семена Православия, и теперь, даже в самые горькие минуты, взгляд мой и сердце моё устремлено в просветлённые выси.

Почти полвека, как нет родимой, нет и мамы... Сердцем оплачиваются и оплакиваются утраты почивших моих родичей.

Сегодня восемь десятков отцу. Родные съехались в Игино на его юбилей. Наговорившись с родными, следуя ли заветам бабули, по воле ли своей, всклень наполненной воспоминаниями и думами о деревне, души, пришла с детьми своими на Иванов родник. Стоим... стоим... Разве считают время у алтаря?



Весна нынче ранняя. А с ней и заботы разом набежали. Середина апреля, а теплынь, земляца поспела. Как девка на выданье, ждёт не дожждётся своего часу. Мишкина гора перепахана вдоль и поперёк, сполна полита дедовым пóтом. Опять оставил он отдохнуть старую бахчу и взобрался выше по склону, на самую макушку. Честно говоря, распахать целину одному непросто. Но Фролычу не привыкать, опереться особо не на кого. Сын давно обзавелся семьёй, съехал с хутора. Дочка, она и есть баба, придет – всё по дому, с матерью.

А одному даже и лучше, спокойней. Конь не подведёт, дело пока справляет ладно. Правда, какой-то грустный стал и, сдаётся,

подслеповат. Но тянет лямку, видать, понимает, что вдвоём с хозяином они ещё что-то да могут, а одному деду на хуторе уже ничего не по силам.

Фролыч ходко спустился к ручью, в полосу молочно-белого, стелющегося по подгорью тумана, нашёл Вьюнка по душным яблокам навоза у сажалки с мутной зеленоватой водой. По ней белыми корабликами плавали осыпавшиеся лепестки «владимирки», посаженной дедом на бережку лет десять тому назад.

На обратном пути в раakitнике он вырезал длиннющую лозинку. Налаживая соху, пояснил ожидавшему коняге: «Может, последняя наша пахота, последняя бакша. Ты уж пособи, ни к чему нам в такие-то годы страмиться, никак нельзя людям на потеху наворотить... Подмогни, милай. Вижу: и ты – квёлый листик, и у тебя силёнок с гулькин нос. А как быть, скажи ты мне на милость? Глаза-то ишо глядят, ещё не упёрлись в земной предел. И весна вот тожить подпирает, земляца томится, зовёт. Разишь, нам с тобой до этого и дела нету?».

Совсем рассвело. Бодрило. Где-то над Закамнями курлыкал невидимый косяк. С ближних тополей тянуло зеленью. Верба янтарным облаком парила на углу сада. Апрельский дух витал над хутором.

Дед осмотрелся: пустошь – былки полыни да бурьян. Тёплый ветерок чуть колыхал прошлогодние травы. Меж ними лупастилась мать-и-мачеха. Это апрель окропил бугор веснушками, а может, Меркулиха выпустила на выгул цыплят-двухдневок. Вон клуша её шныркнула. Фролыч пригляделся: куропатка порскнула из-под приникших трав и заспешила куда подальше: через поле, через овраг, в ближайший березняк, уже гомонящий, звонкий и весёлый. Погода, видать, надолго устоится – крапивницы – клубом, клубом!

Над Копытцами отгромычало, дождик истончился, а потом и вовсе иссяк. И над околицей Кирова, над Поповкой, над маковками Сергиевской церкви нимбом воспарились, залучились две – одна над другой – пестрокрылые радуги-весёлки.

Дед, налюбовавшись просветлевшими далями, поднял кверху глаза, одобрительно кивнул аисту, возвращавшемуся с болота в гнездо на водонапорной башне: «Хлопочи! Хлопочи, милай!» Поплевал на руки, прикрикнул на Воронка.

Сухие травы, придавливаемые тяжёлыми пластами земли, с хрустом ломались и падали на сторону. Соха вгрызалась в Мишкин

бугор, оставляя ровную, словно взгляд приятеля, борозду, уходящую в сторону Ярочкина лога. Фролыч оглянулся.

– Наверно, это и есть мой след на земле. Прямой, как эта борозда, простой, как поле. Неужели больше никому уже не нужный? Ни детям, ни внукам. Что ждёт тебя, когда меня не станет, Мишкин бугор?

Распаханная полоса медленно, но раздавалась. Соха нарезала жирный, будто сало, чернозём, пласт за пластом... И вот уже со всех окрест можно увидеть Фролычеву новь. Грачи гомонливым табором, по-свойски опустились на неё и, по-генеральски вышагивая вдоль пахоты, перегыркивались, разглядывали её, будто примерялись: не халтурит ли дед, глубока ли вспашка.

– Жив ещё дед. Опять со старым конягой Мишкин бугор оглаживает. Уж и сроки ему все прошли, и неважко, и под шапкой – сивость сивостью, а всё взбрыкивает, утомониться не хочет.

– Кыш, разбалуи, лодыри Царя Небесного! А кому ишо-то? Бога побойтесь! Две хаты на улочке и остались... расталдычили... – ворчал на них Фролыч, и сердце кунежилось грустью его оснеженного возраста.

Родные в голос давно советовали им с бабкой распрощаться с хутором, переехать к детям.

– Аль ты приворожён к этому чёртову бугру, – ворчала свояченица, – это ж надо! Курам на смех! За водой под такую кручу ходить! Зимой переметёт, и вовсе не вылезешь с вёдрами. Там и останешься, замёрзнешь.

Фролыч и сам задумывался, чесал затылок: и зачем с ним так-то случилось? И откуда ему бы? Что его связывало с горой, что за колдовские силы вонзились в него, напрочь приковали к этому хутору? А все иные нужны ему как прошлогодний снег... Показывают же по телевизору, какие на свете есть расчудесные места. И тепло, и пальмы тебе, и море. Удобства всякие, газ-водопровод. Ан нет, сжился, сросся он с бугром. Видать, как тот столетний дуб, что в прошлом лете в Плоцком молнией спалило, корни такие в гору запустил, что уже никак не оторваться от земли, никакие бури-ураганы не смогут его отсюда выкорчевать.

Знать, отвёл Господь ему это место на земле, чтоб по весне с Бьюнком бахчу пахать, зимы метельные под тополиный скрип здесь, на бую, коротать. Летом бугор обкашивать, сено козам в зиму сушить-ворошить, а по осенской хляби аистов, что, почитай, лет десять как

устроили гнездо в его ракетах, в тёплые края провожать. Детей опять же, внуков надо здесь встречать, на корню. Где ж ещё-то? Да и о чём же тогда жалеть?

Редкий раз, когда Фролыч, уезжая куда-нибудь «за семь вёрст киселя хлебать», не скучал по своим задворкам, скорёхонько, на вторые сутки, возвращался. И это не прихоть какая, не каприз пустой – Мишкин бугор, как громадный магнит, притягивал его к себе, и ничего с этим не поделать. Да, видать, и не только с ним такая оказия происходила. Для всего нашего рода это самое что ни на есть коренное место. Помнит дед, как семилетним мальчишкой шёл он с матерью и сёстрами с шахт домой. Вела их мать тяжёлыми военными дорогами спастись не куда-нибудь, а на Мишкин бугор. Так и верно: «Всякая сосна своему бору шумит».

... Полбахчи чернело, когда дед остановился, дал Вьюнку передохнуть. Да и сам подустал. Годы-то какие, забыл, какой десяток разменял! Уселся на охапку сушняка, продолжая разговаривать то ли сам с собой, то ли с закрытым глазами, дрожавшим от усталости Вьюнком.

– Дак, ежели говорить начистоту, и куды я, к примеру, от этой колдобины под опрокинутым небом? – Иван Фролыч посмотрел в липник, смахнул навернувшиеся слёзы.

Чуть заметная яма поросла молодняком, а в центре её возвышалось дерево. Ветер дышал с него клейкими молодыми листиками, липовый ствол казался алым в апрельских лучах. Липку посадил Иван в память о брате Петьке. В сорок четвёртом нашли они с соседскими пацанами снаряд и, конечно же, посмотрели, чего у него внутри. Кубарем до ручья раскатились. Петьку на постилках принесли домой. Помер Петька... Тогда-то Иван и посадил липку.

– И кто ж оградки на Поповке к Паске подкрасит? Лавочку вот тоже надо б, как отсеюсь, заменить, хрястнула совсем... Ну, золотко, передохнули, пора, – уговаривал дед Вьюнка, – молодец, потерпи чуток, вишь, как мы поработали, грех плохо закончить.

Вьюнок водил ушами, прислушивался. Он давно понимал, о чём толковал ему старый хозяин, даже о чём вздыхал. Солнце припекало не по весеннему, и над пахотой поднимался пар.

– Земелька благодатная – нечего Бога гневить: весной гвоздь обронишь, осенью цельный ящик собираешь, – любовался полем Фролыч.

Сколько за жизнь пересейл, пересажал старик – уж и не припомнит. Зато знает об этом Мишкин бугор. Оброс кустарником да деревьями, склоны лесу подобны. А когда-то на его лысину посадил Иван первые яблоньки да груши, меж ними веточки смородины да крыжовника понатыкал. Даже в город за саженцами ездил. А теперь – куда там!.. Фролыч оглянулся на усадьбу. Стойкий и цепкий, тёплый дух восходил от межи. Вишняк за горожей гудел от пчёл, на подходе сливы, яблони. А грушенка-дичка у калитки не утерпела, не в свой черёд расхорошилась. На тополях за околицей гвалт стоит, грачи их сколько лет как облюбовали.

– А тут, на радость, – чудеса в решете! – скворцы объявились, дед расплылся в улыбке, – редкие гости, почитай лет пять не показывались. Надо б опосля Фоминой недели скворечни новые сладить, и одну пренеременно у курятника, на клён, приколотить. Нехай скворушка с петухом дразнится, забавляется. Куды ж я, как они тут без меня? Ракитку под кручей прямо на стёжку сронило – обходи за водой! Колодезь вот подзаишло, – вспомнил Фролыч, – не забыть бы завтра с утречка с заступом заглянуть, почистить. Ну и что, что воду особо и брать-то некому. А гости какие заведутся, а заезжий какой заглянет, мол, чтой-то ты, мужик небо коптишь, а хозяйство подзапустил?

Допахав последнюю борозду, Фролыч оглядел пашню: добротню, умело. Довольный, похлопал нарочито бодро коня. Потом развёл костерок и, сидя на корточках у огня, поворачивая обзолившиеся картофелины, обжигаясь и подувая на пальцы, разламывал картошку, круто посыпал её сольцой, продолжал разговаривать разговоры. То сам с собой, то с олопелым от усталости конягой.

А в златой небесной глади над Мишкиным бугром купались, стрелами носились хлопотливые игинские стрижи. В осокорях орал грачи. На проводах лопотали ласточки. Из улыюшек выныривали пчёлы. Тянуло молодой новолетней травой.

– Ерунда! Будем живы – не помрём! Скучать некогда. Так вот мало-помалу на днях и картохи посадим. Не спеша. Ить под лежачий камень водица-то не течёт! Человек, захоти, всё может! Пройдём бороздку, ты, касатик, вздохнёшь, а я раскидаю. Сдюжим! Негоже земельке простаивать. Пока не вышел мой срок – не бывать тому! Уж пособи, поддержишь, Вьюнушка. Чтобы крутилось жизни колесо.

ОБ АВТОРЕ

Татьяна Ивановна Грибанова родилась в деревне Игино на Орловщине.

Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института.

Работала преподавателем иностранного языка.

Автор четырёх поэтических книг «Апрель», «Прощёный день», «Сказ о Судбищенской битве», «Соль» и книги деревенских рассказов «Лесковка».

Печаталась в журналах: «Наш современник», «Родная Ладога», Роман-журнал «XXI век», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Подъём», «Простор», «Берега», «Наследник», «Народное творчество», «Сельская новь», «Огни Кузбасса», «Лик», «Славянин», «Странник», «Эхо России», «Дон новый»; «Волга – XXI век», «Орловский военный вестник».

Член Союза писателей России.

Лауреат-победитель в номинации «Привет, Россия!» Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н.М. Рубцова. (2012 г.).

Специальный диплом «Прохоровское поле» за поэтическую поэму «Судбищенская битва» (2013 г.).

Медаль Святителя Кукши (за сподвижничество в служении Родине и вере) (2014 г.).

Лауреат Всероссийской премии им. Е.И. Носова (2014 г.)

Лауреат Международного конкурса и премии «Умное сердце» им. А. Платонова (2014 г.)

Лауреат газеты «Российский писатель» в номинации «Проза» за 2014 год.

Живёт в г. Орле.

Список иллюстраций. Источники

Стр. 9 – Аркадий Пластов, «Родник», 1952 г..

http://ruskline.ru/analitika/2013/11/9/zolotistokorichnevyj_barhat_borozd/&?commsort=back

Часть первая

Стр. 17 – Анна Грибанова «Русь деревянная»,

<http://annagribanova.ru/works/zhivopis/>

Стр. 19 – Борис Ольшанский, «Тени забытых предков», 2002 г.

<http://www.beesona.ru/museums/olshanskiy/44455/>

Стр. 29 – Всеволод Иванов, «Страж света».

<http://megalife.com.ua/interest/page,2,62950-kartiny-vsevoloda-borisovicha-ivanova-62-kartiny-slavyanskaya-zhivopis.html>

Стр. 37 – Петр Суходольский, «Полдень в деревне (Деревня Желны Калужской губернии Масальского уезда)», 1864 г.

http://artpoisk.info/artist/suhodol_skiy_petr_aleksandrovich_1835/polden_v_derevne_derevnya_zhelny_kaluzhskoy_gubernii_masal_skogo_uezda/

Стр. 45 – [http://4.bp.blogspot.com/-](http://4.bp.blogspot.com/-F6jv6wxXHHk/U0ZTnfA79rI/AAAAAAAAABDQ/R8jHUnEjeTE/s1600/russkieto-arijcy.jpg)

[F6jv6wxXHHk/U0ZTnfA79rI/AAAAAAAAABDQ/R8jHUnEjeTE/s1600/russkieto-arijcy.jpg](http://4.bp.blogspot.com/-F6jv6wxXHHk/U0ZTnfA79rI/AAAAAAAAABDQ/R8jHUnEjeTE/s1600/russkieto-arijcy.jpg).

Стр. 55 – «Масленица-комоедица». <http://rus-img.com/maslenica-na-rusi>.

Стр. 65 – Павел Рыженко, «Куликовская битва».

<http://filatelistovstandarty.apbb.ru/viewtopic.php?id=319&p=1>

Стр. 73 – Михаил Нестеров, «За приворотным зельем».

http://bibliotuihazi.blogspot.nl/2012/05/blog-post_23.html

Стр. 81 – Максимилиан Пресняков «Засечная черта. Южный рубеж», 2010 г. http://fabulae.ru/Gallery_b.php?id=4364&album_id=4408

Стр. 89 – «Кудеяр». Рисунок Александра Ножкина.

<http://surfingbird.ru/surf/gznG401Cf#.VW7GkdLtlHw>

Стр. 97 – Юрий Пантюхин, «Минин и Пожарский. Освобождение Москвы» – (правая часть триптиха "За землю Русскую"), 2005 г.

<http://pantyukhin.ru/minin-i-pozharskiy/>

Стр. 105 – Алексей Корзухин, «Сбор недоимок», 1868.

http://vk.com/wall-27569095_499365

Стр. 113 – «Славянский календарь», <http://info-grad.com/slavyanskiye-kalyendari-nashikh-pryedkov/>

Стр. 121 – Илья Каверзнев, «Светлое Воскресенье».

http://www.artscroll.ru/page.php?al=Svetloe_Voskresen_e_148769_kartina

Стр. 129 – Карл (Кирилл) Лемох, «Новое знакомство».

<http://www.liveinternet.ru/users/5087263/post325372374/>

Стр. 137 – Константин Васильев, «Русалка», 1970-е гг.

<http://gallery.ru/watch?ph=jNT-dFIH3>

Стр. 145 – Аким Карнеев, «Крестины».

<http://en.gallerix.ru/storeroom/1981365353/N/438770021/>

Стр. 153 – Константин Маковский, «У околицы».

[http://wahooart.com/@/@/8XYE3C-Konstantin%20Makovsky-Портрет-\(7\)](http://wahooart.com/@/@/8XYE3C-Konstantin%20Makovsky-Портрет-(7))

Стр. 161 – Сергей Коровин, «На миру», 1893 г.

<http://gallerix.ru/storeroom/1981365353/N/1074182524/>

Стр. 169 – Николай Богатов, «Пасечник». <http://www.bibliotekar.ru/7-russkie-hudozhniki/24.htm>

Стр. 179 – Константин Маковский. «Похороны ребёнка в деревне».

http://ic.pics.livejournal.com/philologist/23000738/2346358/2346358_original.jpg

Стр. 187 – Урос Предиш (Uroš Predić), «На могиле матери» (An Orphan upon His Mother's Grave), 1888 г.

http://muddycolors.blogspot.com.tr/2012_01_01_archive.html

Стр. 197 – Альфред Ковальский-Веруш. «Дожинки». 1910 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Wierusz-Kowalski_Do%C5%BCynki_1910.jpg

Стр. 205 – Борис Кустодиев, «Ярмарка».

<http://mir.zavantag.com/kultura/896026/index.html?page=27>

Стр. 215 – Владимир Маковский, "Игра в бабки", 1870 г.

<http://upyourpic.org/images/201405/wub42jlqe1.jpg.html>

Стр. 225 – «Свадебная баня». <http://www.vl-club.com/65722784-svadebnaya-banyaodnim-iz-obyazatelnyh-obryadovyh-deystviy-svadebnogodnya-byla-banya-vernee-dve-bani-realnaya-i-ob.html>

Стр. 235 – Иван Куликов, «Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме». 1909 г.

<http://en.gallerix.ru/storeroom/116599241/N/2136367200/>

Стр. 243 – Константин Трутовский, «Хоровод в Курской губернии», 1860 г.

http://wowposter.ru/authors/TrutovskijK/hudoznik_Trutovskij_Konstantin_3/

Часть вторая

Стр. 255 – Анна Грибанова, «Орловская деревня».

<http://annagribanova.ru/works/zhivopis/>

Стр. 257 – Борис Кустодиев, «Большевик».

http://styledelo.blogspot.ru/2015/01/blog-post_10.html

Стр. 267 – Фото из архива СБУ. <http://mbgtours.ru/v-sbu-rassekretili-arhivy-posvjashhenye.html>

Стр. 279 – <http://fontanka-su.livejournal.com/426456.html>

Стр. 287 – Нищий ребёнок.

http://paulvonschmidt.blogspot.ru/2012_01_01_archive.html

Стр. 295 – <http://studprofkom.kpu.ua/ru/38700/nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto-2>

Стр. 305 – «Уходят на восток».

http://pohodd.ru/gal/main.phpg2_view=comment.ShowAllComments?g2_albumId=4819&g2_itemId=6374&g2_return=/gal/v/Voennyj_album/main.php&g2_view=dynamicalbum.UpdatesAlbum

Стр. 313 – «Представители местной комендатуры выступают перед сельскими жителями. Рядом с германскими военнослужащими — сотрудник вспомогательной полиции. 1942 год».
<http://www.rohistory.ru/roshists-86-2.html>

Стр. 325 – «Группа женщин и детей одного из населенных пунктов, оккупированных немецкими войсками». <http://alek-jason.dreamwidth.org/2915.html?style=light>

Стр. 333 – «Советские танки Т-34-85 с десантом идут в бой за станцию Раздельная». <http://waralbum.ru/45587/>

Стр. 341 – Фото Макса Альперина «Беженцы. Орловская область». <http://art-assorty.ru/5569-maks-alpert.html>

Стр. 351 – «Советские колхозники везут сено».
<http://waralbum.ru/68320/>

Стр. 359 – «Пахота без машин и тягловых животных, 1943 год». Фото: фотохроника ТАСС. <http://www.business-gazeta.ru/article/132134/>

Стр. 367 – Татьяна Яблонская, «Хлеб». 1949 г.
http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=16795&ob_no=16797

Стр. 375 – Константин Юон, «Конец зимы. Полдень», 1929 г.
<http://cvetamira.ru/youon-konstantin-fedorovich-1875-1958>

Стр. 393 – Геннадий Ладыженский «Пахарь».
<http://virtualrm.spb.ru/files/images/%2077%D1%8541%20Холст,%20Масло.preview.JPG>

Содержание:

Из древнего поучения	5
Посредине слова	6
Иванов родник	9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лицом к воде	19
Ой, Льняная Русь	29
Дом возвести – не лапти сплести	37
Ты пошей мне, матенка, красный сарафан	45
А мы Маслену устречали	55
У горя края нет	65
Когда реки текли молочные	73
Черта Засечная – Заповедь государева	81
Где искать тебя, Кудеяркин клад?	89
За землю Русскую, за веру Православную	97
Орём землю до глины, а едим мякину	105
...И годом день не наверстать	113
Крашенки – на Пасху, на Семик – яишня	121
Труды бабьи, труды извечные	129
Малушин дар	137
И возьмёт крест свой, и по мне грядёт... ..	145
Прибуть, приодеть, так и есть на что глядеть	153
Тебе стерпится, тебе слюбится	161
Промысловый люд	169
Как душа да с белых грудей выходила	179
Дума – за горами, а смерть – за плечами	187

Спожинки	197
Отвяжись, худая жисть, привяжись хорошая!	205
Фролка. Деревенское детство	215
Анфиса. Свадебные хлопоты	225
Вольному воля!	235
Чего тут калякать? Пора свадебку стряпать!	243

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Кто был ничем, тот станет всем!»	257
«Наш паровоз вперед летит! В коммуне остановка!» ..	267
В отходниках	279
Сиротское детство – на всю жизнь наследство	287
«Победа будет за нами!»	295
Хорошо войну слышать, да тяжело видеть	305
«Новый» порядок	313
«И откуда взялось столько силы даже в самом слабейшем из нас?!»	325
Изгнание	333
Сломав хребет фашистской нечисти	341
Да разве об этом расскажешь!	351
«...А человек искушается напастями»	359
Останься в России лишь хутор, Россия останется жить ..	367
Мама, мамочка	375
И стал он мой – Татьянин день	385
Эпилог	393
<i>Об авторе</i>	398

Татьяна Ивановна Грибанова

Колыбель моя посреди земли

Песнь роду–племени моему

Редактор:

Николай Фёдорович Иванов

Технический редактор:

Сергей Алексеевич Ветчинников

Корректор:

Анна Ростиславовна Попова

Дизайн обложки и шмуцтитолов:

Александр Сергеевич Ухин

Подписано в печать 19.06.2015 г. Формат 60x80 1/16
Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура Century
Объем 25,75 усл. печ. л. Тираж 116 экз. Заказ № 179

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru